

10

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1960

10



1960

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 10

Октябрь, 1960 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИР СОСЮРА — Два стихотворения. Перевел с украинского Александр Прокофьев	3
М. РЫЛЬСКИЙ — В тени жаворонка, стихотворение. Перевела с украинского Мария Комиссарова	5
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Окончание	7
АНДРЕЙ МАЛЫШКО — Начало сказки. Как горят вишневые рассветы!.. Стихи. Перевели с украинского Юнна Мориц и Николай Браун	52
НИКОЛАЙ ДУБОВ — Жесткая проба, повесть. Окончание	54
В. КАВЕРИН — Рассказы (Из книги «Неизвестный друг»)	110
ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ — Цвет лозы, стихотворение. Перевел с украинского Николай Браун	124
АЛЕКСАНДР КРОН — На ходу и на якоре. Окончание	125
ПУБЛИЦИСТИКА	
П. МАСЛОВ, доктор экономических наук — Время в быту	157
В МИРЕ НАУКИ	
ЮРИЙ ВЕБЕР — Большой поиск (Заметки с международного конгресса)	166
В МИРЕ ИСКУССТВА	
ВЛ. САППАЖ — Телевидение, 1960. Из первых наблюдений	177
Н. КУЗЬМИН — Андрей Рублев	204
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. РАЧУК — Александр Довженко — писатель (Заметки)	211
Б. МЕЙЛАХ — Уход и смерть Льва Толстого	218
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	239
Вл. Баскаков. Путь к счастью.— И. Питляр. «Широе» сердце писателя.— Г. Койранская. Проблемы и образы.— Дм. Нагишкин. Глазами друга.— Е. Добин. За живой водой.— И. Крамов. По дорогам мира и войны.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	262
К. Львов. Великий борец за мир.—Инженер В. Левачев. Транспорт и связь в семилетке.— В. Молчанов. Кандидат в президенты.— А. Иглицкий. Разведчики без масок.— А. Млынск. Птенец гнезда Петрова	
Трибуна читателя	
О РОМАНЕ «ЛЮБОВЬ ИНЖЕНЕРА ИЗОТОВА»	274
КОРОТКО О КНИГАХ	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	284
ОТ РЕДАКЦИИ	286

ВЛАДИМИР СОСЮРА

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Как море, дышит лес зеленый,
Куда-то мчится путь стальной,
Сверкает солнце с небосклона,
Денек не прежний — он иной.

Те берега, где мы с друзьями
Росли, где детство провели,
Теперь заводов корпусами,
А не осиной заросли.

Я шлю привет зеленым водам,
Где зорьки алой полоса,
Где дым свой с содовым заводом
Сплели другие корпуса.

Доносит даль, что мне знакома,
Дыханье трав с полей родных,
Где селянин в работе новой
Ведет в поля коней стальных.

Как море, дышит лес зеленый,
Куда-то мчится путь стальной,
Сверкает солнце с небосклона,
Денек не прежний — он иной.

* * *

Я люблю, как листвою зеленой
Дерева одевает весна,
И под ветром качаются клены,
И долина цветами красна.

А потом еще дальние дали
Будто падают в душу мою,
Когда жито в полях поспекает
И кукушка кукует в гаю.

Мне под небом глубоким отрадно
Любоваться лазурью Днепра
В дни, когда по садам неоглядным
Листья желтые тронут ветра.

Я люблю также в зимнюю пору
Снега нашего голубизну
И на стеклах морозных узоры,
Что напомнят опять про весну.

Перевел с украинского Александр Прокофьев.



М. РЫЛЬСКИЙ

★

В ТЕНИ ЖАВОРОНКА

Н. Ушакову.

*Мы ехали по степям Украины, и
один из наших привалов был назван
Вами «В тени жаворонка».*

(Из письма Н. Н. Ушакова к автору
этого стихотворения)

Мы степью ехали. Немилосердно
Нас солнце жгло, кузнечики трещали
В сухой полыни; нам казался треск
Зелено-серых этих прыгунов
(Стрекозами Крылов их называл)
Сухим, как и полынь. В такую пору
Обычно о воде мечтает путник,
О синих реках, об озерах светлых
(Простите за эпитеты меня!),
И о прохладе влажной, и о тени,
Об отдыхе под ветками ракиты
Иль в зелени березового леса,
О сне спокойном на душистом сене
Под вечный и немолчный шум осок
И осокопей... И к мечтам, обычным
В пути, прибавилась еще одна
Мечта — о том, что время пообедать
Чем бог послал и что он положил
В автомобиль, все это нам доставив
Заботливо из лавочки одесской.
Тарань была хотя и не чумацкой,
Но так желта, прозрачна, солона,
Что с удовольствием ее стянул бы
У торгаша Халява-богослов.
Была кефаль, и брынза, и маслины,
И жареные были там бычки,
И пиво — все, что так необходимо
Для путников, шоферов и поэтов...
Ну, словом, нам и пить и есть хотелось.
Но только где? Под этим голым небом,
Под беспощадными лучами солнца,
На выжженной, затоптанной траве,
Где вдоль дороги только пыль желтеет?
Ни кустика, ни деревца нигде,
Все степь, да степь, да пыль, да зной палящий...

А в небе, несмотря на знойный полдень
Вились и пели жаворонки дивно
И так светло, как будто родники
С холодной и душистой водой
Там, в высоте, журчали беспечно!
И я сказал: «Что, если пообедать
Под тенью птичьих крыльев?»

И тогда
Мы скатерть-самобранку расстелили
«Под тенью жаворонка» на траве,
И влажным холодком на нас подуло
Вдруг с поднебесья, и покой блаженный
Нас окружил...

Спасибо, друг мой, Вам,
Что Вы об этом эпизоде давнем
В своем письме напомнили мне снова!
Да здравствует поэзия, мой друг!

27 июня 1960 г.

Перевела с украинского Мария Комиссарова.



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ *

21

Лето 1914 года началось для меня хорошо. Я написал несколько стихотворений, которые показались мне менее подражательными, чем прежние (я их включил потом в книгу «Стихи о канунах»).

Лето было необычайно ясным, жарким, с редкими сильными ливнями. Все буйно цвело. Неожиданно я получил деньги из двух редакций и решил направиться в Голландию — ведь не запастись же зимним пальто! Меня соблазняли и живопись Рембрандта, и описания своеобразного быта, и приветливые голландки в белых чепчиках, фотографии которых висели в «Бюро путешествий».

(Мне странно теперь представить себе, что можно было отправиться в другую страну, не заполнив анкеты, не проводя недели в ожидании — впустят или не впустят; но слово «виза» я услышал впервые во время войны; прежде не спрашивали даже паспорта — на границе в вагон приходили только таможенники.)

Голландия оказалась тихой и живописной. Чепчики были действительно белыми; действительно кружились крылья ветряных мельниц; крестьяне медленно покуривали длинные глиняные трубки; выхоленные коровы меланхолично жевали нежно-зеленую траву, а к утреннему завтраку неизменно подавали сыр. Словом, путеводитель, которым я обзавелся в Париже, меня не обманул.

Повсюду были музеи, и утром, проглотив побольше бутербродов с сыром, чтобы не обедать, я направлялся в какой-либо музей. Обычно голландскую живопись определяют как сугубо реалистическую, говорят, что она вдохновлялась повседневной жизнью. Сюжеты картин как бы подтверждают такие суждения: портреты, жанровые сцены, пейзажи с обязательным в этой стране сочетанием плоской земли, воды и неба, натюрморты. Но в Италии музей не отделен от улицы, на которой он помещается, искусство там сливается с окружающей жизнью. А в Голландии меня удивил разрыв между искусством прошлого и действительностью. Крестьяне были вполне деловитыми; биржа Амстердама казалась национальным институтом, в будни все читали биржевые бюллетени, а в воскресенье — молитвенники; пляж возле Гааги был заполнен тучными дамами. Среди всего этого стояли здания музеев, и там висели полотна Рембрандта, как они висели в Лувре и в Эрмитаже.

Я спрашивал себя, чем объяснить такой разрыв. Кажется, голландские художники и три века назад жили в куда большем внутреннем отъединении, чем итальянцы; выполняя заказы, изображая всем понятные жанровые сцены, они вдохновлялись живописным мастерством.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 8 и 9 с. г.

В 1914 году слово «формализм» применялось только к «человеку в футляре»; но, выражаясь по-теперешнему, скажу, что старые голландцы мне показались формалистами. Я восхищался ими, но, выходя из музея, думал о своем.

Все это не относится к Рембрандту: от него я не мог оторваться, он меня заражал своим беспокойством. Видимо, он не жил в стороне от людей; его страстность стесняла, а порой и возмущала современников. Вряд ли другим художникам XVII века нравились негоцианты или епископы; но процветающим купцам нравились холсты художников, за картины хорошо платили, ими украшали дома. Теперь именем Рембрандта называют и улицы, и гостиницы, и марки сигар. А при его жизни было не то — имущество художника описывали, продавали с торгов, бывали годы, когда никто не стучал молотком в дверь его дома.

Я бродил вдоль каналов, мимо опрятных домов и думал о судьбе художника, не обращая внимания на прохожих. Может быть, это в климате Голландии? Недавно я читал письма Декарта к Гезу де Бальзаку. Декарт писал, как он проводит время в Голландии (он прожил в этой стране двадцать лет): «Каждый день я прогуливаюсь среди множества людей и чувствую такую же свободу, такой же отдых, как вы, когда вы гуляете по вашему аллеям, и люди, которых я встречаю, для меня те же деревья, которые вы видите в вашем лесу...» Я вспомнил и потому о Декарте, что в то время впервые начал его читать, думал о сущности сомнений: «Я мыслю, следовательно я существую».

Был жаркий день; я шел, как всегда, по улицам Амстердама, не вглядываясь в лица прохожих; внезапно что-то меня озадачило; все взволнованно читали газеты, говорили громче обычного, толпились возле табачных лавок, где были вывешены последние известия. Что приключилось? Я попытался понять сообщения; повсюду повторялось одно слово «oorlog» — оно не походило ни на немецкие, ни на французские слова. Сначала я решил вернуться в гостиницу и почитать Декарта, но мною овладело беспокойство. Я купил французскую газету и обомлел; я давно не читал газет и не знал, что происходит в мире. «Матэн» сообщала, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Франция и Россия собираются сегодня объявить о всеобщей мобилизации. Англия молчит. Мне показалось, что все рушится — и беленькие уютные домики, и мельницы, и биржа...

Я попробовал обменять русские деньги — у меня было двадцать рублей; но в банках отвечали, что со вчерашнего дня меняют только золотые монеты. На гостиницу денег не хватило, я оставил там вещи и побежал на вокзал.

В ночь на второе августа я добрался до последней бельгийской станции — во Францию поезда больше не шли. Бельгийцы отвечали, что их страна при любых условиях останется нейтральной (немцы вторглись в Бельгию на следующий день). Нужно было перейти пешком границу. Светало. Мы шли между золотых тяжелых колосьев, потом был зеленый луг; пели жаворонки. Мои попутчики — французы — молчали. По пустой дороге прошло стадо, звенели бубенцы коров. Наконец вдали показался человек — это был французский часовой; он зачем-то выстрелил в воздух, и среди тишины сельского утра выстрел меня потряс: я вдруг понял, что моя жизнь раскололась на две части. Какие-то солдаты нестройно затагнули «Марсельезу». Навстречу шли немцы и немки, с ребятишками, с тяжелыми узлами — они пробирались в Германию. Часовой как-то неопределенно — не то осуждающе, не то беспечно — сказал мне: «Вот и война!»

В последний раз я оглянулся назад — на белую пустую дорогу, на стадо коров, на бельгийскую деревушку. Я не знал, что через несколько

дней деревню сожгут и по дороге двинутся к югу германские дивизии, не знал, что война надолго (все говорили «месяц, может быть два»), но почувствовал, что в мире все перевернулось. Теперь я знаю: как бой часов обозначает условное начало нового года, бесцельный выстрел часового где-то возле Эркелинн обозначил начало нового века.

Я навсегда запомнил тот летний день. Часто говорят, что значит в жизни человека первая любовь. А то была первая настоящая война — и для меня и для людей, меня окружавших. Сорок четыре года — немалый срок; участники франко-прусской войны успели умереть или одряхнуть; над их рассказами молодые смеялись. Никто из нас не знал, что такое война.

Ко второй мировой войне долго готовились, успели привыкнуть к тому, что она неизбежна; накануне Мюнхенского соглашения французы увидели генеральную репетицию: проводы запасных, затемнение. А первая мировая война разразилась внезапно — затряслась земля под ногами. Только много недель спустя я вспомнил, что «Эко де Пари» призвала вернуть Эльзас и Лотарингию, что еще в России на собраниях я клеймил союз Франции с царем — «царь получил аванс под пушечное мясо», что владетель булочной много раз говорил мне: «Нам нужна хорошая, настоящая война, тогда сразу все придет в порядок». А когда я проезжал через Германию, я видел заносчивых немецких офицеров. Все готовилось давно, но где-то в стороне, а разразилось внезапно.

Меня взяли зуавы в свою теплушку. (Прежде я видел надписи на вагонах: в России — «40 человек, 8 лошадей», во Франции — «36 человек» и никогда не задумывался, о каких «людях» идет речь.) Было тесно, жарко. Поезд шел медленно, останавливаясь на разъездах, дожидаясь встречных эшелонов. На станциях женщины провожали мобилизованных; многие плакали. Нам совали в вагон литровые бутылки с красным вином. Зуавы пили из горлышка, давали и мне. Все кружилось, вертелось. Солдаты храбрились. На многих вагонах было написано мелом: «Увеселительная экскурсия в Берлин».

Французские солдаты были в нелепой старой форме: синие мундиры, ярко-красные штаны. Война еще рисовалась такой, какой ее изображали старые баталлисты: вздыбленные кони, знаменосец на вышке, генерал машет рукой в белой перчатке. Рассказывали множество историй — то хвастливых, то комических. Никогда не рождается столько басен, как в первые недели войны; тогда я этого не знал и всему верил. Одни говорили, что французы заняли Мец, что убита тысяча немцев, что русские казаки несутся к Берлину; другие уверяли, будто немцы вторглись во Францию, подходят к Нанси, Англия объявила о своем нейтралитете, потоплен французский крейсер, царь в последнюю минуту сговорился с Вильгельмом. Никто ничего не знал. Зуавы горланили, пели песни, то жалостливые, то ернические.

Северный вокзал в Париже походил на табор. На перронах ели, спали, плакали.

Я пошел к русским друзьям. Все кричали, никто никого не слушал. Один повторял: «Франция — это свобода, я пойду воевать за свободу...» Другой уныло бубнил: «Дело не в царе, дело в России... Если пустят — поеду, нет — запишусь здесь в добровольцы...»

Трудно рассказать, что делалось в те дни. Все, кажется, потеряли голову. Магазины позакрывались. Люди шли по мостовой и кричали: «В Берлин! В Берлин!» Это были не юноши, не группы националистов, нет, шли все — старухи, студенты, рабочие, буржуа, шли с флагами, с цветами и, надрываясь, пели «Марсельезу». Весь Париж, оставив дома, кружился по улицам; провожали, прощались, свистели, кричали. Казалось, что человеческая река вышла из берегов, затопила

мир. Когда я ночью валился измученный на кровать, в окно доносились те же крики: «В Берлин! В Берлин!»

Я не мог оторваться от вороха газет; перечитывал все, хотя повсюду было одно и то же: политические оттенки исчезли. Жореса убили, но его товарищи писали, что нужно воевать против германского милитаризма. Жюль Гед требовал войны до победного конца. Эрве, который славился тем, что его газета «Ля герр сосиаль» призывала солдат не повиноваться генералам, писал: «Это справедливая война, и мы будем сражаться до последнего патрона». Немецкие социал-демократы проголосовали за военные кредиты. Бетман-Гольвег назвал соглашение о соблюдении нейтралитета Бельгии «клочком бумаги». Бельгийский король призвал защищать родину; у него было симпатичное лицо, и все газеты печатали его портреты. Льеж героически сопротивлялся. Анатолий Франс попросил, чтобы его отправили на фронт,— ему было семьдесят лет; его оставили, конечно, в тылу, но выдали ему солдатскую шинель. Томас Манн, прославляя подвиги германской армии, вспоминал о Фридрихе Великом: «Это война всей Германии». Газеты сообщали из Петербурга об общем подъеме. Группа эсдеков и эсеров призывала эмигрантов записаться добровольцами во французскую армию: «Мы повторим жест Гарибальди... Если падет Вильгельм, рухнет в России ненавистное нам самодержавие...»

Я разворачивал «Патри» и жадно искал ответа. А кругом кричали, плакали, пели «Вперед, отечества сыны!..».

Я жил в маленькой дешевой гостинице «Ницца» на бульваре Монпарнас. Незадолго до войны хозяин гостиницы женился на милой эльзаске, почти девочке. Его призвали на четвертый или пятый день. Он собрал старых постояльцев (все они были русскими эмигрантами): П. Л. Лапинского, Ю. О. Мартова, меня — и попросил нас помочь его молодой жене, если ее будут обижать как бывшую немецкую подданную (особенно его волновало, что к жене приехал погостить брат, мальчишка лет пятнадцати, не знавший французского языка, который застрял в Париже); хозяин распорядился, чтобы с нас не брали денег за комнаты до конца войны.

Я встретил художника Леже, он сказал, что его призвали, направляют в саперный полк, завтра он уезжает. Я машинально спросил, как прошла выставка. Он усмехнулся и махнул рукой.

Ко мне пришел мой друг Тихон Иванович Сорокин с последними новостями: завтра во Дворце инвалидов начинается запись иностранных добровольцев. Он пойдет с утра.

Тяжелее всего было сидеть и смотреть, как уезжают другие. Я сказал Тихону: «Я тоже пойду...» Он долго мне говорил о значении этой войны для России. Разговора я не помню; помню только, что, уходя, он сказал: «Ну, ты, брат, просто с ума спятил...»

Мыслить я не мог, и, следовательно, если Декарт прав, я уже не существовал.

Большая площадь перед Дворцом инвалидов была заполнена людьми; колоннами выстроились итальянцы, поляки, греки, испанцы, румыны с флагами, с плакатами; было много русских — одни с трехцветными флагами, другие с красными. Образовалась первая военная очередь; если задуматься над судьбой добровольцев, можно сказать, что это была очередь на смерть; но все были веселы, пели, задорно кричали: «В Берлин!» Дни стояли знойные; люди пили лимонад и, вытирая потные лица, снова начинали петь.

Я был в хвосте и дошел до стола, где сидел усатый майор, только под вечер. Военный врач мрачно на меня посмотрел, приставил к сердцу трубку и крикнул: «Следующий!» Я думал, что мне сейчас выдадут красные штаны, но сержант меня обругал: «Ты что, по-французски не понимаешь?» Оказалось, меня забраковали. Какие изъяны во мне обнаружил военный врач, не знаю; может быть, я показался ему чересчур дохлым — нельзя безнаказанно в течение трех или четырех лет предпочитать стихи говядине. Я убежден, что, если бы меня осмотрели на несколько месяцев позднее, я был бы признан вполне годным: стоит любому товару, в том числе пушечному мясу, стать дефицитным, как люди перестают привередничать.

В толпе я увидел многих знакомых — и русских эмигрантов, с которыми встречался в библиотеке Гобелен, и завсегдатаев «Ротонды». Я тогда не был знаком с В. Г. Финком, а он, наверно, стоял в той же колонне, что и я.

Вечером в «Ротонду» пришел Кислинг в военной форме. Либион его обнял и выставил всем шампанское; мы пили за победу.

Тихон сказал мне, что его направили в Блуа — там будут обучать добровольцев. Я ему позавидовал: хуже всего в такие дни быть зрителем. Мы провожали добровольцев, пели «Марсельезу», «Смело, товарищи, в ногу», какие-то сентиментальные куплеты.

Тогда вообще много пели — и на вокзалах, и на улицах, и в кафе. Очевидно, у войны свои законы: в первые недели все поют, пьют, плачут, ругаются и еще ловят шпионов. Меня несколько раз водили в полицию — из-за фамилии; каждый раз приходилось доказывать, что хотя я действительно Эренбург, но все же не немец. Рассказывали множество невероятных историй — о том, как немецкий разведчик был задержан в дамском платье, когда вывозил какие-то секретные планы, как в Елисейском дворце обнаружили кладовку, где прятался шпион с фотоаппаратом. Повсюду были надписи: «Молчите! Остерегайтесь! Вас слушают вражеские уши».

Разгромили молочные «Магги». Арестовали графа Карольи, хотя он выступал против Габсбургов. Людей лихорадило. Все жаждали победы и уверяли друг друга, что через несколько дней будет взят Страсбург.

Вдруг по городу поползли зловещие слухи: битва проиграна, армия в беспорядке отступает, немцы идут на Париж.

Под вечер прилетел немецкий самолет — скорее для устрашения, чем для уничтожения. Немцы его называли «Таубе» — «голубь»; меня больше всего удивляло это название — ведь голубку мира придумал не Пикассо, это очень старая история о большом потопе, о маленьком ковчеге и о ветке маслины, которую голубь принес в клюве отчаявшимся людям. Парижане весело кричали: «Тоб» летит!», выбегали на улицу, жадно вглядывались в небо — все это было внове...

В богатых кварталах шли путевые сборы; из домов выносили большие сундуки; горничные и лакеи впопыхах говорили: «В Ниццу...», «В Тулузу...», «В По...». Потом позакрывались ставни, стало тихо. Правительство уехало в Бордо.

«Здорово они нас предали!» — это можно было услышать повсюду. Одни обвиняли Пуанкаре, другие — Кайо, третьи — генералов. Сводки напоминали «герметическую поэзию» — их могли расшифровать только посвященные; но, помимо сводок, имелись другие источники информации — привозили раненых, появились первые дезертиры; они рассказывали, что у немцев куда больше артиллерии, все потеряли голову, полки перемешались. Люди, обожающие стратегию, говорили, что генеральный штаб наделал глупостей — пошли зачем-то в Эльзас, а левый фланг остался неприкрытым...

Ночь позднего лета, горячая, темная. Я стою возле «Клозери де лиля». Все на улицах: идут солдаты — с юга на север, от Порт д'Орлеан к Восточному вокзалу. Женщины их обнимают, плачут, кричат: «Спасите!..» На штыках георгины, астры. Песни, слезы, маленькие бумажные фонарики. Я стою всю ночь, и всю ночь мимо проходят солдаты. Нет, люди зря паникуют, у французов еще много резервов... Но почему они отступают? Ничего нельзя понять — ни сводок, ни песен, ни слез...

Исчезли такси — генерал Галлиени их реквизирует, чтобы подкрепить подкрепления на Марну; это тоже было новшеством — о моторизованной пехоте еще никто не мечтал. Техники было меньше, но не воображения: все рисовалось грандиозным, апокалиптическим.

Утром пришел убирать комнату брат хозяйки Эмиль. Хотя он был эльзасцем, он не скрывал своей любви к кайзеру. Русских он ненавидел; он говорил мне, что я ничего не умею делать, таковы все русские, нужно навести в России порядок. Я над ним посмеивался — мальчишка (ему еще не было пятнадцати лет). На этот раз он чуть ли не замахнулся на меня половой щеткой и торжественно сказал: «Немцы в Мо! Завтра они будут в Париже...» Я ему не поверил, но все же выбежал и купил газету; сводка, как всегда, была туманная. Я дошел до «Ротонды». Либион сидел мрачный, даже не поздоровался со мной. Прибежал знакомый поляк и, задыхаясь, шепнул: «Они в Мо...»

Я помнил Мо, я там как-то был с Катей, это в тридцати километрах от Парижа... Черт возьми, почему военный врач придрался к моему сердцу? Я могу хорошо ходить, даже бегать.

Дальнейшее известно: началось контрнаступление; при битве на Марне погиб поэт Шарль Пеги; немцы отошли и окопались. (Потом я увидел деревянный крест с надписью «Лейтенант Шарль Пеги», а рядом столбик «34» — тридцать четыре километра до Парижа.)

В соборе Парижской богородицы состоялось торжественное богослужение. Молившиеся кричали: «Да здравствует господь бог! Да здравствует Жоффри!» Кого это могло тогда рассмешить? Разве что химер, но, будучи каменными, они сидели и молча думали, как им положено.

Немцы отступили не так уж далеко; газеты, желая рассеять опасный оптимизм, писали: «Нужно помнить, что немцы в Нуайоне». Нуайон был в девяносто километров от Парижа. «Немцы в Нуайоне» стало присказкой, но она мало-помалу теряла силу — жизнь вступала в свои права.

Я по-прежнему прочитывал десятки газет: может быть, кто-нибудь на свете мыслит и, следовательно, существует? Я искал, что говорят писатели. Меня не удивили воинственные речи Киплинга, Гауптмана, Лоти. Я смеялся над оперными выступлениями Д'Аннунцио, который требовал крови. Но и другие — Верхарн, Анатолий Франс, Мирбо, Уэллс, Манн — повторяли то же, что говорили Пуанкаре или фон Бюлов. В некоторых газетах были белые пятна — статьи или сообщения, зачеркнутые цензурой (французы почему-то называли цензуру женским именем — Анастасия). Эти белые пятна меня несколько обнадеживали — кто-то знает правду, но не может ее высказать.

С тех пор прошло много лет, много событий — фашизм, вторая мировая война, Освенцим, Хиросима; смятение, овладевшее мною осенью 1914 года, может показаться наивным. Однако первый убитый потрясает человека, дотоле не нюхавшего пороха, больше, чем впоследствии зрелище страшного поля боя. Блок писал еще в 1911 году: «И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть и ненависть к отчизне... И черная, земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи...» Я сидел часами над ворохом газет; все было покрыто туманом лжи, свирепости, глупости.

Конечно, первая мировая война была черновиком. Различные правительства выпускали сборники документов — «белые книги», «желтые», «синие», — пытались доказать, что они не повинны в случившемся. Немцы, разрушая Реймский собор, ратушу Арраса или средневековый рынок Ипра, уверяли, что они не повинны в ваидаллизме. Четверть века спустя бомбардировочная авиация перестала заглядывать в историю искусств. Немцы, французы, русские возмущались дурным обращением с военнопленными; никому не могло прийти в голову, что в годы следующей войны фашисты будут преспокойно убивать всех неработоспособных. Немцы в американских газетах негодовали: войска великого князя Николая Николаевича насильственно эвакуируют польских евреев. Гиммлеру тогда было всего четырнадцать лет, он гонял собак и не думал об организации Освенцима или Майданека. 22 апреля 1915 года немцы впервые применили удушливые газы. Это показалось всем неслыханным; и действительно, это было зверством. Разве мы могли вообразить, что такое атомная бомба?..

(Впрочем, немецкие шовинисты уже тогда показали, что будущее будет ужасающим. В 1950 году известный датский микробиолог, профессор Мадсен — ему было восемьдесят лет, — рассказал мне о примечательном случае, относящемся ко времени первой мировой войны. Мадсен работал в датском Красном Кресте и осматривал продовольственные посылки, которые направлялись из Германии немецким военнопленным в Россию. В одной из посылок он обнаружил бациллы, предназначенные для заражения рогатого скота. Мадсен добавил, что он убежден в непричастности высшего германского командования к этой попытке бактериологической войны — посылка, по его мнению, была индивидуальным актом.)

Я помню, как смеялись над газетой «Матэн», которая сообщила, что русские находятся в пяти переходах от Берлина; но все спокойно читали в той же газете, что «гений Гёте сродни удушливым газам». Товарищ привез с фронта немецкую газету, я прочитал в ней, что русские — это «печенег», вся культура России создана немцами, а коренное ее население способно выполнять только грубую физическую работу.

Кто-то дал мне книжку французской баронессы Мишо. Она изобрела новый термин «жидо-боши»; главным «жидо-бошем», по ее словам, был закоренелый враг Франции поэт Гейне. Баронесса также обличала Романа Роллана и Георга Брандеса. Вскоре после этого фронтовик показал мне номер мюнхенской газеты, где какой-то журналист доказывал, что Яльмар Брантинг и Бласко Ибаньес, проявляющие симпатии к Франции, «полуевреи».

Я вдруг понял, что хотя Декарт высказывал очень умные мысли, но не они определяют духовную жизнь миллионов людей. Выросший на идеях XIX века, я преувеличивал роль философов и писателей; то, что мне казалось вошедшим в плоть и кровь общества, было только костюмом. Пиджаки сменили на френчи, гуманизм — на кровожадность, декартовские сомнения — на добровольный отказ от какого-либо мышления.

Как-то пришел ко мне мой сосед, польский социалист Павел Людвигович Ланинский, попросил перевести заметку, напечатанную в итальянской газете. (Италия еще была нейтральной, и в итальянских газетах можно было найти многое, неизвестное во Франции.) В заметке говорилось, что французский генеральный штаб по требованию владельцев лотарингских шахт запретил артиллерии обстреливать шахты, захваченные немцами. Павел Людвигович сказал: «Людей они не жалеют, а свое добро берегут...» Он объяснил мне, что использует сообщение для русской социалистической газеты «Наше слово», которая выступает против

войны. Потом он регулярно приносил мне эту газету; тон статей напомнил мне эмигрантские собрания. Павел Людвигович говорил, что все происходящее основано на обмане, а долго обманывать народы капиталистам не удастся. Иногда я с ним соглашался, иногда начинал спорить. Война мне казалась отвратительной; я ненавидел и владельцев шахт, и Пуанкаре, и богомольных дам, раздававших солдатам ладанки, все лицемерие и трусливость тыла; но одновременно я повторял про себя стихи Шарля Пегги: «Блаженны погибшие в большом бою за четыре угла родимой земли...» Эти «четыре угла» не позволяли мне до конца согласиться с Павлом Людвиговичем. Он мне очень понравился; мы подружился, часто по ночам беседовали — у него или у меня. Иногда я встречал у него известного меньшевика Юлия Осиповича Мартова, человека привлекательного, мягкого, честнейшего. Меня он удивлял своей нежизненностью, книжностью. Он был подавлен крахом Второго Интернационала, кашлял, ходил в худом пальто, мерз и, как Лапинский, старался убедить не столько меня, сколько себя, что «расплата неизбежна» (вряд ли он догадывался, какой будет эта расплата). Несколько раз я разговаривал с В. А. Антоновым-Овсеенко; он горячился: «Обман, надувательство, безобразие, бойня — это им не сойдет!» — и снимал очки; его близорукие глаза были на редкость добрыми. В редакцию «Нашего слова» входили также Д. З. Мануильский и С. А. Лозовский.

Я не понимал ни событий, ни других людей, ни самого себя.

Жан-Ришар Блок был одним из чистейших людей, которых я встретил в жизни; познакомился я с ним позднее — в двадцатые годы — и еще расскажу о встречах с ним; теперь я хочу сослаться на него как на свидетеля. Недавно опубликована его переписка с Роменом Ролланом в годы первой мировой войны. Жан-Ришару было в 1914 году тридцать лет, его сразу призвали, он был трижды ранен. Ромен Роллан был на восемнадцать лет старше, находился в Женеве и писал статьи «Над схваткой». В первые месяцы войны Ромен Роллан писал своему младшему другу, что не хочет огульно обвинять всех немцев, что он дорожит духовным единством Европы, что лучше всего будет, если война закончится вничью. Жан-Ришар в своих письмах говорил о зверствах немцев, об их одичании, верил, что это последняя война, — стоит разбить кайзеровскую Германию, как восторжествуют мир, свобода, счастье. Вероятно, Ромен Роллан видел происходившее куда яснее, он ведь был если не на горной вершине, то в стороне от катаклизма; но мне было понятнее смятение Жан-Ришара Блока. Я как-то раздобыл «Журналь де Женев» со статьей Ромена Роллана, прочитал и обрадовался — хорошо, что где-то уцелел хороший, умный человек, который может говорить все, что думает! Но я чувствовал, что если до Нуайона действительно девяносто километров, то нейтральная Швейцария — на другой планете.

(Барбюс в начале войны думал и переживал события, как Жан-Ришар Блок. Книга Ромена Роллана вызвала нападки шовинистов, сочувственные отклики людей, не потерявших головы, но никого не поколебала. «Огонь» Барбюса был продиктован не раздумьями одинокого человека, а горем людей, их гневом — он родился в крови, в грязи окопов; и эта книга сыграла огромную роль в пробуждении миллионов людей.)

Война стала позиционной. В окопах продрогшие солдаты искали на рубашках вшей. Начался тиф. Шли атаки и контратаки за обладание знаменитым «домом паромщика». В Аргоннском Лесу саперы закладывали мины. Сводка бывала короткой, а тысячи людей каждый день умирали.

Приходили письма от Тихона. Мы узнали, что русские добровольцы попали в Иностраннный легион; унтер-офицеры грубы, называют добро-

вольцев «метеками» (презрительная кличка иностранцев), говорят, что «метеки едят французский хлеб». (Как будто фронт в Шампани напоминал ресторан!)

История добровольцев, пошедших с флагами и песнями защищать Францию, трагична. Иностраннный легион до войны состоял из разноплеменных преступников, которые меняли свое имя и, отбыв военную службу, становились полноправными гражданами. Легионеров отправляли обычно в колонии усмирять мятежников. Понятно, какие нравы царили в легионе. Русские (в большинстве политические эмигранты, евреи, покинувшие «черту оседлости» после погромов, студенты) настаивали, чтобы их зачислили в обыкновенные французские полки; никто их не хотел выслушать. Издевательства продолжались. 22 июня 1915 года добровольцы взбунтовались, избили нескольких особенно грубых унтер-офицеров. Военно-полевой суд в Каренси приговорил девять русских к расстрелу. Военный атташе русского посольства А. А. Игнатъев, возмущенный несправедливостью, добился отмены приговора, но приехал слишком поздно. Русские умерли с криком: «Да здравствует Франция!»

Об этом мне рассказал один из добровольцев, которого я встретил в «Ротонде» (он потерял на фронте ногу, и его освободили от дальнейшей службы). Признаюсь, впервые я подумал о военном враче, который забраковал мое сердце, без обиды...

В Париже (хотя до Нуайона было всего девяносто километров) жизнь казалась крепко налаженной. Клемансо обличал Пуанкаре, Бриан, который был прекрасным оратором, произносил блистательные речи. Снова открылись театры; сначала ставили патриотические пьесы в пользу раненых солдат; потом перешли на обыкновенные комедии и мелодрамы. До войны дамы приглашали на «чай-танго». В начале войны начались «чай-вязание» — дамы собирались, чтобы посплетничать, и при этом вязали солдатские фуфайки. Кондитеры делали шоколадные конфеты в форме снарядов; ювелиры продавали брошки — золотые пушки; почтовая бумага для нежных цидулок была украшена трехцветными флагами.

Молоденькая жена владельца гостиницы, где я жил, начала пускать на час проституток с клиентами; смущенно улыбаясь (ей было двадцать лет), она говорила: «Ничего не поделаешь — это война...» Солдатам давали время от времени отпуск на шесть дней. Возле Восточного вокзала бродили тысячи проституток — ожидали отпускников. В газетах печатались объявления о каких-то чудодейственных панцирях, которые предохраняют солдат от пули. Озлобленные женщины искали «укрывающихся» в тылу; раз при мне человек, преследуемый двумя женщинами, которые не верили, что он инвалид, вынул из орбиты искусственный глаз. По тротуарам прыгали одноногие инвалиды. В кабаре пели куплеты о герое, который убил сто бошей и переспал с сотней красоток.

Мобилизованных художников отправили камуфлировать грузовые машины; оказалось, что для камуфляжа нужно разбивать плоскость, и по улицам шли грузовики, напоминавшие полотна кубистов.

Денег у меня не было; частные переводы из России не разрешались. Я работал ночью на товарной станции Монпарнас — помогал выгружать снаряды. (Там врачи не осматривали нанимающихся.) Рабочие вначале надо мной подтрунивали; я ходил в высокой шляпе, и они меня прозвали «шляпой» — впрочем, по-французски это не звучит обидно. Работали старики, больные; я с ними подружился; во время перерыва в полночь мы ели — это называлось «завтраком», — рассказывали смешные истории. Утром я шел в гостиницу и полдня спал, потом отправлялся в «Ротонду».

Многие из завсегдатаев «Ротонды» были на фронте: Леже, Кислинг, Гийом Аполлинер, Блез Сандрар, Глез. Диего Ривера хотел пойти доб-

ровольцем, но его не взяли, как меня, объяснили, что его ноги никуда не годятся. «Ротонда» и до войны была тем местом, где катастрофичность выдавалась каждому посетителю вместе с чашкой кофе; естественно, что, когда смутные предчувствия стали будничным бытом Европы, Пикассо был этим менее удивлен, чем булочница, у которой он покупал хлеб. Булочница была вдовой, детей у нее не было; она приспособилась к войне, но вдруг начинала всхлипывать: «Нет, вы скажите, кто это придумал?.. Они все сошли с ума, вот что я вам скажу, и если мне кто-нибудь объяснит, почему они стреляют, я ему дам сейчас же двадцать франков! А вы знаете, сколько теперь стоит килограмм масла?..» Пикассо как будто знал заранее все, что должно было произойти. Он много работал; под вечер приходил в «Ротонду». Я встречался с ним, с Диего Риверой, с Модильяни. Я был измучен ночной работой, читал Достоевского и апокрифы, писал стихи, которые становились все более и более исступленными. Случайному посетителю могло показаться, что «Ротонда» расположена в нейтральном государстве, а на самом деле «Ротонда» жила в ощущении катастрофы еще задолго до 2 августа 1914 года. В 1913 году мы все читали поэму Блеза Сандрара «Проза сибирской магистрали и маленькая Жанна». Сандрар писал: «Я видел тихие эшелоны, черные эшелоны, они возвращались с Дальнего Востока, как призраки. Мой глаз их сопровождал — фонарь последнего вагона. На станции Тайга сто тысяч раненых лежали в агонии. В Красноярске я видел лазареты. Я видел эшелон потерявших рассудок. Пожар был на всех лицах, пожар занимался во всех сердцах...»

(Удивительный человек Блез Сандрар! Его можно было бы назвать романтическим авантюристом, если бы слово «авантюрист» не утратило своего подлинного значения. Сын шотландца и швейцарки, замечательный французский поэт, оказавший влияние на Гийома Аполлинера, человек, узнавший все профессии, исколесивший весь мир, он был дрожжами своего поколения. Когда ему было шестнадцать лет, он отправился в Россию, потом в Китай, в Индию, вернулся в Россию, уехал в Америку, в Канаду; был добровольцем в Иностранном легионе, потерял на войне правую руку; побывал в Аргентине, в Бразилии, в Парагвае; был истопником в Пекине, бродячим жонглером во Франции, снимал с Абелем Гансом фильм «Колесо», покупал в Персии бирюзу, занимался пчеловодством, работал трактористом, написал книгу о Римском-Корсакове; никогда я не видел его опустошенным, оробевшим, отчаявшимся.)

Начали налетать «цеппелины». В лунные ночи большой воздушный корабль повисал над городом; в него стреляли, но он едва шевелился — противовоздушная оборона была слабой. Мы любовались и ругались. Потом нас начали загонять в метро. Я впервые услышал крик сирены; и опять-таки больше всего меня поразило название: сирены Эллады очень нежно пели, именно пением они сводили с ума мореплавателей, и хитроумный Одиссей заткнул воском уши своих товарищей; а у сирен двадцатого века препротивный голос, их песни я слушал потом не раз и в Испании, и в Париже, и в Москве. Войны не походили одна на другую, но сирены в 1941 году выли точно так же, как в 1915-м. В метро было шумно, как на ярмарке; продавали китайские орешки и портреты Жоффра. Влюбленные целовались — глупо было терять время из-за каких-то «цеппелинов»... Утром мы глядели на распотрошенные дома; среди мусора валялись семейные портреты, осколки посуды, сплюснутая детская кровать. Соседи стояли, рассказывали о жертвах, плакали. Смерть начала казаться старой знакомой.

Была среди завсегдаево «Ротонды» художница Васильева; она занималась живописью, а кроме того, делала куклы — любители их покупали. Это была энергичная, общительная женщина; во время войны

она организовала столовую, где художники могли дешево обедать. Иногда в столовой собирались вечером, пили, декламировали стихи, пророчествовали и просто кричали. Я порой приходил туда и, как все, прорицал или ругался.

Мне случайно попала в руки книга — письма поэта Макса Жакоба. В 1915 году он писал Гийому Аполлинеру, старшине артиллерийской бригады: «У нас довольно крупный русский поэт Илья Эренбург; он перевел мне свои стихи. Он считает себя учеником Жамма, но он больше напоминает тебя или Гейне. У него в стихах нечто вроде Страшного суда, идет за стариком, который сидит в кафе, — разве вы не знаете, что пришел Страшный суд? Нужно идти! А старик отвечает: «Что там? Страшный суд? Не могу — меня к ужину ждут...» Не все его стихи достигают подобной силы, но хотелось бы побольше поэтов, таких сильных, как этот человек...» (Кому-то я тогда казался сильным, но это была сила отрицания, сам я часто думал о своей слабости.)

Макс Жакоб сказал, что хочет перевести несколько моих стихотворений на французский язык. Работали мы у него; он жил на Монмартре, в маленькой комнате. По-прежнему он приходил в «Ротонду» чрезвычайно элегантно, а возвращаясь домой, снимал выходной костюм, аккуратно складывал его в сундук и облачался в замызганную курточку.

Были у Макса Жакоба некоторые черты, сближавшие его с другим Максом — Волошиным: оба, помимо поэзии, занимались живописью, оба обожали игру, дурачества, мистификацию. Когда Макс Жакоб попал под машину и скорая помощь отвезла его в госпиталь, он умолял, чтобы врачи предупредили его дочь, хотя никакой дочери у него не было. Он принял католичество: уверял, что к нему являлись и Христос и Мария. Не знаю, что было от веры, что от игры. Он мне вполне серьезно рассказывал, что богоматерь, явившись к нему, сказала (на арго): «Макс, ты паскудный...» Крестным отцом был Пикассо.

Подлинной страстью Макса Жакоба было искусство; он писал стихи нежные и насмешливые, то обличал самодовольных буржуа, то по-детски исповедовался, предвидел взлет физики, астрономии, обладал необыкновенным воображением и чувствительностью, которая позволяла ему многое предугадать; писал, что министры и эстеты ведут абстрактные разговоры о чистом искусстве, о величии Франции, а над ними оловянное небо, изрезанное молниями.

Он жил в аббатстве на Луаре; там его застала вторая мировая война. Вскоре Максу пришлось надеть на себя желтую звезду — он был евреем. Он писал друзьям печальные письма: знал, что ему предстоит. Однажды к нему приехал Поль Элюар, участник Сопrotивления: он хотел рассказать Жакобу, чем молодая поэзия Франции ему обязана.

В конце 1917 года в Москве я получил письмо от Макса Жакоба: он сообщал, что переводы моих стихов читали на вечере современной поэзии в «Осеннем салоне». Я не ответил — мы жили в разных мирах...

В январе 1945 года парижское радио передало, что немцы убили Макса Жакоба. Потом я узнал подробности его смерти. В начале 1944 года немцы увезли Макса на пересыльный пункт Дранси. Оттуда евреев отправляли в Освенцим (там погибли все родственники Жакоба). Макс было шестьдесят восемь лет; он заболел и умер в Дранси; спасшиеся рассказывали, что умирал он достойно, стараясь приподнять и пригреть других.

Макс Жакоб переводил мои кощунственные стихи и молился потом богоматери. Я ходил каждую ночь на товарную станцию и выгружал боеприпасы. Пуанкаре торговался с Сазоновым, кому достанется Константинополь. Павел Людвигович рассказал мне о Циммервальдской конференции. Газеты по-прежнему лгали, но я их больше не читал.

Я слушал жадно рассказы отпускников, читал Кеведо, протопопа Аввакума, Вийона, Блока. Я окончательно отошал, ходил черт знает в чем. Клемансо продолжал обличать Пуанкаре. В сводках повторялись названия тех же деревьев. Женщины плакали. Мне чудился трупный запах — война загнивала.

23

Фернан Леже приехал с фронта в обычный шестидневный отпуск и показал мне рисунки, которые он сделал в окопах. Я не художественный критик, да и пишу я книгу не об искусстве; мне хочется, оглянувшись назад, заглянуть в будущее. Я приведу сейчас то, что я писал о военных рисунках Леже в 1916 году; это не оценка историка искусств, а свидетельство современника: «Леже привез с фронта много рисунков. Он рисовал на отдыхе, в землянках, порой в окопах. Некоторые рисунки забрызганы дождем, некоторые разодраны; почти все на грубой оберточной бумаге. Странные, таинственные рисунки. Да, я этого никогда не видел, но мне кажется, что я видел именно это, только это. Леже — кубист, порой он схематичен, порой страшит раздроблением всего, что мы видим, но передо мной — лицо войны. В его рисунках нет ничего личного, нет даже немцев или французов — просто люди. А может быть, нет и людей, люди подчинены машине. Солдаты в касках; крупы лошадей; трубы походных кухонь; колеса орудий, все это — детали механизма. Нет красок: и пушки и лица солдат на войне теряют цвет. Прямые линии, плоскости, рисунки, похожие на чертежи, отсутствие произвольного, увлекательно неправильного. На войне нет места мечте. Хорошо оборудованный завод для уничтожения человечества. Эти листочки — обрывки планов, а срисовал их добродушный нормандец, Фернан Леже...»

Помню один вечер. Мы сидели в «Ротонде», но Леже хотелось поговорить, а кафе во время войны закрывали в десять часов. Мы купили вина и пошли в мастерскую Фернана. Его первая жена, хорошенькая, смешливая Жанна, весело щебетала; она принесла стаканы, банки консервов. Леже вдруг помрачнел: вспомнил, как открывал консервы штыком, испачканным кровью. Выпив красного вина, он оживился, стал рассказывать: «Я там встретил настоящих людей. Кого я знал до войны? Аполлинера, Архипенко, Сандрара, Пикассо, Моды, Макса, тебя. А там я увидел обыкновенных людей. Они и говорят по-другому. Ты знаешь, когда я им сказал, что я живописец, они решили, что я маляр. Вот этим можно гордиться, это тебе не «Ротонда»!..»

Леже потом часто говорил, что война была решающим событием в его жизни и помогла ему найти себя; он говорил даже, что только после войны начал работать самостоятельно.

Я познакомился с Леже задолго до начала войны; он тогда еще жил в «Ля рюш», рядом с Шагалом и Архипенко. Это было время расцвета кубизма, влияние которого было настолько велико, что даже Шагал, этот поэт местечек Белоруссии, много взявший у маляров, расписывавших вывески парикмахерских или фруктовых лавчонок, на короткий срок заколебался.

Леже тогда дружил со скульптором Архипенко, который тоже стал кубистом. Глез, Метценже объясняли философское и эстетическое значение кубизма, говорили об углублении Сезанна, о необходимости разложить формы. Когда я спрашивал Архипенко, почему у его женщин квадратные лица, он улыбался и отвечал: «Гм... Именно потому...» Однажды я остался ночевать в его мастерской — мы выпили слишком много яблочной водки. Я проснулся от лучей солнца. Архипенко крепко спал. Я не хотел его будить и, лежа на полу, разглядывал статуи. Они казались мне гибридами: черт женился на швейной машине. Я тихонь-

ко выбежал на улицу и страшно обрадовался, увидев старьевщика, который рылся в мусорном ящике. Кубизм меня и привлекал и страшил.

Леже в ту пору уже был убежденным кубистом. Я глядел его работы 1913 года и 1918-го — по-моему, разрыва нет. Вообще в творчестве Леже не было резких поворотов. Он был очень верным; никогда не отступал от своего прошлого; дорожил старыми друзьями. В 1913 году он нанял мастерскую на улице Нотр-Дам-де-шан и там проработал около со-рока лет.

Он говорил, что на войне увидел настоящих людей, с ними подружился, но эти люди на его рисунках напоминают детали какой-то чудовищной машины.

Леже не походил на свою живопись; не походил он и на завсегдадая «Ротонды»; в его облике было нечто близкое природе; вероятно, сказано происхождение, детство — зеленая Нормандия, яблони, коровы, крестьянская семья. У Леже были большие руки; он был высокий, с широкой костью, с медленными движениями. Мне он казался скульптурой, только не из камня, а из теплого, живого дерева.

Его роднила с другими художниками, приходившими в «Ротонду», пенависть к лицемерию, к украшению, к драпировке старых, затхлых комнат; но он не носил в себе того жестокого, истребляющего огня, который чувствовался в беглом взгляде молодого Пикассо. Леже в молодости хотелось строить, а не разрушать. Он дожил до семидесяти пяти лет, и в его биографии нет катаклизмов, только смена времен года и работа, постоянная, вдохновенная работа.

Некоторые посетители «Ротонды» увлеклись Октябрьской революцией как стихией разрушения. А потом, узнав, что в России не только продолжают учить детей таблице умножения, но и поощряют художников академического толка, вчерашние «большевизаны» (так газеты называл и сочувствующих) превратились в противников коммунизма. Леже был человеком другого склада, да и другого калибра. Октябрьскую революцию он приветствовал как начало строительства нового общества, никогда от своих суждений не отрекался и умер коммунистом.

Умер он внезапно. Я был в его мастерской за год до его смерти; он показывал новые работы, казался здоровым, бодрым. Работал он до последнего дня и рухнул, как большое, еще зеленое дерево.

Маяковский, который был у него в 1922 году, писал: «Леже — художник, о котором с некоторым высокомерием говорят прославленные знатоки французского искусства, — произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый, вид настоящего художника-рабочего, рассматривающего свой труд не как божественно предназначенный, а как интересное, нужное мастерство, равное другим мастерствам жизни».

Это была эпоха «Лефа», конструктивизма, желания стихами покончить с поэзией. Я расскажу в следующей части моей книги о трагическом поединке Маяковского с искусством. А Леже выстоял — у него были удивительно крепкие ноги и хороший, здравый ум. Когда я доходил до «точки», я шел к Леже, а если его не было в Париже, думал о нем: его живучесть помогала жить другим.

Не знаю от каких «прославленных знатоков» слышал Маяковский пренебрежительные отзывы о работах Леже. В отличие от других посетителей «Ротонды», Леже рано нашел ценителей; в 1912 году он уже подписал договор с торговцем картинами. Конечно, у него как у художника была драма, но другая, чем у Модильяни или у Сутина. Леже покупали любители живописи, а он мечтал о фресках, о керамике, о работе вместе с архитектором, об искусстве для всех. Задолго до «Эспри нуво» Корбюзье, задолго до наших лефовцев он уже говорил об искусстве, связанном с индустриализацией.

Однако, в отличие от лэфовцев, Леже признавал самостоятельное значение искусства: в 1922 году, отвечая на анкету журнала «Вещь», он писал: «Плохой художник копирует вещь и пребывает в состоянии уподобления. Хороший художник изображает вещь и находится в состоянии эквивалентности... Я — живописец, и бессмысленно стремиться передать на плоской поверхности объемные формы. Я оставил вещи. Я взял карандаш...»

В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится», восхваляя машины, индустриальную архитектуру, конструктивизм. Обложку к этой книге нарисовал Леже. Когда я теперь попробовал ее перечитать, многое мне показалось смешным, если не глупым: я в жизни петлял. А путь Леже был прямым, и его рисунок 1921 года связан не только с его ранними рисунками, но и с последними работами.

Драма его была в том, что перед ним были стены гостиных, на которые знатоки вешали его картины, а стен новых общественных сооружений он так и не нашел.

Леже считал, что современная эстетика связана с машиной. Он говорил, что линия теперь важнее цвета. Ему нравился индустриальный пейзаж. Он не раз повторял, что искусство — от Шекспира до Чаплина — живет контрастами. Мне кажется, что есть резкий контраст между мягкостью, лиризмом, человечностью Леже и его художественными убеждениями. Люди на его полотнах часто выглядят роботами, а он ведь ненавидел общество, которое превращает человека в машину.

Еще в давние годы, до первой мировой войны, Леже удивлялся: «Зачем ты ходишь в музеи? Ты — молодой поэт, смотри лучше на самолет, на спортсменов, на заводы, на акробатов в цирке...» Он был испуганным патриотом своего времени; и многие критики его называют наиболее современным художником середины двадцатого века. Не знаю — может быть, я постарел; может быть, напротив, вторая половина нашего века не похожа на годы, когда формировался Леже; но я теперь люблю в искусстве не машины, а то неповторимое, единственное, живое, что отличает одно дерево от другого.

Да, но я говорил не о наших днях, а об эпохе первой мировой войны. Леже и тогда хотел строить, но своей смелостью, своим искусством он помог разрушить многое лицемерное и лживое. Он это делал спокойно, уверенно, без романтических присказок, без внутреннего раздвоения, как архитектор, которому поручено перепланировать город и снести заплеванные трущобы.

24

Я рассказал, как я стал поэтом, — это произошло по необходимости. Журналистом я стал случайно — только потому, что рассердился.

Русские газеты во время войны приходили в Париж с опозданием, сразу по десяти номеров. Мне высылали «Утро России». Я получил как-то пачку газет; прочитал сначала о русских делах; потом увидел статью о Париже «от нашего собственного корреспондента». Прочитал и рассердился. Общий дух статьи меня не удивил: я уже знал, что правда — это военная тайна, которую нужно скрывать, а фразы вроде «до победного конца», «священный союз», «нет больше богатых и бедных», «тыл живет фронтом» настолько примелькались, что их перестали замечать. Рассердило меня другое: автор статьи не знает, что военная форма теперь другая; Клемансо в газете «Эвр» не пишет; кафе, которое журналист красочно описывает, давно закрылось. Почему они говорят о «собственном корреспонденте»? Ведь это написано в Москве. (Я был наивен и не знал, как делают газеты.)

Я пошел в «Ротонду», попросил бумаги и начал описывать парижскую жизнь. Несколько дней подряд, вместо того чтобы спать, я писал. (Я продолжал ночью возить ручные тележки на товарной станции.) Оказалось, написать статью не так просто; то и дело я сбивался на дурную поэтичность; выходило длинно, сентиментально, да и глуповато. Я начал вычеркивать — получилось сухо. Я написал все заново. Кажется, неделю я строчил. Наконец мне показалось, что мой очерк не хуже тех, которые печатали в газетах, и я его отправил с вежливым письмом в «Утро России». Ответа не последовало. Я решил, что «собственный корреспондент» — приятель редактора. Я с детства был упрямым; я не мечтал о карьере журналиста, мне только хотелось доказать редактору «Утра России», что его «собственный корреспондент» выдумка и что я умею писать не хуже сотрудников этой газеты. Значит, нужно послать статью в другую газету. Тема первого очерка мне показалась устаревшей; с большими усилиями я написал другой; показал Макс Волошину; он посоветовал отправить в вечернее издание «Биржевых ведомостей», там пишут если не свободнее, то по крайней мере живее. Название газеты показалось мне обидным: поэт — и вдруг «Биржевые ведомости»! Макс стал объяснять, что ничего тут нет предосудительного. Лучший литературный журнал называется «Меркурий Франции». А Меркурий был богом краснобаев, торговцев, шарлатанов и воров. Как он ни старался, от слова «Биржевка» меня подташнивало; статью я все-таки отослал.

Вскоре я получил длинную телеграмму: редакция сообщала, что мой очерк напечатан, просила присылать другие и, если это возможно, выехать на фронт в качестве специального корреспондента; гонорар выслан.

Я пригласил Макса, Риверу, Маревну, Шанталь; мы чудесно поужинали в ресторане Бати, а потом пошли к Васильевой.

Я написал новые очерки, и мне показалось, что они лучше первых. Но тут пришла газета с моей статьей. Я так огорчился, что ее тотчас разорвал: статью «выправили» — кое-что выкинули, кое-что добавили; ирония исчезла, осталась одна патока. Удивительно, как действует на человека любая обида, если она внове! Потом он к ней привыкает. А привыкает он решительно ко всему: к нищете, к тюрьме, к войне. Но в первый раз даже незначительное унижение кажется неслыханным. Я ходил и все время думал: наверно, петроградские поэты меня презирают — пишу стихи о канунах и печатаю в «Биржевке» сусальные истории... Макс пытался меня утешить: газета не сборник стихов, а военный цензор вовсе не обязан разбираться в романтической иронии.

Я был в плохом виде: почная работа, «Ротонда», чтение газет, романы Достоевского и Блуа, стихи превратили меня в неврастеника. А тут еще приключилось глупейшее происшествие.

У меня был грипп; я чихал, обливался потом; Либион посоветовал выпить два или три стакана грога, причем рома он не пожалел. Я побегал домой за носовыми платками. Открыв шкаф, я обомлел — чужие вещи! Проверил — может быть, я попал в другую комнату? Нет, на столе мои акварели (я увлекался живописью и в свободное время изображал жизнь Вийона, виселицы, солдат, драконов, «Ротонду»). Все же я решил взять носовой платок, но из него выпала сырая отбивная котлета. На меня ползла меховая горжетка. Я кинулся к хозяйке и крикнул ей, что я сошел с ума: у меня галлюцинации. Хозяйка ничуть не удивилась и сказала своему брату (он к этому времени уже научился говорить по-французски): «Эмиль, беги в комиссариат! Пусть сейчас же придут...»

Вместо того чтобы расспросить хозяйку, почему она зовет полицию, я поднялся к себе и, не зажигая света, стал ждать конца. Меня знобило,

все в голове путалось. Я знал, что сейчас за мной придут и отвезут в сумасшедший дом.

Полицейские начали описывать содержимое шкафа; я попытался их спросить, что это все означает, но они только усмехнулись. Среди моих рваных рубашек оказалось дамское белье с кружевами, бальные туфли, галстуки, флаконы духов, коньяк, всяческая живность. Описывали они долго, обсуждали, какие кружева, что за мех... Потом мне дали подписать протокол и сказали, что завтра утром я должен явиться в комиссариат. Я побежал к хозяйке, но было поздно — она уже спала. Я понял, что завтра меня посадят — только не в сумасшедший дом, а в тюрьму. Хорошо сидеть за решеткой, когда у тебя нашли прокламации! Но у меня нашли какие-то поганые котлеты... Все-таки я, наверно, спятил — Модя меня как-то угостил гашишем, вот и результаты! Я лежал в полузабытьи; должно быть, температура подскочила. В комнате стоял трупный смрад. Я зажег свет — трупа не было. Вонь усиливалась. Я решил просидеть остаток ночи на лестнице и вдруг увидел круглый сыр камембер — полицейские его не заметили, он выпал из шкафа и закатился под кровать. Я открыл настежь окно, хотя было холодно. Значит, завтра конек: тюрьма за воровство. А может быть, это все-таки галлюцинации?..

Рано утром ко мне пришла хозяйка и первым делом сказала: «Сколько раз я вас просила не оставлять ключ в двери...» На том же этаже, что я, жил русский, кажется скрипач; у него была подруга, молоденькая француженка, которую задержали в универмаге, когда она набивала товарами свою сумку. Ей удалось предупредить своего возлюбленного. Скрипач хотел поскорее освободиться от украденных раньше вещей. Знал, что моя дверь всегда открыта, и засунул все в мой шкаф...

В комиссариате меня долго допрашивали, издевались, сказали, что я по меньшей мере соучастник. Выручила меня хозяйка гостиницы — она заявила, что видела, как скрипач выходил из моей комнаты. Меня отпустили, я пошел в «Ротонду» и рассказал Модильяни о происшедшем. Он улыбнулся: «Тебя скоро посадят в Санте — ты хочешь взорвать Францию, это все знают...»

Неделю спустя меня вызвали в префектуру. Я начал говорить, что ни горжетка, ни котлеты не имеют ко мне никакого отношения. Чиновник меня прервал: он не любит, когда его разыгрывают; котлеты его не интересуют; но вот я встречаюсь с господами, которые поддерживают Циммервальдскую конференцию. Интересно, почему корреспондент солидной русской газеты ходит в ободранном костюме и работает на товарном вокзале? Кстати, где теперь находится Альфред Кранц?.. Я не знал никакого Кранца и спросил: «Он художник?» Чиновник усмехнулся: «Вы все художники...» Я понял, что мои дела плохи. Может быть, Нострадамус и не предугадал военной авиации, но Модя — настоящий Нострадамус, он ведь говорил, что меня вскоре арестуют за подрывную деятельность...

Допрос длился все утро, а кончился внезапно: чиновник вдруг посмотрел на часы и сказал, что время обедать; меня вызовут в ближайшие дни.

Только позднее я узнал, почему меня допрашивали в префектуре. В «Биржевых ведомостях» был напечатан мой очерк о дамах-благотворительницах: я рассказал, как в церкви Мадлен они устроили крестины солдата сенегальца, который испуганно спрашивал крестную мать: «А это не больно?..» Военные власти рассердились, узрев в статье издевательство над французской армией. Было решено выслать меня из Франции. Хотя я был эмигрантом, об этом поставили в известность русское посольство. Советник посольства Севастопуло рассказал об инциденте военному атташе. Алексей Алексеевич Игнатъев возмутился; он

не имел обо мне никакого представления, но увидел в поведении французских властей умаление престижа России: статья ведь пропущена русской военной цензурой и опубликована в Петрограде. Вопросы печати не входили в обязанности Игнатьева; он вел переговоры с Пуанкаре, с Китченером о координации военных действий, о поставке России вооружения; но он добился отмены высылки.

Я узнал об этом месяц или два спустя, когда решил записаться в Ассоциацию иностранной печати; про то, как меня собирались выслать, мне рассказали корреспонденты «Речи» Дмитриев и «Нового времени» Павловский (тот самый, с которым встречался и переписывался Чехов).

С Алексеем Алексеевичем Игнатьевым я познакомился двенадцать лет спустя на литературном вечере: бывший царский дипломат, граф Игнатьев стал скромным сотрудником торгпредства в Париже — он любил народ и верил в него. Работу ему дали не по специальности — он помогал устраивать стенды для выставочных павильонов; на него покрикивали люди, куда менее сведущие, чем он. Был он человеком обаятельным и прекрасным рассказчиком; слушая его, Алексей Николаевич Толстой всякий раз изумлялся его таланту. Принимая гостей, Алексеевич повязывался поварским фартуком и готовил в различных котелках изумительные французские рагу. Почти полвека он прожил душа в душу с бывшей актрисой Наташей Трухановой (этот брак в царское время считался мезальянсом, и графа за него попрекали). Наталья Васильевна не надолго его пережила. Несмотря на свое происхождение, на то, что он вырос и сформировался в прежней России, Игнатьев был настоящим демократом: он принял революцию не потому, что она сулила сильную Россию, а потому, что она уничтожала сословные и классовые перегородки.

В 1945—1946 годах молодые офицеры просили Алексея Алексеевича рассказать им, как проводили досуг офицеры царской России: некоторым казалось, что можно перенять не только погоны... Игнатьев в ответ рассказывал о кастовом чванстве, о порке солдат, о грубости, пьянстве. Помню, как один капитан разочарованно сказал: «Говорит, как агитатор...» А Игнатьев говорил о том, что его волновало и в 1916 году и в 1946-м.

Хорошо, что он написал книгу воспоминаний: история изобилует ущельями, пропастями, а людям нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну эпоху с другой.

Больше в префектуру меня не вызывали. Дмитриев направил меня в Дом прессы; там помещалась военная цензура; там же иностранных корреспондентов снабжали документацией и устраивали поездки на фронт. В Доме прессы работал человек, который сразу привлек мое внимание, — О. Милош. У него было северное лицо, легкий иностранный акцент; он родился в Литве, но писал стихи по-французски. Мне говорил о нем Макс Жакоб. О. Милош стал известен только после своей смерти — умер он в 1939 году, и несколько лет спустя впервые были изданы все его произведения. Иногда я разговаривал с Милошем не о газетных делах, а о поэзии, о будущем. Он глядел на меня бледными, как будто выцветшими глазами и тихо, спокойно говорил, что, вероятно, скоро изобретут машины, которые будут писать стихи, и тогда какой-нибудь гениальный мальчик в коротких штанишках повесится на галстук своего отца от сознания, что не сможет никогда никого тронуть словом. Мне странно было это слышать от человека, который должен был меня наставлять: О. Милош мог бы великолепно переехать из Дома прессы в «Ротонду».

После многократных заявлений французы повезли меня на фронт с группой журналистов. Для нас выбрали самый спокойный участок, повели быстро по окопам, показали артиллерию; потом мы поехали на

командный пункт, где генерал Гуро угостил нас обедом. Все это походило на туристическое турне. (Впоследствии я не раз ездил на фронт, и эти поездки не напоминали первую.)

Шли жестокие бои на Сомме, где находились английские войска. Я начал хлопотать о пропуске. Англичане не спешили с ответом. Наконец меня вызвали в английскую военную миссию и дали подписать длинное заявление, в котором говорилось, что я обещаю не печатать ничего, не ознакомив предварительно с текстом английскую цензуру, что в случае если меня убьют, мои наследники не будут предъявлять никаких претензий правительству его величества, что я буду подчиняться английским законам, а в случае их нарушения подлежу компетенции английского суда. Мне выдали английскую форму и отвезли в окрестности Амьена; там в комфортабельном доме, недалеко от главной ставки, жили военные корреспонденты — англичане, французы, итальянец Барзини, считавшийся крупным журналистом. По вечерам все пили виски; англичане рассказывали наивные анекдоты или показывали фокусы. Никто нами не занимался: мы могли на попутных машинах добираться до переднего края. Я увидел войну.

Читая в Париже газеты, я все же не мог себе представить, что фронт — это грандиозная машина, планомерно истребляющая людей. Подвиги, добродетели, страдания мало что решали; смерть была механической.

В Кале я увидел, как деловито готовят эту смерть. Две тысячи триста автомобильных частей. Цифры, повсюду цифры. «Часть 617 для танка крупного калибра», «Рули 1301 для мотоциклеток»... Выгружали баранов из Австралии, муку из Канады, чай с Цейлона. Выгружали также очередную партию солдат; они растерянно оглядывались. Огромная пекарня пекла в сутки двести тысяч хлебов. Солдаты жевали хлеб. Война пожирала солдат.

На переднем крае не было ничего — ни развалин, ни деревьев, хотя бы обломанных; голая, бурая земля, ровные ряды проволочных заграждений; в окопах копошились люди.

По прифронтовым дорогам двигались большие грузовики; я их увидел впервые; на них везли в окопы солдат, снаряды, мясные туши; на встречных грузовиках лежали раненые. Регулировщики помахивали флажками. Я рассказываю об этом, потому что теперь многие думают, что первая мировая война еще была романтической...

Вот как я описывал в 1916 году первый танк, который я увидел: «В нем что-то величественное и омерзительное. Быть может, когда-то существовали исполинские насекомые, танк похож на них. Для маскировки он пестро расписан, его бока напоминают картины футуристов. Он ползет медленно, как гусеница; его не могут остановить ни окопы, ни кусты, ни проволочные заграждения. Он шевелит усами: это орудия, пулеметы. В нем сочетание архаического с ультраамериканским, Ноева ковчега с автобусом двадцать первого века. Внутри люди, двенадцать пигмеев, они наивно думают, что они властители танка...» С тех пор не прошло полувека, а танки мне кажутся изобретенными чуть ли не одновременно с порохом. У дипломатов, беседующих о разоружении, имеется термин «классическое вооружение», в отличие от ядерного, и танки, разумеется, стали классиками.

Война оказалась куда страшнее, чем я думал: все было налажено, вычислено. Конечно, в окопах сидели люди, они шли в атаку, умирали, корчились на койках лазарета, агонизировали перед проволочными заграждениями; эти люди, по большей части хорошие, искренне верили, что защищают родину, свободу, человеческие ценности; но они были крохотными деталями гигантской машины. Вскоре научились останавли-

вать танки; а война медленно двигалась, шевеля усами — орудиями, пулеметами, — и никто не знал, как ее остановить.

Я понял, что я не только родился в девятнадцатом веке, но что в 1916 году я живу, думаю, чувствую, как человек далекого прошлого. Я понял также, что идет новый век и что шутить он не будет.

25

Я вернулся в Париж; вначале мне показалось, что я счастлив: после фронта бульвар Монпарнас с террасами кафе, с зелеными платанами, с беспечными девушками напоминал рай. Я сел за столик — художники, поэты; они говорили о том, что Дягилев заказал декорации Пикассо, о новой книге Поля Клоделя, еще о чем-то. И вдруг мне стало скучно: это не жизнь, а скверная подделка. Настоящая жизнь осталась там, откуда я приехал, — она шархается от залпа батареи, путается в проклятой проволоке, зарывается в землю, и все-таки это жизнь...

Я попробовал разобраться в своих чувствах, понять себя — неужели и я хлебнул того спирта, который многим ударил в голову? Как будто нет... Война мне казалась преступлением; в то же время я жил войной. Все это было запутано и непонятно; я бросил думать. Мною овладело отчаяние. Я вдруг начинал придумывать бога — не церковного, а какого-то своего, то свирелого, то юродивого. Я писал стихи о том, что в письме к Брюсову называл «свинством». Теперь, когда я думаю о моем прошлом, годы 1914—1919 мне кажутся самыми трудными: я хотел той «общей идеи», о которой писал Чехов, а у меня не было даже ясной мысли, как прожить завтрашний день. Потом я выбрался если не на дорогу, то хотя бы на опушку леса; да и стал менее чувствительным — с годами человек обрастает броней; не случайно многие в ранней молодости пишут стихи и помышляют о самоубийстве.

Художница Шанталь пыталась мне помочь. Она была дочерью рабочего, училась в педагогическом институте и увлекалась живописью. Она тоже не знала, как жить, но она крепко стояла на земле. Когда она видела, что у меня опускаются руки, она говорила о запахе смородиновых почек, о холсте, натянутом на подрамник, о том, что на дворе весна, что мы оба молоды. Я отвечал «да»; потом шел к себе и писал стихи о светопредставлении.

Летом Катя позвала меня отдохнуть на юг Франции в Эз, где она жила со своим мужем Т. И. Сорокиным и моей дочкой Ириной. Тихон Иванович вернулся с фронта инвалидом; он читал Владимира Соловьева и был печален. Я старался быть полезным хотя бы в хозяйстве, научился варить макароны. Как-то Катя уехала в Ниццу и попросила меня уложить девочку. Ирине тогда было четыре года. Когда я начал расстегивать ее платьице, она строго сказала: «Не так... Ты ничего не умеешь делать». Это было правдой: я действительно ничего не умел делать — ни работать, ни писать стихи, ни даже отдыхать. Я вернулся в Париж еще более расстроенным.

Макс Волошин меня познакомил с Б. В. Савинковым. Никогда до того я не встречал такого непонятного и страшного человека. В его лице удивляли монгольские скулы и глаза, то печальные, то чрезвычайно жестокие, он их часто закрывал, а веки у него были тяжелыми, виевыми. Он стал приходить в «Ротонду»; пил виноградную водку «мър»; одет был, в отличие от других «ротондовцев», корректно, выглядел средним французским буржуа; не снимал с головы котелка. Помню стихи, которые он сочинил: «Кто-то серый в котелке сукин-сыннет в уголке...»

Борис Викторович был хорошим рассказчиком; слушая его в первый раз, можно было подумать, что он остался боевиком-террористом, зав-

тра вырядится извозчиком и начнет выслеживать царского сановника. На самом деле Савинков ни во что больше не верил. Как-то он сказал мне, что его сломило дело Азефа. До последней минуты он принимал провокатора за героя. Эсеры были встревожены разоблачениями Бурцева, настаивали на проверке. Савинков возмущался: он не позволит чернить благороднейшего человека! Наконец устроили собрание. Азеф, увидав, что дела его плохи, заявил: дома у него документы, опровергающие клевету, через час он их доставит. Все запротестовали: нельзя его выпустить; но Савинков настоял, чтобы одному из старейших членов боевой организации предоставили возможность доказать свою невиновность. Азеф ушел и, разумеется, не вернулся.

Савинков махнул на все рукой и начал писать посредственные романы, показывающие душевную пустоту террориста, разуверившегося в своем деле. Меня всегда поражало, что Борис Викторович считал себя прежде всего боевиком, то есть террористом, а уж потом революционером. В годы войны он стал военным корреспондентом газеты «День», писал о необходимости обороны, восхвалял Гюстава Эрве. Все это было ему самому неинтересно: он оставался безработным террористом.

(У меня был диковинный разговор с левым эсером, террористом Блюмкиным, который убил графа Мирбаха. В начале 1921 года он стоял за Советскую власть. Савинков тогда находился в Париже и поддерживал интервенцию. Узнав, что я еду в Париж, Блюмкин меня спросил, увижу ли я Савинкова. Я ответил отрицательно — наши пути разошлись. Блюмкин сказал: «Может быть, вы его все-таки случайно встретите, спросите, как он смотрит на уход с акта...» Я не понял. Блюмкин объяснил: его интересует, должен ли террорист, убивший политического врага, попытаться скрыться или предпочтительнее заплатить за убийство свою кровью. Бесспорно, встретив Савинкова, он его убил бы как врага; вместе с тем он его уважал как террориста с большим стажем. Для таких людей террор был не оружием политической борьбы, а миром, в котором они жили.)

Савинков рассказывал, как в Севастопольской крепости он ждал казни. Прошлое было освещено мертвым светом разуверения: он говорил, что смерть — дело будничное, неинтересное, как жизнь. Его спас часовой: отдал смертнику свою шинель, а сам остался в камере; Савинков вышел из крепости в военной форме, никто его не окликнул. Солдата повесили. Борис Викторович женился на его сестре. Он любил маленького сына Леву и, говоря о нем, на минуту оживал. Еще он прояснялся, припоминая очень далекое прошлое — детство, русскую природу, ссылку, где он был в ранней молодости вместе с Луначарским и писателем А. М. Ремизовым.

(Во время гражданской войны в Испании я познакомился с сыном Савинкова — Левой. Во Франции он работал шофером грузовика, писал стихи по-русски, рассказы из рабочего быта по-французски. Один из его рассказов Арагон напечатал в журнале «Коммуна». Лева приехал в Испанию, чтобы сражаться в интербригаде. Люди узнали, что он сын «того самого Савинкова», и, веря, что яблоко падает недалеко от яблони, начали засылать его в тыл франкистов. В отличие от отца, Лева был мягким, общительным. Боевые задания он выполнял мужественно, получил тяжелое ранение и заболел туберкулезом. Вернувшись во Францию, он очень бедствовал. Когда началась война, ушел в партизаны, работал с русскими, убежавшими из лагерей. Я его встретил в Париже в 1946 году; он мечтал уехать в Советский Союз. О его дальнейшей судьбе я не знаю.)

Статьи о битве на Сомме или в Вердене Борис Викторович подписывал, как и романы, псевдонимом «В. Ропшин». В романах он рассказал,

что больше не верит в самопожертвование, в подвиг; в военных корреспонденциях, напротив, говорил о величии солдатского подвига, о том, что война возродила людей. Однажды я спросил его, верит ли он в то, что пишет: он усмехнулся, сказал, что я еще очень молод. Я вышел из себя: «Но тогда нужно быть, как собака...» Он опустил свои чугунные веки: «Нет, быть не нужно. Можно написать еще одну статью, вы уже умеете это делать. Можно выпить рюмочку мара, две, только не больше...»

Савинков часто подсаживался к столику, за которым сидела Маревна — так все называли художницу Воробьеву-Стабельскую. Она родилась на Кавказе, попала в «Ротонду» девчонкой; выглядела экзотично, но была наивной, требовала правды, прямоты, честности. Она нравилась Савинкову, но Маревна была с ним очень строга, громко его ругала, называла «старым циником».

А для меня Борис Викторович был частицей военного пейзажа, он напоминал узкую полоску «ничьей земли», на которой нет и травинки, а среди проволок виднеются поломанные винтовки, каски и останки солдат, не дошедших до вражеского окопа.

Я откидывал газету: зачем читать, если все врут? В «Ротонде» обсуждали последние новости. У Дюбуа отняли ногу, Марго собирает деньги на протез. Люси сошла с ума; ее нашли ночью голой на паровозе. Жизнь продолжалась.

Вот и Модильяни! Сейчас он скажет, что все это давным-давно описано в книге Нострадамуса...

Я сидел в холодной мастерской Диего Риверы; мы говорили о том, как ловко теперь маскируют и броню танков и «цели войны». Вдруг Диего закрыл глаза, казалось — он спит; но минуту спустя он встал и начал говорить о каком-то ненавистном ему пауке. Он повторял, что сейчас найдет паука и раздавит. Он пошел прямо на меня, я понял, что паук это я. Я убежал в другой угол мастерской. Диего остановился, повернулся, снова пошел на меня. Я видел и до этого Диего в припадках сомнамбулизма, он всегда с кем-то сражался, но на этот раз он хотел уничтожить меня. Будить его было бесчеловечно: у него начиналась после этого невыносимая головная боль. Я кружился по мастерской не как паук, а как муха. Он находит меня, хотя его глаза были закрыты. Я еле выбрался на лестницу.

У Диего была желтая кожа; иногда он засучивал рукав рубашки и предлагал одному из приятелей кончиком спички что-либо написать на его руке или нарисовать; тотчас буквы, линии становились рельефными. (В Ботаническом саду Калькутты я видел тропическое дерево, на его листьях можно тоже писать кончиком спички, написанное постепенно выступает.) Диего говорил мне, что сомнамбулизм, желтая кожа, рельефные буквы — все это последствие тропической лихорадки, которой он болел в Мексике. Я рассказываю об этом потому, что думаю о жизни и об искусстве Диего Риверы: он часто шел на врагов с закрытыми глазами.

Диего любил рассказывать о Мексике, о своем детстве. Он прожил в Париже десять лет, стал одним из представителей «парижской школы»; дружил с Пикассо, с Модильяни, с французами; но всегда перед его глазами были рыжие горы, покрытые колючими кактусами. кресты на широких соломенных шляпах, золотые прииски Гуанахуато, непрерывные революции — Мадеро свергает Диаса, Уэрта свергает Мадеро, партизаны Сапаты и Вильи свергают Уэрту...

Слушая Диего, я начинал любить загадочную Мексику; древняя скульптура ацтеков как бы сливалась с партизанами Сапаты. Хулио Хуренито — мексиканец; когда я писал мой роман, я вспоминал рассказы Диего. Мне привелось читать, что Хуренито — портрет Риверы; сбивают некоторые черты биографии — и мой герой и Диего родились в Гуанахуато; Хуренито в раннем детстве отпилил голову живому котенку, желая понять отличие смерти от жизни, а Диего, когда ему было шесть лет, распотрошил живую крысу, желая проверить, как рождаются дети. Много других деталей детства Хуренито навеяно рассказами Риверы. Но, конечно, Диего не похож на моего героя: Хуренито думал больше, чем чувствовал, он брал ненавистную ему догму общества и доводил ее до абсурда, чтобы показать, как она порочна. Диего был человеком чувств, и если он иногда доводил до абсурда дорогие ему самому принципы, то только потому, что мотор был силен, а тормозов не было.

Я познакомился с Диего в начале 1913 года; он тогда начинал писать кубистические натюрморты. На стенах его мастерской висели холсты предшествующих лет; можно было различить вехи — Греко, Сезанн. Были видны и большой талант и некоторая присущая ему чрезмерность. В Париже в начале нашего века был моден испанский художник Зулоага; он стал известен картинами, показывавшими гитан, тореадоров, — словом, всем тем, что испанцы называют «españolada», «испанщиной» — стилизацией фольклора. Диего на короткий период увлекся Зулоагой; историки искусств даже определяют некоторые холсты Риверы «периодом Зулоаги». К 1913 году он успел с Зулоагой распрощаться.

Незадолго до того он женился на художнице Ангелине Петровне Беловой, петербуржанке с голубыми глазами, светлыми волосами, по-северному сдержанной. Она мне напоминала куда больше девушек, которых я встречал в Москве на «явках», чем посетительниц «Ротонды». Ангелина обладала сильной волей и хорошим характером, это ей помогало с терпением, воистину ангельским, переносить приступы гнева и веселья буйного Диего; он говорил: «Ее правильно окрестили...»

К кубизму различные художники пришли разными путями. Для Пикассо он был не костюмом, а кожей, даже телом, не живописной манерой, а зрением и мировоззрением; начиная с 1910 года по наше время, кажется, не было года, чтобы Пикассо наряду с другими работами не написал нескольких холстов, которые являются продолжением его кубистического периода: манера устареваает, но свою природу художник изменить не в силах. Для Леже кубизм был связан с любовью к современной архитектуре, к городу, к труду, к машине. Брак говорил, что кубизм позволил ему «полнее всего выразить себя в живописи». Диего Ривере в 1913 году было двадцать шесть лет; но мне кажется, что он еще не видел своего пути, ведь за год до кубизма он мог восхищаться Зулоагой. А рядом был Пабло Пикассо... Диего как-то сказал: «Пикассо может не только из черта сделать праведника, он может заставить господ бога пойти истопником в ад». Никогда Пикассо не проповедовал кубизма; он вообще не любит художественных теорий и приходит в уныние, когда ему подражают. Он и Ривере ни в чем не убеждал; он только показывал ему свои работы. Пикассо написал натюрморт с бутылкой испанской анисовой настойки, и вскоре я увидел такую же бутылку у Диего... Конечно, Ривера не понимал, что подражает Пикассо; а много лет спустя, осознав это, начал поносить «Ротонду» — сводил счеты со своим прошлым.

Кубизм его многому научил; его работы парижского времени мне и теперь кажутся прекрасными. Он иногда писал портреты; написал портрет испанского писателя Рамона Гомеса де ля Серна, передал пестроту и эксцентричность модели (Рамон выступил в Париже с докладом о со-

временном искусстве, стоя на спине циркового слона). Писал Диего Макса Волошина, скульптора Инденбаума, архитектора Асеведо. Портрет Макса Волошина передавал сочетание семипудового человека с легкостью, несерьезностью порхающей птички; голубые и оранжевые тона; розовая маска эстета из журнала «Аполлон» и вполне натуралистический завиток курчавой бороды фавна.

Позировал Ривера и я. Он сказал, чтобы я читал или писал, но попросил сидеть в шляпе. Портрет — кубистический и все же с большим сходством (его купил американский дипломат; Ривера потом не знал о дальнейшей судьбе этого холста). У меня сохранилась литография портрета. В 1916 году Диего сделал иллюстрации для двух моих книжонок: одну напечатал все тот же неунывавший Рираховский, другая была отрисована литографским способом — я писал, а Ривера рисовал. Больше всего Диего увлекали натюрморты.

Ривера был первым американцем, которого я узнал. С Пабло Нерудой я познакомился много позднее — в годы испанской войны. Есть между ними нечто общее: оба выросли на искусстве старой Европы, оба потом захотели создать свое национальное искусство и внесли в него некоторые черты Нового Света — силу, яркость, пренебрежение чувством меры (в Америке обыкновенный дождь напоминает потоп). Диего вместе с Ороско создал мексиканскую школу живописи; во фресках Риверы сказались особенности и его характера и характера Америки — стихийность, техническое многообразие, наивность.

Мы подружились; мы были крайним флангом «Ротонды» — знали, что, помимо старого, печального и рассудительного Парижа, имеются другие миры, да и другие пропорции явлений. Диего мне рассказывал про Мексику, я ему про Россию. Хотя он говорил, что перед войной прочитал Маркса, восхищался он приверженцами Сапаты; его увлекал ребячливый анархизм мексиканских пастухов. А в моей голове тогда все путалось — большевистские собрания и Митя Карамазов в Мокром, романы Леона Блуа, этого запоздавшего Савонаролы, и распотрошенные скрипки Пикассо, ненависть к налаженному буржуазному быту Франции и любовь к французскому характеру, вера в особую миссию России и жажда катастрофы. Мы с Диего друг друга хорошо понимали. Вся «Ротонда» была миром изгоев, но мы, кажется, были изгоями среди изгоев.

Ривера часто встречался с Савинковым; от цинизма он был застрахован своей природой, любовью к жизни, а его увлекали рассказы о том, как этот корректный человек в котелке охотился на великого князя, на министров. Помню один вечер в самом начале 1917 года. Ривера сидел в «Ротонде» с Савинковым и Максом, я — с Модильяни и натурщицей Марго; за соседними столиками Лапинский и Леже о чем-то оживленно беседовали. Когда в десять часов «Ротонду» закрыли, Модии убедил нас пойти к нему.

Я почему-то хорошо запомнил длинный, бессвязный разговор о войне, о будущем, об искусстве. Постараюсь его резюмировать; может быть, отдельные фразы были сказаны и не тогда, но я правильно изложу мысли каждого.

Ле же е. Война скоро кончится. Солдаты не хотят больше воевать. Немцы тоже поймут, что это бессмысленно. Немцы всегда соображают медленнее, но они обязательно поймут. Нужно будет отстраивать разрушенные области, страны. Я думаю, что политиков прогонят: они обанкротились. На их место посадят инженеров, техников, может быть и рабочих... Конечно, Ренуар — хороший живописец, но трудно себе представить, что он живет в наше время. Танки — и Ренуар... Что должно вдохновлять? Наука, техника, работа. И еще спорт...

В о л о ш и н. По-моему, человеку этого мало. Может ли Европа превратиться в Америку? Война разворотила не только Пикардию, но и нутро человека. Гоббс называл государство «левиафаном». Люди могут стать автоматическими тиграми: у них есть опыт, и они приобрели вкус. Я предпочитаю холсты Леже машинам. Быть рабом неодухотворенных существ меня не соблазняет.

М о д и л ь я н и. Вы все чертовски наивны! Вы думаете, кто-то вам скажет: «Миленькие, выбирайте»? Меня это смешит. Теперь выбирают только самострелы, но их за это расстреливают. А когда война кончится, всех посадят в тюрьму. Нострадамус не ошибался... Всех облачат в костюмы каторжников. Самое большее — академикам предоставят право носить штаны не в полоску, а в клетку.

Л е ж е. Нет. Люди изменились, они просыпаются.

Л а п и н с к и й. Это правда. Конечно, капитализм ничего больше не может создавать, он теперь только разрушает. Но сознание растет. Может быть, мы накануне развязки. Никто не знает, где это начнется — в Париже, в окопах или в Петербурге...

С а в и н к о в. «Сознание» — миф. В Германии было очень много социалистов, а когда скомандовали «эйн, цвай», они зашагали. Самое поганое впереди.

Л а п и н с к и й. Нет, самое скверное позади. Социалисты могут...

М о д и л ь я н и. А вы знаете, на кого похожи социалисты? На плешистых попугаев. Я это сказал моему брату. Пожалуйста, не обижайтесь, социалисты все-таки лучше других. Но вы ничего не понимаете. Тома — министр! Какая разница между Муссолини и Кадорна? Ерунда! Сутин написал замечательный портрет. Это Рембрандт, можете верить или не верить. Но его тоже посадят за решетку. Слушай (это к Леже), ты хочешь организовать мир. А мир нельзя измерить линейкой. Есть люди...

Л е ж е. Хорошие художники были и прежде. Нужен новый подход. Искусство выживет, если оно разгадает язык современности.

Р и в е р а. Искусство в Париже никому не нужно. Умирает Париж, умирает искусство. Крестьяне Сапаты не видали никаких машин, но они во сто раз современнее, чем Пуанкаре. Я убежден, что, если им показать нашу живопись, они поймут. Кто построил готические соборы или храмы ацтеков? Все. И для всех. Илья, ты пессимист, потому что ты чересчур цивилизован. Искусству необходимо хлебнуть глоток варварства. Негритянская скульптура спасла Пикассо. Скоро вы все поедете в Конго или в Перу. Нужна школа дикости...

Я. Дикости хватит и здесь. Мне не нравится экзотика. Кто поедет в Конго? Цетлины, может быть Макс, он напишет еще один венок сонетов. Я ненавижу машины. Нужна доброта. Когда я вижу рекламы мыла «Кадум», я знаю, что младенец в мыльной пене чист и добр. Ужасно, что Гинденбург или Пуанкаре тоже были детьми!..

Р и в е р а. Ты европеец, в этом твое несчастье. Европа издыхает. Придут американцы, азиаты, африканцы...

С а в и н к о в. Американцы скоро объявят войну и высадятся. О каких азиатах вы говорите? О японцах?..

Р и в е р а. Хотя бы...

Диего вдруг закрыл глаза. Только Модильяни и я знали, что сейчас произойдет. Лапинский спокойно разговаривал с Леже. Макс, не замечая, что происходит с Риверой, рассказывал ему о видениях Юлии Круденер. Модии и я пробрались поближе к двери. Диего встал и крикнул: «Здравствуйте, господа могильщики! Вы, кажется, пришли за мной? Не тут-то было. Хоронить буду я...» Он направился к Волошину и приподнял его; это было невероятно — Макс весил не меньше ста килограммов.

Ривера зловеще повторял: «Сейчас!.. Головой в дверь... Я вас похороню по первому разряду...»

В 1917 году Ривера неожиданно увлекся Маревной, с которой был давно знаком. Характеры у них были сходные — вспыльчивые, ребячливые, чувствительные. Два года спустя у Маревны родилась дочь Марика. (Недавно я встретил в Лондоне Маревну, она рисует, лепит, пишет мемуары. Марика очень похожа на Диего; она актриса, внешность у нее мексиканская, родной язык французский, была замужем за англичанином и любит говорить, что она наполовину русская.)

Приехав в Париж весной 1921 года, я, конечно, сразу разыскал Ривера; он жил все в той же мастерской. Перед этим он побывал в Италии, восхищался фресками Джотто и Учелло; рисовал; то были первые наброски его нового периода. Он был увлечен Октябрьской революцией, рассказами о «Пролеткульте»; собирался к себе на родину.

Вскоре он начал покрывать стены правительственных зданий Мехико грандиозными фресками. Я читал о нем, видел иногда репродукции его фресок, но с ним не встречался. В 1928 году он был в Москве; мы с ним не виделись — он миновал Париж. Как-то пришла ко мне одна из его бывших жен, красивая мексиканка Гваделупа Марин; она разыскивала в Париже ранние работы Диего.

Ривера стал знаменит; о нем писали монографии. Его пригласили в Соединенные Штаты; он написал портрет одного из автомобильных королей — Эсделя Форда; Рокфеллер заказал ему фрески. Ривера изобразил сцены социальной борьбы, Ленина. После долгих переговоров фрески были уничтожены.

В 1951 году в Стокгольме я пошел на большую выставку мексиканского искусства. Древняя скульптура ацтеков меня потрясла; она напоминала древнюю скульптуру Индии, Китая. Поражали пути цивилизации: от архаики, от монументальности ацтеки сразу перешли к вычурному барокко. Потом я поднялся на второй этаж и увидел работы Риверы. Станковые полотна показывали живописную силу. Были и репродукции стенной живописи. Я ее не почувствовал, наверно не понял. Порталы готических соборов представляют каменную энциклопедию эпохи, но люди тогда не умели читать. Фрески Риверы — это множество рассказов: то об истории мексиканской революции, то о прививках против оспы, то об экономике Нового Света. Он не забыл итальянских уроков, его мексиканки наклоняются, танцуют и спят, как флорентийские дамы пятнадцатого века. Он хотел соединить национальные традиции с современной живописью, как это пытались сделать многие индийские или японские живописцы. Я понял вдруг его упреки, обращенные к советским художникам: почему они пренебрегают «народным искусством — лаковыми коробочками». Вероятно, будь он русским, он попытался бы соединить раннего Ривера с Палехом...

Впрочем, я начинаю говорить о моих художественных вкусах, а это не к месту. Лучше сказать, что Ривера попытался разрешить одну из труднейших задач нашей эпохи: создать стенную живопись. Через всю жизнь он пронес верность народу; много раз ссорился и мирился с мексиканскими коммунистами, но с 1917 года и до смерти считал Ленина своим учителем.

Он приезжал в Вену на Конгресс сторонников мира; это было в 1952 году. Я сказал ему, что на мексиканской выставке мне понравились работы Тамайо. Диего рассердился, обвинил меня в формализме; вместо встречи друзей после тридцатилетней разлуки вышел скучный диспут о станковой и стенной живописи. Потом он приезжал в Москву лечиться; пришел ко мне. Мы провели вечер в воспоминаниях — так разговаривают люди, когда чемоданы упакованы и полагается присесть перед

длинной дорогой. Все, что в нем было детского, прямого, сердечного, что меня когда-то трогало, встало в этот последний вечер. Больше мы не видались.

Он был из тех людей, которые не входят в комнату, а как-то сразу ее заполняют. Эпоха теснила многих, а он не уступал, и тут потесниться пришлось эпохе.

27

Я посылал в «Биржевку» письма, преисполненные негодования: почему мои фронтовые очерки появляются в исковерканном виде? Письма не помогали. Я продолжал писать очерки и постепенно привык к тому, что мои статьи приглаживают, а иногда даже приписывают мне чужие мысли. Шел третий год войны, и все ко всему привыкли; это было самым страшным.

В маленьком городке Пикардии Альбере, в полуразрушенном доме, жила кабатчица с четырьмя детьми. Она больше не обращала внимания на снаряды, жаловалась, что подорожало вино — сто шестьдесят франков гектолитр. Она бойко торговала — солдаты пили подорожавшее вино. Ее детям казалось, что люди всегда жили под обстрелом.

Возле английской батареи была мельница; конечно, она не работала, но старик мельник остался в своем домике. Немцы били по батарее, а старик думал об одном: боялся, что солдаты растащат мешки из-под муки или их испачкают.

В погребях Реймса шла будничная жизнь: в одном погребе печаталась газета «Восточный вестник», в другом была школа, в третьем — парикмахерская.

В маленьких французских городках до войны имелся обязательно *сгеиш публис* — служащий мэрии, который обходил улицы с барабаном и выкрикивал: у такого-то сбежала собака, такой-то потерял портфель. Радиоприемников еще не было, и о мобилизации французы узнали от этих «герольдов». В Компьене я видел старика с барабаном; ложились снаряды, а он хрипло выкрикивал, что одна дама потеряла брошку, нашедшему будет дано вознаграждение.

В окопах шла океанная и все же будничная жизнь: ждали почты, давили вшей, ругали офицеров, рассказывали похабные анекдоты; потом умирали.

Английские солдаты каждый день обязательно брились: смерть смертью, но нельзя не побриться.

Гийом Аполлинер был влюблен: писал Лю (Луиза де Колиньи-Шамийон) письма, писал ей стихи. Светская дама, Лю от него отвернулась. Он жил с войной: «Есть тысячи елок, сломанных снарядами... Есть солдаты, которые ночью пилят доски на гробы... Есть кладбище в пяти километрах отсюда, уставленное сплошь крестами...» В окоп принесли почту. Гийом Аполлинер раскрыл очередной номер журнала «Французский Меркурий», где была напечатана его статья, и в эту минуту осколок снаряда тяжело ранил его в голову.

Возле Ланса я как-то спросил французского солдата, который копшился подле чудом уцелевшего домика, можно ли пройти дальше — обстреливают ли немцы дорогу. Он ответил, что не знает — он ведь не на фронте, он приехал на шесть дней к жене, которая осталась в этом домике.

В одной деревне зуавы разыскивали женщину, которой было далеко за сорок; они восторженно кричали; у домика выстроился хвост. Военное командование открыло публичные дома для солдат. В лагере Мальи были «французские дни», «бельгийские».

Зима была невиданно суровой, замерзла Сена. Не было угля. Люди мерзли. Правительство твердило об экономии; решили два дня в неделю обходиться без пирожных; в дорогих ресторанах можно было получить закуски, суп, рыбу, а после этого только одно мясное блюдо — или бифштекс или утку, — ничего не поделаешь, третий год войны!.. Дамские портные, как всегда, диктовали новые моды: короткие юбки, маленькие шляпы, похожие на солдатские, костюмы голубоватого, защитного цвета. В газетах печатались рекламы духов, снотворных препаратов, протезов для инвалидов. Газеты писали, что аскетизм не к лицу французам, он — признак слабости, а Франция уверена в победе. Кинотеатры были переполнены; каждую неделю показывали новую серию «Тайн Нью-Йорка».

Однажды с Диего Ривера я увидел в маленьком кинотеатре незнакомого мне актера. Он бил посуду и мазал краской элегантных дам. Вместе с другими мы гоготали; но когда мы вышли из зала, я сказал Диего, что мне страшно: этот маленький смешной человечек в котелке показывает всю нелепость жизни. Диего ответил: «Да, это трагик...» Мы сказали Пикассо, чтобы он обязательно посмотрел фильм Шарло — так тогда называли еще никому не известного Чарли Чаплина.

В «Ротонде» художники продолжали толковать о кубизме. В штабе армии угрюмый капитан сидел над ворохом фотографий. Впервые я увидел землю, снятую с воздуха: это чрезвычайно напоминало рисунки Метценже или Глза. (В 1948 году Пикассо прилетел во Вроцлав и, смеясь, сказал мне: «Мир сверху похож на некоторые мои холсты...»)

На английском фронте в бараках «Объединения молодых христиан» выдавали бутерброды; по воскресеньям утром там бывало богослужение, вечером — кино. На стенах висели назидательные плакаты: о любви к богу, о преимуществах трезвости, о том, что нужно остерегаться венерических заболеваний.

Все стали суеверными; мало кто решался закурить третьим от одной спички. Дамы-патронессы не теряли времени: всучали солдатам, уезжающим на передовые позиции, ладанки с изображением Лурдской богоматери. Ладанки брали: кто знает?..

(Один сенегалец подарил мне талисман, сказал, что он лучше всяких ладанок; это были зубы — не знаю, немца или француза.)

Унтер-офицеры наказывали сенегальцев впрок — для остротки. Черных посылали на верную смерть. Сенегальцы кашляли, болели, не понимали, где они и почему их убивают. Угрюмо молчали жители Индокитая, маленькие загадочные люди, которых привезли на военные заводы. В те годы кровью выписывался счет, который много спустя был предъявлен к оплате.

1916 год был, кажется, самым кровопролитным: Сомма, Верден. На каждом шагу в Париже можно было увидеть заплаканных женщин. Солдаты стояли насмерть. Накануне второй мировой войны я прочитал дневники Пуанкаре. Вот записи, относящиеся к тем дням, когда шла битва за Верден: «Клемансо, считая, видимо, что отныне министерский кризис стал маловероятным, обрушивается теперь на меня... Буржуа находит, что Бриан слишком склонил весы в пользу противников Жоффра... Нуланс был агрессивен и сыграл на руку радикалам против Тома... Бриан в своей реплике щадил Клемансо...»

Иностранцы корреспонденты жаждали сенсаций, старались завести знакомства с денщиком Галлиени, с шофером Жоффра, с горничной Бриана; в свободное время они волочились за французенками, пытались их подкупить американскими конфетами. Все ругали цензуру. Барзини сиял: ему удалось присутствовать при расстреле; он говорил с раздражением и с восхищением: «Этот мерзавец был удивительно спокоен!» В Париже я ходил в Дом прессы. Милош рассеянно объяснял мне, что

наступление приостановилось из-за дурной погоды; он думал, наверно, о том, что человек обречен.

В том же Доме прессы мне давали бюллетени; речь шла неизменно о «возрастающих ресурсах». Людей становилось меньше, пушек и самолетов больше. Начались массированные танковые атаки. Депутат-социалист Браке рассказал мне, что парламентская комиссия рассматривает скандальное дело, связанное с поставками вооружения. Никогда люди не богатели так быстро, как в те дни. Война была большим предприятием. Я начал тогда думать о «Хулио Хуренито» — хорошо бы рассказать о грандиозном хозяйстве, занятом истреблением людей. В романе я его назвал «хозяйством мистера Куля».

(В моей книге Хулио Хуренито изобретает средство, с помощью которого можно истреблять людей оптом. Я бестолково описал само изобретение, признавшись, что «по моей прирожденной тупости к физике и математике я ничего не усвоил». Хуренито предложил мистериу Кулю использовать оружие массового уничтожения, но тот ответил: «Я прошу вас, дорогой друг, до поры до времени никому о вашем изобретении не говорить. Ведь если так просто и легко можно убивать людей, война через две недели закончится и все мое сложное хозяйство погибнет. А моя родина только еще собирается воевать».

Дальше я писал, что мистер Куль объяснил мне: «Немцев можно добить французскими штыками, а фокусы Хуренито лучше оставить впрок для японцев». Японцы меня часто спрашивают, почему в 1921 году, когда Япония была союзницей Америки, я написал, что новое смертоносное оружие американцы испробуют на японцах. Я не знаю, что им ответить. Почему в 1919 году, задолго до открытий Резерфорда, Жолио-Кюри, Ферми, Андрей Белый писал: «Мир рвался в опытах Кюри атомной, лопнувшей бомбой на электронные струи невоплощенной гекатомбой»?.. Может быть, такие обмолвки связаны с работой писателя?)

Я говорил, что первая мировая война была черновиком; но этот черновик никто не назовет детским лепетом. Шли газовые атаки (одной из жертв был Леже). Инвалидов, с лицами, изуродованными огнеметами, не выпускали из госпиталей: они слишком пугали встречных. Вот моя запись, относящаяся к 1916 году:

«В Пикардии немцы отошли на сорок — пятьдесят километров. Повсюду видишь одно — сожжены города, деревни, даже одинокие домики. Это не бесчинство солдат; оказывается, был приказ. и саперы на велосипедах объезжали эвакуируемую зону. Это — пустыня. Города Бапом, Шони, Нель, Ам сожжены. Говорят, что немецкое командование решило надолго разорить Францию. Пикардия славится грушами, сливами. Повсюду фруктовые сады вырублены. В Шони я сначала обрадовался: груши, посаженные шпалерами, не срублены. Я подошел к деревьям и увидел, что все они подпилены, их было свыше двухсот. Французские солдаты ругались, у одного были слезы на глазах».

Время выдает только одна деталь: саперы на велосипедах...

Осенью 1944 года в Глухове, накануне освобожденной нашей армией, я увидел фруктовый сад, а в нем аккуратно подпиленные яблони; листья еще зеленели, на ветках были плоды. И наши солдаты ругались, как французы в Шони.

Это не новелла писателя, не статья о природе германского милитаризма, это только два дня одной жизни.

В начале войны немецкие солдаты сожгли занятый ими на короткий срок городок Жербевилле (около Нанси). Когда я приехал туда, жители ютились в бараках, землянках. Они рассказывали: из пятисот домов осталось двадцать; сто человек расстреляли. Почему? Этого никто не знал. Почему в Сенлисе или в Амьене солдаты, войдя в город, начали убивать

жителей? Я видел в 1916 году немецкие объявления о казни заложников; такие объявления снова появились на стенах французских городов четверть века спустя...

Говорили, что многое придумал Гитлер; нет, он только многое усвоил, осуществил в грандиозном масштабе. В одном из очерков я приводил текст приказа германской комендатуры местечка Ольтн в районе Сен-Кентена: для уборки урожая все население пятнадцати окрестных деревень (дети с пятнадцати лет) должно было работать с четырех часов утра до восьми вечера. Комендатура предупреждала, что «не вышедшие на работу мужчины, женщины и дети будут наказаны двадцатью палочными ударами».

В 1910 году я поехал из тихого Брюгге в тихий Ипр; там был средневосковский рынок, украшенный изумительными статуями, один из немногих сохранившихся памятников гражданской готики. Я оказался в этом городе в 1916 году; его обстреливала немецкая артиллерия. Вместо рынка я увидел развалины; только одна каменная дама, случайно уцелевшая, продолжала улыбаться. Жители давно были эвакуированы, а солдаты жили в погребках и в землянках. Перед развалинами рынка я увидел двух английских солдат; они говорили о готике, один что-то записывал в книжечку.

Появилось слово «иприт» — так окрестили отравляющие газы, которые немцы применили впервые в битве за Ипр.

В 1921 году я снова увидел развалины Ипра. В землянках жили вернувшиеся жители. Предприимчивые люди построили бараки с вывесками: «Гостиница победы», «Кафе союзников», «Ресторан мира». Тысячи туристов приезжали поглядеть на развалины. Инвалиды, безногие, слепые продавали открытки с видами разгромленного города.

Потом Ипр отстроили, и началась новая война.

Артиллерия два года громила один из древнейших городов Франции — Аррас. На башне ратуши был золотой лев, хранитель свободы. Рухнула башня; солдаты подобрали льва, отослали в Париж. Аррас потом отстроили; а вскоре на город упала первая бомба второй мировой войны. Это похоже на сказку про белого бычка или на миф о Сизифе в аду.

Младший лейтенант Жан-Ришар Блок писал своей жене, что эта война должна быть последней. В письмах он непрестанно спрашивал жену о детях, его младшей дочери Франсуазе было тогда три года. В 1945 году немцы казнили Франсуазу («Франс») в Гамбурге.

В 1916 году, о котором я теперь рассказываю, никто из солдат не мог себе представить, как пережить еще один день; а война всем казалась вечной. На итальянском фронте в окопе сидел молодой Хемингуэй; о том, что было у него на сердце, мы знаем по роману «Прощай, оружие!». Напротив, в австро-венгерском окопе, сидел Мате Залка. Хемингуэй и генерал Лукач (так звали Мате Залка в Испании) в 1937 году встретились возле Мадрида на КП 12-й интернациональной бригады. «Война это всегда пакость», — добродушно говорил генерал Лукач и глядел на карту; Хемингуэй его расспрашивал о боях за Паласио Ибарра.

Приехал в отпуск хозяин гостиницы; мы расцеловались. Он рассказывал, что солдаты смертельно устали, ненавидят политиков, спекулянтов, не верят газетам. «Но что тут поделаешь, — повторял он, — от нас двести метров до бошей. Конечно, солдатам и у них плохо, но генералы приказывают. Я видал, что они сделали с Перроной...»

Я читал газеты, которые мне приносил Лапинский; там писали, что в войне заинтересованы только капиталисты. Я это знал и без газет: слишком много вокруг было лжи, лицемерия, жестокости. Помню карикату-

ру в благонамеренном журнале «Лиллюстрасион» — толстяк в котелке при слове «мир» плачет: «Я поставляю в день четыре тысячи снарядов, вы хотите меня разорить...» Да, в 1916 году это знали все. Но за спиной были не только толстяки в котелках, была еще Франция, ее тихие города со стенами, обвитыми лиловыми глициниями. А немцы в Нуайоне... Никто не знал, что тут можно сделать.

С каждым годом умирают люди, пережившие первую мировую войну; входит в жизнь поколение, не знавшее и второй. Мы кончаем жить, я говорю о моих сверстниках; забыть мы ничего не можем. Одинадцать последних лет я отдаю почти все свои силы, почти все время одному: борьбе за мир. Я пишу эту книгу между двумя поездками, часто откладывая недописанную главу. Друзья иногда говорят, что я поступаю глупо, мог бы посидеть, написать еще роман. А романов на свете много... Я вспоминаю 1916 год — наше бессилие, отчаяние. Если бы хоть чем-нибудь, хоть самым малым помочь отстоять мир!.. Я переворачиваю слова Декарта: можно по-разному думать о назначении жизни, о ее осмысленности, но для того, чтобы думать, необходимо существовать. Я гляжу в окно на малыша; у него чересчур серьезное лицо; он в огромных валенках; хотя снег посерел, он сейчас что-то лепит из последнего, апрельского снега. Этому Декарту всего восемь лет, но он о чем-то думает. Наверно, он додумает то, над чем мы не успели по-настоящему задуматься. Только не нужно, чтобы его убили!

28

Я спрашиваю себя, почему мне трудно писать о Пикассо. Может быть, потому, что он очень знаменит, что о нем написаны сотни книг, что имеются длиннейшие труды, посвященные не только каждой из его работ, но его мастерским, его голубям или собакам, его фуфайкам и кепкам? Да, конечно, Пикассо описывали многие — и его ближайшие друзья и люди, случайно с ним встретившиеся, описывали умно или глупо, талантливо или бесцветно. Но не поэтому мне трудно писать о Пикассо; ведь сколько раз я, как любой писатель, садился за стол, хорошо зная, что хочу показать то, что давно показано. Слов нет, куда труднее описать обыкновенный осенний дождь, чем старт реактивного самолета; но в этой книге я часто пытаюсь рассказать о предметах, не раз описанных до меня и описанных куда лучше. Трудность в другом — в самом Пикассо.

Один крупный художник мне как-то сказал: «Пикассо — гений, но он не любит жизни, а живопись утверждает жизнь». Это правда, как правда и то, что Пикассо страстно любит людей, природу, искусство, жизнь, что никогда в нем не остывает любопытство подростка; многие его холсты говорят не только о красоте жизни, но ее ощущением тепле, вкусе, запахе. Люди, которые пишут о Пикассо, отмечают, что он стремится освежать, распотрошить зримый мир, расчленив и природу, и мораль, сокрушить существующее; одни видят в этом его силу, революционность, другие с сожалением или возмущением говорят о «духе разрушения». (В конце сороковых годов, читая рассуждения некоторых наших критиков о Пикассо, я поражался, что их приговор — разумеется, не по их желанию — совпадал с отзывами Черчилля и Трумэна, которые — один, будучи самодеятельным художником, другой самодеятельным музыкантом, — осуждали бунтаря Пикассо.) Я не раз в жизни ощущал разрушительную силу Пикассо, были периоды, когда я ощущал исключительно это, этому радовался, этим вдохновлялся. Но ведь это факт моей биографии, а не биографии Пикассо. (Теперь некоторые холсты Пикассо мне кажутся нестерпимыми: я не понимаю, почему он способен возненавидеть лицо престарелой женщины.) Справедливо ли назвать раз-

рушителем человека, преисполненного жажды созидания, художника, который свыше шестидесяти лет подряд строил и строит, который смело примкнул к коммунистам, не предпочел анархизма, безразличия или позы скепсиса, куда более легкой для художника? Можно — и это тоже будет правдой — сказать, что Пикассо оживает в своей мастерской, что его раздражает эстетическая неграмотность различных «судей», что он предпочитает одиночество общественной деятельности. Но как при этом забыть его страстность в годы испанской войны, его голубок, участие в движении сторонников мира, партбилет, плакаты, рисунки для «Юманите» и многое другое?

В эпоху монмартрскую («Бато-лявуар»), которой я уже не застал, в эпоху «Ротонды», которую я попытался описать, мы были молодыми, любили озорничать, «обормотствовали». Но Пикассо сохранил страсть к шутке, к розыгрышу до восьмидесяти лет. Он и теперь позирует перед фотографами в голом виде, дурачит сиятельных посетителей, принимает участие в бое быков. У него есть большая серия литографий «Художник и его модели». Художник напоминает то Рубенса, то Матисса в старости; модели — голые натурщицы или персонажи Веласкеса и других старых мастеров; часто среди них молодой шут, и этот шут похож на Пикассо (он смеется над собой и, наверно, собой гордится). Никто в точности не знает, слушая его, где он кончает шутить; он умеет балагурить чрезвычайно серьезно, а серьезные вещи говорит так, что при желании их легко принять за шутку.

Меня иногда спрашивают, как правильно произносить «Пикассо» — с ударением на последнем слоге или на предпоследнем, то есть кто он: испанец или француз? Конечно, испанец — и по внешности и по характеру, по жестокости реализма, по страстности, по глубокой, опасной иронии. Гражданская война в Испании его потрясла; может быть, «Герника» останется самой значительной картиной нашего времени. В мастерской Пикассо на улице Сент-Огюстен я всегда встречал испанских эмигрантов. Испанцам Пабло никогда ни в чем не отказывает. Все это так, но стоит задуматься и над другим. Почему всю свою жизнь он добровольно прожил во Франции? Почему для него был и остался великим Сезанн? Почему его лучшими друзьями были три французских поэта — Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Поль Элюар? Нет, от Франции Пикассо не оторвешь.

Некоторые люди резко меняются, и такие перемены облегчают рассказ: жизнь приобретает элементы того «развития действия», которое прельщает начинающих драматургов. Увлекаясь неожиданными поступками, биографы часто забывают о характере человека. Так бывает и с исследованиями, посвященными поэтам или художникам: футуристический период Маяковского, некрасовский период Блока, испанский период Мане, импрессионистический период Сезанна. Пробуют расчлнить и творчество Пикассо. Казалось бы, ничего нет легче: каждые два-три года он ошарашивал и ошарашивает критиков живописными открытиями. Исследователи устанавливают много «периодов» — голубой, розовый, негритянский, кубистический, энгровский, помпейский и так далее. Беда в том, что Пикассо вдруг опрокидывает все деления. Маяковский, побывав в 1922 году в мастерской Пикассо, успокаивал своих друзей: слухи неверны, Пикассо не вернулся к классицизму. Молодого Маяковского, однако, удивило, что он не нашел у Пикассо никакого «периода»: «Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальной сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации: девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо-реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи по-

мечены одним годом». Маяковский считал, что поэт, который пишет стихи «лесенкой», не может увлечься сонетами. А Пикассо равнодушен к различным эстетическим концепциям. Я не встречал человека, настолько быстро меняющегося и вместе с тем настолько постоянного, верного себе. Когда я был у него в последний раз — в 1958 году в Каннах, — я все время ловил себя на мысли: что за наваждение, весь мир переменится так, что его не узнать, я сам не понимаю своего прошлого, а Пикассо такой же, как сорок пять лет назад! И, думая так, я одновременно знал, что никто не шагнул быстрее его.

Вот почему так трудно говорить о Пикассо: все, что ни скажешь, и правда и неправда. Форма присяги свидетелей на суде в разных странах звучит одинаково. От них сначала требуют говорить «только правду», а потом ставят перед ними задачу, порой непосильную, — сказать «всю правду». Разумеется, если вопрос стоит о том, совершил ли подсудимый преступление, то очевидцу нетрудно сказать всю правду; но когда прокурор или защита начинают допытываться, почему подсудимый стал подсудимым, то они требуют от свидетеля слишком многого — он ведь не Шекспир, не Стендаль и не Толстой. Некоторые авторы пишут, что жизнь и творчество Пикассо изобилуют противоречиями. Это — отписка. Составляя путеводитель по Голландии, легко объяснить, какой в этой стране пейзаж и какой климат: плоские, зеленые поля, каналы, нежаркое лето с частыми дождями, мягкая зима. Но на вопрос, какой пейзаж, какой климат в Советском Союзе, несколькими фразами не ответишь. Вряд ли можно назвать «противоречивыми» горы Кавказа и тундру, персики Крыма и северную морошку. Бывают большие страны. Бывают и большие люди. Сложность всегда кажется изобилующей противоречиями людям, привыкшим к обычным масштабам.

Познакомившись с Пикассо, я сразу понял, нет, вернее почувствовал, что передо мной большой человек. Это было незадолго до начала войны — ранней весной 1914 года. Я сидел в «Ротонде» с Максом Жакобом; пришел Пикассо, сел за наш столик. Макс Жакоб начал рассказывать ему обо мне. Пикассо молчал, а потом сказал, что он любит поэтов и любит русских. Я не понял, говорит ли он всерьез или это ироническая формула вежливости. (Я уже отметил, что лучшими друзьями Пикассо были поэты; а русских он действительно любит, часто говорил мне, что русские похожи на испанцев.) В ту весну на аукционе продавали картины новых художников, и большой холст Пикассо «розового периода» был куплен за огромную сумму; если память мне не изменяет — за десять тысяч франков. Пикассо становился известным.

(Еще задолго до этого некоторые любители «открыли» Пикассо, среди них московский коллекционер Щукин. Пикассо и Матисс рассказывали мне, что Щукин, проходя в мастерскую, тотчас замечал лучшие работы. Матисс пробовал всучить ему менее удавшиеся, а о тех, с которыми не хотелось расставаться, говорил: «Это не вышло.. мазня...» Хитрость не удалась, Щукин в итоге выбирал «неудавшуюся мазню». Вскоре после Щукина в мастерскую приходил Морозов: он доверял вкусу своего соперника, а выбор холстов предоставлял самим художникам. Благодаря коллекциям этих двух москвичей Эрмитаж и Пушкинский музей обладают поразительными собраниями французской живописи второй половины девятнадцатого и начала двадцатого века. Были любители Пикассо и в других странах. В 1950 году чешский поэт Незвал повел меня на окраину Праги, где жил старый пенсионер Крамарж. У него я увидел чудесные холсты Пикассо начала кубистического периода. Крамарж рассказал, что, будучи молодым человеком, он приехал в Париж к Пикассо, денег у него было в обрез; Пикассо был еще мало

кому известен и дешево продал чеху десяток холстов. Крамарж преклонялся перед молодым художником; купив натюрморт с яблоками, который Пикассо только что написал, попросил дать ему яблоко, служившее моделью. Мумию этого яблока он мне показал. Мы вместе написали Пикассо письмо.)

В начале 1915 года, в холодный зимний день, Пикассо повел меня в свою мастерскую, которая находилась недалеко от «Ротонды», на улице Шельшер. Окна выходили на кладбище Монпарнас. Парижские кладбища лишены поэзии русских или английских, это абстрактные города с прямыми улицами, склепами, плитами. В мастерской нельза было повернуться; повсюду лежали написанные холсты, куски картона, жесьть, проволока, дерево. Угол занимали тюбики с красками; столько тюбиков я не видел и в магазине. Пикассо объяснил, что прежде у него часто не бывало денег на краски, и вот, продав недавно несколько холстов, он решил обзавестись красками «на всю жизнь». Я увидел живопись на стене, на поломанном табурете, на коробках от сигар; Пикассо признался, что порой не может видеть незаписанной плоскости. Работал он с каким-то невиданным иступлением. У других месяцы творчества сменялись теми пустотами, когда поэт или художник, по словам Пушкина, «вкушает хладный сон»; а Пикассо всю свою жизнь проработал и продолжает работать с той же яростью. Различные чудачества, которые увлекают репортеров или фотографов, это не жизнь Пикассо, это минуты перекура.

Я спросил, зачем у него жесьть; он сказал, что хочет ее использовать, но еще не знает как. Не было, кажется, материала, над которым он не работал бы. Всю свою жизнь он учился: любит мастерство. Когда ему было сорок лет, он учился у испанского ремесленника Хулио Гонсалеса, как обрабатывать листовое железо; в шестьдесят лет учился искусству литографа, в семьдесят стал гончаром.

В мастерской была негритянская скульптура и большой холст таможенника Руссо, художника-любителя, вещи которого теперь украшают музеи всего мира. Картина Руссо изображала мирную конференцию. Пикассо объяснил мне, что негритянские скульпторы меняют пропорции головы, тела, рук вовсе не потому, что не видят людей, и не потому, что не умеют работать; у них другие понятия о пропорциях, как у японских художников другие представления о перспективе. «Ты думаешь, таможенник Руссо никогда не видал классической живописи? Он часто ходил в Лувр. Но он хотел работать иначе...» Пикассо первый понял, что наша эпоха требует прямоты, непосредственности, силы.

Ему тогда было тридцать четыре года, но выглядел он моложе: очень живые, пронзительные и невероятно черные глаза, черные волосы, небольшие, почти женские руки. Зачастую он сидел в «Ротонде» мрачный, почти ничего не говорил; порой им овладевало веселье, тогда он шутил, изводил приятелей. От него исходило беспокойство, и это меня успокаивало: глядя на него, я понимал, что происходящее со мной не частный казус, не заболевание, а особенность эпохи. Я уже говорил, что иногда Пикассо был мне дорог своей разрушающей силой; именно таким я его узнал и полюбил в годы первой мировой войны.

Принято считать, что в ту эпоху Пикассо был равнодушен ко всему, что называют «политикой». Если понимать под этим словом смену министерств или газетную полемику, то действительно Пикассо в «Матэн» искал скорее анекдоты, нежели декларации. Но я помню, как он обрадовался известиям о Февральской революции. Он подарил мне тогда свою картину; я с ним расстался на многие годы.

Говорят, что дружба, как и любовь, требует присутствия, при долгой

разлуке она чахнет. Я порой не видал Пикассо восемь—десять лет; но ни разу я не встречал чужого, пережившего человека. (Именно поэтому я не помню в точности, когда он мне сказал то-то — мог сказать в 1914-м, мог и в 1954-м...) Помню различные мастерские: на улице Ля Боеси, в парадной буржуазной квартире, где он казался случайным посетителем, чуть ли не взломщиком; на улице Сент-Огюстен, в очень старом доме, там мастерская была большая, с испанцами, с голубями, с огромными полотнами, с тем обдуманым и организованным беспорядком, который Пикассо порождает повсюду; сараи в Валлорисе, жестянки, глина, рисунки, стеклянные шарики, обрывки плакатов, чугунные столбы и хибарка, где он ночевал, кровать, заваленная газетами, письмами, фотографиями; большой светлый дом «Калифорния» в Каннах — дети, собаки и снова груды писем, телеграмм, огромные холсты, а в саду бронзовая пикассовская коза.

Я давно его прозвал шутя чертом. Это русское слово трудно выговорить французу, но по-испански звук «ч» существует, и, улыбаясь, Пабло говорит: «Я — черт».

Если он черт, то особенный — поспоривший с богом насчет мироздания, восставший и неуступивший. Черт обычно не только лукав, но злобен. А Пикассо — добрый черт.

До чего наивны, несведущи или недобросовестны люди, считающие его большой, нелегкий творческий путь оригинальничаньем, желанием «поразить буржуа», любовью к модным «измам»! Он не раз говорил мне, что ему смешно, когда о нем пишут, что он «ищет новые формы». «Я ищу одного — выразить то, что хочу. Я не ищу новых форм, я их нахожу...» Он как-то сказал мне, что иногда, садясь писать, не знает, будет ли холст кубистическим или сугубо реалистическим — это диктуется и моделью и душевным состоянием художника.

В Валлорисе Пикассо позировала одна молодая, красивая американка. Он сделал десятки рисунков, писал ее маслом. На первом портрете американка выглядит такой, какой ее видят окружающие; ни один сторонник реализма в самом узком смысле этого слова не найдет, что возразить. Постепенно Пикассо начал разлагать лицо. Видимо, модель ему раскрылась не только в своей ангельской внешности; он нашел черты, выдававшие ее характер, начал их изучать. «Но это свинья в кубе», — сострил стоящий рядом со мной посетитель выставки, глядя на десятый портрет американки и не подозревая, что портрет красавицы, приведший его в восхищение, был первым портретом «кубистической свиньи».

В 1948 году, после Вроцлавского конгресса, мы были в Варшаве. Пикассо сделал мой портрет карандашом; я ему позировал в номере старой гостиницы «Бристоль». Когда Пабло кончил рисовать, я спросил: «Уже?» Сеанс показался мне очень коротким. Пикассо рассмеялся: «Но я ведь тебя знаю сорок лет...» Портрет Пикассо мне кажется не только очень похожим на меня (лучше сказать — я похожу на рисунок), но и глубоко психологическим. Все портреты Пикассо раскрывают (порой разоблачают) внутренний мир модели. Очень давно, когда я сказал Пикассо о моей любви к импрессионистам, Пикассо заметил: «Они хотели изобразить мир таким, каким они его видели. Меня это не увлекает. Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю...»

Конечно, многие холсты Пикассо трудны для понимания: сложность мысли и чувств, непривычность формы. Мне привелось быть переводчиком при первой беседе между Пикассо и А. А. Фадеевым во Вроцлаве.

Фадеев. Я некоторых вещей ваших не понимаю, лучше я это вам сразу скажу. Почему вы иногда выбираете форму, непонятную людям?

Пикассо. Скажите, товарищ Фадеев, вас учили в школе читать? Фадеев. Разумеется.

Пикассо. А как вас учили?

Фадеев (со своим тонким пронзительным смехом). Бе-а—ба...

Пикассо. Как и меня — «ба»... Ну хорошо, а живопись вас учили понимать?

Фадеев снова рассмеялся и заговорил о другом.

Если задуматься над всем творчеством Пикассо, то станет ясным, как он изменил живопись. После импрессионистов люди увидели природу заново — без очков болонской школы. Художники писали исключительно с натуры: портреты, пейзажи, натюрморты. Композиции стали монополией художников академического направления. Больше всего художники боялись сюжета, как они говорили, «литературщины». Пожалуй, последней композицией, сделанной во Франции большим художником, остаются «Похороны в Орнате» Курбе; эта вещь написана в 1850 году. В 1937 году, почти сто лет спустя, Пикассо написал «Разрушение Герники».

Приехав из Мадрида в Париж, я сразу пошел в испанский павильон на всемирной выставке и замер: увидел «Гернику». Потом я дважды ее видел — в 1946 году в нью-йоркском музее и в 1956 году в Лувре на ретроспективной выставке Пикассо, — и каждый раз я испытывал то же волнение. Как мог Пикассо заглянуть вперед? Ведь гражданская война в Испании еще велась по старинке. Правда, для немецкой авиации она была маневрами, но налет на Гернику был небольшой операцией, первой пробой пера. Потом была вторая мировая война. Потом была Хиросима. Полотно Пикассо — это ужас будущего, множества Герник, атомной катастрофы. Мы видим куски раздробленного мира, безумие, ненависть, отчаяние, небытие.

(Что такое реализм и реалистичен ли художник, который пытается изобразить драму Хиросимы, тщательно выписывая язвы на теле одного или десяти пораженных? Не требует ли именно реальность другого, более обобщенного подхода, где раскрыт не отдельный эпизод, а суть трагедии?)

Сила Пикассо в том, что самую глубокую мысль, самое сложное чувство он умеет выразить языком искусства. Еще подростком он рисовал, как мастер; его линии передают все, что он хочет, — они ему подвластны; он предан живописи, может сердиться, терзаться, если не сразу находит нужный ему цвет.

Была пора, когда у нас культивировалась живопись, похожая на огромные раскрашенные фотографии. Помню в ту пору смешной разговор Пикассо с молодым ленинградским художником.

Пикассо. У вас продаются краски?

Художник. Конечно, сколько угодно...

Пикассо. А в каком виде?

Художник (недоумевая). В тюбиках...

Пикассо. А что на тюбике написано?

Художник (с еще большим недоумением). Название краски: «охра», «жженая съена», «ультрамарин», «хром»...

Пикассо. Вам нужно рационализировать производство картин. На фабрике должны изготавливать смеси, а на тюбиках ставить: «для лица», «для волос», «для мундира». Это будет куда разумнее.

Некоторые авторы, писавшие о Пикассо, пытались изобразить его увлечение политикой как нечто случайное, как прихоть: оригинал, любит бой быков, почему-то стал коммунистом. Пикассо всегда относился очень серьезно к своему политическому выбору. Помню обед в его

мастерской в день открытия Парижского конгресса сторонников мира. В тот день у Пабло родилась дочь, которую он назвал Паломой (по-испански «палома» — голубка). За столом нас было трое: Пикассо, Поль Элюар и я. Сначала мы говорили о голубях. Пабло рассказывал, как его отец, художник, часто рисовавший голубей, давал мальчику дорисовывать лапки — лапки успели надоесть отцу. Потом заговорили вообще о голубях; Пикассо их любит, всегда держит в доме; смеясь, он говорил, что голуби жадные и драчливые птицы, непонятно, почему их сделали символом мира. А потом Пикассо перешел к своим голубкам, показал сотню рисунков для плаката — он знал, что его птице предстоит облететь мир. Он говорил о конгрессе, о войне, о политике. Я запомнил его фразу: «Коммунизм для меня тесно связан со всей моей жизнью как художника...» Над этой связью не задумываются враги коммунизма. Порой она кажется загадочной для некоторых коммунистов.

Пикассо потом сделал еще несколько голубок: для Варшавского конгресса, для Венского. Сотни миллионов людей узнали и полюбили Пикассо только по голубкам. Снобы над этим издеваются. Недоброжелатели обвиняют Пикассо в том, что он искал легкого успеха. Однако его голубки тесно связаны со всем его творчеством — с минотаврами и козами, со старцами и девушками. Конечно, голубка — крупица в богатстве, созданном художником; но ведь сколько миллионов людей знали и почитали Рафаэля по репродукциям одной его картины «Сикстинская мадонна», сколько миллионов людей знают и почитают Шопена только потому, что он написал музыку, которую они слышат на похоронах! Так что снобы напрасно смеются. Конечно, по одной голубке узнать Пикассо нельзя, но нужно быть Пикассо, чтобы сделать такую голубку.

Самого Пикассо не только не обижает, но бесконечно трогает любовь простых людей к его голубке и к нему. Мы с ним были в Риме осенью 1949 года на заседании Комитета мира. После митинга на большой площади мы шли по рабочей улице; прохожие его узнали, повели в маленькую trattoria, угощали вином, обнимали; женщины просили его подержать на руках их детей. Это было проявлением той любви, которой не выдумаешь. Конечно, эти люди не видали картин Пикассо, а увидав, многое не поняли бы, но они знали, что он, большой художник, за них, с ними, и поэтому его обнимали.

На конгрессах — во Вроцлаве, в Париже — он сидел все время с наушниками, внимательно слушал. Мне пришлось несколько раз обращаться к нему с просьбами: почти всегда в последнюю минуту оказывалось, что для успеха конгресса или какой-либо кампании в защиту мира необходимо получить рисунок Пикассо. И как бы ни был он поглощен другой работой, он всегда выполнял просьбу.

Порой некоторые из его политических единомышленников осуждали или отвергали его произведения. Он принимал это с горечью, но спокойно, говорил: «В семье всегда ругаются...»

Он знал, что его картины красуются в музеях Америки, знал, что, когда он хотел поехать в Соединенные Штаты с делегацией Всемирного совета мира, ему не дали визы. Знал и другое: в стране, которую он любил, в которую верил, долго относились отрицательно к его творчеству. Как-то, когда мы встретились, он, смеясь, сказал: «Нам с тобой попало...» Незадолго до того я напечатал в «Литературной газете» статью; конечно, не о живописи, а о борьбе за мир (это было в 1949 году); в статье я говорил, что лучшие умы Запада с нами, и среди других называл Пикассо. К статье сделали сноску: выразили сожаление, что я не критикую формалистических элементов в творчестве Пикассо. Разумеется, антисоветские газеты Франции перепечатали — не мою статью,

а редакционную сноску. Пабло смеялся, говорил, что не стоит огорчаться — сразу все не делается...

Его доверие к Советскому Союзу ничто не могло поколебать. В 1956 году некоторые из его друзей, поддавшись растерянности, предлагали ему дать свою подпись под протестами, декларациями, заявлениями. Пикассо отвечал отказом.

Для меня была большой радостью его выставка в Москве. На открытие пришло слишком много народу: устроители, боясь, что будет мало публики, разослали куда больше приглашений, чем нужно. Толпа провала заграждения, каждый боялся, что его не впустят. Директор музея подбежал ко мне бледный: «Успокойте их, я боюсь, что начнется давка...» Я сказал в микрофон: «Товарищи, вы ждали этой выставки двадцать пять лет, подождите теперь спокойно двадцать пять минут...» Три тысячи человек рассмеялись, и порядок был восстановлен. Открыть выставку от имени «Секции друзей французской культуры» должен был я. Обычно церемонии мне кажутся скучными или смешными, но в тот день я волновался, как школьник. Мне дали ножицы, и мне казалось, что я разрежу сейчас не ленточку, а занавеску, за которой стоит Пабло...

Конечно, на выставке люди спорили; так бывает повсюду на выставках Пикассо — он восхищает, возмущает, смешит, радуется, никого он не оставляет равнодушным.

«Противоречия»... Хорошо, пусть будет так: «В творчестве Пикассо множество противоречий...» Но вспомним даты: его первые вещи были выставлены в 1901 году, а теперь, когда я пишу эти строки, на дворе 1960-й. Мало ли было противоречий за эти шестьдесят лет? Пикассо выразил сложность, смятение, отчаяние, надежду своей эпохи. Он разрушает и строит, любит и ненавидит.

Мне все же повезло! Я встретил в моей жизни некоторых людей, которые определили облик века. Я видел не только туман и шторм, но и тени людей на капитанском мостике. К большим удачам моей жизни я отношу тот далекий весенний день, когда я впервые встретил Пикассо.

Я мало, путано рассказал о нем. Если мне удастся написать последующие части этой книги, я, наверно, к нему еще вернусь. А сейчас мне хочется передать то, что меня потрясло в предреволюционное время и когда я глядел на холсты Пикассо и когда с ним встречался, — это ведь века в моей жизни.

29

Это было утром. Я сидел, как всегда, в пустой «Ротонде» и бился над переводом сонета Дю Белле, который из Рима зывал к Франции: «Зову, кричу, а толка нет — лишь эхо слышу я в ответ. Я — тот, что отстает от стада...»

Меня схватил за руку чрезвычайно возбужденный Фотинский — я не заметил, как он вошел в кафе.

(Художник Серж, или Сергей Фотинский, приехал в Париж задолго до меня. Как все, он голодал, как все, писал пейзажи и свято верил в искусство. Он женился на француженке, но всегда говорил «у нас в России»; получил советский паспорт. Это человек очень добрый и восторженный. В 1936 году он решил съездить в Москву на две недели; прожил в Москве два года; глядел на все с восторгом и с испугом. В 1941 году немцы его посадили в Компьенский лагерь, случайно не убили. Он живет в Париже около шестидесяти лет, но продолжает говорить: «У нас в Советской России...» Говорит он по-русски своеобразно: «Ты берешь авион?» Еще своеобразнее переходит улицу — подымает руку, как бы

предупреждая водителей, что машины должны уважать человека; вид у него при этом Моисей, останавливающего морские волны.)

— Как, ты не знаешь? — кричал Фотинский. — Царя нет!

Я ничего не понял, но обрадовался и обнял Фотинского. На первой странице газеты было напечатано: «Государственный переворот в Петрограде. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила». «Ну и что? — сказал я Фотинскому. — Чем Михаил лучше Николая?» Но Фотинского разочаровать трудно: он побежал за другой газетой, и мы нашли маленькую телеграмму: «В Петрограде забастовки, демонстрации». «Это настоящая революция!» — кричал Фотинский; я его снова обнял.

Стали понемногу приходиться завсегда «Ротонды»; нас поздравляли; спорили, удержится ли новый царь или будет республика. (Мы не знали, что французская цензура задерживала телеграммы, что в Петрограде никто больше не думает о Михаиле, а Совет рабочих депутатов обсуждает, как ему быть с Временным правительством.) Либион сначала сказал, что русские любят все делать не вовремя — достаточно поглядеть на Эренбурга; но, увидев, что мы радуемся, выставил бугылку шипучего вуврэ и выпил с нами за республику.

Трудно было понять, что происходит в России. Самая солидная газета «Тан» писала, что женщины взбунтовались из-за перебоев с доставкой продовольствия, что перебои объясняются снежными заносами, что Николай был связан с германофильскими кругами, а Михаил настроен в пользу союзников. Поскольку генерал Хабалов заявил, что в Петроград будут доставлены большие запасы муки, беспорядки можно считать оконченными.

Два или три дня спустя я пошел с Павлом Людвиговичем в русское посольство. Впервые я заглянул в старинный дом на улице Гренель. Ворота были раскрыты, и двор заполнен взволнованными эмигрантами. Люди что-то кричали, поздравляли друг друга, пели. Мне сказали, что царский посол Извольский принял делегацию и обещал помочь всем политическим эмигрантам вернуться на родину; он предупредил, однако, что дело это сложное: немцы усилили подводную войну; транспорты должны идти под эскортом английских миноносцев; англичане не любят торопиться. Люди не расходились. Все почему-то рвались к советнику Севастопуло; он говорил: «Господа, я вас прошу войти в положение...»

В коридоре на полу я увидел портрет царя — его успели снять со стены. Мне приходится снова повторить, что в первый раз все действует куда сильнее, чем при повторениях. Мне было четыре года, когда на престол взошел Николай II, я знал, что отец его «почил в бозе», а он «благополучно здравствует»; знал, что в Германии — Вильгельм с усами, в Австро-Венгрии — старый Франц-Иосиф, в Англии — Георг V, похожий на нашего Николая. И вдруг я вижу портрет Николая в царском посольстве на полу! А я, Илья Григорьев Эренбург, привлеченный по 102-й статье, стою и пою с товарищами «В бой роковой мы вступили с врагами...» И его превосходительство смотрит на нас умоляюще. Это было необычайно, и я строго сказал Севастопуло: «Вы должны нас немедленно отправить в Россию». Советник кивнул головой и снова попросил всех успокоиться.

«Ты уедешь и не вернешься», — сказала мне Шанталь. Мы долго ходили по пустым темным улицам; накрапывал теплый весенний дождь.

Вскоре выяснилось, что отправлять будут партиями; в первую очередь поедут эмигранты, связанные с политическими партиями, имеющие вес. Раньше лета мне не выбраться... Я вернулся к парижской жизни: ходил в «Ротонду», спорил с Диего об искусстве, переводил Максу Жакобу мои стихи. Однако все время я думал о России; никак не мог представить

себе, что там происходит. Я знал, что газеты лгут. А перед глазами вставали картины старой, сонной Москвы — палисадники с сиренью, вечера у Тани, явки, чайные...

Я пошел на эмигрантское собрание. Я думал, что там тоже будут поздравлять друг друга; но все переругались. Эсер Чернов красиво говорил: «Нужно защитить социализм и Россию». Его манера меня раздражала, но я ему аплодировал. Антонов-Овсеенко, как всегда, горячился, говорил сумбурно, но повторял, что главное — кончить войну; я и ему поаплодировал. Я понял, что отстал от политической жизни, разобраться трудно: на первый взгляд все правы. На следующее собрание я не пошел.

Потом был митинг, организованный в честь русской революции «Лигой прав человека». Огромный зал был переполнен. Выступал историк Олар; он говорил, что русская революция — социальная и что теперь нужно свергнуть кайзера. Некоторые закричали: «Долой войну!» Выступала Северин; я ее знал по некоторым очеркам, немного сентиментальным, но написанным искренне; она была подружкой и душеприказчицей Жюля Валлеса. Северин говорила о подвиге русских женщин, о женах декабристов, о Вере Засулич, о Фигнер, о работницах Петрограда. Я ей зааплодировал; сидевший недалеко от меня Гриша свистнул. Одни запели «Марсельезу», другие — «Интернационал». Праздник окончился дракой.

Газеты были полны восторженных статей об Америке: со дня на день в Гавре должны были высадиться первые американские отряды. Восхваляли всё — и президента Вильсона, и Лилиан Гиш, и американские консервы, и доллары, — это был медовый месяц. Зато газеты говорили о России, как о старой и неверной жене; особенно возмущал их Совет рабочих депутатов; они сочиняли легенды о Чхеидзе — это была первая мишень. Чхеидзе изображался как фанатик, готовый отдать Францию в руки кайзера. Французы не могли выговорить его фамилию; Либион в тоске меня спрашивал, знаком ли я с этим «Шибидзе» и правда ли, что он ненавидит французов. (Н. С. Чхеидзе эмигрировал в 1921 году в Париж. Не знаю, как его встретили французы, но несколько лет спустя он покончил жизнь самоубийством.) В антирусской кампании первое место принадлежало газете «Матэн» — уже в апреле она начала печатать фельетончики, где доказывалось, что русские всегда обожали пруссаков, они легкомысленны и склонны изменять своим друзьям.

Особенно горько пришлось русским бригадам, которых царское правительство прислало во Францию в 1916 году. С самого начала русские солдаты оказались в трагическом положении. Генерал Лохвицкий и его подчиненные пороли провинившихся «нижних чинов». Французы об этом узнали и начали относиться к русским с жалостью и презрением. Когда русских приводили на отдых в деревню, *stieur public* по приказу русского командования возвещал с барабанным боем, что русским солдатам строжайше запрещается продавать виноградное вино. Во Франции вино дают детям; и крестьяне боялись выглянуть из дому: привели на постой дикарей, которым даже вина нельзя пить, они и без вина пьяные...

В июне 1916 года в Марселе произошел первый бунт русских солдат: они убили офицера, отличавшегося особенной жестокостью. Девять «зачинщиков» были расстреляны.

В течение года русские и французы приглядывались друг к другу. У меня записаны некоторые суждения русских о французах — и осуждающие и благоприятные.

«Он говорит «камарад». А какой он товарищ? Нет у них этого, каждый у них за себя».

«Нас ругают, что мы грязные, а вы поглядите на них. У него на голове помада, а год в бане не был. Они грязь не смывают, а загоняют внутрь».

«Народ вежливый, зайдешь в лавчонку — «месье» и «мерси».

«Это у нас норовят драться. А я смотрю, он стоит и докладывает генералу, как будто он с приятелем говорит. Я видал в кафе — сидит французский солдат, пришел полковник, он даже ухом не повел».

«Разве это изба? Да у нас так и не всякий барин живет».

Помню смешной спор, из которого наши вышли победителями. Французы не едят гречневой каши; пробовали ее давать летчикам «Нормандии» — не стали есть. Так вот, французы начали смеяться над русскими солдатами: «У нас это только скотина ест». Русские не сдались: «А вот вы улиток едите, лягушек. У нас и скотина не станет такого есть...»

Все же до лета 1917 года отношения между русскими солдатами и населением были мирными.

В апреле 1917 года французское командование попыталось провести наступление в районе Реймса; в боях приняли участие две русские бригады. Незадолго до этого генерал Нивель принял иностранных журналистов, он расхваливал боевой дух французов, а потом, обратившись ко мне, с нескрываемой иронией добавил: «Я надеюсь, что французский воздух предохранил ваших соотечественников от бляения демагогов...» Русские бригады сражались хорошо, захватили форт, от которого зависела судьба Реймса, но, не поддержанные другими частями, вынуждены были его очистить. Потери были большие.

Первого мая русские солдаты стояли на отдыхе. Устроили большой митинг. Оркестр исполнил «Марсельезу», а потом «Интернационал». Крестьяне были ошеломлены; один сказал мне: «Я понимаю, что они взбунтовались, воевать всем надоело, наши тоже бунтуют... Но почему с ними офицеры? И почему они исполняют «Марсельезу»? Странный вы народ!»

Русские солдаты требовали одного: возвращения в Россию. Трагедия разыгралась позднее: перед моим отъездом я узнал, что русские бригады находятся в лагере Ля Куртин на положении пленных, их собираются отправить в Африку.

Неожиданно я получил от английского командования приглашение приехать на участок, где стояли «анзаки» — солдаты из Австралии и Новой Зеландии. Оказалось, что австралийские солдаты по закону должны принять участие в парламентских выборах; урны поставили недалеко от переднего края. Командир объяснил мне, что русским, наверно, полезно познакомиться с техникой выборов на фронте.

Мною заинтересовались различные люди, конечно не как автором «Стихов о канунах», а как корреспондентом петроградской газеты. Внук Маркса, социалист Жан Лонге, долго говорил мне о конфликте между антиимпериализмом и необходимостью спасти Францию, а потом вдруг уныло засмеялся: «Не помню, кто это сказал, кажется Ницше, что глупо читать нотации землетрясению». На завтраке, устроенном иностранной прессой, военный министр Пенлеве говорил мне о своей любви к Толстому, Чехову, Горькому; у него были умные, хорошие глаза. Он был одаренным математиком, не знаю, почему он увлекся государственной деятельностью.

В Доме прессы мне возмущенно заявили, что в Сен-Рафаэле сенегальцы бунтуют и требуют для солдат «советов». Вскоре выяснилось, что сенегальцы требовали отпусков; но газеты уверяли, будто «русские пытаются подорвать дух храбрых колониальных войск».

В Париже начались забастовки. Первыми выступили «мидинетки» — так зовут модисток, белошвеек, шляпниц. Молоденькие девушки ходили по улицам с задорной песенкой; содержание ее было вполне невинно — работницы требовали «английской недели», то есть короткого рабочего дня в субботу, и надбавки заработной платы. Солдаты-отпускники присоединялись к демонстрациям мидинеток: им нравились девушки, кроме того, они пользовались случаем, чтобы познакомиться парижан с другой, более серьезной песенкой: то и дело они кричали: «Долой войну!»

Начались солдатские бунты. В «Ротонду» пришел отпускник и рассказал, что его товарища, молодого скульптора, расстреляли.

Мне дали пачку немецких газет. Немцы восхищались русской революцией и приветствовали французских солдат, которые протестуют против преступной войны. В самой Германии, однако, никто ничего не кричал. Немецкие дивизии по-прежнему стояли в Шампани, в Артуа, в Пикардии.

Все было тревожно и непонятно. Помню только одно веселое событие. Дягилев поставил балет «Парад»; музыку написал Эрик Сати, декорации и костюмы сделал Пикассо. Это был очень своеобразный балет: балаган на ярмарке с акробатами, жонглерами, фокусниками и дрессированной лошадью. Балет показывал тупую автоматизацию движений, это было первой сатирой на то, что потом получило название «американизма». Музыка была современной, декорации — полукубистическими. Пабло дал мне приглашение на премьеру. Публика пришла изысканная, как говорят французы — «весь Париж», то есть богатые люди, желающие быть причисленными к ценителям искусства. Музыка, танцы и особенно декорации возмутили зрителей. Я был до войны на одном балете Дягилева, вызвавшем скандал,— это была «Весна священная» Стравинского. Но ничего подобного тому, что случилось на «Параде», я еще не видел. Люди, сидевшие в партере, бросились к сцене, в ярости кричали: «Занавес!» В это время на сцену вышла лошадь с кубистической мордой и начала исполнять цирковые номера — становилась на колени, танцевала, раскланивалась. Зрители, видимо, решили, что актеры издеваются над их протестами, и совсем потеряли голову, вопили: «Смерть русским!», «Пикассо — бош!», «Русские — боши!» На следующий день «Матэн» предлагала русским заняться не плохой хореографией, а хорошим наступлением где-нибудь в Галиции.

Каждый день я ходил в какую-нибудь канцелярию: то в русское консульство, то в английское, то во французскую полицию: выехать было не просто. Наконец мне выдали паспорт от имени Временного правительства; оставалось получить визы. Это слово я услышал впервые — до войны никаких виз не было. Настал день, когда у меня оказались все три визы — английская, норвежская и шведская.

Послезавтра я уезжаю! Либион считал, что в каждом порядочном городе существуют кафе и там коротают вечера художники и поэты. Он меня угостил на прощание дивным арманьяком и сказал: «Когда ты будешь пить водку в московской «Ротонде», ты еще вспомнишь старика Либиона...» Диего Ривера радовался за меня — я еду на революцию, а он видел революцию в Мексике, это самое что ни на есть веселое дело. Модильяни мне сказал: «Может быть, мы увидимся, а может быть, нет. Мне кажется, что всех нас посадят в тюрьму или убьют...»

Помню последний вечер в Париже. Я шел с Шанталю по набережной Сены, глядел кругом и ничего больше не видел. Я уже не был в Париже и еще не был в Москве; кажется, я нигде не был. Я сказал ей правду: я счастлив и несчастен. В Париже я плохо жил, и все-таки я люблю

этот город. Я приехал сюда мальчишкой, но я знал тогда, что мне делать, куда идти. Теперь мне двадцать шесть лет, я многому научился, но ничего больше не понимаю. Может быть, я сбился с пути?

Она меня утешала, сказала: «До свидания!» Мне хотелось ответить: «Прощай!»

30

Французы писали на стенах: «Остерегайтесь, вас слышат вражеские уши!» Все только и говорили, что о бдительности. Однажды я поехал из Парижа в Эперне; на моем пропуске было пять печатей пяти различных ведомств: министерства иностранных дел, военного министерства, генерального штаба, «бюро передвижений в военной зоне», «контроля над иностранцами»; я должен был провести пять дней в пяти канцеляриях; я лелеял документ, добытый с таким трудом; но никто ни разу у меня его не потребовал.

Англичане ничего не писали на стенах, и на моем паспорте была всего одна английская виза; но я увидел, что значит бдительность. Меня обыскивали в жизни много раз, никто, однако, не проявлял в этом деле такого мастерства, как англичане. Меня заставили разуться, куда-то уносили ботинки; просмотрели все швы на пиджаке и на брюках; отобрали записную книжку, стихи Макса Жакоба и после долгих пререканий вернули фотографию Шанталь. Все это англичанин делал с милой улыбкой, нельзя было на него рассердиться.

В Лондоне нам сказали, что неизвестно, когда мы поедем дальше и в какой именно порт: это военная тайна. Со мной ехал эстонец Рудди, я его знал по «Рогонде». Мы пошли по очень длинному чужому городу. Все здесь было куда спокойнее, чем в Париже; может быть потому, что война была дальше, может быть и потому, что англичане не любят волноваться. Город мне показался красивым, величественным и унылым. Я подумал: здесь Модильяни посадили бы в сумасшедший дом...

Мы прожили два или три дня в Лондоне. Нас повезли на вокзал; куда мы едем, все еще оставалось тайной. Нас оказалось много — и политические эмигранты и русские солдаты, убежавшие из немецкого плена. Все вагоны были переполнены. Эмигранты, разумеется, сразу начали спорить: одни были «оборонцами», другие стояли за Ленина. В одном купе дело чуть было не дошло до драки.

Повезли нас на север Шотландии. Я вышел на площадку, сказал Рудди, что хочу подышать свежим воздухом. На самом деле я почувствовал, что дышу покоем. Здесь не чувствовалось присутствия истории. Одинокие домики, холмы, покрытые лиловым вереском, отары овец, розовый ирреальный свет северной белой ночи. Природа могла многое рассказать человеку; но мне в то лето было не до мудрости. Я постоял, подышал и вернулся в накуренный вагон, где кто-то хрипло кричал: «А чем твой Плеханов отличается от Гучкова?»

В Обердине нас погрузили на транспорт. Опять было тесно; мы сидели на палубе, прижавшись друг к другу. Нам сказали, что, если будет тревога, каждый должен занять свое место в шлюпке; но людей оказалось больше положенного, и я остался без места в шлюпке. Ночью споры притихли; люди сидя дремали; а море рассказывало о чем-то своем — бурном, но постоянном. Вокруг нашего транспорта вальсировали два английских миноносца. Под утро нам объявили, что замечена подводная лодка. Я перед этим клевал носом. Посмотрев на Рудди, я начал так смеяться, что сидевшая рядом русская дама рассердилась: «В такие минуты можно быть посерьезнее...» Нет, нельзя было оставаться серьезным, глядя на Рудди!

Он был женат на милой француженке, которую мы называли «утконосом». Его теща убивалась: сумасшедший Рудди, он едет в страну, где все теперь вверх дном! Но еще больше ее страшил переезд через Северное море. Она причитала: «Вы не знаете бошей, они обязательно потопят Рудди!» Она увидела в газете объявление: какая-то фирма рекламировала чудодейственный костюм, в котором человек может сколько угодно держаться на воде. Теща купила спасательный костюм для Рудди. И вот он его надел... Можно ли было не смеяться? Я едва выговорил — меня душил приступ смеха: «Ты знаешь, на кого ты похож? На кубистическую лошадь Пикассо...» Рудди оправдывался: он дал слово теще. А я продолжал хохотать. Дама, не выдержав, отошла к шлюпке. Как я мог не смеяться? Тогда меня пугала скорее жизнь, чем смерть; а Рудди был действительно бесподобен.

Английский моряк дал мне спасательный пояс и улыбнулся. Я тоже улыбнулся, но пояса не надел. Я поморщился — вода, наверное, очень холодная; потом вспомнил, что не купил в Обердине английского табака. Солдаты еще до того, как транспорт отчалил, забрались в трюм; там было тепло и уютно. Когда была замечена подводная лодка, им сказали, что нужно подняться на палубу; но они не вышли из трюма — играли в карты, да и не верили в спасательные пояса.

Деревянные домики Бергена мне напомнили московские переулки. Но и здесь не было мира: незадолго до этого пожар уничтожил большую часть города. Христиания мне показалась идилличной. Вот на этой скамье, наверно, гамсуновский Иоганн мечтал о Виктории. А там, в домике на курьих лапках возле фиорда, Бранд говорил: «Все — иль ничего!» Станиславский хорошо играл доктора Штокмана, которого называли «врагом народа». За что? Он предпочел правду. Но что такое правда? Доктор Штокман знал, что целебные источники отнюдь не целебны, это легко проверить в лаборатории. А как проверить идеи?..

В Стокгольме мы задержались на несколько дней: ждали какой-то телеграммы из Петрограда. Стокгольм меня поразил. Я стоял на набережной против королевского дворца, глядел на камни, на воду, на небо, и мне хотелось писать стихи. (Я не знал, что сорок лет спустя этот город войдет в мою жизнь и Стокгольмским воззванием, и частыми посещениями, и новыми друзьями.) Я спрашивал себя: может быть, меня прельщает спокойствие нейтральной страны, где никто не волнуется за жизнь близких, не ждет воздушной тревоги, где в магазинах изобилие товаров? Нет, это меня скорее сердило. Поразило меня другое: скалы среди домов. Построить дом здесь трудно, как взять крепость. Поразило море — оно входит в город, металлическое посвечивание воды, чайки, вмешивающиеся в разговор прохожих. Здесь не было уныния Лондона, его роскоши и диккенсовской нищеты, его величия и сплина. Здесь цепенела каменная печаль, обдуманная и внезапная, как строка поэта; стокгольмцы показались мне не благополучными нейтралами, нажившимися на чужой войне, а кандидатами в самоубийцы.

У Рудди оказались знакомые художники; они позвали нас вечером в ресторан. Я оглядел нарочитую живописность помещения: старые бочки, медные подсвечники, кубистические картины на стенах — Пикассо уже дошел до этой северной окраины Европы. Девушки в бельевых чепчиках, улыбаясь, принесли закуски и водку. Я подумал: все-таки это не «Ротонда»... Мы аккуратно говорили «сколь» и пили водку. Потом к нашему столу подсел очень высокий швед с выпуклыми рачьими глазами; художники объяснили, что это поэт, имени его я не запомнил. Он сказал, что говорит немного по-французски, но разговаривать не стал — молча пил водку. Только ближе к полуночи, выпив немало рюмочек, он сказал мне, что Европа — это Рим эпохи упадка. Апостол Павел разби-

вал статуи греческих богинь, не задумываясь, представляют ли они художественную ценность. Он был прав, но статуи жалко. «Что вы собираетесь делать в России?» — спросил он меня. Я ответил, что не знаю; может быть, меня возьмут в армию, может быть, напишу новые стихи или роман. Он сказал, что теперь можно взять лом, можно взять и носовой платок, чтобы утирать слезы. «Я лично люблю и ломать и плакать, как старая дева над разбитой вазой...» Его рассуждения показались мне понятными; мы выпили еще и на прощание расцеловались.

Утром я вспомнил, что еду в Россию; нужно будет пойти к поэтам, которых я знаю только по книгам; а Петроград или Москва — не «Ротонда»... У меня, например, нет крахмальных воротничков, а бритву я потерял на пароходе. К счастью, у меня оставалось немного денег; я купил безопасную бритву и несколько отложных воротничков.

Поезд шел вдоль Ботнического залива. На тихих станциях белобрысые девушки гуляли с кавалерами. В буфетах на кусках льда лежали леденки. Все было чрезмерно тихо и непонятно. Ночь была совсем белой: солнце опустилось и сразу начало подыматься.

Путь был долгим; наконец мы доехали до последней шведской станции — Хапаранда. Перешли через мост. Вот и русские офицеры — это пограничная станция Торнио. Встреча была неласковой. Поручик, посмотрев на мой паспорт, злобно сказал: «Опоздали! Кончилось ваше царствие. Напрасно едете»... Это было 5 июля. Мы не знали о событиях в Петрограде и приуныли. Поезд шел теперь на юг. На станциях финны сосредоточенно молчали. В Хельсинки кто-то нам рассказал, что в Петрограде большевики попытались захватить власть, но их усмирили. В вагоне атмосфера накалилась. Один из «оборонцев» кричал о «пломбированном вагоне», о «предательстве» и вдруг сказал: «Мы поможем разобраться... Вы что хотите — бунтовать? Не выйдет, голубчики! Свобода свободой, а вам место в тюрьме...» Тотчас один из эмигрантов, присоединившийся к нам в Лондоне тщедушный еврей, который все время терял очки и глотал какие-то пилюли, вскочил и тоже стал кричать: «Не тут-то было! Пролетариат возьмет власть в свои руки. Кто кого посадит — это еще вилами на воде писано...»

Я как-то съезжился: в Париже все говорили о «бескровной революции», о свободе, о братстве, и вот еще мы не доехали до Петрограда, а они грозят друг другу тюрьмой. Я вспомнил камеру в Бутырках, парашу, маленькое оконце... В Хельсинки офицер, захлебываясь от восторга, рассказывал: «Казачи им всыпали... А как прикажете с ними разговаривать? Ведь это босячьё! Хорошая пулеметная очередь! Другого языка они не понимают...»

Я стоял в коридоре у окна. Кругом лежали солдаты, женщины прижимали к себе огромные тюки. Нельзя было повернуться. Я глядел в окно. Сколько солдат!.. Вид у них странный — измученные, плохо одеты, ругаются...

Почему все ругаются?..

А вот еще граница — Белоостров. Снова проверяют документы, осматривают вещи и снова ругаются. Офицер приказал меня обыскать. В кармане пальто обнаружили воротнички и бритву; офицер унес их в другую комнату, сказал, что на крахмальных воротничках теперь пишут секретные инструкции; о бритве не упомянул, но вернуть ее отказался. Нас провели в грязное помещение, сказали, что в Петроград мы поедем под конвоем, как военнообязанные: нас сдадут воинскому начальнику. Все это сопровождалось бранью.

Действительно нам дали конвойных. Поезд прошел немного и остановился на полустанке. Солдаты штурмовали переполненные вагоны. Кто-то сказал, что везут царских охранников. Солдаты улюлюкали, один

крикнул мне: «Вот поставят тебя к стенке, это тебе не шампанское...» Офицер показал на меня даме: «Видишь — в шляпе — еще один «пломбированный». Хорошо, что сразу сцапали...»

Поезд двинулся и сейчас же остановился возле домика стрелочника. Маленькая девочка загоняла гусей. У нее была жиденькая косичка с ленточкой. Она посмотрела на меня: я улыбнулся, и в ответ увидел ее застенчивую улыбку. Мне сразу полегчало.

Бабка на площадке истошно кричала: кто-то украл у нее мешок с сахаром. «Перебить их нужно всех», — сказал опрятный старик в парусиновом пиджаке. Я не стал гадать, кого он хочет перебить — воришек или спекулянтов; я вдруг обрадовался: все кругом говорят по-русски!

Заводские трубы. Пустырь с примятой травой, с желтыми цветами — совсем как на Шаболовке. Прокопченные дома. Вот я и дома...

Конец первой книги

1960 г.



АНДРЕЙ МАЛЫШКО

★

НАЧАЛО СКАЗКИ

Снова память сказкой разбудило,
Зашумел воспоминаний сад.
Девочка по ягоды ходила,
Не вернулась девочка назад.

Кто обнимет старенького деда,
Матери погладит нней кос?
Серый волк промчал по тропам где-то,
В чашу леса девочку унес.

Нес ее долинами, умаялся,
Всё о свадьбе спрашивал у аиста,
Говорам звериным обучал,
Зайцам сон ее препоручал.

Угощал орехом боль-беду мою,
Вел гулять на травку, на между...
Что там дальше будет, я придумаю,
Домечтаю, вам перескажу.

Пусть и мне хоть что-нибудь достанется —
Не сидеть с тоской наедине.
Бегать в сказке серый волк останется,
И вернется девочка ко мне.

Перевела с украинского Юнна Мориц.

.

Александрю Прокофьеву.

Как горят вишневые рассветы!
Словно птицы плещутся вдали.
Полустанки все в цветах, и где-то
Ладогою ходят корабли.

Жду тебя. Как сердце будет радо!
Столько дней в разлуке утекло...
Письма ль не идут из Ленинграда
Иль дорогу снегом замело?

Иль ремонт дороги этой длится,
Умножая злые дни разлук?
Иль твоя черемуха-сестрица
Не пускает в гости, милый друг?

Здесь подарки для тебя готовы,
Я тебе от сердца их несу:
Волн днепровских клетоты и зовы,
Семицветье радуги в лесу,

Днепрогэсы, нивы с нашим житом,
Песни всех полей и рек моих.
И хлеб-соль на рушнике расшитом,
Что навек связует нас двоих.

Перевел с украинского Николай Браун.



НИКОЛАИ ДУБОВ

★

ЖЕСТКАЯ ПРОБА

Повесть *

9

Возвращаясь в цех, Алексей смотрел под ноги и думал. Может, в самом деле плюнуть, и все? Что ему, действительно, больше всех нужно? Но он знал, что плюнуть и забыть не сможет.

Дело в конце концов совсем не в Викторе. Пускай он будет героем. Алексей первый будет рад. Но пусть он будет настоящим героем, а не... показухой! Ведь если мириться с одной такой, маленькой, появятся и другие, больше... У них в цехе, в других цехах, а там и по заводу, по другим заводам... Показуха в маленьком поведет за собой все большую и большую. Как лавина...

Алексей отчетливо увидел несущуюся лавину и вдруг испуганно отшатнулся — земля под ногами задрожала, в уши ударил обвальный грохот... В стороне многопудовая «баба» копра рухнула на искромсанную башню танка, башня смялась, лопнула на сгибах.

Семь лет назад окончилась война, но еще шел и шел сюда, на шихтовый двор, стекался из «котлов» и «плацдармов» ржавый, мятый огнем, рваный взрывами металл войны: изувеченные лафеты, развороченные орудийные стволы, скрюченные балки и рельсы, растерявшие траки, продырявленные, навсегда остановившиеся танки... И здесь копер мял, крушил и окончательно уничтожал их обломки.

Алексей постоял, посмотрел. «Баба» поднялась вверх и снова с громом рухнула.

Земля возвращала, выталкивала из себя враждебное жизни мертвое железо. Море не возвращало ничего. Где-то, быть может недалеко от города, глухой черной ночью последний раз взлетел на штормовую волну катер и в грохоте, пламени минного разрыва исчез навсегда... В дым и пыль, в ничто превратилась его команда и с ней моторист Иван Горбачев... Море поглотило все в самой равнодушной и необъятной из братских могил. Над ней не стоят наспех, по-походному сделанные обелиски с побуревшими от времени и ржавчины когда-то красными звездами.

У моря нет памяти, на нем не остается шрамов. И то и другое удел людей. Не потрескавшийся старый ремень с позеленевшим якорем на пряжке, который Алексей до сих пор бережно хранил, связывал его с отцом. Эта связь так велика, что ее не выразить словами... А разве Иван Горбачев примирился бы с показухой?..

* О к о н ч а н и е. Начало см «Новый мир» № 9, с. г.

В редакции заводской многотиражки «За металл» рабочий день окончился. В кабинете редактора уборщица, с грохотом передвигая стулья, подметала, в большой комнате сидел только Алов. Перед ним лежала зеленая папка. Алексей, увидев, что опоздал, попятился к выходу, но Алов поднял голову.

— А, Горбачев, привет! Входи, входи, не стесняйся! — Алов приветливо показал на стул.

К Горбачеву Алов относился хорошо. Статью о молодежном общежитии — Алов назвал ее очерком, — написанную со слов Горбачева, на летучке хвалили, и даже сам редактор сказал, что статья подходящая, «ставящая вопрос».

— Как жизнь? Как там у вас в общежитии?

— Ничего.

— Да проходи, чего ты стесняешься? Ты по делу или так?

— Поговорить хотел... Я потом.

— Почему — потом? Давай поговорим, если есть дело, откладывать не следует.

Алексей не хотел говорить с Аловым. Опять напишет ерунду, как в прошлый раз.

...Прошлый раз Алов застал Алексея в общежитии одного, ребята ушли во Дворец культуры. В приоткрытую дверь было слышно, как, шаркая, ходит по коридору тетя Даша, громко вздыхает и на что-то жалуется сама себе. Алексей устал после работы — это было в те первые недели, когда он один остался у плиты, — идти никуда не хотелось, и он валялся на койке просто так: глядя в потолок, заново переживал незначительные, но тогда казавшиеся очень важными происшествия дня.

В комнату вошел длинноволосый желтоглазый парень, бегло оглянувшись и сел.

— Привет, — сказал он. — Я сотрудник заводской многотиражки Юрий Алов. Вы здесь один? А где остальные?

Алексей приподнялся, сел на койку.

— Ушли.

— Тогда побеседуем с вами... Как тебя зовут? Кем работаешь?

Алексей сказал.

— Ну, как вы тут живете? Меня, собственно говоря, интересует жизнь в общежитии, так-сказать, быт, культура и прочее...

Алексей рассказал все начистоту, желтоглазый старательно записывал, потом сказал, чтобы Алексей следил за газетой, и ушел.

Через неделю Виктор положил перед ним на плиту номер газеты и прихлопнул ладонью:

— Во как тебя расписали!

Статья начиналась так:

«У входа в молодежное общежитие нас встретил высокий юноша с напористым, энергичным выражением лица. Это был недавний воспитанник трудовых резервов, теперь разметчик ремонтно-механического цеха А. Горбачев. Мы разговорились.

В задушевной беседе юный представитель рабочего класса поведал нам о своем житье-бытье, о том, как проводит наша молодежь время в общежитии, как неустанно работает над собой, повышает свой культурный уровень...»

Дальше, будто бы от имени Алексея, в статье говорилось, что в общежитии скучно, не проводятся беседы и лекции, нечем культурно развлечься: нет шашек и шахмат. В заключение автор добавил от себя, что «АХО и завком профсоюза не мешало бы проявлять больше заботы и теплоты о молодом поколении рабочего класса».

В общем, все было правильно, но говорил Алексей совсем не то и

не так, и ему было неловко, как-то даже стыдно читать слова, которые Алов приписал ему.

Поначалу статья возымела действие. Дня через три комендант, он же завхоз, Яков Лукич выдал тете Даше занавески на окна, а сам принес и торжественно положил на стол складную шахматную доску, в которой побрякивали фигуры.

— Вот,— сказал он.—Под вашу ответственность. В случае чего — пишите, куда хотите... писатели сморкатые.

— Так это ж не мы, Як Лукич,— сказал Костя Поляков,— это из газеты... А он еще, между прочим, писал, чтобы проявить побольше теплоты. Как бы уголька, Як Лукич, подкинуть, а?

— У меня не Донбасс, а норма — два ведра в сутки. Не расхлебывайте дверь, вот и тепло будет.

Еще через день прислали лектора. Яков Лукич собственноручно открыл запертый всегда ленуголок. Долго ожидали, пока соберутся. Лектор стоял в коридоре и курил, отмахивая рукой дым ото рта. Собралось человек двадцать, почти одни девушки. Ребята заранее сбежали во Дворец культуры: там тоже была лекция, но после нее обещали показать кинофильм, и все надеялись, что будет четвертая серия «Тарзана».

— Что ж, начнем,— сказал лектор и прошел к столу.—Тема моей лекции: «Было ли начало и будет ли конец мира». Итак, приступим...

Он вынул тетрадку, поднес к глазам и начал читать.

Девушки томилась. Их совершенно не интересовало начало мира, и по молодости они были твердо убеждены, что никакого конца у него быть не может. Они собирались идти на танцы, но позвали на лекцию, отказаться было неудобно, а уйти посреди лекции — еще неудобнее. Они томилась и шушукались.

В уголке подремывала тетя Даша. Слушать лекцию ее не звали, но она должна была запереть ленуголок, когда все кончится. Можно было бы попросить девчат, но они могли забыть, и тогда Яков Лукич, который каждое утро обходил пятиэтажку и лез во всякую щелку, долго бы срамил ее, а потом повесил бы бумажку с «на вид». Бумажка пустяковая, а там кто его знает... Нет уж, лучше подальше от всяких бумажек! Лучше уж дожидаться и самой запереть. Кроме портрета Сталина, стола и скамеек, в ленуголке ничего не было, никто бы этого не украл, а все-таки береженого, говорят, и бог бережет...

Алов забежал в общежитие, удовлетворенно покивал, увидев занавески и шахматы, записал, какая была лекция. Потом в газете появилась заметка «По следам наших выступлений», в которой говорилось, что культурно-бытовое обслуживание в общежитии резко улучшено, налаживается культурно-массовая воспитательная работа.

Лекций больше не было, и о них никто не тосковал. Мишка Горев печаянно прожег папиросой дырку в занавеске. Яков Лукич заметил и приказал тете Даше убрать занавески в кладовую.

— Я лицо материально ответственное,— в несчетный раз сказал он,— мое дело, чтобы вещь была в целостности и сохранности... А на вас разве напасешься?

Никакой материальной ответственности он не нес, если вещь изнашивалась или ломалась, она «актировалась и списывалась». Но Яков Лукич не мог видеть равнодушно никакой порчи или ущерба, и так как вещи лучше всего сохранялись в кладовой, он предпочитал оттуда их не выпускать. Обходились так? Ну и дальше обойдётся.

А потом запропастился черный король. Ребята слепили нового из хлеба и даже покрасили его, но Яков Лукич и тут углядел.

— Это что? — спросил он, тыча пальцем.

— Король, Як Лукич...

— Самоделошный? А где казенный король?

— Закатился куда-то.

— Ага!— зловеще протянул Яков Лукич.— Закатился? Ну, все! Королей я сам не делаю, короли денег стоят.— Сгрэб шахматные фигуры и унес.

Тем все и кончилось, если не считать того, что еще долгое время ребята донимали Алексея цитатами из статьи. Особенно изощрялся Поляков.

— Слушай-ка, представитель молодого пополнения, поведай нам, нет ли у тебя трешки. А то, понимаешь, шибко охота поработать над собой, а на чекушку не хватает...

Или иногда, облокотившись о стол, он долго внимательно разглядывал Алексея и очень серьезно просил:

— Алеша, у меня к тебе большая просьба: сдслай, пожалуйста, энергичное выражение лица... Только понапористей!

Алексей полушутя, полусерьезно тузил и Костю и других, но они продолжали его дразнить, пока им самим не надоедало.

— Так в чем дело, молодой человек?— спросил Алов и спрятал зеленую папку в стол.

Алексей замылся. Этот Алов и теперь мог написать какую-нибудь чепуху... Но в конце концов он ведь написал тогда правду? Толку не было, верно. Но сейчас какой, собственно, нужен толк? Напишет правду, и все. А больше ничего и не нужно. Все — и Витька, конечно, тоже — поймут, что все это показуха и очковтирательство...

Слушая Алексея, Алов прикидывал. Конечно, можно бы сделать заметку о дутых передовиках. Тут Горбачев прав, такие есть... Но, во-первых, редактор ругался уже не один раз: «хватит этой, понимаешь, критики!..» А во-вторых, в столе лежала зеленая папка. На обложке ее каллиграфически выведена надпись: «Опережая время» и подзаголовок «Опыт передовика производства В. Гушина». Все листы в папке были еще девственно чисты, но на них незримо записано его, Юрия Алова, будущее: почет, слава, может быть Киев или даже Москва... И все может обратиться в ничто из-за этого парня, на которого он не пожалел тогда в очерке своих лучших образов и мыслей...

— Так, так, молодой человек,— сказал Алов, выслушав Алексея.— Хорошо, что ты пришел ко мне. Сам я этого вопроса решить не могу, мы посоветуемся с редактором. А пока желаю успеха!

10

Алексей пришел раньше назначенного часа. Он всегда приходил раньше. Не потому, что боялся опоздать. Чтобы без помехи подумать. О ней он думал постоянно. Она во всем. В том, что он думает, говорит, делает. Если бы не было ее, все было бы иначе. Как? Неизвестно. Только совсем иначе. Но она есть. И самое важное, что она есть. Все другое тоже важно, но не так, по-особому. А она — всячески. Значит, вот это и есть любовь?

Почему он полюбил именно ее? И именно теперь? Не теперь, уже давно — больше года, но все-таки... Раньше ведь не любил. Раньше она ему просто не нравилась. Была просто себе девчонка. Некрасивая девчонка. Угловатая, голенастая, рот большой... И как мальчишка. Сдачи могла дать кому угодно, ничего не боялась. Бояться-то она и сейчас ничего не боится. Только совсем переменилась. Очень красивая стала? Если разобраться, ничего особенного. Глаза? Они и тогда были большие. И волосы так же поднимались волнистой шапкой. Ну, выше

стала, выросла — дело же не в росте. Каким-то непонятным образом угловатость превратилась в стройность и стремительность. Это что-то такое в лице, в глазах. Они будто все время летят. Распахнуты на встречу всему. И летят...

Когда-то ему казалось, что лучше Аллы никого нет и быть не может. Смешно. Он ее встретил как-то. Она его не узнала или притворилась, что не узнает. Он узнал сразу, хотя узнать нелегко. Дородная, просто толстая женщина. А когда-то была тоненькая, как тростинка. Лицо такое же красивое, пожалуй, еще красивее. А дальше все поплыло, расплзлось вирирь. Кира говорила — она всегда все знает обо всех, — что Алла техникума не кончила, вышла замуж. За преподавателя того же техникума. Должно быть, он и вел ее тогда под руку. Щуплый, маленький. Похоже, что не вел, а держался за нее. Как маленькая лодка за баржей.

Глядя на нее, он думал, что вот сейчас начнется то замирание сердца, которое он испытывал когда-то, издали следя взглядом за Аллой. Никакого замирания не было, сердце билось спокойно и ровно. Почему же раньше его бросало в жар, если она обращалась к нему? Потому что тогда она была тоненькая, а сейчас толстая? Какие мы все-таки в детстве дураки. Не понимаем даже того, что видим. Она ведь и тогда была заносчивая и очень довольная собой девочка. И занята только собой. Но он тогда этого не понимал. Смотрел и смотрел на нее, как на икону, и все в ней казалось хорошим. Даже прекрасным. Он не видел ее три года. И время начисто стерло давние волнения. Три года. Совсем другой мир, другая жизнь...

Может, так будет и с Наташей? Пройдет время, и он будет думать о ней совсем иначе? Нет! С Наташей навсегда. С Наташей пришла любовь. Та самая, о которой написано столько книг. Тысячи лет назад жили люди, целые народы, которых теперь даже вовсе нет на земле. И у них была любовь. Была и есть. Всегда и всюду. И сейчас, может, тысячи, сотни тысяч людей, вот так же, как он, сидят и ждут, что придет она...

И у всех это одинаково? Как было тысячу лет назад и будет тысячу лет спустя? И все говорят одно и то же, делают то же самое? И то, что происходит у Мишки Горева, когда к нему в общежитие приходит Клавка и все ребята уходят из комнаты, говоря вещи, от которых Клавка краснеет так, будто сейчас сгорит, а Мишка глупо и самодовольно ухмыляется, — это тоже любовь? Или то, на что намекает Витька, рассказывая о какой-то Нюське, тоже любовь? Тогда она была и у толстой, как афишная тумба, тети Лиды и злобного жулика дяди Троши? И у него будет так же и то же самое, что у них?

Нет! Совсем не то и не так, совсем иначе! А почему? Что он, такой особенный? Нет, он не особенный, обыкновенный. Но у него все будет иначе. Не было, нет и не будет одинаково ни у кого. Это не может быть одинаково. Говорят, в мире нет двух одинаковых людей. Значит, не может быть и одинаковой любви. Любовь — это только слово, которым называют то, что бывает у людей. Но у всех и каждого это бывает иначе, по-своему. И у него будет совсем иначе. Вот только трудно все это сказать, назвать словами. Он читал порядочно книг и знает все слова, какие говорят о любви. Но эти слова не годятся. Они глухо брякают, как черепки. Они мертвые. Потому что они чужие. Чужими словами нельзя передать и объяснить свое. А какие же его? Где взять свои слова, чтобы объяснить Наташе все? Он не может их найти. И потому молчит. То есть говорит будничное о будничном и молчит о главном. Но больше молчать нельзя. Наташа уезжает. Он должен сказать, и все. Как скажет, так и скажет, а там пусть — что будет, то и будет. Она поймет. Все поймет.

...Вот стучат ее каблочки. Ее еще не видно, но я знаю, что это ее каблочки. Спешит. Она всегда спешит. Она не бывает вялой и равнодушной. Просто не умеет. Как струна — тронь, и она зазвенит. Нет, не только, если тронуть. Она сама отзывается на все.

— Опоздала?

— Не знаю. Нет... Все равно ты уже была тут. И мы разговаривали.

Наташа улыбнулась

— О чем?

«Сказать? Вот сейчас взять и сказать все... Как я ее люблю, какая она совсем ни на кого не похожая. И как я ее люблю... люблю...»

— Почему ты так смотришь? Что-нибудь случилось? Или тебе не нравится платье?

— Нет. Платье нормальное...

«Платье нормальное. Это ты ненормальный. Ты просто трусишь. Проходишь и промолчишь весь вечер, потом опять будешь кусать кулаки...»

Наташа была печально-ласкова. Это не было направлено на Алексея или на что-нибудь определенное. До отъезда оставалось три дня. На четвертый она сядет в поезд и уедет отсюда навсегда. То есть не совсем навсегда — будет приезжать на каникулы, потом, со временем, в отпуск. Но она уже будет другая, и здесь все станет другим. Может, здесь все и останется таким же, но она-то переменится, и ей будет казаться, что переменялось все и здесь. И сейчас, прощаясь, она смотрела на все с ласковой грустью и неясным ощущением вины — она уезжала, а все оставалось. Но ведь она не виновата: должна же она учиться дальше, потом работать и вообще жить. С этим ничего не поделаешь, так устроена жизнь. Рано или поздно приходит время и нужно уходить, уезжать и оставлять то, с чем сжился, сроднился, что дорого и на всю жизнь незабываемо, но не может и не должно удерживать человека на одном месте.

Вот пришла и ее пора прощаться с детством и отрочеством. Ей не на что жаловаться — они были радостными. Мама всегда была с ней, они ни разу не разлучались. А теперь мама останется одна. Она бодрится, делает вид, что ничего особенного, а сама волнуется, переживает... Ничего, пять лет — это ведь такой короткий срок! А потом Наташа кончит, устроится, заберет маму к себе, и они уже никогда больше не расстанутся.

Как бы хорошо все забрать с собой, чтобы ни с чем не разлучаться, чтобы не было этой жалостливой печали... Глупости какие приходят в голову! Что забрать — дома, улицы, знакомых, воздух, море? Надо только обойти все-все, побывать всюду, на все посмотреть и запомнить навсегда, какое оно есть.

Ноги уже просто не ходят. Где только сегодня не были! Всюду, где гуляла Наташа, уже став девушкой, или бегала, когда была голенастой девочкой. Обошли чуть ли не все улицы, и сквер, и сад. Особенно сад. Заглянули во все закоулки. Наташа посидела или хоть мимоходом прикоснулась ко всем скамейкам, на которых сидела когда-то. Каждый раз, когда они гуляли с Алешей вдвоем, где бы они ни были, под конец оба, не сговариваясь, поворачивали и шли к морю. И только потом уже он провожал ее к дому.

— Пойдем к морю, — сказала Наташа. — Надо же мне прощаться, а то три дня осталось...

Сутулившиеся фанерные «грибки» сторожили мутно белеющий на песке бумажный сор.

Наташа порылась в сумочке.

— У тебя мелочь есть? Ну, хоть десять копеек...

Алексей извлек из кармана все, что было.

— Нет, медяки не годятся. Это, знаешь, есть такое поверье: если бросишь в море серебряную монету, обязательно вернешься к нему...

— Они все равно не серебряные — никелевые.

— Считается как серебряные.

— На вот рубль или трешку. Сильнее подействует.

— Никак не подействует! И нечего смеяться. Сама знаю, что суеверие. А все-таки...

— Что все-таки? Их же дочиста мальчишки выбирают. Курортники нашвыряют, а ребята подбирают. Я сам нырлял, когда в детдоме был.

— Ну и пускай подбирают. Это же после...

Вот и Алеша остается. А она так к нему привязалась. Почти, можно сказать, полюбила. Ну это глупости, конечно! Но он хороший. Не навязывается никогда, не пристаёт с глупостями, как другие. И с ним ей всегда хорошо. Он, правда, молчаливый. Ну и уж лучше, чем как другие,— без конца говорят, говорят, тужатся острить, форсят, задаются... А он, что называется, верный человек. Вот ходит с ней, куда бы она ни пошла. И устал, наверно, он же целый день работал, а скажи она...

— Пойдем?— предложила Наташа, протянув руку к лунной дорожке, дробящейся у берега в серебряные осколки.

— Пошли,— сказал Алексей и приподнялся.

— Сиди!— засмеялась Наташа.— Почему ты такой?

— Какой?

— Ты будешь сейчас бодаться?

С детских лет у Алексея сохранилась привычка в минуты волнения и задумчивости смотреть бычком, исподлобья.

— Я вспомнил. Мы ведь с тобой здесь в первый раз встретились... Помнишь? Когда были еще маленькими. Ты тогда мерила осадки, а Витька тебя дразнил, и ты его чуть не стукнула.

— И правда! — Наташа вскочила.

Они сидели на обрыве берега возле дегской водной станции. Калитка была заперта, за низкой оградой ни души. Они перелезли через ограду, подошли к домику. Он показался теперь маленьким, значительно меньшим, чем был тогда. Песок, как и тогда, перепахан босыми пятками будущих моряков. Уже чужими, не их пятками... В отдалении покачивался на якоре «Моряк», черные смоленые борта его мяли, утапывали лунную дорожку.

Далеко справа в холодном свете рефлекторов смутно виднелись решетчатые хоботы, костлявые руки кранов, мористее горели два красных огня, указывающих вход в порт.

Алексей смотрел на эти огни, решал и не решался. Больше откладывать нельзя.

Наташа проследила его взгляд.

— Куда ты смотришь?

Алексей решил.

— На маячки. Здесь они маленькие. Я когда мальчишкой жил в Махинджаури, еще с дядькой, там, если дождь или туман, был слышен маяк. Он будто звал. Вот так: «О-у-у-у!..» Я думал, корабли так и ходят — от маяка к маяку... Потом оказалось, и люди так. Обязательно у человека есть кто-то, кто для него, как маяк, светится, показывает дорогу. А потом другой, может быть, третий. Так человек и идет — от маяка к маяку. Вот у меня, например. Алексей Ерофеевич подобрал меня тогда, привез сюда. Знаешь, какой это человек?! А потом Людмила Сергеевна, директор детдома... Потом... Потом стала ты...

— Тоже нашел маяк!— засмеялась Наташа.— Я еще даже не светлячок. Это как раз глупости... А вообще это очень верно! У меня тоже. Вот Викентий Павлович. Я ему знаешь как обязана? Если б не он, я бы ничего не понимала, ничего не знала про море, про ихтиологию. Я ведь по его совету решила стать ихтиологом, чтобы рыбу разводить.

Луну закрыли облака, сразу потемнело. Море колыхало у берега слабые отсветы городских огней и где-то совсем неподалеку уходило в глухую мглу, в которой не было ни звезд, ни огней, ни моря, ни неба. Наташа зябко поежилась.

— Наше море было самое богатое. В мире самое богатое! В нем рыбу ловить — как в огороде репу рвать: тащи, и все. Только в огороде репу сажают, а здесь все выловили. Одна тылька осталась. А с ней всю молодежь, всех мальков вылавливают. Рыбаки прямо плачут... Мы ходили протестовать.— Наташа невесело усмехнулась.— Делегацией от кружка. Помнишь, Викентий Павлович организовал? Пришли к начальнику рыбкомбината. Он нас с минуту послушал и прогнал. «У меня, говорит, государственные дела, а вы тут лезете с детскими выдумками...» Такому что? Лишь бы план выполнить, отрапортовать, чтобы похвалили... Не понимаю я этого. Ведь поставили же хозяином! А он не хозяин, а проживала...

— Приживала?

— Нет, проживала!— Наташа упрямо трянула головой.— Проживает все дотла, а больше ничего не знает и не умеет.

Наташа помолчала.

— Я иногда подумую — мне даже жутко становится... Ведь мы наследники всего, всего!.. И все при нас должно стать лучше, красивее, богаче. Правда? И как же мы должны жить, чтобы по правде быть наследниками! Ты представляешь? Вот мы уже взрослые, у нас будут дети... нет, не у меня лично, а вообще... А мы станем старые. И они, дети, спросят нас: «Как вы жили? Куда смотрели?» Нет!— Наташа пристукнула кулаком по колену.— Надо с этим бороться! Чтобы не было проживал, не было вранья...

— Я уже наборолся,— сказал Алексей.— Схлопотал выговор.

— За что?

Наташа слушала и старательно подгрребала носком туфли, ровняла песчаный холмик, потом решительно наступила на него и раздавила.

— Знаешь, Леша? Ты только не сердись... Но, по-моему, это и в самом деле хулиганство. Это все равно, как если б ты его побил. Ну, ты не побил, обидел. Что толку? У вас же есть организации...

— Предсхкома первый на меня орал. Кто же будет против Витьки выступать, если они сами его раздувают?

— А ты один так думаешь про Виктора?

— Да почти все между собой говорят.

— Надо сделать так, чтобы сказали вслух, а не между собой.

— Как?

— Не знаю. Добивайся.

Вот и снова прошел вечер, снова он говорил о будничном и не смог о главном. Попробовал — и ничего не получился. Завтра! Уж завтра, что бы ни было, он скажет...

В окпах комнаты горел свет. «Снова загуляли, черти. А завтра их не добудишься»,— подумал он и распахнул дверь.

Ребята лежали на койках, но не спали. Как только дверь открылась, все, будто по команде, повернули головы и уставились на Алексея.

— Чего это вы?— спросил он.

Костя Поляков повел глазами в сторону, и только тогда Алексей увидел, что в комнате сидят двое незнакомых. Один поднялся, прикрыл дверь и спиной прислонился к ней. Второй, держа в кулаке сигарету, затаился, глядя на Алексея, и тоже встал.

— Алексей Горбачев?

— Я... А что? Что такое?

Тот, не отвечая, подошел, достал из кармана книжечку удостоверения и показал. Алексей рассмотрел только крупные буквы «УМ МВД» и фамилию, которую тут же забыл.

— Понятно?— внушительно спросил незнакомый.— И давай по-хорошему! Где чемодан?

Алексей пожал плечами, достал из-под кровати свой чемодан. Незнакомый положил его на стол, открыл, пересмотрел немудрое Алексеево имущество.

— А еще? Еще чемодан?

— У меня один, больше нету. Вон и ребята скажут.

— Нету? — с нажимом спросил незнакомый.— Я тебя предупреждаю: лучше по-хорошему!

— Так нету у меня больше ничего!

— А это?

Незнакомый поднес к его лицу клочок бумаги, на котором разбегавшиеся буквы напомнили: «Адин чима».

— А!— спохватился Алексей.— Так это не мой! Это дядька принес... Он у тети Даши в кладовке.

Подложив под голову свой платок, тетя Даша дремала в коридоре на деревянном топчане. Кряхтя и вздыхая, она поднялась, открыла кладовку. Алексей, за которым по пятам шел один из мужчин, внес чемодан в комнату, положил на стол.

— Ключ.

— У меня нет. Дядька не оставлял.

Незнакомый подергал новенький прочный замочек.

— Что там?

— Откуда я знаю? Дядька говорил, белье, старье всякое.

Второй мужчина подошел, всунул в дужку замка какую-то железку и нажал, замок вместе с петлями отделился от чемодана. Сверху была ветошка, под ней, сверкая черным лаком, лежали в два ряда дамские босоножки.

— Так, говоришь, рубашечки, кальсончики? Ничего себе кальсончики!..

Ребята повскакали, подошли, заглядывая в чемодан.

— Товарищи, отойдите! Это вас не касается.

— Как это — не касается? — сказал Костя, подтягивая трусы.— Мы тут живем, нас все касается.

— Попрошу! — повысил голос незнакомый.

Ребята отошли.

Босоножки пересчитали — их оказалось двадцать восемь пар,— уложили снова в чемодан, перевязали его веревкой.

— Оружие есть?

— Нет.

По карманам Алексея уверенным движением скользнули чужие руки.

— Пошли!

— Куда?

— Там узнаешь.

— Так я ж тут ни при чем! Я ничего не знаю!

— Там скажешь.

Алексей растерянно оглянулся на ребят и вышел. Впереди него шел мужчина с чемоданом, второй шел сзади. Из подъезда пошли к деревьям. В тени их стояла закрытая автомашина, которой Алексей, подходя прежде, не заметил. Его подтолкнули в открытую дверцу кузова, один из мужчин влез следом и запер дверь. Мотор заработал, кузов затрясся, маленькая лампочка у потолка начала мигать. Ехали недолго. Машина остановилась, сопровождающий открыл дверь, вылез, подождал Алексея. Двор с железными воротами был окружен высоким кирпичным забором. Машина стояла у подъезда.

— Проходи,— кивнул сопровождающий.

Дверь, ярко освещенный коридор. Еще дверь, еще коридор. В конце коридора сидел милиционер. Он поднялся, открыл дверь, обитую железными листами.

— Еще замели? — сказал милиционер сопровождающему.

Тот невнятно буркнул что-то, кивнул Алексею:

— Проходи!

Алексей шагнул и оказался в комнате, где не было никого. Он обернулся.

— Так как же...

Дверь с лязгом закрылась. В углу стоял длинный деревянный ящик, вроде топчана, с изголовьем из наклонной доски. Под потолком висел голый пузырь яркой электрической лампочки. Наглухо закрытое окно переплетала прочная решетка.

Алексей несколько минут стоял, не зная, что делать, потом застучал в железную дверь. В маленьком круглом отверстии показались глаз и часть носа милиционера.

— В чем дело?

— Почему меня заперли?

— Заслужил, вот и заперли. Сюда на вечеринки не возят.

— Так я же... Это тюрьма?

— Капэзэ. Камера предварительного заключения.

— Так за что?.. Я же...

— Значит, есть за что. Небось сам лучше знаешь.

— Ничего я не знаю! Ничего такого я...

— Это следователю скажешь. И хватит! Разговаривать не положено. Глазок в двери закрылся.

Алексей сел на ящик, но сейчас же вскочил. Он не мог сидеть, не мог стоять на одном месте.

«Вот так влип... Проклятая жаба! Хотел за меня спрятаться, подлюга. Ну, врешь, я тебя покрывать не стану. Тюрьма по тебе давно плачет... А если?.. А если и меня? Нет, не может быть! Все же знают... А что знают? Никто ничего не знает! Никто не видел, кроме тети Даши. Скажут, соучастник, и все! Нет, я докажу! Я все расскажу, они поймут... Почему же не зовут?»

Алексей забарабанил в дверь кулаком.

— Прекратить безобразия! — крикнул в глазок милиционер.

— Пустите меня к следователю!

— Позовут, когда надо. И давай веди себя культурно, а то хуже будет!

— Так зачем я буду сидеть, когда...

— Сказано: когда надо — позовут. И не шуми! Впервой?

— А что ж, по-вашему...

— Привыкнешь.

Глазок закрылся.

С этим милиционером не договоришься. И от него, наверно, ничего

не зависит. Делает, что ему скажут, и все. Выходит, он самый настоящий арестованный, арестант?! Хотя ни в чем не виноват?.. Да, но они-то не знают, они считают, что он виноват... И ребята в общежитии тоже, наверно, думают... Ничего, час-два подержат, потом позовут, расспросят, и он пойдет домой. Хватит бегать...

Алексей сел, потом лег на деревянный ящик. В камере нестерпимо воняло карболкой. Наверно, недавно делали дезинфекцию.

Нечего паниковать. Они сразу увидят, что он ни при чем. Надо спокойно ждать, пока за ним придут. Не будут же его зря держать здесь всю ночь.

Алексей лежал и прислушивался. У него хороший слух, он издалека уловит звук шагов, звяканье ключей. Но шагов не было, ключи не звякали. И вообще не было ничего. Ни звука не доносилось ни от двери, ни через стены, ни сквозь окно. В ушах стояла звенящая тишина. Только часто и сильно бухало сердце.

Ему хорошо — он посидит час-два, и все. А если люди в тюрьмах сидят годами? И ни звука, только сердце стучит... Жуткое дело! С ума можно сойти... Это, наверно, нарочно делают так, чтобы было тихо. Стены толстые или звукоизоляция? И потом сейчас ночь. Уже небось часа два... А что, если они все поуходили и спят и никто не собирается вызывать? Над ними не каплет...

Алексей снова вскочил. Из жестяной кружки, прикованной цепью к бачку, напился воды. Она была теплой и тоже пахла карболкой.

Нечего психовать. Позовут. Они всегда работают по ночам, он не раз об этом слышал... Надо лечь и отдохнуть, завтра ведь на работу. То есть уже сегодня, а не завтра.

Его разбудил знакомый густой рев. Стены, двери, намертво закрытое окно отталкивали, глушили его, но он вползал, прорывался и победно сотрясал воздух камеры. Желто-оранжевые нити лампы еще горели, но в окно уже лился ясный свет дня. Первый гудок! На работу же...

Алексей загрохотал кулаком в дверь. Глазок приоткрылся, уже другой голос, басовитый и хриплый спросонья, сказал:

— Тихо. Ну!

— Я на работу опоздаю! Мне же нельзя! Из-за меня простой будет. Что вы, шутите? Цех остановится!

— Из-за таких цех не останавливается. Посадили — сиди. И чтобы тихо!

Глазок снова был закрыт. Алексей заметался.

Они же просто не знают, не понимают... Цех не цех, а у многих может быть простой... Ну, он оставил задел. А если не хватит? Или принесут что срочное?

Проревел второй гудок. Алексея не звали. Третий. Его не звали...

Алексей отчетливо, будто это происходило у него перед глазами, видел, как Ефим Паника прибежал к плите, ткнулся туда-сюда и, не найдя его, Алексея, побегал к Голомозому. Табель Алексея остался висеть. Прогул! Ефим Паника побегал к Витковскому. А потом всюду бегаёт и кричит: «Я говорил, я предупреждал...» И вскоре все, весь цех знает, что Алексей не вышел на работу. Маркин опять будет кричать про сопляков, из-за которых нельзя работать... Дядя Вася, Витька... Ну, этот обрадуется — он же злится. А Иванычев? Вот кто крик поднимет: «Дезорганизатор! Прогульщик! На передовиков клеветает, а сам прогуливает, срывает работу!»

Но они же еще не знают! А когда узнают почему...

Алексей вскакивал и садился, бегал по камере, снова садился и снова начинал бегать.

Он надеялся, что еще успеет забежать в общежитие, предупредить ребят, чтобы не трепались. Теперь все! Теперь узнают и в цехе и всюду... И кто-нибудь обязательно скажет Наташе. Он еще про любовь хотел говорить... А его, как вора, как бандита какого..

Время шло, его не звали. Набегавшись до изнеможения, Алексей ложился, вставал, снова бегал. Его не звали.

Наконец дверь лязгнула.

— Выходи!

Коридор, дверь, еще коридор. Дверь. В комнате, спиной к окну, сидел капитан в серебряных погонах. Над его головой висели часы. Два часа. Все! Смена пропала.

— Садитесь. Имя, отчество, фамилия? Год, место рождения? Место службы, должность? Адрес?

Капитан спрашивал, не глядя на Алексея, и все записывал. Потом он поднял голову.

— Предупреждаю: за дачу ложных показаний вы несете суровую ответственность. Вы обязаны говорить правду и только правду.

Следователь смотрел не на Алексея, а куда-то за него, словно там, за Алексеевой спиной, было что-то такое, что Алексей пытался спрятать, скрыть, но что следователь уже видел, знал заранее и скрывать поэтому совершенно бесполезно. Алексей невольно оглянулся и тоже посмотрел назад, но ничего, кроме засиженного мухами плаката на стене, не увидел.

Алексей рассказал все, что знал о дяде Троше раньше, как встретил его недавно, как тот упросил его подержать чемодан, пока он не найдет новую квартиру.

— Квартиру он скоро получит,— мимоходом сказал капитан, и Алексею показалось, что лицо его выглядит не таким суровым, как вначале.— Нико Чейшвили знаешь?

— Нет. А кто это?

— Вопросы задаю я, твое дело — отвечать. К тебе больше никто не приходил? Местный или приезжий, с Кавказа?

— Нет.

— На, прочитай и подпиши.

Алексей прочитал протокол и расписался внизу, где капитан поставил «птичку». Часы показывали уже три.

— Если понадобится, вызовут в качестве свидетеля. А теперь можешь быть свободен... Подожди, ты ж на работу сегодня не вышел? Вот, покажешь начальству.

На узенькой полоске бумаги в машинописный текст капитан вписал фамилию Алексея и поставил дату.

— Держи.

Алексей взял бумажку.

«Повестка.

Гр. Горбачев А. И. действительно вызывался 1-м отделением милиции и находился в отделении с 01 ч. до 15 ч. 24 августа 1952 г.

Следователь Р/О милиции...»

— Так здесь же... Тут же не сказано почему... Они же подумают, что я...

— Не подумают. А начнут думать, пусть позвонят сюда.

— Можно идти?

— Можешь. Только вот что: будь поосторожнее. Парень ты молодой, тебя в два счета опутают всякие дяди Троши..

— Теперь уж нет! Уж теперь... А где он?

— Там, где полагается.

Капитан нажал кнопку звонка, в комнату вошел милиционер с сержантскими погонами.

— Проводите гражданина.

Сержант довел его до конца коридора и показал выход — через палисадник. Алексей вышел в распахнутую настежь калитку и поспешно оглянулся по сторонам. Неподалеку собака с хвостом, похожим на бублик, обнюхала дерево, подняла ногу и озабоченно побежала дальше. По другой стороне улицы спиной к Алексею шла старуха с кошелкой. Больше на улице не было никого, никто его не видел. Алексей почти бегом зашагал к проспекту.

Навстречу шли люди. На Алексея они не обращали внимания, но ему казалось, что они приглядываются к нему и угадывают, откуда он идет. Если не по виду, то по запаху. Запах карболки пропитал брюки, рубашку, волосы на голове. И ему казалось, что этот пронзительный запах так навсегда и останется при нем, ни отмыть, ни заглушить его ничем не удастся.

12

В цех Алексей прибежал к концу смены. Плита была уже прибрана, Семькин складывал инструменты.

— Заболел или загулял? — кивнув Алексею, спросил он.

— Да нет... Вас из-за меня вызвали? Я сейчас...

В конторе Алексей застал и мастера и начальника цеха.

— Прогуливать начинаешь? — строго сказал Ефим Паника. — Из-за тебя, понимаешь, график ломать, человека вызывать...

— Я не прогуливал... Вот!

Глаза Ефима Паники округлились. Витковский взял у него повестку, ммуро прочитал.

— Что ты там натворил?

— Не я... Меня свидетелем вызывали... Вы туда позвоните, следовательно, он скажет... Это они спекулянта поймали, а я тут ни при чем...

— Надо будет — позвоним. Отдай табельщику.

— Можно, я отработаю? А то ведь Семькина вызвали вместо меня...

— Можешь отработать.

Алексей рассказал обо всем Семькину, дяде Васе. Они торопились домой и не выразили ни удивления, ни огорчения.

— Пустяки, — сказал Семькин.

— Не пустяки, а хорошее дело, — возразил дядя Вася. — Я б этих спекулянтов и не так прищучил...

Алексей снял пиджак, повесил в шкафчик. Трикотажной тенниске ничего не делается, а брюки можно почистить, подумаешь, важность большая... Зато будет порядок: он не прогулял, свое отработал. И никто не сможет попрекнуть. А если к следователю вызывали, так что? И правильно: таких гадов всех надо подчистую... И ничего такого тут нет. Он сделал то, что должен был сделать, — сказал правду, и все. Наташе можно все рассказать. А он почему-то думал раньше, что нельзя, стыдно Наоборот! Плохо только, что Наташу сегодня не увидеть. Ну, зато завтра...

Товарищи по общежитию, несмотря на поздний час, потребовали отчета во всех подробностях. Алексей рассказывал и с удивлением замечал, что все теперь выглядит совсем не таким, каким воспринималось тогда, прошлой ночью: и те двое, пришедшие ночью за ним, не казались такими мрачными и зловещими, и камера — обыкновенная комната, только что с решеткой и заперта. А следователь? Капитан просто хороший человек. Сразу во всем разобрался...

Но как ни обыкновенна комната, называемая «камерой», до чего же хороша своя, в общежитии! Ну, и тут стены голые и голый пузырь лампочки под потолком. Но из этой комнаты в любую минуту можно выйти и идти куда хочешь, а лампочку можно погасить и вытянуться не на деревянном ящике, а на податливой пружинной койке, закрыть глаза и не метаться, не ломать голову — почему, за что и что теперь будет...

Алексей не выспался, однако настроение было превосходное. Превосходным был и день, яркий, солнечный, и начался он хорошо, а вечер обещал быть еще лучше, потому что вечером он увидит Наташу. Никто не расспрашивал, почему он работал вчера не в свою смену, и милийская камера, допрос отодвинулись в уже далекое прошлое, из этого далека казались не столь важными, и придавать им значение не было никаких оснований. И работа сегодня шла на редкость легко.

Он углубился в работу, время от времени поглядывая на часы — скоро ли обед. Прошло часа два. Алексей почувствовал какую-то неловкость, скованность. Он поднял голову и встретил взгляд маленьких, близко поставленных колючих глазок.

Человек в полувоенной, защитного цвета, несмотря на жару, наглухо застегнутой гимнастерке отвернулся и пошел по пролету.

Где он видел эти глазки, кого напоминает этот человек? Да никого не напоминает, это он и есть! Гаевский...

В школе Витька придумал «Футурум». В сущности, это была детская игра: готовиться в капитаны, а чтобы интереснее — тайно. Тайное общество «Футурум» — «Будущее». А пионервожатый Гаевский прицепился и раздул целое дело. Если бы не Людмила Сергеевна и Витькин отец, вышли бы его, и все. Кире, Витьке и Наташе ничто не угрожало. Алексей их ни за что не выдал бы, а самого выгнали бы из школы и, может, даже из детдома... И все Гаевский... Прогнали его тогда из пионервожатых... Постарел. От лба поползли вверх взлизы, на макушке волосы поредели, просвечивают. Все такой же бледный и худой. Только ходит иначе. Раньше все спешил, будто ему ужасно некогда, а теперь неторопливо, важно... И чего он тут ходит? Что он теперь делает?

Идя к инструментальщику, Алексей снова увидел Гаевского. Он разговаривал с Виктором. Заметив Алексея, Виктор отвел глаза в сторону и вроде даже покраснел.

Дядя Вася обедать в столовую не ходил. «Разве это обед? — говорил он. — За десять минут покидал в себя все, как в мешок, и — бегом, освобождай место... Обедать надо дома — с чувством, с толком, с расстановкой... А тут можно только перекусить». Из дому дядя Вася приносил обернутый в чистую тряпочку кусок сала, когда начинался перерыв, аккуратно резал его на кубики и на самодельном, из листа железа, противне жарил на горне в инструментальной. Потом располагался возле своего станка, подцеплял ножом скворчащие, брызгающие жиром кусочки сала и неторопливо, один за другим, отправлял в рот. Покончив с салом, он куском хлеба тщательно подбирал смалец и до конца перерыва успевал выпить две большие кружки чаю. Во время еды разговаривать он не любил, все это знали и никогда к старику не подходили, пока он не покончил со своей «перекуской».

Вернувшись в цех, Алексей увидел, что поджаренное сало осталось нетронутым, дядя Вася, дергая вислый ус, хмуро разговаривал с Гаевским. Тот наконец ушел. Дядя Вася съел остывшее сало, выпил чай и подошел к плите.

— Про тебя допытывался: что да как...

— Ну?

— Ну, я говорил, что знаю... Прятать-то тебе нечего?

— Нечего.

— Значит, и бояться нечего.

— А кто он?

— Из отдела кадров.

— Начальник?

— Нет, говорит — инспектор... Чего это он вокруг тебя круги делает?

Похоже, Алеха, будут из тебя воду варить...

— А что он мне может сделать?

Дома, в общежитии, был только Костя Поляков. Сегодня у него был выходной. Стоя в одних трусах, он усердно и неумело наглаживал брюки одолженным у девчат утюгом.

— Ну, как в цехе?

— Все в порядке, — ответил Алексей.

— Тут приходил один, про тебя спрашивал...

— Кто?

— Какой-то из отдела кадров.

— Худой, крысиные такие глазки?

— Ага... Ты его знаешь?

— Знал раньше... Так что?

— Я тебя так обрисовал — хоть к ордену... Это все из-за того дела с чемоданом?

— Наверно, — небрежно ответил Алексей.

Небрежность была напускная. Настойчивость, с какой Гаевский кружил вокруг него, вызвала неприятное беспокойство. Виктор, дядя Вася, теперь общежитие... Зачем он петляет вокруг Алексея, выпрашивает всех? Чего он добивается, что ищет?

Наташа была занята сборами. Столько нужно перебрать, проверить, переглядеть, уложить — просто ужас! Она металась от одной вещи к другой, пыталась делать все сразу, ужасалась, смеялась, вспоминала что-нибудь забытое, но — абсолютно-абсолютно! — необходимое, панически бросалась разыскивать и тут же теряла что-нибудь другое.

— Да что ты, десять чемоданов повезешь? Кто все это тащить будет?

— Мамочка, здесь же все абсолютно необходимое! И тут Алеша поможет... Ты меня провожать придешь?

— Само собой.

— Вот! А там — в камеру хранения.

— Ну ладно, иди гладь, уложу я сама, а то ты только мнешь все и путаешь.

Алексей собирался рассказать ей все — и о чемодане дяди Троши и о допросе, но Наташа так была поглощена предстоящим отъездом, так мало интересовало ее все остальное, что он подумал, поколебался и промолчал. В конце концов какое это имело значение? Сейчас представляется важным, а потом, пройдет время, и ему самому все покажется пустяками. Незачем ее расстраивать.

— Помнишь Гаевского, пионервожатого, который тогда за «Футурум» хотел меня выгнать?

— Помню. Противный такой...

— Да... Я его сегодня встретил. Тоже теперь на заводе работает. В отделе кадров.

— А что? Он что-нибудь снова? — Наташа встревоженно заглянула ему в лицо.

— Нет, ничего...

— Хотя... это ведь была такая ерунда,— успокаиваясь, сказала Наташа.— И столько времени прошло. Он, наверно, и забыл про все...

Ручка у чемодана оказалась оторванной, один замок не работал. Алексей начал чинить. Мать Наташи то входила, то выходила. Наташа гладила и разговаривала. Алексей молчал. Он мог говорить только о главном, но говорить о главном было нельзя.

13

Появление Гаевского встревожило Иванычева. Гаевский сам по себе мог ничего не значить, но Гаевский был представителем отдела кадров, частью его, а все, что составляло отдел кадров, требовало осторожного к себе отношения. Осторожность эта привилась давно.

Закончив сельскую семилетку, Иванычев подался в райцентр. Прельщавшая поначалу перспектива стать, как его дядя, рабочим на мельнице скоро потускнела перед другой, более привлекательной — стать техником-строителем. Но со второго курса техникума ушел — его, уже с год активного комсомольца, сделали инструктором райкома комсомола. Держался он скромно и старательно выполнял все, что требовалось. Когда встал вопрос об укреплении городского отдела коммунального хозяйства, вспомнили о нем. «Парню надо расти,— сказали тогда.— К тому же он технически подкован. Не кончил техникума? Это мало-важно, главное — свой парень, и техническая закваска все-таки есть...»

Техническая закваска и с самого начала не была густой, а к тому времени без употребления начисто выветрилась, но гайки с шайбой он не путал, схемы и графики чертить умел, писать объяснительные, докладные записки научился, а большего на первых порах от него и не требовалось. Отдел коммунального хозяйства практически хозяйства не имел и называть его следовало бы отделом коммунальных пожеланий и предположений, так как и водопровод, и канализация, и электросеть существовали пока только в папках проектов. Иванычев возмужал, пососиднел, женился. Жена, вывезенная из родного села, возилась с детьми и курами, обеспечивала положенный уход за мужем.

Спокойствие кончилось в 1935 году. Сам Иванычев был весь как на ладони и проверку партдокументов прошел без сучка, без задоринки. Но кое-кто был исключен из партии. Исключили и начальника Иванычева, завотделом. Иванычева поставили на его место...

Вскоре Иванычеву стало не по себе и даже попросту страшно. Звезда его взлетела так высоко, что голова закружилась.

Две недели горсовет был без председателя. Иванычева неожиданно вызвали на бюро райкома. Разговор был короткий. Собственно, говорил один секретарь.

— Ну, товарищ Иванычев, что с вашим председателем произошло, ты знаешь... Город остался без хозяина. Мы тут посоветовались и решили рекомендовать тебя. Как твое мнение?

— Как же... Я разве смогу?

— Говорят, не боги горшки обжигают...

Масштаб теперь был крупнее, но возможности немногим больше. Большинство жилого фонда оставалось частным — все это были домики и домишки, самосильно построенные жильцами или доставшиеся по наследству. А так как они были частными владениями, то и о ремонте их обязаны были заботиться частновладельцы, горсовет здесь ни при чем. У Иванычева и без того дела сверх головы. Район был сельско-

хозяйственный, все внимание парторганизации сосредоточено на селе, и Иванычев, кооптированный в члены райкома, не знал передышки. Год катился колесом, и в этом колесе уполномоченный райкома Иванычев был не последней спицей. Снегозадержание, ремонт тракторов, вывоз удобрений, весновспашка, посевная, прополочная, борьба с долгоносиком, уборочная, хлебозаготовки, силосование, заготовка технических культур, вспашка под зябрь, мясозаготовки... Он нещадно пресекал всякие нездоровые хвостистские настроения, не обращал никакого внимания на сетование председателей колхозов и колхозников, добивался досрочного окончания всех кампаний, а заготовки по его кусту всегда шли с перевыполнением планового задания. И его ценили.

После войны Иванычева перевели в другой район, с промышленными предприятиями. Центр его уже был не городишко, а город. Горсовет занимал большое здание, а самую большую комнату в нем — кабинет Иванычева. Здесь уже было все честь по чести: большой полированный стол и другой, длинный, для заседаний, ковровая дорожка, делающая шаги неслышными, сифон с газированной водой, два телефона, кнопка звонка для вызова секретарши. Секретарша сидела в приемной и строго охраняла двойную дверь, обитую войлоком и клеенкой.

Здесь в Иванычеве и произошла та разительная перемена, которая в далекое и смутное прошлое отодвинула худого, скромного, не очень сытого, но веселого и общительного паренька, приехавшего из села в город за специальностью.

Город, промышленные предприятия быстро восстанавливались, бюджет горсовета был большой, работы много. Теперь, если бы Иванычев и хотел, он не мог поспеть всюду, уследить за всем самолично. В этом и не было нужды. В аппарате горсовета было несколько десятков человек, а на объектах — сотни. И это Иванычеву особенно нравилось. Он стал совсем важным. Когда-то Иванычев, подвижной, поджарый коммунхозовец, на своих двоих обходил все нужные места, сам писал справки, докладные, отчеты. Теперь все ответственные речи, а большинство речей было ответственных, он уже не произносил, а читал. Подготавливали и писали эти речи другие. Ему уже было некогда.

В подчинении у Иванычева были инженеры, рабочие, всякого рода специалисты. Он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Он не знал и не умел делать того, что знали и умели делать инженеры, рабочие и специалисты.

Иванычев должен был давать указания и проверять их исполнение. Он сидел у телефонов, звонил, спрашивал: «Ну, как там у вас?», проводил заседания и совещания.

Работы было много. Приемные часы пришлось строго ограничить, но он был так занят, что большей частью приемы не могли состояться, и посетителей принимали заместители Иванычева. В кабинете он сидел до глубокой ночи. Не то чтобы в этом была действительная необходимость, но Иванычев знал, что секретарь горкома Петриченко тоже сидит у себя, может в любую минуту позвонить, потребовать какие-либо сведения или справку, а его не окажется и получится неудобно: тот работает, а Иванычев отдыхает. И он сидел «на подхвате». И так как сам он не мог дать нужных сведений и справок, то у него тоже сидели «на подхвате» нужные люди.

У него появились живот, машина и взгляд поверх голов, устремленный будто бы туда, куда не могут посмотреть другие. Машина вначале причиняла немало огорчений. Это была первая модель горьковского вездехода. Потом появился «Москвич», самолюбие Иванычева перестало страдать, хотя влезть в «Москвич» ему было нелегко.

Петриченко, иногда отчитывая Ивановичева, закидывал насчет живота:

— Зажирел, обюрократился... Вон сундук какой отрастил!

Но это была шутка, и Ивановичев отшучивался, как умел:

— От сидячей жизни, Степан Захарович. Сами знаете, сидим до победного конца.

— Ты ешь поменьше. Да пешком ходи. Может, хоть тогда про мостовые вспомнишь, а то и люди и машины жалечатся...

На ремонт мостовых не было ассигнований, а замечание насчет еды — несправедливо. Покушать Ивановичев действительно любил плотно, основательно. Но разве это преступление? В конце концов, что он, не заслужил? И не ворует же он, на свои...

Ивановичев искренне верил в то, что он хороший член партии, преданный работник, не жалеющий сил и здоровья для скорейшего завершения строительства коммунизма. О том, что движение к коммунизму происходит без него, что доли его в очевидных успехах строительства нет ни малейшей, он не догадывался.

Его считали опытным работником. И он сам считал себя таким. А раз так, все, чем он обладал, принадлежало ему заслуженно, по праву, и расставаться с этим у него не было никакого желания. Поэтому скорее безотчетно, интуитивно, чем сознательно, он делал все, чтобы нынешнее его положение не стало хуже, а по возможности даже лучше. Для этого нужно, чтобы им были довольны, чтобы вышестоящие товарищи отчетливо видели: причина всех достижений, всех успехов — он, а во всех недостатках и упущениях виноваты другие. Так он и делал...

Погубил проклятый забор. Началось, собственно, не с забора, но он оказался последним барьером, через который Ивановичев не перепрыгнул, а свалился.

Квартира в центре города была хорошая, как говорится, грех жаловаться. Но Фрося тосковала на асфальтированной площадке двора, где не росло ни одной зеленой былки. Ни детям побегать, ни самой вздохнуть. А был бы свой домик, хоть какой, там бы и огорожок можно, чтобы не бегать за каждым перышком лука в магазин. Разве ж там лук? Тряпка, а не лук... И курочек бы парочку! Кабанчика завести... Жили бы, как люди живут!

Ивановичев подумал, поколебался, потом доверительно посоветовался с самым ловким и надежным из своих прорабов. Тот изъявил полную готовность соответствовать. К весне дом в четыре комнаты был готов. Ивановичев вовсе не строил на государственный счет. Рабочие получали сполна, и оплачивали их не из горсоветовского, а из Ивановичева кармана. Трудновато было с материалами, но прораб — парень оборотистый — изыскивал.

Фрося расцвела. На участке появились куры, заготопали гуси и наконец начала шумно вздыхать чистопородная Пеструшка.

Петриченко узнал о живности и хмуро сказал:

— Обрастаешь? Смотри не увлекайся...

Так как прямого указания ликвидировать живность не последовало, встревожившийся было Ивановичев успокоился.

Все бы хорошо, но низенький, реденький заборчик из отходов не мог удержать кур на положенной территории, они бродили по чужим огородам, цыплята пропадали, то ли сожранные соседскими котами, то ли подбитые из рогаток мальчишками. А самое главное — все было на виду, открыто чужим взглядам. Вот-вот начнутся завистливые сплетни, пересуды... Нужно было принимать срочные меры.

Торопливость и погубила. Вместо того чтобы выждать удобную ситуацию, Иванычев дал указание завезти со стройплощадки жилдома достаточное количество шлакоблоков и поставить забор вокруг его участка. Работа на строительстве жилдома задержалось всего на какой-то месяц, но нашлись недоброжелатели, написали кляззу и в область, и в Киев, и даже в Москву. Замять дело было уже невозможно, даже если бы Петриченко встал на защиту. А Петриченко и не подумал защищать Иванычева. Его без лишнего шума, но бесповоротно освободили от обязанностей председателя горсовета.

На бюро было нехорошо. Даже очень нехорошо. Об Иванычеве говорили, что он зазнался и зажрался, обюрократился, окружил себя подхалимами, с рабочими разговаривает по-хамски... Иванычев сидел багровый, непрерывно вытирал пот, который тут же проступал снова, и, обмирая, гадал — исключат или не исключат?

Он старался поймать чей-нибудь взгляд, чтобы найти хоть тень надежды на защиту и поддержку, но членам бюро было неловко, неприятно смотреть на его перекошенное страхом, залитое потом лицо, и они упорно отворачивались, смотрели в стол.

Его не исключили, объявили строгий выговор с предупреждением. Две недели Иванычев просидел дома, переживая незаслуженную, по его убеждению, обиду. Он попробовал помогать Фросе по хозяйству. Но это была тяжелая и грязная работа, занимался он ею только в детстве, когда жил в селе, и давно отвык. После нескольких взмахов лопатой он обливался потом, начинало ломить поясницу, колоть в боку.

Иванычев не находил себе места. Он привык быть всегда на людях, ездить в машине, звонить по телефону, пошучивать с приятелями, разносить подчиненных за упущения. Теперь вокруг были только куры, гусаки, расплывшаяся Фрося, притихшие дочери. «Москвич» стал недоступим: Толя, его верный, надежный Толя, возил ныне заместителя Иванычева. Бывшего заместителя... Телефон висел на прежнем месте, но молчал, будто его отрезали. Орать теперь можно было только на безответную Фросю за пересоленный борщ да на дочерей, чтобы не путались под ногами. Он долго собирался с духом и наконец позвонил Петриченко.

— Привет, Степан Захарович! Беспокоит Иванычев...

— Слушаю.

Голос Петриченко был холоден и сух.

— Так как же будет со мной, Степан Захарович?

— Разговор не для телефона. Придешь — поговорим.

Иванычев шел пешком через весь город, изнывал от жары и проклинал себя, что построил дом в расчете на машину далеко от центра. Ему казалось, что все узнают его, пересмеиваются за его спиной, показывают пальцами. Он багровел и шел, не оборачиваясь.

Петриченко принял его сухо, официально и сразу дал понять, что о назначении на какой-либо серьезный пост в городе не может быть и речи.

— Поезжай в обком, в отдел кадров, — сказал Петриченко.

В обкоме Иванычеву предложили поехать в распоряжение горкома сюда, в этот город. Город большой, крупные заводы, в кадрах всегда нужда, горком подыщет ему какую-нибудь соответствующую работу.

Секретарь горкома принял его без всякого энтузиазма. Из личного дела он уже знал все, что произошло с Иванычевым на прежнем месте.

— На заводе «Орджоникидзесталь» нужен человек для массовой работы в профсоюзе. Направим вас туда, посмотрим.

— Но ведь мне это не по специальности!

— А какая у вас специальность? — недобро усмехаясь, спросил секретарь.

Иванычев замялся.

— Коммунисты не торгуются, товарищ Иванычев, а идут, куда их посылает партия. Вам это особенно следует помнить!

Так Иванычев попал в завком профсоюза на «Орджоникидзесталь» и вскоре стал председателем цехкома механического цеха. Председатель был неосвобожденным, но Иванычева сделали как бы освобожденным, проведя по штату нормировщиком. Завод его ошеломил и придавил своей огромностью, грохотом, ревом, сверканием, мельканьем всяких машин, пламенем мартенов, льющейся стали, чугуна, живыми змеями раскаленного проката, всевозможными опасностями, подстерегающими на каждом шагу. До сих пор Иванычев бывал только на пивоваренном и сахарном заводах. Там было совсем по-другому. Тихо и мирно. На пивоваренном стояли бродильные чаны, машины, небольшие и нешумные, разливали пиво в бутылки и затыкали их пробками. А на сахарном еще лучше — ничего не шумит, не двигается, стоят автоклавы, в них варится сироп, все закрыто, а потом сыплется готовый сахарный песок...

Хорошо еще, что его направили в механический. Здесь все-таки тише и спокойнее. Правда, и здесь всюду что-то крутилось, двигалось, от станков вилась разноцветная стружка, брызгали раскаленные металлические опилки, над головой то и дело, гудя и завывая, мостовой кран переносил с места на место какие-то тяжелые вещи непонятного назначения... Вдруг сорвется — и на голову? Или от станка оторвется какая-нибудь штука, которая вертится с бешеной скоростью... А что же, станки не ломаются? Иванычев, стараясь не показывать этого, ходил по цеху опасно, держась середины пролета, подальше от всяких вертящихся, двигающихся чертовщин. И вообще старался ходить поменьше. Его дело — работа с людьми. Это он знает и умеет.

Люди, правда, здесь какие-то такие, не совсем... Никак их не вызовешь на откровенный разговор. Подойдешь, спросишь: «Ну, как дела?» Отвечают: «Ничего», «Дела как сажа бела» или еще что-нибудь двусмысленное, с подковыром. На вопрос ответят, и все. Ну ничего, он авторитет завоеует, поставит себя... Главное — опереться на передовых, лучших людей. Поддерживать их. И они поддержат, будут опорой...

История с «молнией» возмутила Иванычева до глубины души. Правильно начальник вlepил этому мальчишке Горбачеву выговор! Иванычев предпочел бы, чтобы дело не приобрело широкой огласки, не вышло за пределы цеха. Произошло это в его цехе, таким образом ответственность за все нес в какой-то степени и Иванычев, это бросало на него тень...

Когда же к Иванычеву пришел Гаевский и они, запершись в конторке, обсудили дело всесторонне, он понял, насколько серьезно стоит вопрос. Со всем, что говорил Гаевский, Иванычев был полностью согласен и только кивал, подтверждая:

— Это точно!.. Совершенно правильно!

Витковский не выдержал, взорвался из-за пустяка, из-за дурацкого «Вовуни»... В пору молодости и любви ласковый уродец, в которого превратила его имя жена, нравился ему. Молодость и любовь прошли, уродец остался, но уже, кроме раздражения, ничего не вызывал. Каждый раз, когда жена, надеясь на возврат прежних отношений, называла его Вовуней, Витковского трясло от ненависти. Так и вчера не стерпел, заорал:

— Ты подумай, дурища, ну какой я, к черту, Вовуня?! Что мне, семнадцать?

— Когда-то тебе нравилось...

— Вспомнила баба, как девкой была!..

— А что мне осталось, кроме воспоминаний?!

И — пошло: сморканье, хлюпанье. Нет уж, хватит совместных воспоминаний, тоже — удовольствие...

С удовольствием вспоминалась только своя, отдельная жизнь с тех пор, как окончил техникум, стал самостоятельным и впервые надел форменную фуражку. Форму уже давно не носили, она сохранилась у немногих, например у Ромодана. Витковский любовался своим учителем: всегда подобранный, чисто выбритый, поджарый, как борзая. И форму носил, несмотря ни на что, — по традиции инженера старой школы. Все-таки форма это было хорошо, сразу выделяла человека. А теперь поди разбери, кто инженер, кто слесарь. Все, как из сиротского дома, в одинаковых теннисках и пиджаках из одного универмага. Теперь о форме нечего и думать. Собственно, и тогда носили уже единицы, над ними посмеивались, даже относились подозрительно — каста, мол, и прочий вздор. Он, Витковский, не побоялся насмешек и, как только окончил техникум, надел такую же фуражку, как у Ромодана: с зеленым кантом, бархатным околышем и гербом — молоток, переkreщенный с французским гаечным ключом. Пусть смеются. Дураки смеялись, а он стал инженером, как и Ромодан. Таким же деловитым, всегда подтянутым и немногословным. Болтают бездельники, делают инженеры и техники. Они средоточие знаний и умения, все остальное — вспомогательная сила или попросту балласт...

Витковскому хотелось и внешне быть похожим на Ромодана, но округлое лицо его с вислым носом совсем не походило на ястребиный профиль наставника. И одеваться так не пришлось: тужурка, галифе и хромовые сапожки с короткими голенищами как нельзя лучше шли высокому, стройному Ромодану и никак не подходили к длинному туловищу и коротковатым ногам Витковского.

Внешность — не так важно. Важно, что Ромодан не сделал промаха, остался холостяком, а он вот не утерпел, женился. По молодости, по глупости. Жена опостылела в первый же год, но поделикатничал, не развелся, потом появился сын. И на кой черт это было нужно? Теперь вот мучайся... «Эфирное создание» оказалось вздорной бабой, ко всему еще и ревнива, как кошка... А сын вырос балбесом и бездельником. И никуда не денешься. Только и радости, что по временам встряхнешься, расправишь косточки... Знает Олег или только догадывается? Что-то он, подлец, больно нахально смотрел, когда последний раз просил денег: «Ты меня должен понять, как мужчина мужчине...» Всыпать бы по первое число, а не денег давать!.. И так все время сидишь «на декокте». А премиальных за этот квартал не будет... План завалили — значит, «подкожные» не светят.

Хорошо Яворскому в мартеновском. Всегда на виду, и командировки и премиальные. Да и оклад выше. Только не умеет пользоваться, праведника из себя корчит. А его сунули в эту дыру — расхлебывай чужие грехи. Можно бы и здесь навести порядок, дисциплину, так ведь связан по рукам и ногам. Не единоначалие, а видимость. Каждый пустяк согласовывай, обсуждай. Вот идет деятель. Тоже небось думает, что строит коммунизм. Такие построят... языком. Строим его мы, инженеры, а эти болтуны только путаются под ногами...

Иванычев подошел к столу.

— Я, Владимир Семенович, насчет случая с Горбачевым. Может, соберемся, обсудим?

— А что, собственно, обсуждать?

— Как же, мы должны отреагировать. С нас спросят. Я предлагаю собрать вроде как треугольник, вызвать его и дать накачку, как полагается...

— Хорошо, только недолго.

— Нет, накоротке, накоротке...

Виктор упорно смотрел в сторону, на застекленную перегородку, отделяющую кабинет начальника цеха от конторы. Витковский что-то малевал карандашом на столе. Ефим Паника, как всегда, смотрел в рот говорившему и тут же оглядывался на других — как реагируют. Рядом с Иванычевым сидел еще не успевший умыться замурзанный Федор Копейка. Подперев грязным кулаком подбородок, он уставился в лицо Алексея.

— Я уже говорил: на «молнии» написал потому, что Гушин не передовик.

— А ты передовик, да? — вскочил Виктор.

— И я не передовик. Только я не притворяюсь, а ты притворяешься.

Виктор хотел посмотреть на Алексея презрительно, свысока, но презрительный взгляд не получился: Алексей вытянулся, а Виктор, хотя и подрос, стал крепышом, роста был среднего, и, когда он пытался смотреть на Алексея сверху вниз, получалось смешно: взгляд его упирался Алексею в живот.

— Погоди, Гушин, — сказал Иванычев. — Почему он не передовик?

— Потому что ничего такого не сделал. Передовик — это который что-нибудь придумал, усовершенствовал... А что он усовершенствовал?

— Норму он перевыполняет? — спросил Иванычев. — Привет, товарищ Гаевский! Мы как раз только начали...

Гаевский сел в сторонке. Начальник цеха покосился на него — он не знал, кто это такой.

— Норму он только сейчас перевыполняет, а раньше еле выполнял. И почему перевыполняет? Ему все время одни шестеренки идут, он и насобачился...

— Что значит «насобачился»? Что за выражения?!

— Ну, наловчился... Ему Ефим Па... Ефим Петрович все время только шестеренки и подсовывает...

— Я ничего не подсовываю! Распределяю как положено.

— А почему Гушин все время одни детали делает, а другие враздробь, что попало? Дядя Вася... Губин то есть или Маркин, они не могут? Маркин Гушина учил, он умеет не хуже. Так им что попало, а Гушину что повыгодней? Это разве правильно?

Витковский исподлобья посмотрел на Алексея. Парень-то тот... Действительно, у Гушина идут серийные, легкие детали. С успехом мог делать любой другой. Тот же Губин или Маркин. Но Губин — упрямый старый козел, с ним не сговоришься, Маркин — скандалист... И оба старики. А нужны молодые кадры... Что это за тип пришел? Из парткома? Не похоже, не встречал его там... Черт знает, шлятся всякие, потом наговорят, не расхлебашь... Надо переломить настроение. И так его все время шпыняют за то, что не занимается соревнованием, не растит передовиков. Вместо того чтобы делом заниматься, цацкайся тут со всяким...

— Я внесу ясность, товарищи. Специализацию в нашем цехе ввести трудно, но, где только можно, мы ее осуществляем и будем осуществлять. Это важнейший принцип современного производства.

— Вот! Понял? — сказал Иванычев. — И, понятное дело, мы передовиков поддерживаем. Их надо поощрять, создавать условия...

— Настоящих! А он не настоящий, а липовый. Кончится этот заказ — он и съедет на свои сто два процента. Тогда будете с доски снимать? То на доску, то с доски? Над ним и так кто ругается, кто смеется...

— Кто смеется? — Виктор вскочил. — Это ты подговорил, да?

Алексей укоризненно посмотрел на него.

— Эх ты! Как был пацан, так и остался пацан... Ну зачем я буду подговаривать? Люди сами видят.

— По-моему, — сказал Федор Копейка, обводя всех серьезным взглядом, — по-моему, цэ дило трэба розжуваты... Может, он и перегнул, но тут что-то такое есть!

— Ну, ты эти свои штучки брось! — оборвал его Иванычев. — Твои теории известны... Вместо того чтобы работать с молодежью, воспитывать, ты тоже? Нашел кого поддерживать! Мы, понимаешь, мобилизуем людей, выдвигаем передовиков, воспитываем на положительных примерах, а оя будет подрывать?! Дискредитировать? Этот номер не пройдет! Это что же получается? Мы мобилизуем массы, весь коллектив, чтобы внести свой вклад, а тут, понимаете, появляются люди, которые пытаются ставить нам палки в колеса, тащить нас назад! Так получается, товарищи? Мы с этим мириться не можем. Нет, не можем!

Алексея трясло от злости. Что они, с ума посходили? Он же им объяснил! Да пусть спросят кого угодно...

— А с враньем можете? С враньем миритесь? А еще коммунизм строите!

Так говорить не следовало. Понял это Алексей слишком поздно, когда установилась зловещая тишина. Все, не отводя глаз, смотрели ему в лицо, только Ефим Паника зыркал то на одного, то на другого.

— Та-ак! Договорился... — сказал Иванычев. — Тебе не нравится, как мы строим коммунизм? Может быть, тебе и коммунизм не нравится? И заодно Советская власть?

— Может быть! — сказал Гаевский.

— Я не про Советскую власть и не про коммунизм. Я про вранье... Коммунизму правда нужна, а не вранье!

Его уже не слушали, смотрели на Гаевского, ждали, что скажет он.

— Лично меня поведение Горбачева не удивляет. — Гаевский говорил негромко, медленно и веско, как человек, уверенный, что его выслушают до конца. — Может, товарищи не в курсе, я поясню. Выступление против передовиков — факт не случайный. Надо присмотреться к общественному, политическому лицу этого человека. Кто такой Горбачев? Вам известно, что он связан с баптистами?

— Я не связан, неправда!

Гаевский даже не повернул головы.

— Вам известно, что он замешан, связан с подозрительными элементами и даже подвергался недавно аресту?

— Так я же свидетелем!.. Арестовали спекулянта, я свидетель, а не замешан!

— Мы еще не знаем, товарищи, — будто ничего не слыша, продолжал Гаевский, — что это за элементы... Может, это только спекулянты. Но спекуляция бывает разная. А за ней может обнаружиться и кое-что другое... Лично я ничему не буду удивляться. Может, вам не известно, но мне известно: еще в школе Горбачев был замешан в историю с тайной организацией...

— Как не стыдно! — закричал Алексей. — Это же была детская игра! Вас же за это выгнали, что вы начали раздувать!

Гаевский и теперь не взглянул на Алексея, только лицо его, и без того белесое, побледнело еще больше, колючие маленькие глазки сузились.

— Лично меня никогда ниоткуда не выгоняли, что легко проверить по моему личному делу... Так вот, товарищи, в свете этих фактов выступление Горбачева, направленное на дискредитацию передовиков и срыв ответственного заказа, приобретает совсем другой характер! Я считал своим долгом внести ясность, ввести вас в курс.

Иванычев выжидательно смотрел на Гаевского — что он скажет еще? Гаевский молчал. Виктор отвернулся, уши его горели. Федор Копейка хмуро разглядывал мозоль на левой ладони и ковырял ее ногтем. Ефим Паника ловил взгляд начальника цеха и заранее изобразил на своем лице удивление и негодование.

У Витковского поначалу отлегло от сердца — тип оказался не опасный. А Горбачев-то, а?.. Да нет, ерунда! Что-то этот подтасовывает, пришивает... Хотя кто его знает! Надо это дело ликвидировать. Пусть потом разбираются, кому нужно. А то наделают шуму, начнут копать: передовики — не передовики... Ему еще только не хватало, чтобы обвинили в окковтирательстве, выдвижении дутых персдовиков...

— Что будем делать, Владимир Семенович, как вы думаете? — спросил Иванычев.

— А что тут думать? Паршивую овцу из стада вон, вот и все.

— Нет, Владимир Семенович, я не согласен. Просто так мы не можем... Надо вокруг этого дела создать общественное мнение, извлечь уроки. Правильно я говорю? И поскольку Горбачев беспартийный, не комсомолец, заняться этим должна профсоюзная общественность. Я так думаю: подготовим вопрос и через день-два поставим на цехкоме. Нет возражений?

Последнее, что увидел Алексей уходя, был взгляд Виктора, испуганный и вопрошающий. А, черт с ним! Дело теперь не в нем... Что они, все ослепли, сошли с ума? Ведь они на самом деле хотят, чтобы Витька был передовиком, чтобы цех перевыполнял план и завод тоже, чтобы страна шла к коммунизму. Так ведь и он хочет того же! И они и он говорят одни и те же слова, а получается так, словно говорят они на разных языках.

15

Как бы хорошо было, если б все уладилось само собой! Виктор осознал, начальство поняло и стало на сторону Алексея, никто тогда не будет к нему приставать, грозить. А Гаевский? Гаевского за что-нибудь сняли бы, совсем прогнали с завода...

Алексей усмехнулся... Вырос, а все еще не расстался с детскими надеждами на то, что все делается само по себе, будет счастливый случай, чудо... Пора перестать верить в сказки. Нет в жизни легких дорог, волшебных случайностей, не бывает чудес, ничто не приходит само. Бывает только то, что ты сделал, чего добился... Вот он сделал. А чего добился?

Работа еще не началась, а Федор Копейка был уже замурзан. Он подмигнул, ободряюще кивнул Алексею. Что проку в его ободрительных кивках?

Виктор, заметив Алексея, отвернулся. Сколько раз Алексей слышал, читал: настоящая дружба состоит в том, чтобы указывать другу его ошибки, недостатки. Алексей попробовал, и теперь самый большой, настоящий друг показывает ему спину.

Дядя Вася, хмурый больше обычного, еле поздоровался. Неужто и он?..

Работалось трудно. Полночи он не спал, думал о вчерашнем, сейчас гнал от себя эти мысли и не мог не думать о том, что теперь будет и что они сделают. Будет плохо, тут нечего и думать. Если бы еще не Гаевский... А он, гад, все подобрал и повернул так, что Алексей получался

самый настоящий враг... Другие ведь не знают, что это вранье, и будут думать, что так оно и есть, что Алексей на самом деле баптист, уголовник и бог весть что еще. Теперь попробуй доказать, что ты ни то, ни другое, ни третье, и вообще не верблюды... В цехе о вчерашнем, конечно, знали — Ефим Паника наверняка разболтал; но к Алексею никто не подходил, никто с ним не заговаривал. Алексею казалось, что его даже сторонятся, встретив взгляд, отворачиваются, притворяются очень занятыми или уходят, боясь, что он заговорит, а говорить с ним не хотят, потому что он т а к о й...

Незадолго до обеда к Алексею подошел Ефим Паника. Строго поджимая губы, он перебрал наряды уже размеченных деталей, собрал чертежи и небрежно спросил:

— Ну, что ты себе думаешь?

— А что мне думать?

— Свое «я» хочешь доказывать? Смотри, допрыгаешься!

— Не пугайте. Меня вчера уже пугали.

— Я не пугаю, я советую. По-дружески. Пока не поздно. Вчера были цветочки, а ягодок лучше не дожидаться... Пошел бы, по-человечески сказал: так и так, мол, осознал, прочувствовал свои ошибки и больше впредь ничего такого не повторится.. Ну, чего-нибудь тебе припаяют, чтобы крепче осознал. И все. А будешь дальше свое «я» доказывать — тогда не жалуйся...

— Вам не пожалуюсь.

— Ты гордость эту брось! И не таких обламывали. Ведь это вопрос двоякий: как с тобой решат поступать...

— Не вопрос, совесть у тебя двоякая,— сказал Василий Прохорович. Он подошел незамеченный и стоял теперь возле плиты, обтирая руки концами.— Ты парня не сбивай, совесть ему не укорачивай. Что укоротишь, того не веротишь...

— Я его не сбиваю — советую. У меня опыта побольше его и голова на плечах.

— На твою голову, Ефим, только штаны надевать.

— Василий Прохорович! Я вас уважаю, но...

— Ладно, потом доругаемся. Докладываю, как начальству: я, видно, пошабашил сегодня. Пойду в здравпункт. Ломает меня что-то, просквозило, видать...

Ефим Паника посмотрел на станок — он был уже прибран.

— Да как же, Василий Прохорович? Ведь блок срочный! — Ефим Паника, негодуя, поднял руки.

— Тебе блок, а мне к партийному собранию выздороветь надо.

— Так это ж на той неделе!

— А я не знаю, сколько я хворать буду... Вас чему учат? Самый ценный капитал — люди. А ты — блок! От тебя, Ефим, любая наука, как от стенки... На, держи, может, умнее станешь.— Он сунул в протянутую руку мастера грязные, промасленные концы и пошел по пролету к выходу.

Мастер посмотрел на ком ветоши, в сердцах швырнул его на пол. Старик шел сгорбившись, ни на кого не глядя и даже чуть покачиваясь. Алексей догнал его.

— Дядя Вася! Может, помочь?

— Не надо — я на ногах удержусь. Ты-то сам держись!

Алексей вернулся к плите.

Значит, дядя Вася на его стороне! Как он Ефима Панику... Интересно, Ефим сам или его послали «советовать»? Пусть делают, что хотят! В конце концов что они — съедят его?..

Все это будет потом. А сейчас приближается то, что уже никак не может отодвинуться или не состояться. Поезд в шесть. Доехать, пере-

одеться, добежать до Наташи — не меньше часа. Она просила пораньше...

За несколько минут до гудка Алексей убрал инструменты, умылся. И в это время подошел мастер.

— Иди в контору. Сразу после работы заседание цехкома. По твоему вопросу, — внушительно сказал он.

— Почему сегодня? Я сегодня не могу...

— Как это «не могу»?

— Не могу, и все! Занят сегодня.

— Ты с ума сошел? Какие могут быть занятия, когда о тебе вопрос? Ты что, с этим шулки шутишь?

— Никакие не шулки! Что им приспичило? Я никуда не сбегу, можно и завтра...

— Может, ты вообще не пойдешь? Отменишь цехком? Набезобразничал, а теперь струсил?

— Ничего я не боюсь. А сегодня не пойду. Я же сказал — не могу!

— Иди объясняй Иванычеву, а не мне.

Самое разумное было пойти и объяснить, почему он не может сегодня присутствовать на цехкоме, но он тут же понял совершенную невозможность сделать это. Сказать о Наташе? Поднимут на смех, скажут про нее какую-нибудь гадость... Он только задержится, опоздает и ничего не добьется.

— Я не пойду, — набычившись, сказал Алексей.

— Ты дурака не валяй! — закричал Ефим Паника. — Ты не понимаешь, чем это может кончиться? Да если только...

Рев гудка заглушил его слова. Алексей секунды две смотрел на его беззвучно кричащий рот, махнул рукой и побежал к выходу.

Он бежал по заводскому двору и, чем больше удалялся от цеха, тем отчетливее сознавал, что делает непоправимое. Они и так готовы съесть его с сапогами, а он сам дает им козырь в руки, да еще какой!

В проходной, показывая пропуск вахтеру, он на секунду приостановился. Еще не поздно вернуться, еще можно поправить... А Наташа? Она уже волнуется, смотрит поминутно на часы. Что она подумает? Как они вдвоем справятся с вещами? Да что вещи! Не увидеть ее в последний раз?! Алексей ринулся в автобус.

Место оказалось удобным, вещи были разложены. Они вышли на платформу. По ней еще спешили отъезжающие с чемоданами, авоськами, цветами. В большинстве это была молодежь. Юность уезжала в науку, и над платформой звенели громкие голоса и смех, взлетали обрывки песен. Наташа, наблюдая посадочную суматоху, уговаривала мать не беспокоиться — что она, маленькая? — спрашивала о чем-то и тут же, не слыша ответов, сетовала, что не повидала Киру, не попрощалась с ней. Ей, бедняжке, трудно теперь с ребенком... Алексей молчал и не сводил с нее глаз.

— Почему у тебя такое лицо? Алеша! Что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке.

Не это, совсем не это хотел и должен был он сказать... «Наташа, Наташа! Не уезжай. Останься здесь хоть на пять, хоть на три дня, пока не кончится это... Если бы ты знала, как ты мне нужна! С тобой я могу все. Я все выдержу. Ничего не делай, ничего не говори, только будь здесь. Чтобы был человек, который мне дороже всех, и чтобы я знал, что кому-то немножко нужен и я...»

Она ничем не могла ему помочь. Он и не ждал, что она поможет. Важно только, чтобы она была здесь, он мог прийти и сказать: «Пони-

маешь?» И пусть бы она даже не поняла, а только кивнула. Ему было бы легче. Он стал бы сильнее. Ах, как это важно, чтобы рядом с тобой был человек, к которому можно прийти и сказать: «Понимаешь?» И как часто, слишком часто такого человека рядом с тобой нет...

Алексей молчал. Он понимал, что не может, не должен, не имеет права сказать. Наташа не поймет и, даже поняв, все равно уедет. Этого нельзя изменить и остановить. В сущности, она уже уехала. Неподвижен поезд, она еще стоит у вагона, говорит, смеется. Но ее уже нет. Она уже вся там, в Ростове, в институте, в своем будущем. И все прошлое для нее уже прошло, а настоящее уже стало прошлым. Оно возникнет в памяти лишь потом, как воспоминание, а воспоминания никогда не становятся действительностью...

И он молчал. Где-то возле паровоза задребезжал свисток, подхлестнутый им предотъездный гвалт забушевал сильнее. С печальной нежностью Алексей смотрел, как Наташа целует мать. Наташа протянула ему руку.

— Ты меня не забудешь? Будешь писать? Много и часто, да? А потом я приеду, и будет все, как было... Да?

Она побежала к вагону, вскочила на подножку, обернулась и прощально подняла руку. Внезапно все оживление словно сдуло с ее лица, рука опустилась, прижалась к горлу — так трудно стало вдруг дышать.

Вот только теперь она увидела, какое у него лицо... Боже мой, боже мой! Что же она делает? Зачем она уезжает?.. Он молчит. Он всегда молчит. Ни разу не сказал ни слова, но она ведь знает... Давно знает. Он же любит ее! Как никто... И никто никогда так не полюбит. Почему все так глупо и ужасно? Они говорили о чем угодно — о рыбе, о звездах, о науке, обо всякой чепухе — и никогда об этом... А думали об этом!.. Почему? Почему так глупо устроена жизнь, люди? Стыдятся себя и своих чувств, самое лучшее прячут в ненужное, в пустяки... А потом плачут, но уж ничего нельзя изменить, вернуть, поправить. Как же он будет без нее? А она? И что теперь делать? Спрыгнуть? Остаться?.. «Мамочка, милая, не сердись, что я не смотрю на тебя! Посмотри на его лицо. Разве ты не видишь?.. Что же мне делать? Вот уже поезд трогается... Как же я могу уехать?»

Опоздавшие вскакивали на подножку, толкали Наташу, кто-то над ней, перегнувшись, высунулся из тамбура, давил грудью ей на голову, она ничего не замечала и смотрела, смотрела... Проводница шла рядом с вагоном, доставала из футляра свернутый желтый флажок.

Наташа прыгнула с подножки на платформу.

— Сумасшедшая! — охнула мать.

— Гражданка! — сердито закричала проводница.

Наташа подбежала к Алексею, приподнялась на цыпочки и поцеловала его.

— Вот это да! — завистливо сказал нарочитым басом парень, стоявший у открытого окна.

— Бис! — закричал его товарищ.

Наташа вскочила на подножку, протиснулась мимо ворчащей проводницы. Вагон пошел быстрее. Стоя за спиной проводницы, пылающая, заплаканная Наташа махала рукой.

— Ах, сумасшедшая, сумасшедшая... — шептала мать Наташи, махала рукой и вытягивала шею, стараясь разглядеть уже неразлично отдалившуюся Наташу.

Алексей стоял неподвижно, сунув руки в карманы, исподлобья смотрел на удаляющийся поезд.

Вахтер в проходной поднял руку, останавливая Алексея.

— Ну-ка, дай.

Он посмотрел пропуск, сверил с бумажкой на столике и положил в карман.

— В чем дело?

— Приказано отобрать.

— Как? Мне же на работу!

— Давай отойди, людей не задерживай.

Алексей ошеломленно отступил в сторону. Почему у него отобрали пропуск? Он же опоздает!..

Вахтер, поглядывая на пропуска идущих через проходную рабочих, время от времени косился на него.

— Ты давай не стой тут, все равно не пущу.

— Да почему?

— Иди в отдел найма, там спрашивай, а меня это не касается.

Отдел найма и увольнения помещался в здании напротив главной проходной. Он был закрыт — там работа начиналась в восемь. Алексей сел на скамейку у входа.

Это все Гаевский устроил. За вчерашнее. За то, что он ушел. И вообще... Уходить не следовало! Хоть бы объяснил, сказал...

Алексей побежал к проходной: надо поймать кого-нибудь из цеха, сказать, предупредить, что сделал Гаевский...

Через проходную поодиночке, группами, молча, переговариваясь, чему-то смеясь, шли и шли рабочие. Десятки, сотни. Они шли спокойно, уверенно: до третьего гудка успеют, работать начнут вовремя. А он — нет... Алексей нетерпеливо переступал с ноги на ногу, искал глазами знакомые лица. Ни одного. Механический далеко, в него проходят раньше. Он сам тоже всегда приходил раньше. Поток рабочих слабел, иссяк совсем. И через несколько минут заревел третий гудок. Все! Цех начал работать, а он нет... Проклятая контора закрыта, и не к кому обращаться, некому жаловаться.

Алексей снова сел у входа в отдел найма и через минуту встал. Сидеть целый час, ждать, пока придут все эти... И Гаевский тоже... И все будут смотреть на него, как он сидит здесь взъерошенный, растерянный и ничего не может сделать... Гаевский — особенно. Пусть только придет!

Он пошел вдоль ограды к ковшу заводского порта. Посреди ковша стояла завозня. Она служила базой для водолазов. Ковш очищали от «рвотины» — рваного огнем и взрывами железа, которым во время войны завалили ковш. Теперь он был снова нужен: завод готовился к переходу на камыш-бурунскую руду, и порт подготавливали к приему рудовозов. Полузатопленного парохода у правого низменного берега уже не было. Еще весной его кое-как залатали, подняли и отвели к судоремонтному заводу на слом.

Алексей сел на берегу. Когда-то из трюма этого парохода он вытащил едва не утонувшего Витьку. Сюда, проваливаясь по пояс в сугробы, он приходил с Наташей «изучать пароходы», когда они затеяли «Футурум» — детское свое общество будущих капитанов... Пароход уже не существовал, Наташа уехала. Витька теперь помогал другим топить его, Алексея, и Гаевский снова начал возню вокруг «Футурума». Ничего у него не выйдет! Вот только Алексей получит обратно пропуск, пойдет в цех и все расскажет...

Дверь отдела найма уже была открыта. Алексей постучал в окошко, закрытое крашеной фанерной дверкой. Окошко открылось, больно-едкая седая женщина строго и вопросительно посмотрела на него.

— У меня отобрали пропуск.

— Из какого цеха? Как фамилия?

— Горбачев, из механического.

— А, Горбачев...— Она наклонилась над столом, искала там, потом, сняв скрепку, разделила две бумажки, одну из них протянула Алексею.— Вот, оформляй.

— Что оформлять?

— Увольнение оформляй. Не видишь, что ли?

— Какое увольнение?! Дайте мой пропуск, я в цех пойду!

— Пропуска ты больше не получишь, и в цех тебе ходить незачем — там все уже отмечено.

— Да кто... На каком основании?

— По приказу начальника цеха.— Седая женщина подняла второй листок и прочитала: «За нарушение трудовой дисциплины, попытку дезорганизовать производство и антиобщественное поведение разметчика А. Горбачева уволить с 27 августа 1952 г.».

Алексей вцепился руками в подоконник.

— Где Гаевский?

— Зачем тебе Гаевский? Его сегодня не будет.

Фанерная дверка захлопнулась.

На увольнительном «обходном» листке уже стояли подписи Витковского и мастера. Это они нарочно, чтобы Алексей не мог прийти в цех, рассказать, найти защиту... Вот гады! Ну погодите...

В несколько прыжков Алексей оказался на втором этаже. Завком начинал работу в девять. В девять председателя завкома не было. «Наверно, пошел по цехам»,— сказала секретарша. В десять его тоже не было. Он пришел только в одиннадцать.

— Я к вам,— бросился к председателю Алексей.

— У меня прием с двенадцати... Ну ладно, заходи. В чем у тебя там дело?

— Меня уволили.

— За что?

— Неправильно уволили! Я ничего не нарушал и не дезорганизовал... Это все подстроили!

— Погоди! Давай по порядку. Из какого цеха?

— Из механического. Разметчик. Горбачев.

— А, Горбачев... Н-да... Говорили мне про тебя, говорили... Что ж, правильно тебя уволили.

— Как правильно? За что? Я ж ничего не нарушал!..

— «Молнию» срывал? Ну, не срывал, писал на ней... Факт? Факт. Передовиков опорачивал? Факт. Ну и всякие там темные дела за тобой... А ты хочешь, чтобы мы тебя защищали? Мы защищаем людей, которые честно работают, помогают производству, а не дезорганизуют его.

— Так это все неправда!

— Ты мне байки не рассказывай! Неправда... Цехком разобрался, он решение начальника цеха поддерживает. И мы поддержим. Так что на нас не рассчитывай.

— Так что же мне делать?

— Что хочешь... Раньше надо было думать.

Слова, множество слов душили Алексея. Горячих, гневных и правдивых. Но он смотрел в лицо председателя и видел, что все эти слова ни к чему, их не будут слушать и, даже выслушав, не услышат.

— Все, Горбачев. Разговор окончен.

Алексей вышел. Против двери завкома профсоюза была дверь заводского комитета комсомола. Алексей поколебался — он ведь не комсомолец! — и вошел. Молодой человек читал какие-то бумаги и подчеркивал

фразы толстым красным карандашом. Услышав стук двери, он поднял голову.

— Слушаю.

Алексей сказал, что он, хотя и не комсомолец, пришел в комитет, чтобы ему помогли.

— Давай-давай, что там у тебя?

Алексей рассказал. Секретарь, поигрывая карандашом, подумал.

— Ладно, я проверю, поговорю с комсоргом вашего цеха. Только имей в виду: бузотеров мы не поддерживаем! И если окажется правда, пеняй на себя.— Секретарь снова склонился над бумагами.

Грохоча башмаками по лестнице, Алексей выбежал на улицу.

Вот как они устроили все! Он приготовился доказывать свою правоту, бороться. С ним не собирались бороться, никого не интересовали доказательства. Его просто отбросили в сторону, вышвырнули, он перестал для них существовать...

Когда Алексей вернулся домой, ребята уже переодевались после работы и собирались уходить.

— Тебя комендант спрашивал,— сказал Костя Поляков.

Алексей хотел было идти отыскивать Якова Лукича, но тот сам открыл дверь.

— Горбачев пришел? Ага... Тебя уволили?

Ребята удивленно уставились на Алексея.

— Меня восстановят, я добьюсь...

— Когда восстановят, тогда другой разговор будет. А теперь предупреждаю: в трехдневный срок освободить койку. Сегодняшний засчитывается. Так что собирай шмотки и в понедельник уматывай.

— Куда же я пойду?

— Меня не касается. Мне из АХО позвонили, дали команду. Понятно?

— Не имеете права,— сказал Костя,— он же будет добиваться!

— Ты тут права не устанавливай! Мне кого слушать — вас или начальство? Поскольку он теперь на заводе не работает, проживать ему тут не положено. Понятно?

Яков Лукич ушел, ребята накинулись с расспросами. Алексей коротко рассказал.

— Ты вот что,— подумав, сказал Костя,— ты этого старого хрена не слушай! Живи, и все. Пока не восстановят. Что он тебя, с милицией будет выгонять?

— Постель заберут.

— Подумаешь! Со мной будешь спать, я не толстый, поместимся... А то куда же ты, на улицу?

Ребята поговорили еще, надавали хороших, но бесполезных советов и ушли. Алексей посидел немного и тоже пошел. Идти было некуда, но он не мог сидеть в четырех стенах, которые уже тоже становились чужими.

Деловито сопящие карапузы занимались в сквере извечной своей работой: лепили песочные пирожки, строили дома. Алексей присел на скамейку. Следовало пойти в общежитие, но он слишком устал. Устал и ходить и думать. К ребяташкам подходили мамы, отряхивали с них песок и уводили домой — уже смеркалось. Детская площадка опустела. Алексей почувствовал жажду, подошел к киоску с газированной водой. Руку его со стаканом воды ухватили цепкие пальцы. Рядом стоял Олег Витковский.

— Кто же эти помои пьет? Ты ведь рабочий класс! А что сказал талантливейший поэт нашей эпохи? «Класс, он жажду заливает квасом? Класс, он тоже выпить не дурак...»

Олег улыбнулся. От него несло водочным перегаром, крылья носа и виски у него побледнели.

— Что смотришь? Думаешь, я на газу?

Витковский всегда был неприятен. Сейчас он был ненавистен: он был сыном того Витковского, который выгнал Алексея с работы... Хоть этому дать в морду!

Алексей медленно поставил стакан обратно.

— Слушай, Горбачев, ты ж мировой парень! Что ты из себя монаха строишь? За это денег не платят, орденов не дают. Знаешь, есть такой анекдот: приходит один...

Сбиваясь и похохатывая, Олег рассказывал, но Алексей не слушал. В морду нетрудно... Ну сорвешь зло, а потом?.. Может... Может, рассказать? Пускай поговорит с отцом, объяснит... Меня не захотел слушать, но если сын объяснит как следует, подробно — и про баптистов, и про дядьку, про «Футурум», — он же увидит, что все враки, выдумки того гада...

— Мне с тобой поговорить надо.

— Так в чем дело? Пошли!

— Давай тут.

— Всухую? За кого ты меня держишь? Пошли в пельменную, там посидим, а потом у меня есть один вариант... — Олег многообещающе ухмыльнулся и подмигнул.

Алексей только теперь вспомнил, что с утра ничего не ел.

— Ладно, пойдём.

В форточке гудел вентилятор, громкоговоритель грохотал, сидящим приходилось перегибаться через столики и кричать, чтобы услышать друг друга. Синие полосы табачного дыма колыхались над головами разомлевших от водки и духоты людей.

Олег и Алексей сели за столик у стены против входа.

— Клабочка! — Олег обхватил проходящую официантку за то место, где у нее когда-то была талия. — Сработай нам поллитровку...

— Я пить не буду, — сказал Алексей.

— А кто будет пить, кто? Разве это называется пить? Ладно, для начала дай нам две полторки с прицепом. Только в графинчиках, как полагается. Ну, селедочки, пельменей и все тому подобное, сама знаешь... Ты, может, стесняешься насчет монеты? У меня хватит, будь спок! — Он показал пачку денег.

Алексей не знал, с чего начать, озирался, разглядывая посетителей. Столики были заставлены пивными кружками, бутылками и едой. Клабочка, состоявшая из полушарий, колыхающихся, как подтаявший студень, принесла графины с пивом и водкой, расставила металлические тарелки с закусками.

— За дружбу! — разливая водку, сказал Олег.

— Я лучше пива.

— Кто пьет пиво? Извозчики! И тех нет... Пиво не пьют, пивом запивают. Ты что, маленький? Выпьем, потом поговорим...

Водка обожгла рот и горло.

— Пивком, пивком! — деловито подсказал Олег.

Алексей выпил стакан пива.

— Ну вот, порядок. — Олег в свою очередь выпил водку, запил пивом. — По правилам между первой и второй не дышат... Ну, у тебя тренировки нет — закуси.

Алексей проглотил кусок жесткой от уксуса селедки. По телу разлилась теплая волна, поднялась к голове. Галдеж в пельменной, грохот громкоговорителя стали как бы тише. Кто его знает, может, этот Олег не такой уж плохой парень? В конце концов, что он ему сделал? Когда в детстве дрались. Велика важность. Кто в детстве не дрался?

— Сейчас мы это прикончим, захватим еще горячего и пойдем в одно место.. Есть тут одна биксинская... Кусочек — во! Прима-люкс! Пластинки у нее — закачаться! Морячки прихватили. Из Западной Германии. Ударник и шесть саксов. Сила, представляешь?.. Пам-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па...— Олег начал напевать в судорожном, спотыкливом ритме, пристукивая донышком стакана по столу, потом спохватился, снова налил в стопки водку.— Знаешь, есть мировой тост: «Дин скол, мин скол, аллавака фрика скол»...

— Это что такое?

— Моряк один научил. «За тебя, за меня, за всех девушек!» Здорово, а? Ну, давай...

«Не за всех, за Наташу!» — подумал Алексей и выпил.

— До конца, до конца, не будь бабой.

Алексей допил. Теперь уже было не так трудно и противно. Он сам налил пива и запил. Минуту спустя горячая волна снова разлилась по телу. Пальцы стали неловкими — Алексей хотел подцепить кусок селедки и промахнулся.

— Я больше пить не буду.

— Шутишь! Мы еще по полтора ста не выпили...

Алексей гонял вилок пельмени по жестяной тарелочке и думал, с чего начать. Наверно, лучше не сразу, подойти издалека...

— Слушай, ты в бога веришь?

— В бога?— Глаза Олега остановились.— Что я — сдурел? Я, если хочешь знать, ни во что не верю!

— Как это ни во что?

— А так: дин скол, мин скол, аллавака фрика скол!.. И все! И точка!

— Это ты врешь.

— А чего бы я врал? Что я, кого боюсь? Да я никого не боюсь! Плевать я на всех хотел!— В духоте пельменной Олега быстро развизило.— И плюю... Давай выпьем и наплюем на все!

Алексеею есть уже не хотелось. Мысли сделались легкими, ускользающими, удерживать их становилось все труднее. С чего это он про бога начал? А, Голомозый... Ерунда!

— Мне ребята тоже говорили: «Плюнь!»

— И правильно!

— Не могу.

— Ну и дурак! Что ты, сто лет будешь жить? Да сколько б ни жил. Ну и дурак! — повторил Олег.— Или притворяешься.

— Я не притворяюсь.

— Все притворяются! И врут. А я нет. Если хочешь знать, я самый честный!

— Ладно,— сказал Алексей. Пьяный спор уводил слишком далеко в сторону.— Я с тобой не об этом хотел...

— Так и я не об этом! — подхватил Олег.— Я тебе, как другу... Понимаешь, как другу! Постой... Выпили еще? Выпьем! Вот так... Я тебе, как другу, советую: брось ты это дело!

— Что бросить?

— Ну, ты там вкальваешь, в вечернюю школу ходишь... На черта тебе это надо! Живешь, как арестант... Ты же настоящий парень!

— А как жить надо?

— Как умные люди живут! Ну вот я. Мог поступить в институт? Мог. Ну, там конкурс, медалисты... Плевать! Мой старик это бы дело устроил. А я не пошел. Что я потом с этого буду иметь? Вкалывай, как ишак, за это тебе семьсот в зубы, и будь здоров?

— А сейчас ты сколько получаешь?

— Я не получаю, я беру.

— Но ты же работаешь?

— Я? А зачем мне это надо? Работа дураков любит, пускай работяги и надрываются... Я и так проживу.

— И отец не возражает?

— А что отец? У меня старик ушлый, он тоже своего не упустит. Ему за пятьдесят, а он еще дает дрозда... Ну и правильно! Жить надо весело.

— А на что?

— Найдется, надо только шевелить извилинами... Понимаешь?

— Нет, если все так будут рассуждать...

— Кто все? Все не рассуждают.

— Погоди! Люди работают, строят коммунизм...

— Детка! Ты меня хочешь агитировать? Не надо, я в коммунизме больше понимаю. Они еще строят, а я уже в коммунизме — получаю по потребностям.

— Не работая?

— Чудак! Что я тебе, рабочая скотинка, чтобы ишачить?

Теперь Алексей не слышал никакого шума, не видел ничего, кроме бледной самодовольной рожи Олега, на которой змеилась презрительная ухмылка.

— А кто же ты? Шкура?

— Постой...

— Значит, все пускай работают, а ты нет? Все рабочая скотинка, а ты кто? Все на тебя, гада, должны работать, чтобы ты жил весело?!

Опираясь о столешницу, Алексей поднялся. Он не замечал, что давно кричит и окружающие слушают. Олег вскочил, схватил его за руку.

— Погоди, ты не так понял...

— Я тебя хорошо понял... Уйди, гнида!

Алексей рванул руку, Олег не удержался на ногах, рухнул на стол. Жестяные тарелки, вываливая на него содержимое, попадали.

— Крепко! — с удовольствием, во весь голос отметили за соседним столиком. Там сидели четверо молодых рабочих.

— Погоди, ты у меня получишь! — проговорил Олег, но тут же попытался к стене и побледнел еще больше.

Задев стулья, сидящих, Алексей вернулся, сунул руку в карман.

— На, подавись! Я на твои не пил...

Он швырнул в лицо Олегу смятые бумажки, никелевая мелочь брызнула в стенку, на стол.

— Врежь этому тарзану как следует! — с вождением сказал тот же голос.

Алексей повернулся и, покачиваясь, толкая сидящих, пошел к выходу.

Олег проводил его ненавидящим взглядом, с пьяной старательностью отряхнул костюм.

— Ух, я ему сейчас сам приварю! — пообещал голос.

Над соседним столиком приподнялись голова и плечи говорившего.

— Брось! — Товарищи схватили его за руки. — Не марайся! Его и так уже можно ложками собирать...

Опасливо оглядываясь, Олег отодвинулся, сунул подбежавшей Клавочке деньги и пошел к выходу.

Ноги не слушались. Алексей осторожно поднимал ногу, старательно ее заносил, но опускалась она совсем не туда, куда нужно, а в сторону, туда же заносило его самого, и, чтобы не упасть, нужно было быстро-быстро перебирать ногами, пока равновесие не восстанавливалось, но со следующим шагом оно опять терялось, и Алексея относило в другую сторону. Он старался никого не задеть, но задевал, толкал прохожих и невнятно бормотал: «Извиняюсь»... Потом единоборство с непослушным телом поглотило все внимание, и он перестал извиняться. Одновременно идти и думать было трудно, но не думать он не мог. Время от времени он останавливался и говорил, не замечая того, вслух:

— Нашел кого просить! Ду-рак!..— И тряс головой от отвращения к себе.

Потом он шел дальше и останавливался.

— Нашел с кем говорить! Ско-тина!..

От него шарахались, одни поругивали, другие посмеивались. Он ничего не замечал, не слышал и только иногда приостанавливался и оглядывался — туда ли идет? Дорога была знакома, и, ваясь со стороны на сторону, он шел дальше.

Миновав сквер, Алексей остановился. Перед общежитием не было никаких ворот, а здесь между каменными столбами подвешены ворота из железных прутьев. Но он же шел домой, проверял дорогу, и все было точно. Все точно: он пришел домой, только не в общежитие, а в свой дом, в детский дом...

Алексей привалился к каменному столбу. Когда-то, в первый день жизни здесь, после первого знакомства с Витькой, он заблудился и пришел сюда поздно ночью. И все было так же, как теперь. И теперь так же горят тусклые лампочки у входа в кухню и в спальни, так же висит в небе бледный рожок месяца, так же лежат на земле черные тени тополей... Все такое же и уже не такое. Вот он снова заблудился, только иначе и, не сознавая того, пришел в с в о й дом. Но он уже ничем не может помочь ему. Другие мальчишки и девчонки спят в спальнях, другими судьбами заняты Ксения Петровна и Людмила Сергеевна... Тогда он, измученный и голодный, ткнулся ей в плечо, заплакал, и она заплакала тоже. Он рассказал все о себе, навсегда поверил ей, а она ему... А теперь? В чье плечо может уткнуться он, верзила, кому пожаловаться? И чему помогут жалобы теперь?

Его пронзила щемящая жалость к самому себе. Нельзя вернуться в детство, ничего нельзя вернуть... Надо уходить! Нельзя, чтобы видели его здесь таким... Он с трудом оторвался от столба.

— Кто здесь? Что вы тут делаете? — спросил встревоженный женский голос.

Маленькая полная женщина присматривалась к стоящему в тени Алексею. Он панически метнулся в сторону. Нельзя, чтобы она видела его таким!..

— Что вам здесь надо?

Ноги подвели, Алексей ухватился за столб.

Языка во рту было так много, что он с трудом поворачивался. Но нельзя, чтобы она испугалась!

— Я сейчас... Я уйду, Людмила Сергеевна...

— Кто это?.. Господи! Алексей, Алеша... Ты что, больной?

Алексей оторвался от столба, его качнуло к Людмиле Сергеевне.

— Да ты пьяный! — с отвращением сказала она.

— Н-нет, я не пьяный...— Алексей помотал головой.— Я все п-понимаю...

— Что уж тут понимать!.. Зачем ты сюда в таком виде явился? Здесь же дети!

— А я уйду... Я так... Не сердитесь, Людмила Сергеевна...

Алексей, то торопливо перебирая ногами, то с трудом переставляя их, ваясь со стороны на сторону, пошел через сквер. Людмила Сергеевна догнала его.

— С чего это ты нагрузился? Получке обрадовался?

Алексей махнул рукой и не ответил. Он старался идти быстрее, чтобы уйти от Людмилы Сергеевны, но она не отставала.

— Домой-то дойдешь?

— Д-дойду... А что же я, не д-дойду?..

Пройдя квартал, он увидел у ворот скамеечку, постоял, покачиваясь, и сел на нее.

— Ну? — строго спросила Людмила Сергеевна.— Чего расселся? Пойдем. Где твое общежитие?

— Там... — махнул рукой Алексей.— Н-ну его к черту вместе с этим... со всем... Вы идите... А я не п-пойду, мне нехорошо... А тут хорошо!..

Людмила Сергеевна растерялась. Что делать? Оставить нельзя.

— А ну, вставай! — Она изо всех сил затрясла его за плечи.— Вставай сейчас же!

Алексей покорно поднялся. Людмила Сергеевна взяла его под руку и повела. Он шел осторожно, стараясь не толкать Людмилу Сергеевну, но все-таки толкал, наваливался на ее плечо непослушным телом.

Людмила Сергеевна открыла дверь, зажгла свет. Возле окна стояла раскладушка.

— Садись.

Алексей послушно сел, расставив руки, уперся в край раскладушки.

— Сними башмаки.

Он нагнулся и едва не упал на пол.

— Сиди уж, горе-горькое!

Алексей тупо смотрел, как Людмила Сергеевна, встав на колени, попробовала снять туфли. Они не снимались.

— Кто это, мама?

Алексей поднял голову. В дверях стояла светловолосая голубоглазая девушка.

— Мой воспитанник, бывший...

— Хорош воспитанник!

Глаза девушки обдавали холодом и презрением.

— Много ты понимаешь!.. Намочи полотенце, дай мне.

— Очень нужно с таким возиться!

— Люба!

Туфли наконец были сняты. Люба подала полотенце. Губы ее брезгливо искривились.

— Пускай она уйдет,— пробормотал Алексей.

— Что, стыдно? — закричала Людмила Сергеевна.— А меня не стыдно?

— Стыдно... — бормотал Алексей.— Мне стыдно, Людмила Сергеевна. Я пойду...

— Никуда ты не пойдешь! Ложись и спи.— Она подтолкнула Алексея, и он завалился на подушку.

— Если б вы... Если б вы только знали, Людмила Сергеевна... — Алексей попробовал приподняться.

— А что там знать?.. Лежи, тебе говорят!.. Все вы хороши. Только и люди, пока маленькие. А потом дорывааетесь до этой проклятой водки и... опять начинаете на четвереньках ползать... И зачем ее только делают, проклятую, зачем продают?.. Что молчишь?

Алексей уже спал. Должно быть, его во сне мутило — он болезненно морщился и не то мычал, не то стонал.

«Ах, дичок, дичок! А я-то думала, что ты уже выровнялся, стал настоящим... Сам свихнулся или, как муж Киры, попал в плохую компанию? Дорожка удобная — покатаая, на нее легко вступить, а сойти — попробуй-ка...»

Людмила Сергеевна мокрым полотенцем вытерла ему лицо и шею, положила полотенце на лоб. Алексей не пошевелился. Она погасила свет и вышла.

Какая-то кухня... чья? Как он сюда попал?.. Алексей приподнялся, сел на раскладушке и ухватил себя за виски — голова раскалывалась. Мокрое полотенце, от него промокла подушка... Спал одетый, только башмаки снял... Не сам снял... Ему смутно вспомнилась женщина, которая стояла перед ним на коленях и стаскивала башмаки. Маленькая, полная, седеющие стриженные волосы. Потом еще какая-то молодая так на него смотрела, что прямо... Да ведь это же Людмила Сергеевна!.. Людмила Сергеевна привела его сюда. Он зачем-то пришел к детдому, а она привела сюда, к себе, уложила спать, снимала с него башмаки, а он сидел, как бревно, и только смотрел... А та, вторая, наверно, дочка... Как теперь ей в глаза посмотреть?

Алексей подошел к раковине, осторожно, чтобы не шумела, пустил воду и выпил подряд две кружки... «Нашел друга-приятеля, которому только душу изливать! Надо было дать ему в паразитскую рожу, и все. Кажется, я ему-таки дал. Или нет?.. А, черт с ним! Вот напился натошак, как скот... Теперь хоть сквозь землю...»

Алексей взял башмаки и на цыпочках подошел к двери. Хорошо, что замок английский... Он открыл дверь, вышел и осторожно прикрыл, пока язычок замка не щелкнул. Теперь надеть башмаки и — ходу!.. Потом, когда все кончится, он придет и объяснит. Она поймет...

В утренней звонкой тишине изредка слышались шаги — хозяйки с кошелками, сумками спешили на базар. Фонтан в сквере еле слышно журчал перекрытой на ночь, для экономии, струей. Алексей умылся, вытер лицо носовым платком. Как все повторяется! Когда-то в этом сквере он подрался с Олегом Витковским — тот ударил малыша Славку — и потом в этом бассейне умывался...

«Четверка», звеня, поднялась по проспекту. Из нее вышло столько народу, что Алексей стоял и дышу давался — как они все там помещались? Это приехали со Стрелки на базар уже не столько покупать, сколько продавать — вои какие мешки и корзины тащат. Алексей отвернулся и пошел дальше.

— Алеша, подожди! Горбачев!

Сгибаясь под тяжестью больших корзин, его догонял Голомозый.

— Фу-х! Запарился,— сказал он, вытирая пот.— Видишь, дома тоже эксплуатация — жинка заставляет помогать.

От корзин несло крепким яблочным духом. Алексей проглотил голодную слюну — уже сутки он ничего не ел, кроме куска селетки в пельменной. Голомозый проворно нагнулся, вынул из-под мешковины яблоко.

— На, скушай яблочко.

— Падалица? — усмехнулся Алексей.

— Почему? Думаешь, точка вот эта? Это так... А если и червяк? Червячка всегда выкинуть можно... Как же ты теперь, а? Я было пробовал с Ефимом Петровичем говорить, замолвить словечко — ни в какую! Очень уж, говорит, на тебя рассердились: авторитет подрывает,

работать мешает, на цехком наплевал, не явился... Всё, говорит, от ворот поворот, назад ему ходу нету!.. Ну и как же? У тебя, известное дело, ни кола, ни двора. Вы, молодежь, про черный день не думаете, что случись — и голову некуда приклонить... В общежитии-то не трогают?

— Выгоняют.

— Ну вот, ну вот... — завздыхал Голомозый. — Ох, люди, люди!.. Куда ж ты теперь? Деваться-то ведь некуда?.. Ты вот тогда осерчал, отклонился от нас. А зря! Человеку в беде одному нельзя быть. Никак нельзя! Человек, ежели он один, непременно пропадет. Запросто! И кто тебе руку помощи протянет? Товарищи? Они вон тебя — по рукам... Да... Ты приходи сегодня ко мне. Поговорим, посоветуемся. Другие братья будут, что-нибудь придумаем...

— Утешать будете?

— Утешить один бог может. А на первый случай и люди пригодятся: чем-нибудь да помогут. И отвергать доброе слово нехорошо...

— Не нужно мне ни ваших червивых яблок, ни червивых слов. Ешьте их сами! — Алексей повернулся и зашагал прочь.

— А ты не гордись, не гордись! — закричал Голомозый, протянув к нему руку с зажатым в кулаке яблоком. — Надумаешь, приходи!

Алексей не обернулся. Голомозый укоризненно покачал головой, посмотрел на яблоко, сунул его под мешковину и потащил корзины через сквер к другому трамваю.

Есть хотелось все больше. Чайная открывается в восемь, а сейчас не больше семи. Еще долго... Алексей сунул руку в карман, там было только две монеты. Тридцать пять копеек. Где же остальные? Было шестьдесят семь рублей. А... швырнул этому гаду. Шиканул, а теперь и поесть не на что... Ничего, пускай знает. А на шестьдесят семь все равно долго не проживешь...

Улица становилась многолюднее. Все спешили по своим делам — на базар, по магазинам, к морю, на вокзал. Один только он шел без дела и цели... Куда ему идти? К кому?

А Яша? Есть же Яша Брук! «Академик», хорошая душа. Он обязательно что-нибудь посоветует... Он живет где-то на улице Липатова. Не то шестьдесят четыре, не то восемьдесят четыре...

В доме шестьдесят четвертом Брука не оказалось, в восемьдесят четвертом тоже. Алексей хотел уже махнуть рукой на поиски, потом решил попытать счастья в семьдесят четвертом. Тетка, дергавшая морковь из грядки возле дома, сердито посмотрела на него.

— Рано ты в гости собрался. Вот крайнее окошко, постучи.

Алексей постучал в распахнутую раму. В комнате что-то грохнуло, в окне появились Яшина голова и голая грудь. Он близоруко прищурился и заулыбался.

— Алеша? Вот неожиданность! Я сейчас...

Через минуту он, уже в рубашке, открыл дверь.

— Входи.

В маленькой комнатке стояли две раскладушки. Одна с прибранной постелью, нетронутая, вторая, со смятой простыней, была завалена книгами. Книги валялись и на полу — должно быть, они упали.

— Разбудил?

— Нет, я давно не сплю, читаю. Какими судьбами? Молодец, что пришел!

— А тут кто? — Алексей показал глазами на вторую койку.

— Сын хозяйки. Я ведь не комнату, угол снимаю. Комната не по карману... Но его сейчас нет, уехал на день в Сталино. Садись, что ж ты стоишь? Как это ты догадался прийти?

— Беда привела.

— Какая беда? Что случилось?

Яша слушал, то и дело без нужды протирает стекла очков и внимательно поглядывал на Алексея.

— Вот такие невеселые дела,— заключил свой рассказ Алексей.— С чего начал, тем и кончил — хоть опять в беспризорники иди...

— Да,— покивал Яша.— Подожди. Ты есть хочешь?

— Как зверь!

— Только знаешь, у меня, кроме хлеба и помидоров, ничего нет,— застеснялся Яша.— Можно бы чай... Только позже, когда хозяйка плитку затопит...

— Пес с ним, с чаем!

Алексей набросился на еду. Яша отковыривал корочки и лениво, задумчиво жевал.

— Вот, все срубал! — сказал Алексей, покончив с последним помидором.— Постой, это же я у тебя все съел? Деньги у тебя есть? А то ведь у меня — вот, тридцать пять копеек...

— Не дури! — улыбнулся Яша.— Что же ты думаешь дальше делать?

— Буду добиваться, чтобы восстановили. Только не знаю как... Вот пришел к тебе. Ты же у нас академик, посоветуй.

— В детстве легко быть академиком... — Яша катал хлебный шарик, сосредоточенно разглядывал его и молчал, потом швырнул за окно.— Уезжай. Оформляй увольнение и уезжай. В другой город, на другой завод. Хотя бы в Ростов. Ты ведь оттуда родом? Специальность у тебя хорошая, отлично устроишься... А здесь? Здесь при каждом удобном и неудобном случае будут тыкать пальцем — он такой и сякой. Так всю жизнь и будешь тащить этот хвост за собой...

Это была мысль. Мировая мысль! В Ростове ведь Наташа, он сможет ее видеть чуть ли не каждый день. Да просто каждый! И устроиться можно. Там один «Сельмаш» чего стоит. Заводище — дай бог! И другие есть... Не на тот, так на другой. Дадут место в общежитии. Что там, хуже, чем здесь?..

— Нет,— угрюмо насупясь, сказал Алексей.— Никуда я не поеду. Я что, для себя выгоды искал? Я правды добивался. А так что же получится: ничего не добился и — в кусты? Они же только этого и хотят. Выходит, сыграть им на руку? Нет, Яша, по-моему, так нельзя.

Алексей вдруг покраснел и обрадовался, что сидит не на свету, а Яша близорук. Какая он все-таки свинья! Все про себя, про себя, а у Яши даже не спросил ничего...

— Ты-то как живешь?

— Что я? Работаю, взяла теперь в штат. Пишу карточки, составляю систематический каталог.— Яша махнул рукой.— Слушай, Алеша, из общежития тебя, конечно, вытурят, а жить где-то надо... Хочешь, я попробую поговорить с хозяйкой? Баба она злая, прижимистая, но, может, и согласится. Что ей, жалко, если мы вдвоем будем спать на одной койке?

— Ей небось платить надо, а у меня — вот...

— Я пятого зарплату получу. Как-нибудь перебьемся. Главное — ее уговорить...

Людмила Сергеевна шла на работу с тяжелым сердцем. Как нехорошо получилось. Воскресенье — заспались, а он потихоньку убежал. Сбежал, конечно, от стыда. Еще бы не стыдно — такое устроить... А все-таки не следовало так выпускать. Накормить хотя бы... А потом задать ему перцу. Бесстыдник! Убежал, будто я его не найду. Узнаю, где общежитие, а то и на завод пойду. Пускай его там пропесочат как следует...

«Галчата» облепили ее с радостным визгом. Она смеялась, отвечала им, спрашивала сама... Уже другие «галчата». Эти ровнее, спокойнее, столько горя не видели. Им легче, и с ними легче. Растут, растут предтешишки... Вон Слава какой уже стал, не сегодня-завтра выберут председателем детсовета. А Люся? Может, и в самом деле получится из нее хорошая пианистка...

Людмила Сергеевна занималась сегодняшним, а думала о прошлом. Вырастут и тоже уйдут, как те, старшие. Вот в этом и состоит ее жизнь: она берет их маленькими, растит, выводит в жизнь, а они уходят, не оглянувшись... Ну-ну, не жалуйся, не все так. Валерий только... Теперь его уже никто не называет Валетом. Важный стал. Секретарь в каком-то спортивном обществе или комитете. Плавает и произносит речи. Речи, как и прежде, — сапоги всмятку, но плавает, говорят, хорошо, даже какой-то рекорд поставил. Он еще мальчишкой плавал лучше всех... Мужичок? Тарас молодец. Кончил техникум, работает агрономом. И не в конторе, а в колхозе. Приехать никак не соберется, но хоть письма пишет... И Яша Брук заходит. А лучше всех Кира. Такая привязчивая, отзвучивая девочка. Вот уже взрослая — своя семья, ребенок, а нет-нет да и прибежит проведать... Вон она летит, легка на помине! Похудела, с лица как-то спала. Но глаза такие же, и рот по-девчоночьи приоткрыт, будто вот-вот рассмеется. А смеяться стала меньше, бедняжка, совсем почти не смеется...

Кира вбежала, как всегда запыхавшись, придерживая уголки косынки под подбородком.

— Ой здравствуйте Людмила Сергеевна я к вам на минуточку как вы тут живете я уже вас целую вечность не видела, — без передышки выпалила она и бросилась на стул.

— Короткая у тебя вечность. — Людмила Сергеевна улыбнулась. — Меньше недели прошло. Ты-то как? Ребенка где оставила?

— Там соседка приглядит, сегодня же воскресенье, на работу не выходить. А мне нужно. Я ведь к вам по делу, Людмила Сергеевна... Кира замялась и покраснела. — Мне просто стыдно, а что я могу сделать? У соседок уже всех презанимала, больше нельзя, да и нет у них... А мой байбак ничего понимать не хочет, есть или нет — обед давай... Мне ненадолго, до полочки только. Я уж теперь у него сразу отберу...

— А что, опять?

— Ну да! Теперь новую моду придумал... Я все ругалась: уж пьешь, так пей хоть дома и меня и себя не позорь. Ну, он и его дружок, забулдыга, приходят теперь домой. Выпьют, а потом начинают друг друга уговаривать: «Нам бы еще по сто пятьдесят — нам бы цены не было!» И добавляют. Так и набивают себе цену, пока вовсе не назююкаются. Ну, я того вытолкаю, пускай как хочет, а этого укладывай, возись с ним... И зачем мне все это нужно?!

— Погоди, Кира, все еще наладится, возьмется за ум...

— Да нет, я не об этом... Вообще зачем мне муж? Муж — это ведь несчастье! Правда, Людмила Сергеевна?

Людмила Сергеевна засмеялась.

— Муж — это, конечно, несчастье, но пусть оно будет как можно дольше...

— Нет, вы не смейтесь... Он мне просто не нужен, — печально и просто сказала Кира. — Я ведь его не люблю. Совсем.

— Зачем же ты...

— А! Сдурю... Доказать хотела, назло... Делаеть назло другому, а получается самой себе... Я ведь Алешу любила, Горбачева, еще когда совсем девчонкой была. Да вы ведь знаете...

— Знаю.

— Ну вот: думала, закручу с другим, пускай хоть немножко обратит внимание, приревнует, потом, может... А потом уже поздно было — Мишка прилип, как клещ, влюбился. Теперь и вовсе — ребенок, никуда не денешься... А Алеша даже ничего и не замечал. Зачем я ему? Он ведь Наташу любит. Раньше Аллу любил, теперь Наташу. А они его нет... Я ведь знаю!.. И почему это всегда человек любит тех, кто его не любит, а?

— Ну, не всегда, положим, а наоборот. Вот Миша тебя любит...

— Зачем мне его любовь? Да еще пьяная...

— А Алешу ты видишь?

— Нет. Где же? Да и зачем? Ему ведь со мной неинтересно...

В дверь постучали.

— Кто там?

В кабинет вошел невысокий коренастый парень в рубашке с расстегнутым воротом. Волосы у него были иссиня-черные, как у монгола. Монгольские черты проступали и в лице: широкие скулы, редкие волоски на верхней губе, немного раскосые маленькие глаза.

— Мне нужно заведующую детдомом.

— Я заведующая.

Парень покосился на Киру, подошел к Людмиле Сергеевне и протянул руку.

— Я комсорг механического цеха «Орджоникидзестали» Федор Копейка. Я к вам вот по какому делу: не знаете ли вы, где Горбачев? Алексей Горбачев, разметчик.

— Как где? — Людмила Сергеевна встревоженно поднялась, — У себя, наверно, на работе или в общежитии.

— Нету. В общежитии я был. Дома не ночевал, ребята не знают, где он может быть, знают только, что он жил в вашем детдоме. Вот я и пришел — может, вы подскажете.

— А! — Людмила Сергеевна облегченно вздохнула. — Это легко объяснить. Ночевал он у меня дома. Понимаете, он поздно ночью пришел сюда. И не совсем... то есть просто пьяный. Я и отвела его к себе, чтобы проспался.

— Ой! — сказала Кира, глаза ее округлились. — И он тоже!

— Ушел он на рассвете, не сказавшись.

— Плохо! — Федор покачал головой.

— Ничего страшного: отоспался, придет домой. Или он прогулял?

— Нет, не так просто... Понимаете, с завода его уволили и из общежития выселяют...

— Ой, вот ужас-то! — Кира в страхе смотрела на Федора.

— А он... натворил что-нибудь?

— Да как сказать? Кое-что... Измарал «молнию», говорил, чего не следует, и не говорил того, что следует...

— Да что же, что?

— Понимаете, он выступил против одного передовика: мол, он — липовый... Ну, передовик и в самом деле вроде не очень... Вот Горбачев и начал воевать. На него пробовали повлиять, а он уперся на своем как пень, и не сдвинешь...

— Он принципиальный. Он ужасно принципиальный! — в смятении сказала Кира.

— Принципиальный, — согласился Федор. — Но и дуралей... Такие дела так не делают. Вот я и хочу его найти, вправить мозги, чтобы он еще больше глупостей не натворил.

— Где же он может быть? — Людмила Сергеевна чувствовала себя вдвойне виноватой. Упустила, проспала, когда у него такое... И он же

пытался рассказать, а она и слушать не захотела. Злилась, кричала на него...

— Может, у Витьки? — сказала Кира.

— У какого Витьки?

— Ну, у Виктора! У Гушина. Они же друзья, вместе работают.

— Не-ет! С Гушиным они — горшок об горшок, полный разрыв. Он же против Гушина и выступал.

Людмила Сергеевна и Кира лихорадочно перебирали всех знакомых, все места, куда мог пойти Алексей.

— Из наших только Яша остался, — сказала Кира. — Наташа ведь уехала... А больше я уж и не знаю.

— А где этот Яша живет?

— На Липатова, дом семьдесят четвертый. Он у хозяйки угол снимает. Яша Брук, работает в библиотеке. Он тоже в детдоме жил.

— Ладно, пойду искать Яшу. — Федор Копейка встал.

— Я вас очень прошу, товарищ Копейка, вы мне дайте знать. Хорошо? — сказала Людмила Сергеевна. — Сейчас-то я никак не могу оторваться... Если уж не найдете, тогда вместе будем искать.

— Хорошо.

— Я домой, Людмила Сергеевна, — потухшим голосом сказала Кира. — Наверно, моя кувакала уже кувакает...

— Кира! — вслед ей закричала Людмила Сергеевна. — А деньги-то? Возьми!

Кира вернулась, зажала в кулаке бумажку и побежала следом за Копейкой.

— Вы найдете? Это, как пройдет сквер, будет проспект, да? А следующая улица — Липатова...

— Найду, язык, говорят, до Киева доведет.

Копейка пошел налево, Кира свернула к себе, направо. Через несколько шагов она остановилась, постояла, покусывая уголок косынки, и побежала следом за Федором.

— Можно, я с вами? А то вдруг там что-нибудь такое...

— Пошли, веселее будет. Только ты меня на «вы» не называй, не люблю. Тебя как зовут?

— Кира.

— Откуда ты Горбачева знаешь?

— Так мы же вместе в этом детдоме были! Я же Алешу знаю, как прямо я не знаю что... И как он мог такое сделать? Совсем на него не похоже... Нет, похоже! — сказала она, подумав. — Он такой принципиальный, просто ужас! Если видит, что неправильно, — так хоть ты его зарежь!

— Угу.

— А почему вы... почему ты этим занимаешься? Ты же комсорг, а он не комсомолец.

— На мне, понимаешь, дэ-эс-пэ не поставили. — Федор засмеялся.

— Какое дэ-эс-пэ?

— Забыла, как ребята в учебниках отмечают? «До сих пор». До тех пор и учат. А мне интересно, что и за этим дэ-эс-пэ...

— Ну так что же? Горбачева-то уволили?

— Уволил не я, начальник цеха.

— А ты согласен, правильно уволили?

— Нет.

— Ну и что теперь будет?

— Посмотрим. Я ведь долбежник, на долбежном станке работаю...

— При чем тут профессия?

— Это не только профессия, наверно, это и характер.— Федор снова засмеялся.— Долблю, пока не продалбливаю...

— Вон в том доме с зелеными ставнями,— сказала Кира, останавливаясь на углу.— Постучите в крайнее окошко.

— А ты что же? Пошли вместе.

— Ой, нет! Я, знаете... я лучше подожду.

Она прибежала к Людмиле Сергеевне в домашнем штапельном платье, стоптанных туфлях и только сейчас вспомнила об этом. Чтобы в таком виде она показалась Алеше? Непричесанная, в этой застирухе?.. Ни за что!

— Если он там, вы только про меня ничего не говорите! Ладно? А я тут подожду. Если вас... если тебя через пять минут не будет — значит, он там. А если нет, пойдем искать дальше... только не знаю уж и куда.

Часов у Киры не было. Она нетерпеливо топталась на углу, следила за домом, оглядывалась по сторонам — не подходят ли откуда-нибудь Яша или Алеша... Простояв почти час, спохватилась и побежала домой. Она перебежала на другую сторону улицы, чтобы как можно дольше видеть ворота и дом — вдруг кто-нибудь выйдет. Когда она повернула за угол, из ворот вышел Федор Копейка. Один.

19

Баба на самом деле была злой и вредной. Яша неплотно прикрыл дверь, и Алексей услышал, как она разоралась где-то внутри дома, должно быть на кухне. Нарочно кричала громко, чтобы он тоже слышал.

— Знаю я ваше «только ночевать»! А прибирать кто за ним будет, дух святой? Платить будет копейки, а я за ним ухаживай? Не нужны мне никакие поночевщики! Скажи спасибо, что тебя держу!.. Знаем мы таких спокойных! Сегодня спокойный, завтра пьяный придет, потом жену приведет?.. То-то он явился ни свет ни заря... А мне какое дело? Меня кто жалеет? Цельный божий день как белка в колесе... Пускай куда хочет, а здесь чтоб его больше не было!

Яша, вернувшись, смущенно развел руками.

— Понимаешь...

— Я слышал. Ладно, пойду.

— Подожди. Я поговорю с сотрудниками, может, у кого из них можно. Ты приходи в библиотеку часа в два. Я одолжу у кого-нибудь до полочки. Вместе пообедаем и решим, как дальше. Придешь? Смотри, обязательно!

Яша, конечно, хороший парень. А толку — чуть. Оказывается, как этого мало — быть просто хорошим парнем...

В библиотеку Алексей не пошел. Не к чему. Пообедать бы не вредно — есть захотелось очень скоро, — но пришлось бы снова слушать то, что слушать он не хотел. Яша опять начал бы уговаривать отступить, перетерпеть, уехать. Это проще всего. Но и хуже всего.

Сегодня воскресенье, коменданта в общежитии не будет. У ребят можно одолжить денег, но они, наверно, уже ушли на пляж. А если и дома, то придется опять разговаривать. Будут спрашивать, выражать сочувствие и давать советы. Бесполезные. А бывают полезные? Все советы — слова. И слов с него хватит. Надо вернуться в общежитие попозже, когда все уже будут спать. Чтобы меньше было разговоров. А пока уйти куда-нибудь подальше, чтобы никого не встретить. Тридцать пять копеек. Даже на трамвае не разъездишься...

Алексей не спеша пошел вдоль линии «четверки». Высоко над пестрой сумятицей, крикливой толчеей базара плыли дымы завода. Темные домны и кауперы его возвышались вдали неприступными башнями,

У рыбацкой гавани Алексей остановился. Сколько раз собирался еще в ремесленном, когда будут каникулы, отпуск, прийти сюда и наняться недели на две. Не ради денег — посмотреть, побыть на море... Вот можно пойти сейчас. И не на две недели, навсегда. Не надо будет ни о чем думать, бороться, добиваться... Гавань словно вымело, выдуло ветром. У причала болтались на привязи только маленькие лодки. Они не в лад раскачивались, стучались друг о друга бортами. Значит, все сейнера на путине — под Керчью, наверно, пошла хамса...

Давай, давай, топай! И дело совсем не в том, что нет сейнеров. Это как раз то, что советовал и Яша. Отступить, спрятаться. Не дожидаться!

Узенькая душная улица Котовского перешла в Стрелку. Слева открылось море, до краев налитое солнечным блеском и ветром. Справа выглядывали из зелени добела раскаленные солнцем корпуса санаториев. На воротных каменных столбах одного из них лежали бетонные львы. Они были маленькие, жалкие, с овечьими мордами. Кто-то не поленился, влез на столбы и подрисовал им суриком усы. Мужественнее они от этого не стали. Вдали показались угрюмый массив элеватора, решетчатая путаница кранов, парходных стрел и мачт. Там был порт.

Сквозь решетчатые ворота портовой ограды был виден стоящий у причала белогрудый теплоход. Он раскатисто загудел. Ничего голосок! Маленький, маленький, а голосина, как у большого. Это «Львов». Алексей видел его не раз и каждый раз завидовал тем, кто уезжает на нем. Вот и сейчас дежурный морского вокзала повел через ворота хвост пассажиров, нагруженных чемоданами. Поедут в Сочи, потом в Батуми. Там всегда тепло, растут пальмы и, наверно, легко жить. Вот пристроиться сзади, и все. Вахтер не заметит...

Хватит глупостей! Лучше бы подумал, что делать дальше... Нечего думать. Дождаться вечера и идти домой. Поесть бы только...

Давно перевалило за полдень. Бетонная ограда порта уже отбрасывала полосу тени. Алексей прошел к урезу воды, присел в тени, потом вытянулся на песке и закрыл глаза. Взъерошенное низовкой море негромко плескалось у самых ног, лопотало что-то свое, в стороне гулко шлепался волейбольный мяч, доносились голоса и смех...

Разбудила тишина. Ветер утих, море бесшумно облизывало разглаженный песок. Тени «грибков» и фанерных кносков уродливо исхудали и вытянулись. Последние купальщики брели на Стрелку к трамвайной остановке. Алексей остался один.

...«Горе одному», — говорил тогда у Голомозого человек с бегающими глазами, похожий на цыгана... А может?.. Может, попробовать? Он ничего не теряет. Послушает, что скажут, а уйти всегда можно. В конце концов какой у них расчет? Какая от него может быть польза баптистам? Может, и зря наговаривают на Голомозого. Что он ему — сват, брат? А первый подходит, обещает помочь. Слова всякие говорит. Так черт с ними, со словами, от него не убудет, если послушает. А вдруг и в самом деле помогут? Просто так, по-человечески...

В туиковую улочку он пришел уже в сумерках. Вот и знакомый забор. Ворота заперты. Алексей осторожно постучал, прислушался. Из домика Голомозого доносилось унисонное пение и гнусавые подвывания фисгармонии. Он представил, как они все сидят там с постными рожами, набожно смотрят в потолок в разводах от плохо размешанной синьки и выводят сладкими голосами: «Как прекрасно будет там...» Ну и идите вы туда...

Алексей решительно зашагал прочь, потом вернулся. Где-то здесь. Он говорил, соседи... Калитка палисадника у дома напротив голомозовского была приоткрыта, Алексей нерешительно потоптался, пошел по

дорожке к дому. В стороне, в беседке, заросшей вьюнком, стояли широкий топчак и столик, на столике лежала растрепанная, вспухшая книга. В окнах дома уже горел свет. Алексей постучал в открытую дверь.

— Вам кого? — спросил старушечий голос.

— Василий Прохорович Губин здесь живет?

Старуха отступила в сторону, чтобы свет упал на Алексея, внимательно присмотрелась к нему.

— Больной он.

— Я знаю, я ненадолго.

— С завода, что ли? Ну ладно, иди... Прохорыч, к тебе тут пришел какой-то!

Василий Прохорович сидел за столом в теплой тужурке и наброшенном на плечи бабьем платке.

— А, объявился наконец, — несколько не удивился он. — Передали, значит, тебе?

— Ничего не передавали, я сам.

— Ну сам, так сам... еще лучше. Садись. Есть хочешь? Не ври — хочешь. Мать!.. — В дверях появилась давешняя старуха. — Ну-ка, тащи сюда свой борщ и еще чего там осталось, подкорми этого вояку... Давай, давай, без стеснений.

Алексей набросился на еду. Василий Прохорович молча наблюдал за ним, покряхтывая, кутался в платок.

— Заморил червячка? Теперь рассказывай. Про то, что тебя уволили, знаю. Потом что было?.. Угу... Ну ладно. Жить куда будешь у меня. Места не пролежишь... Ты со мной в пререкания не вступай, я человек больной — так изругаю, своих не узнаешь... Хочешь — в комнате, а хочешь — в саду, с внуком. Места хватит. Мать, ты постели ему там чего-нибудь... И давай самовар. Ну, теперь пей чай, а я буду лечиться...

Жена Василия Прохоровича налила Алексею чаю, перед мужем поставила большую эмалированную кружку, вазочку с малиновым вареньем и четвертинку водки. Василий Прохорович вылил половину водки в кружку, положил несколько ложек варенья, налил чаю и долил кружку доверху крутым кипятком. Алексей смотрел на него во все глаза.

— Дядя Вася, и ты это будешь пить?

— Обязательно! Лекарства мне не помогают, а это до костей прошибет...

— Я думаю!

— Некоторые говорят, с перцем надо, с тем, сем... Пробовал — чепуха. А эта штука безотказная. Как динамит. Встанешь, будто на тебе черти горох молотили, но — здоров. А мне к завтраму выздороветь надо. Завтра партсобрание. Тебе бы вот пойти! Открытое.

— У меня пропуск отобрали. На завод не пустят.

— Не пустят, — согласился Василий Прохорович. — Ты пей, пей, а то долго нам рассоливать некогда, я сейчас под одеяло потеть пойду...

Алексей пил чай, Василий Прохорович большими глотками прихлебывал свою динамитную смесь.

— Стало быть, не выдержал, — сказал Василий Прохорович.

— Чего?

— Пробы. Ты, когда на завод поступал, пробу держал? Ну вот, ту сдал, получил разряд. А эта пожестче. Та проба не главная. Обучить можно любого, коли у него руки не кривы, а голова не куль соломы. И что ж, думаешь, разряд получил — он уже рабочий, можно бить себя в грудь: «Я — рабочий класс»? А он никакой не класс, а шиш на ровном месте. Классом-то еще стать надо! Не в рассуждении квалификации. А в рассуждении понимания, что будь у тебя семь пядей во

лбу, все одно сам-один ты ничего не значишь. Класс — это не один, а все, и действовать должны в одну точку, а не кто во что горазд...

— Как говорят: «Гуртом и батьку бить легче»?

— Ну, это погудка куркульская... Нам делить нечего, и батьку колошматить незачем. А вот коли ты делать что хочешь — оглянись, каково это другим будет, может, ты и не самый умный. А может, умник, и тебя все поддержат...

— Каждый раз собрания дожидаться? Вы небось не ждали, когда Иванычева от станка турнули, как он начал подгонять вас?

— Сравнил! То ты, а то я. Разница! А Иванычев? Что ж Иванычев... Он из тех дураков, которым закажи богу молиться, они и лбы расшибут. Беда только, что разбивают не свои — чужие... Думают, передовики — вроде капустной рассады: где ни посадил, там враз и кочан... А я тебе не говорю, что без собрания не смей пикнуть... Пищать-то вот не надо! Ты уж ежели рот открыл, говори так, чтобы все услышали. А не только твоей Витька.

— Так я и говорил, дело совсем не в Витьке...

— И в Витьке тоже! Парня с толку сбивают. За ним и другие могут сбиться. Вы ведь как овцы, думалка у вас короткая... Тебя, если б лучше думал, с завода бы не выгнали.

— Думаете, я испугался?

— Кабы испугался, что о тебе и думать! Какая б тебе была цена?.. Ну ладно, ты, кажись, и так себя больно высоко ценишь. А сам тычешься, как кутенок, вслепую... Иди-ка лучше спать!

Звезды заглядывали в дверной проем беседки. Из недалекого порта доносились окрики буксиров, гудение крановых моторов, лязг грейферов. В отдалении на подходе к порту протяжно затрубил пароход, вызывая лощмана. Бонтя идти сам, чтобы не быть, как кутенок...

Хороший старик дядя Вася! Говорил только очень путано. Может, ему и самому не очень ясно, что он хотел сказать? А в чем-то прав...

...Пробой на разряд началась работа. Перед тобой положили наряд, указали поковку. Делай. Чем скорее и лучше сделаешь, тем выше будет оценка. Ты очень волновался, проба — это крайне важно. Самое важное. Ты сделал хорошо и быстро. Сдал пробу. И тебе дали третий разряд. Ты думал, что это конец, стал полноправным разметчиком, «рабочим классом»... Оказалось, это только начало. Каждая новая работа тоже была пробой, хотя уже не называлась так. И оказалось, что ты сдавал пробы и раньше. Много раз. И сдаешь теперь. Чуть ли не каждый день или несколько раз на день. Это — что ты сказал и сделал, как ты подумал и сказал, и сделал ли ты так, как подумал, или иначе, и значит, соврал. И такие пробы сдавали все люди вокруг и на каждом шагу — видные или не видные для тебя, понятные или не понятные тебе пробы, но они были, и поэтому перед тобой возникали новые — оттого, как другие люди выдерживали пробы, ты должен был менять свое отношение к ним или сохранять его. И это тоже было пробой для тебя и для других.

И так у всех и всегда? Выходит, жизнь — это пробы и пробы, непрерывный экзамен? С детства и до самой смерти учить уроки и отвечать заданное? Нет, заучивать заданное, отвечать заученное — в этом нег пробы. Это умеет попугай. Еще лучше — магнитофон. Жить — значит делать. То, во что веришь. И не отступать...

Еле слышно зашуршал песок дорожки, на пороге беседки появилась мальчишеская фигура. Мальчик постоял, присматриваясь, потом заметил, что Алексей пошевельлся, шагнул вперед. Он потихоньку лег, потом повернулся на живот, подпер кулаками подбородок.

— А ты Горбачев, я знаю,— сказал он сиплым от неумеренного купания голосом.

— Горбачев. А ты?

— Санька. Я тебя в пятиэтажку бегал искать.

— Зачем?

— Дед посылал. К нему Маркин приходил. Знаешь, старик такой? Про тебя рассказывал. Ну, дед и послал, чтобы кровь из носа — найти.

— Меня не было.

— Ага... Я хлопцам передал.

Санька замолчал. Алексей пытался рассмотреть его получше, но в ночном полумраке смутно виднелись только белки глаз, выгоревший чубчик полубокса и широкие ноздри очень вздернутого носа.

— А я про тебя все знаю,— сказал Санька, помолчав.— Дед с Маркиным говорил, так я все слышал.

— Ну и что?

— Ничего... Хочешь яблоч? Обожди, я счас.

Санька соскочил с топчана, убежал. Где-то неподалеку залаяла собака, потом затихла. Санька пришел минут через двадцать, запыхавшийся, с оттопыренной пазухой. Яблоки глухо застучали по столешнице, покатались по земле.

— На,— сказал Санька.— Мировая антоновка. Я самые крупные рвал.

— Яблоки мировые,— подтвердил Алексей.— А что так долго?

— Так я к соседу лазил. У нас тут напротив штунда живет. Голомозый. Я — к нему.

— Чужие слаще?

— Не, у нас такие самые. Я принципиально. Думает, если у него собака, так его будут бояться... А меня все собаки любят. Я с любой договарюсь. Факт! — Санька с хрустом надкусил яблоко и замер.— Ты чего?

Алексей хохотал.

— Чего ты, псих, что ли?

— Это я так...— все еще смеясь, сказал Алексей.— А если дед узнает?

— Ну известно чего — уши нарвет,— обиженно сказал Санька.

— Да ты не бойся, я не расскажу...

...Может, и он, как Санька, залез «не в свой сад», в чужое дело, и его принципиальность не лучше Санькиной? И он «перевоспитывает» Витьку, как Санька — Голомозого? Чушь! «Чужое дело» — это у посторонних. А он не посторонний. Всему.

— Ты рыбу ловить любишь? Пошли завтра бычков наловим? А? Бабка утром нажарит. Дед их здорово любит... Только до света надо. Ты сам просыпаться умеешь?

— Кажется, умею.

— А я вот нет! Ну, гляди, не проспи...

Дома во всех подробностях знали об успехах Виктора. Пройти на завод и полюбоваться вымпелом, портретом сына на цеховой Доске почета мать не могла, но о том, как его фотографировали, что написано под фотографией, без усталости рассказывала соседкам.

Однажды мать за обедом спросила:

— Что это, Витя, дружок твой не показывается?

Милка стрельнула в брата глазами и наклонилась над тарелкой.

— А зачем он тут нужен? — хмуро сказал Виктор.

— Ну как же — то водой не разольешь, чуть не каждый день, а теперь как отрезало.

— Они, мама, поссорились, — сказала Милка.

— А твое какое дело?

— Мне Мишка сказал — Сережка дома рассказывал...

Об этом Виктор забыл. Семья Сергея Ломанова по-прежнему жила рядом, Милка по-прежнему дружила с братишкой Сергея, и, конечно, Сергей мог обо всем знать. Ну и пусть. В конце концов ему нечего скрывать и стыдиться, пускай стыдится Лешка.

— Он против меня выступал, будто я не передовик.

— Но ведь это неправда!

— Конечно, неправда.

— Так ты бы ему объяснил, вы же друзья.

— Никакой он мне не друг! Ему и без меня объяснят, дадут по первое число...

Он не ожидал, что «число» окажется таким... Тревога появилась, когда в цех пришел Гаевский и начал расспрашивать. Уж кому-кому, а Гаевскому Виктор не собирался играть на руку... Нет, он ничего такого за Горбачевым не знает. Ничего такого за ним нет и не было. Дружил с ним, еще с одной девушкой — она уезжает в институт...

Выступление Гаевского в кабинете начальника цеха привело Виктора в смятение. Что он только говорит?! Это же все чепуха, выдумки! Нужно встать и сказать, что это все вранье, нечего человеку пришивать всякие дела. Он свой парень, и все это знают! Вот только ему свинью подложил...

Виктор не встал и ничего не сказал. У него горели уши, он не мог посмотреть Алексею в глаза, ерзал на стуле и молчал. В конце концов ничего страшного. Пусть знает! А то много воображать стал... Прoberут, как полагается, и все. Что ему могут сделать? А он в другой раз не будет...

Когда появился приказ об увольнении Горбачева, Виктор заметался. Это уж черт знает что! Что он такого сделал? Ну написал, ну говорил... Так за это увольнять? Это все гад Гаевский подстроил, напришивал всякой ерунды и отомстил... Конечно, он мстил и за «Футурум» тоже... Смятение Виктора достигло предела. Ведь «Футурум»-то придумал он сам! А когда началась история с запиской и он боялся, Лешка молчал как могила, никого не выдал... Ну хорошо, все это чепуха, но они-то не знают, они думают, что там и в самом деле что-то такое... Если бы тогда Виктор встал и сказал, все бы стало ясно. А он промолчал. Лешка не предал, а он его предал. Выходит, он самый настоящий подлец?!

Виктор побежал к Иванычеву. Тот выслушал его с каменным лицом, доводы Виктора не произвели на него никакого впечатления.

— Детали меня не интересуют. Важно существо вопроса. Дискредитировал? Дискредитировал. Оporочивал? Оporочивал. Значит, таким элементам на заводе не место.

— Так это же из-за меня! Я не хочу, чтобы его увольняли, он ничего такого не сделал, чтобы увольнять.

— А по-нашему мнению, сделал. И получил по заслугам. Понятно?

— Да на черта мне рекорды и всякие «молнии», если из-за них человека увольняют?!

— Ты что, — рассердился Иванычев, — думаешь, рекорд — твое личное дело? Ты сам по себе — нуль без палочки. Понятно? Общественность тебе создает условия, поддерживает, а ты рыпаешься?.. В общем, с этим вопросом кончено, иди работай!

А Витковский попросту не стал слушать. Работа валилась у Виктора из рук. Ему казалось, что на него посматривают косо. Все знали,

что он и Алексей — друзья, все знали, что Алексея уволили из-за него, и все знали, что он палец о палец не ударил, чтобы помочь другу...

В общезнанию Алексей не почевал. Где он мог быть, куда уйти?! Дома Виктор не находил себе места. Дал подзатыльник ни в чем не повинной Милке, нагрубил матери. Теперь он презирал и ненавидел не Алексея, а себя. Только бы его найти! Поживет пока у них, а там Виктор добьется, он до самого Шершнева дойдет, а докажет...

Он вернулся домой поздно ночью, придавленный усталостью и презрением к себе. Алексея он не нашел.

В понедельник Виктор остановил станок за десять минут до конца смены, убрал все, умылся, повесил свой табель, как только Голомозый открыл доску, и побежал в заводоуправление.

— Куда? — Седая секретарша привскочила со стула, когда Виктор ухватился за ручку двери директорского кабинета.

— Мне к директору.

— Нельзя. Сегодня неприемный день. Приходите в четверг.

— Мне срочно.

— Всем срочно, и все ждут.

— Да вы понимаете: человека уволили!

— Директор этим не занимается. Идите в завком, в отдел кадров.

— Мне нужно к нему... Он наш знакомый! — пустил Виктор в ход последний довод.

— Молодой человек, у него весь завод — знакомые. Я вам сказала — приходите в четверг.

Виктор рванул дверь и, несмотря на негодующий вопль секретарши, вошел в кабинет. Секретарша вбежала следом, схватила его за руку.

— Михаил Харитонович! Я ничего не могу сделать, прямо хулиган какой-то, — негодуяще сказала она.

— Кто там? А, Гушин... Ничего, Серафима Павловна, пустите его.

Шершнев сидел в глубине большого кабинета за столом.

— Что скажешь?

Голос у Шершнева был глухой, сиплый.

— У нас уволили разметчика Горбачева. И неправильно, незаконно!

— Почему неправильно?

— Из-за меня уволили. Потому что он против меня выступал. Это все Гаевский, из отдела кадров, и Иванычев наговорили.

— Что же они наговорили?

— А черт-те что!

— Говори без чертей и по порядку.

— Ну, будто он сознательно подрывает, вообще против передовиков и связался с барыгами...

— Что такое барыги?

— Ну, спекулянты... А он вовсе не связан. Там спекулянта одного посадили, так его вызывали свидетелем, вот и все. И он не против передовиков, а только против меня выступал.

— Что ж ты его защищаешь?

— Так он же мой товарищ, самый лучший друг! Я его еще с пацанов знаю. Он честный парень — ремесленник, детдомовец... А на него наговорили, напришивали чего хочешь, уволили и сразу — из общезнания... А ему жить негде! Куда он денется? И вообще неправильно!..

— А почему он против тебя выступал?

— Ну... он считает, что неправильно про меня «молнию» выпустили и на Доску почета...

— Почему?

— Вроде я не передовик, липовый передовик...

— А на самом деле ты — настоящий?

— Я перевыполняю норму. Даю больше двухсот.

— Но ведь Горбачев это знал?

— Знал... Он говорит, я перевыполняю только потому, что мне легкие детали дают, тракторные запчасти из этого... из особого заказа...

— Погоди... А до этого заказа ты норму перевыполнял?

Виктор молчал. Пламя от ушей, которые горели с самого начала, разливалось по лицу.

— Раньше ты сколько давал?

— Ну... сто два, сто три...

— Так... Выходит, Горбачев прав, ты и в самом деле передовик только потому, что тебе дали на обработку легкие детали и на них неправильная норма?

Виктор молчал.

— Что ж его, так сразу и уволили?

— Нет... Вызвали на треугольник. Вот там Иванычев, Гаевский и стали на него наговаривать.

— А ты?

— Я думал, он осознает...

— Что осознает? Что ты настоящий передовик? Или что, когда выдвигают липовых передовиков, надо молчать? Так, говоришь, вы товарищи? — Шершневу помолчал и со вздохом сказал: — Говнюк, брат, ты, а не товарищ!

Виктор обиженно вскинулся и тут же снова опустил голову.

— Товарищ о тебе сказал правду, а ты обиделся? На него начали клеветать, приписывать ему всякие дела, а ты молчал? Ты же знал, что все это неправда? Знал. И молчал. Своя рубашка ближе к телу, своя шура дороже? Какой же ты после этого товарищ?

— Что я мог сделать один?

— А ты храбрый, когда с тобой много? Ну вот ко мне, к знакомому начальнику, прибежал... Хорошо, что я здесь и принял. А если б меня не было или мне некогда, да мало ли что — может, я бюрократ? Тогда куда побежал бы?

— Я говорил, — сдавленным голосом сказал Виктор, — с Иванычевым, с начальником цеха... Пускай меня и с доски снимают и вымпел заберут. Лишь бы Горбачева восстановили. Не надо мне ничего, если так...

— Нет, брат, не так просто! «Нате ваши цацки, я больше не играю»? Ты не маленький, вон какая орясила... Делали из тебя дутого — стань настоящим. И пусть нормировщик прохронометрирует твою работу.

— А Горбачев? Я думал, вы поможете...

— Помогу. Именно тем, что делать ничего не стану. Ты заварил кашу, ты и расхлебывай. Для этого тебе придется всем, а не только мне объяснить, каким ты был передовиком. — Шершневу посмотрел на откидной настольный календарь. — Вот, кстати, сегодня у вас открытое партсоборание, обсуждают выполнение месячного плана. Вернее, невыполнение месячного плана. Возьми слово в прениях и расскажи все.

Виктор исподлобья посмотрел на него.

— Что, стыдно? А фальшивую славу иметь не стыдно? По-моему, хуже... Тебя люди хоть за правду будут уважать. А так за что тебя уважать? Только смотри, говори начистоту, ни на кого и ни на что не оглядывайся. Ну, а струсишь, тогда уж на меня не обижайся... Иди.

Виктор, не поднимая головы, вышел. Шершневу проводил его взглядом.

«Не слишком ли я его? Ничего, пусть умнеет. На собрании ему плохое скажут... Хорошего отца сын. У такого отца и сын должен быть настоящим... Все должны быть настоящими! Да, конечно, все... Но у меня, должно быть, к днепродзержинцам слабость. Мы все, дзержинцы, ревнивы друг к другу...»

21

Он помнил еще не город Днепродзержинск, а село Каменское, не завод имени Дзержинского, а Днепровский. Они почти ровесники. Только за год до его рождения задули первую домну на Днепровском заводе, построенном Варшавским обществом и бельгийской компанией «Коккериль»... Денежные тузы умели понимать выгоду: река — самый дешевый транспорт, уголь — Донбасс рукой подать, руда — Кривой Рог рядом, а почти даровые рабочие руки — вот они в Аулах, Романове, Каменском... Ничего не осталось от старого села Каменского. А жаль! Не в столицах, не во дворцах надо бы устраивать музеи революции, а там. Чтобы нынешних молодых лоботрясов, которые все принимают как должное да еще и нос воротят — плохо, мол, — не на экскурсии туда водить, а заставить пожить хоть недельку так, как жили в детстве они...

Вершину крутого правого берега занимала Верхняя колония; за высокой шлакобетонной стеной с железными воротами и бойницами, под круглосуточной вооруженной охраной жила высшая администрация. В Нижней колонии селились мастера и служащие. И уже на окраинах — на Суховой, Полицейской, Песчанах — рабочая голь... Цепляясь друг за друга жидкими плетнями, карабкались по косогору подслеповатые хибары и землянки, построенные не жактом, не заводским АХО — самолично... Карабкались, бежали и не смели подняться до Нижней колонии, убежать от полой воды, чуть не каждый год проступавшей весной в землянках, от малярии, грязи и беспросветной нужды. Церковь, костел да три кабака — Стригулина, Самохвалова и Черкасова — вот все радости и университеты...

Вот там, прибежав однажды в родную халупу на Песчанах, Мишка узнал, что стал сиротой. Мать голосила чужим страшным голосом, малая ребятня выла, а соседи сказали: батьку убило бревнами... Он был байловщиком — расшивал плоты, выкатывал хлысты на берег. Угрюмый богатырь, «дядько Харитон», он один подставлял плечо под комель хлыста. И вот лопнули стропы, прокатились по Харитону сорвавшиеся сверху бревна, измяли, сплющили могучее тело кормильца... На другой день после похорон сосед Петро Гуцин взял Мишку за руку и повел к помощнику мастера-вальцовщика. В другой руке он нес угощение, завязанное в платок: бутылку казенки и десяток яиц. «Красненькая» лежала наготове в кармане.

Мишка ждал на завалинке, сжимал кулаки и скрипел зубами от злости. Мастеровы ребяташки смеялись над ним, над его ситцевой рубашкой в цветочках, босыми в цыпках ногами, но драться он не смел. Дядько Петре, предвидя такой оборот, пообещал «в случае чего самолично свернуть голову», да и вернуться домой ни с чем было нельзя. Когда бутылка казенки была прикончена, Мишку позвали в кухню. Помощник мастера оглядел его покрасневшими глазами.

— Жидковат парнишка.

— Нет, Тихон Елизарыч, худой только, а как паренек жилистый. Отец у него — царство ему небесное — на работе прямо зверь был, все на лошадей старался заработать... И этот отъестся — в силу войдет.

Так и кончилось кучее безрадостное детство Мишки; минуя юность, он стал взрослым, кормильцем семьи.

Разошлись пути дружков-погодков Ивана Гушина и Михаила Шершнева, разбросала их судьба в разные стороны и снова свела вместе. Оказалось, в разных местах, по-разному, а шли они одним путем. А потом не стало друга, и он пришел, чтобы помочь его вдове и сыну, как когда-то помог ему отец Ивана...

«...Да, все должны быть настоящими. Только уж очень поздно умнеет молодежь... А может, это стариковские иллюзии, будто те, кто идет нам на смену, — хуже, глупее, слабее? Так не бывает. Если б так было, люди бы давно бесследно перевелись, погибоша, аки обре... Погибоша... Черта с два! Что же молодежь, только «с песней по жизни шагает»? Она думает. Вон хотя бы этот Горбачев...»

Шершневу попытался вспомнить, видел ли его, знает ли, но вспомнил-ся только Семькин, старый разметчик. А Горбачев молодой. Не приметил его, не было случая.

«...А вот Гушины умнеют поздновато. Нас жизнь школила, швыряла, как кутят в полулю воду, — выплывай сам И выплывали. А мы молодых только словами пачиняем, как гусей яблоками... Слишком панькаемся с ними, слишком мало ответственности у них за себя и за все вокруг...»

А в этом, пожалуй, отчасти стариковская наша ревность виновата: я, мол, еще могу, жил дольше, знаю больше... Вот и оттираем молодых, пускай подождут, они, мол, еще успеют... А прожить дольше — совсем не означает знать и уметь больше...»

Шершневу снял телефонную трубку.

— Отдел кадров... Фоменко? У тебя работает такой Гаевский. Что он такое? Угу, хороший работник... А увольнение Горбачева, разметчика из механического, через тебя шло? Ты его личное дело смотрел? Не успел? Так посмотри как следует. И вот что, Фоменко: я в твои дела не вмешиваюсь, но имей в виду: отравлять людям жизнь я твоим работникам не позволю. Ты им объясни, что не рабочий класс при них состоит, а они при рабочем классе. Понятно? Как следует объясни! А то вот такой Гаевский попадет в регистраторы, а считает, что в диктаторы, думает, если у него в шкафу личные дела сложены, так он уже и бог и царь, всех людей себе в карман сложил... Я тебя предупредил, Фоменко, а ты знаешь — я два раза не предупреждаю...

Зазвонил городской телефон. Шершневу снял вторую трубку...

День был до отказа набит всевозможными делами — важными, срочными, важнейшими, безотлагательнейшими. Дня не хватало, он его растягивал до предела человеческой выносливости. Одни, отработав свое, отдав все, что могли и умели, уходили усталые домой, их сменяли другие. Он оставался. И этих других нужно было направлять, подталкивать, наставлять и вести.

Только поздно ночью, когда он уходил из кабинета и еще не приехал домой, где поочередно или одновременно уже трещали телефоны — заводской и городской, — в час, когда он один шел по заводу, не спеша и без всякой цели, его не трогали, не теребили. Это был его час, час раздумий. Деловых, продолжающих окончившийся рабочий день. Или иногда стариковских, усталых... Он не любил их, но они приходили все чаще, непрощенные, нежеланные и неотступные.

Ночью темп не спадал, цехи работали с полной нагрузкой, но завод как бы притихал, становился малолюднее. Не так заметна была суета людей, движение «кукушек», вагонов, ковшей и вагонеток. Лампочки, лампы, лампы боролись и не могли побороть ночь. Она скрадывала контуры, искажала облики. Крохотные горновые колдовали на литейном дворе. В розовых клубах дыма металась их гигантские тени. Медленно проплывали ковши со шлаком, унося в отвал сияющий над ними трепет-

ный ореол. Судьба всех ореолов... Фантастическими анакондами змеялись на своих опорах газопроводы. Сухо трещала сварка, безуспешно расстреливая ночь укромными молниями. Под опорами шел высокий сутулый человек и самому себе казался еле заметным среди огромных творений маленьких человеческих рук.

Кто он? «Хозяин», как его называют? Подгоняльщик? Наставник и поводырь? Все вместе и еще что-то такое, для чего нет подходящего слова. Директор отвечал за все: за кадры, за машины, за быт и прежде всего — за план. Все вокруг — сложнейшее и примитивное, огромное и мизерное, пламенеющее и невидимое, громяхющее и неслышное, — все существует, двигается, шевелится, действует во имя одного: плана. Полный металлургический цикл: столько-то тысяч тонн чугуна, стали, проката. И если их не было или было меньше, чем нужно, все теряло свой смысл, цель и назначение. В других местах, на других реках и берегах, в других городах стоят другие заводы. Они существуют тоже для того, чтобы выполнять план. И все это для того, чтобы всего было больше и чтобы это было все лучше, потому что это нужно людям для того, что называется счастьем.

22

Кира просыпается на рассвете. Окна еще только сереют, не больше четырех, но она встает. Базар ведь начинается рано... Не зажигая света, она натягивает платье, выходит в кухню. Здесь уже можно включить свет. Кира старательно причесывается, смотрит на себя в зеркало и отбрасывает расческу. Прямо мука с этими волосами, уже торчат в разные стороны, как проволока... Она зажигает керосинку, ставит чайник. Еще вполне можно успеть. Вода жуткая, надо бы дождевой, только где ее взять. Она моет голову торопливо и осторожно, чтобы не зашуметь. Волосы, конечно, опять скрутятся в кудряшки, но хоть мягкие будут, не как проволока...

Дверца шкафа пронзительно скрипит, открывая небогатый Кириный гардероб. Она долго стоит в раздумье. Шерстяное не годится. Кто ходит летом на базар в шерстяном платье? Лучше всего крепделиновое «электрик», сшитое к Первому мая. Совсем новое, надевала всего три раза... Кира отодвигает его, снимает с плечиков зеленое в цветочках. Последнее, которое она сшила себе перед замужеством, в котором ездила в Найденовку... Теперь деньги, кошелку. Перед детской кроваткой она останавливается: на кого же Ляльку оставить? Соседка уходит сегодня в первую — у них то и дело меняются смены. Мишка? Ему во вторую, но он так спит — хоть из пушки стреляй... Батюшки! Уже без двадцати шесть. Кира торопливо кутает Ляльку в пикейное одеяльце и выходит. Малышка начинает кукситься, но тут же затихает.

На базар нужно идти все прямо, прямо, потом налево. Кира сворачивает направо. Первый гудок застает ее на улице, на которой конечная остановка заводских автобусов. Один уже стоит, еще полупустой. Кира неторопливо проходит мимо, всматривается в сидящих. Подходит второй. Кира минует его и, отойдя немного, останавливается под деревом. Отсюда дорога только одна... Слава богу, малышка не плачет... И хорошо, что надела это, марокеновое, — день будет жаркий... Она вздрагивает, поправляет на руке малышку и идет. Не очень спеша, но и не медля. Так, как всегда ходят люди, идущие по делу...

Алексей поднимает голову, радостно улыбается.

— Кира? Вот здорово! Здравствуй!

— Здравствуй, Алеша. На работу? А я вот на базар...

Алексей не приходит в голову спросить, почему он никогда раньше не встречал ее здесь, если она ходит этой дорогой на базар.

— На работу! Первый раз... Да ты же не знаешь! Такое было! Меня же увольняли...

— Да, да,— кивает Кира,— мы все так за тебя волновались...

— Кто — все?

— Людмила Сергеевна... и я... Ты бы заходил к ней, Алеша, хоть изредка. Она знает как за тебя переживает!

— И она знает? Все?

Кира часто кивает, подтверждая.

— И не сердится?

— Нет.— Про себя Кира добавляет: «Разве может она на тебя сердиться? Или кто-нибудь другой?..»

Последний камень падает с души Алексея.

— Зайду! Зайду обязательно! — Но он может сейчас говорить только о том, что переполняет его, выплескивается через край.— Уволили, а ничего у них не получилось, вышло по-моему... И знаешь, кто это сделал? Федор Копейка... Да, ты же Федора не знаешь? Вот парень!

Кира, подняв голову, смотрит на него, счастливо улыбается и торопливо кивает. «Конечно, он хороший парень — ведь он поверил тебе, помог тебе! Разве после этого может быть он плохим?»

— Нет, понятно, не один Федор... Главное было на партсобрании. Мне Федор рассказывал. Дядя Вася — у нас старик фрезеровщик, рядом со мной работает.— он на больничном был, а на собрание пришел... Ох, он этого Иванычева просто с землей смешал! И очковтирательство, и зажим критики-самокритики... И Химчук, секретарь парторганизации, и Федор... Да все!

«А как же ты думал, дурачок? Вон ты стал какой большой и красивый, а дурачок, ничего не понимаешь... Ведь тебя все любят! Разве можно тебя не любить?!»

Алексей спохватывается. Вот свинья, каждый раз такая история — только о себе...

— Ну а ты как? — спрашивает он.

— Живу.

— Постой, ты что, плачешь?

— Нет,— говорит Кира, смахивая пальцем слезинку с ресниц.— Я так рада за тебя, Алеша!..

— Это твой?— Алексей смотрит на сверток, лежащий на ее левой руке.

Кира улыбается: «Дурачок, чей же еще?»

— Сын?

— Дочка. Хочешь посмотреть?

Кира приподнимает покрывало, Алексей заглядывает.

— Ничего, красная,— неуверенно говорит он. Сморщенное старушечье личико, красное, будто его ошпарили, совсем ему не нравится.— Ты, конечно, знаешь, Наташа уехала, сегодня, наверно, второй день уже занимается... Молодец она все-таки — своего добилась!

— Да.

— Ну, я пошел, а то опоздаю...

— Да, да, иди,— говорит Кира вслух. Про себя она говорит совсем другое: «Подожди, Алеша, милый! Не уходи еще хоть минутку, хоть полминутки. Ты не станешь от этого беднее, а я буду счастливее...»

Алексей вспрыгивает на подножку уже тронувшегося автобуса, машет ей рукой. Лялька начинает кукситься, Кира машинально покачивает ее и смотрит вслед автобусу, пока он не скрывается за углом. Потом она вытирает глаза и идет. Не на базар, а прямо домой. Соседка встречает ее у калитки.

— Вот ранняя пташка! Уже на базар сбегала?

— Да, только зря, пришла с пустыми руками — деньги забыла взять. Ничего, как-нибудь обойдусь...

В проходной стоит тот же самый вахтер. Алексей узнал бы его среди десятков тысяч... Алексей замедляет шаги, показывает пропуск, смотрит вахтеру в лицо. «Видишь, я говорил, восстановят, вот и восстановили!» Но вахтер смотрит не на него, а на пропуск.

— Чего стоишь? — говорит он. — Проходи, не задерживай людей...

Как легко теперь. И как было трудно тогда. Нет, не бывает в жизни легких дорог, если тебе не «наплевать на все»... Легко быть смелым, если смелость твоя ни на что не нужна, легко быть честным, если нет соблазнов и тебе ничто не угрожает, легко не ошибаться, если ты ничего не делаешь и ни за что не отвечаешь, легко быть принципиальным, если принципы твои только для тебя, если совесть у тебя глухонемая, вместо души холодная жаба, а сердце пусто, как бубен... Но если все так, человек ли ты? И зачем ты?

А если ты человек, иди вперед, как бы ни была трудна дорога, как бы ни цеплялось за тебя прошлое, вчерашнее, как бы ни хватало тебя за пятки или за душу, пытаясь удержать, остановить. Стряхивай, отбрасывай его и иди, иди дальше... А прошлое еще живет рядом с тобой. Оно оборачивается то дядей Трошей, то баптистами, то пакостным символом веры Олега Витковского, то Гаевским, то кажимостью Иванычевых, то Витькиным тщеславием и обидой... Это все из вчера, оно еще живет сегодня, но его не должно быть завтра. И его нельзя жалеть, перед ним нельзя отступать, иначе оно обволочет, засосет и поглотит. Прошлое не уходит само, его можно только уничтожить. И смотри внимательно: прошлое удивительно ловко умеет прикидываться настоящим и даже будущим!

Где-то возле шихтового двора свистит паровоз. Алексей узнает его — 9П-782. Голосистый крестник. Тоже скандалист... Нет, работяга!

Голомозый стоит возле табельной доски, обиженно поджав губы. Надувайся, надувайся...

Федор Копейка уже возле своего долбежного, и крылья носа у него уже запачканы. Увидев Алексея, он широко улыбается.

— Эй, кустарь-одиночка, привет!

Алексей подходит и тоже радостно улыбается.

— Здравствуй... Слушай, Федя, я только одного не понимаю: вот когда меня на треугольнике прорабатывали, ты же был не согласен?

— Ну?

— И молчал.

— А что толку, если б я тогда даже кричал? Одного всегда перекричат. А вот всех, — он повел рукой в сторону цеха, — попробуй-ка!

— Так что всегда только всем сразу надо?

— Смотря по обстановке... Есть такая штука — диалектика. Слыхал? Ну и... котелок у нас на плечах не зря приделан. Им не орехи бить, думать надо. — Федор слегка стучает его по затылку. — А у тебя эта штука, видно, и в самом деле для орехов...

— Ладно, умник!

Алексей, смеясь, идет дальше. Нет, у него не только утраты! Вот появился еще один друг. Настоящий!.. Завидев впереди спину начальника цеха, Алексей нарочно догоняет его и, поравнявшись, говорит:

— Здравствуйте, Владимир Семенович.

Витковский оглядывается, смотрит на Алексея, но не отвечает. Ты же еще и обиделся? Обижайся, обижайся...

Иванычев стоит у входа в конторку, кого-то поджидая. Он смотрит на Алексея. Алексей смотрит ему прямо в глаза и проходит мимо, как если бы там было пустое место.

На Доске почета возле конторки зияет дырка — Витькиной фотографии нет, уже сняли. Нет и самого Витьки возле станка. Заболел? Или от стыда попросился в другую смену?.. О, дядя Вася вышел!

Алексей подбегает к Василию Прохоровичу, но тот жестом останавливает его — он занят: протягивает трос через барабан парового цилиндра. Трос он цепляет к крюку мостового крана и, подняв голову, кричит крановщице Лиде:

— Дочка! А ну-ка, натужься!

Голова Лиды высывается из окошечка.

— Дядя Вася, еще ж не гудело!

— Хватит, что у тебя ноги гудят после вчерашней танцульки.

— А вам завидно? — Лида хохочет и включает контроллер. Цилиндр всплывает вверх и опускается на стол станка. Василий Прохорович отцепляет трос и только тогда поворачивается к Алексею.

— Пришел, Аника-воин? Здорово, здорово...

— Спасибо, дядя Вася, что вступился!

Василий Прохорович смотрит на него поверх очков.

— Всех будешь обходить? Так тебе и за целый день не переключаться. А начинать надо не с меня, с Маркина. Он первый начал. Так из Витковского пыль выбивал, аж звон стоял.

— Маркин? Из-за меня? Он же меня всегда ругал!

— Мало ли что! Тебя ругал для порядка, для воспитания. А Витковского — за дело. Разница!

— Дядя Вася, а почему ты раньше молчал?

— Я тебе говорил, ты тогда не поверил. Оно и понятно: человек по настоящему только бокам своим верит...

Матово поблескивает отшлифованное зеркало чугунной плиты. На нее приятно опираться в жаркий день — она всегда прохладна. Рейсмус, циркуль, линейка, молоток, кернер... Краска осталась после Семькина, можно не разводить. В самом начале его поташнивало от запаха этой клеевой краски... Да разве только от краски? А разогретое машинное масло, мыльные эмульсии, кисленький запах меди, устойчивый, сильный запах кованого железа... Сколько раз он когда-то мечтал сбежать от всех этих запахов, гула моторов, шелкания ремней, осточертевших шаблонов, мертвой глыбы плиты, от всего, что нужно красить, ворочать, прочерчивать, кернить... И как оказалось все это дорого, с какой нежностью, болью об утраченном вспоминал он все, что пробовали у него отнять... Нет уж, этого не отнять!

— Ну, Горбачев, вышел на работу, все в порядке? — Ефим Паника кладет на стол чертежи и наряды. — Видишь, я тебе всегда говорил: гуртом даже батьку бить легче! А ты сам, один, в бутылку полез... Вот и мыкался. Сам виноват!

Под усмешливым взглядом Алексея глаза Ефима Паники стреляют куда-то в сторону.

— Ну я побежал, некогда...

Он убегает. Алексей начинает разбирать наряды.

— Слушай, Лешка...

Лицо Виктора растерзано, толстые губы дрожат. Он приготовил длинную, прочувствованную речь, в которой все: и его переживания, и Шершневу, и Гаевский, и стыд, пережитый на позавчерашнем собрании, позор и раскаяние, заверения, что теперь уже никогда ничего подобного не случится, как он не понимал и не сознавал, а потом понял и осознал. Но теперь он только с трудом может выдать четыре слова:

— Нам, понимаешь, надо поговорить...

— О чем?

— Ну все-таки, понимаешь, так получилось...

— Знаешь, Витка: давай замнем. Для ясности.

Виктор настороженно смотрит Алексею в глаза. Алексей улыбается.

— А ты... не сердишься?

— На тебя? Ты же дура! — И он толкает ладонью Виктора в плечо.

Виктор наконец понимает, губы его расплываются.

— А ты-то кто? — кричит он и сам изо всех сил толкает Алексея. — Обедать пойдем? Я место займу. А вечером...

С полминуты в воздухе колышется, назревает, растет глухое ворчание, и наконец прорывается могучий рев, в котором тонут все звуки. Третий гудок. Виктор что-то кричит, потом машет рукой и бежит к своему станку.

Рев обрывается, все звуки в цехе на минутку становятся необыкновенно звонкими и отчетливыми. В среднем пролете слышен крик: скандалит Маркин...

«Порядок!» — Алексей улыбается и склоняется над плитой.

1956—1960 гг.



В. КАВЕРИН

★

РАССКАЗЫ

(Из книги «Неизвестный друг»)

В последние годы В. Каверин работает над автобиографической книгой «Неизвестный друг». В ней рассказывается о жизни мальчика в провинциальном городке дореволюционной России, о событиях, связанных с первой мировой войной, революцией. Действие происходит в Пскове, Москве, Петрограде.

Ниже мы публикуем несколько рассказов из книги.

Скрипка Амати

Самый большой в городе граммофон с трубой, на которой была изображена наяда, стоял в доме полковника Чернилювского, начальника псковской тюрьмы, маленького, изящного человека, затянутого в корсет, с пушистыми усами на нежном лице. Его механическое пианино исполняло концертный вальс Дюрана, который, как сказал мне Пашка, был по плечу только Падеревскому, да и то когда он был в ударе. Вольнонаемный регент тюремной церкви получал от полковника ценные подарки. «Специально музыкальный магазин» на углу Великолуцкой и Плоской выписывал для него ноты из Вены.

В городе говорили — и это было самое поразительное, — что у Чернилювского есть даже скрипка работы знаменитого мастера Николо Амати, хранящаяся в стеклянном футляре. Когда в Псков приезжал Бронислав Губерман, полковник предложил ему поиграть на скрипке, но Губерман взял только одну ноту, а потом посоветовал Чернилювскому время от времени открывать футляр: скрипка могла задохнуться.

— Скрипки дышат, — будто бы сказал он, — а когда перестают дышать, они умирают, как люди.

Отец вечно возился со скрипками, разбирал их, клеил; его усатое солдатское лицо становилось тонким, когда он, как врач, выслушивал лопнувшую деку. У него был абсолютный слух.

— Ля, ля, ля, — говорил он, когда в тишине летнего вечера копыта цокали мягко и звонко и слышались еще долго, до самой Застенной, где кончалась булыжная мостовая.

Отец не верил, что у полковника настоящий Амати.

— Не Амати, не Амати, дорогой мой, — говорил он. — Не Амати.

Но когда арестанты убили Чернилювского, он стал беспокоиться, уцелела ли скрипка. Был назначен военный суд. Казаки — статные, скуластые — неторопливо просхали по Сергиевской и встали лагерем за Петровским посадом. Городовым выдали белые перчатки. Газету

«Псковский голос» закрыли, и стало казаться, что революция, о которой давно говорили, произойдет через несколько дней.

Мама сердилась, что в такое время отец думает о скрипке, пускай даже и работы Аматти. Отец соглашался.

— Великое дело, великое дело,— говорил он, но потом снова съезжал на Аматти.

Скрипка уцелела. Дочь Чернилиевского, горбунья, однажды появилась на нашем дворе. Она была в трауре. В прихожей она откинула крен, и показалось бледное, тонкое лицо с маленьким ртом, опустившимся, как у много плакавших женщин. Надменно закинув ушедшую в плечи головку, она стояла в прихожей. Отец вышел, и она сказала звонко, как бы насмешливо:

— Я пришла предложить вам скрипку Аматти.

Родители разговаривали долго, ночами. Даже если бы удалось продать какие-то страховые полисы, все-таки мы были слишком бедны, чтобы купить эту скрипку. У нас было только тысяча пятьсот рублей, отложенных на приданое для Лизы, и хотя это было немного, без них она сразу превращалась в бесприданницу, то есть в особу, на которой женятся без расчета, а лишь по страстной, непреодолимой любви.

Скрипку купили. Она была темная, изящная, небольшая, в обыкновенном потертом футляре — это меня огорчило. Отец ходил по квартире веселый, с торчащими усами. У него был праздничный вид. На внутренней стороне деки он показал мне неясную, сливающуюся надпись: «Amati fecit». Это значило: сделал Аматти.

Жизнь отца была полна наконец: у него была семья, армия и скрипка Аматти.

Первой стала рассыпаться семья. Ему хотелось, чтобы дети служили в армии и, как он, играли почти на всех инструментах. Это было, по-видимому, невозможно. Лиза прекрасно играла на виолончели — у нее было редкое туше, — но служить в армии она, разумеется, не могла. Пашка, которого он любил меньше других, играл на рояле — самый этот инструмент не имел никакого отношения к службе. Глеб, которого он старался сделать виртуозом, не только бросил скрипку, но поступил в университет, а не в военно-медицинскую академию.

Постепенно он стал чувствовать себя в семье хуже, чем в музыкантской команде. Там все было ясно. Кларнет играл то, что было ему положено, ударные инструменты, которым отец придавал большое значение, вступали не прежде, чем он давал им знак своей палочкой.

Напротив, в семье все было неопределенно, неясно. Деньги уходили неизвестно куда, гостей было слишком много. Дети интересовались политикой, которая в сравнении с армией и музыкой казалась ему опасной и ничтожной.

— Начальство, начальство, дорогой мой,— говорил он.

Это значило, что политикой должно заниматься начальство.

Мать развелась с ним сразу после революции, когда стал возможен односторонний развод. Он бы не согласился. Жизнь без постоянных ссор с ней казалась ему пустой, неинтересной.

Она уехала от него, но он и теперь все-таки иногда приходил к ней — посоветоваться или просто так, когда ему становилось скучно. И мама советовала, наставляла, сперва насмешливо, потом добродушно. Она не раскаивалась, что развелась с ним. Она говорила, что если бы это было возможно, она развелась бы на другой день после свадьбы.

Полк стоял в Стрельне, и, выезжая из Ленинграда, он вспоминал, что ему всегда хотелось жить за городом, на свежем воздухе. И чтобы перед домом росли кусты, по возможности полезные — крыжовник, малина, — а на дворе расхаживали куры. Дома не было. Кур — тоже.

У детей теперь были дети. Сыновья женились не так и жили не так, как надо. Он не знал, как надо, но все же было совершенно ясно, что они жили как-то не так. Он любил их. У него не было денег, но время от времени он делал им дорогие подарки.

Словом, с семьей было кончено. Зато с армией все было как нельзя лучше. «Армия, армия,— любил говорить он.— Сыт, одет, обут. Порядок!»

Когда перед первой мировой войной сокольскую гимнастику заменили военным обучением, он ходил на плац — смотреть, как мы с Пашкой маршируем, и однажды, с бешенством выкатив глаза, закричал мне:

— Ногу!

В свои семьдесят два года он еще служил накануне Великой Отечественной войны. Его оркестр был лучшим в округе, и только какой-то знаменитый Белецкий считался более опытным капельмейстером, чем он. Он сочинил военный марш, который записали на граммофонную пластинку. Марш был ужасный. В одном месте барабан заглушал все другие инструменты, и каждый раз отец подробно объяснял мне, как это случилось: барабан поставили слишком близко к записывающему аппарату.

Но вот однажды командир полка пришел на сыгровку, и отец, командовав «смирно», отрапортовал ему о состоянии своей музыкантской команды согласно уставу, утвержденному в 1892 году императором Александром III. Командир полка с конвоем отправил его на гауптвахту, и смертельно, до слез оскорбленный отец подал в отставку, несмотря на мои уговоры.

Теперь у него осталась только скрипка Амати. Иногда он играл на ней — и звук был отчетливый, нежный, точно доносившийся из другого мира, где все было так, как ему хотелось.

Он женился вторично — от скуки. Но стало еще скучнее, хотя жена была красивая, сорока пяти лет, с большими бараньими глазами. С ней нельзя было спорить — она соглашалась. Нельзя было скандалить — она начинала плакать. Скрипку Амати, по ее мнению, надо было продать.

— Дурак! — отвечал ей с презрением отец. Ему казалось, что это обиднее, чем дура.

Дальний родственник, флейтист, томный красавец с вьющейся шевелюрой, приехал из Свердловска и сказал, что скрипка хорошая, но не Амати. Амати делал изогнутые скрипки с высокой подставкой. Они и теперь еще ценятся, но не очень, потому что у них тон глуховат для современного концертного зала. А это не Амати. Он видел точно такую же у одного любителя, и тот показывал ее именно как подделку.

У отца был осунувшийся вид, когда я пришел к нему через несколько дней.

— Шваль, шваль, шваль музыкант, — сердито сказал он, когда я спросил о флейтисте.

Он пожаловался, что по радио редко передают духовую музыку, и мы написали открытку в радиокомитет с просьбой, чтобы передавали почаще.

Скрипка висела на прежнем месте. Он старался не смотреть на нее.

Вскоре он умер от паралича сердца, как объяснили врачи. Зеркало было завешено, окна распахнуты настежь. Все входило и выходило. К вечеру мы остались одни. Он лежал, как будто прислушиваясь, матово-бледный, с лицом древнего воина. Мордатый гробовщик вошел, стуча сапогами, и вытащил из-за голенища метр.

— Ваш старик? — гулко спросил он.

Я ответил:

— Мой.

Бойкот

У Пашки был оригинальный характер, который я долго не мог понять, потому что думал, что это сложный характер. Он огорчался, когда у него были неприятности, но вскоре забывал о них и даже с трудом мог припомнить. Он постоянно стремился к какой-нибудь цели. То добывал в своем чулане гремучую смесь, то сочинял «Лунную сонату». Он считал, что у Бетховена своя «Лунная соната», а у него — своя, и еще не известно, которая лучше.

Но гимназистки интересовали его больше, чем музыка. Он шутил, болтал с ними, и все у него получалось просто и ловко.

В тот день, когда началась эта история, я встретил его на Сергиевской с Леночкой Халезовой, которая откровенно признавалась, что она сочувствует Милюкову, то есть кадетам. Возможно, я не обратил бы на это внимания, тем более, что через час можно было увидеть Пашку на той же Сергиевской с другой гимназисткой, сочувствующей эсерам. Но наша компания объявила Леночке бойкот, и ухаживать за ней, с моей точки зрения, была подлость.

Вечером я изложил эту точку зрения Пашке, но он поднял меня на смех, а потом попытался доказать, что политические взгляды в данном случае не имеют значения. Оказывается, у него была теория, что не все должны иметь убеждения, некоторые могут прекрасно без них обойтись. Но он как раз не может. Он как раз думает, что за хорошенькими гимназистками нужно ухаживать, даже если они сочувствуют самому Вельзевулу.

Это был беспринципный ответ, и, посоветовавшись с товарищами, я объявил бойкот не только Леночке, но и Пашке. Вовка Лопатин вошел, когда мы ссорились. Сгоряча я объявил бойкот и ему, поскольку он отказался объявить бойкот Пашке, а потом, когда пришел Андрей Фандерфлит, — и ему, поскольку он отказался объявить бойкот Вовке. Пашка логично заметил, что согласно закону цепной реакции я буду вынужден таким образом объявить бойкот всем товарищам его товарищей. Следовательно, плюс бесконечность — всему человечеству и даже в конечном счете себе самому.

Это было типичное доведение мысли до абсурда, и я от имени нашей компании сказал, что в таком случае вопрос будет решен товарищеским судом.

Суд состоялся у Шурочки Вогау, причем пришли не только наши ребята, но еще какой-то прапорщик Сосионков и Шурочкин дядя, в котором я узнал того невысокого белевого, который однажды чуть не подрался с Глебом. Он и теперь был со стеклом и похлопывал им, сидя в кресле и иронически усмехаясь. Когда я пришел, он показывал стек: в нем был спрятан длинный узкий стилет, который можно было выдернуть, как шпагу из ножен.

Впервые я был в такой богатой квартире. Комнат было много, у Шурочки — своя, с диваном и креслами, покрытыми сиреневым шелком, с кроватью, на которой лежала воздушная кружевная накидка. Под стеклом на столиках тоже был шелк. В гостиной стоял белый рояль, а рядом с ним, прямо на полу, высокая лампа под нарядным абажуром. На одной из картин была нарисована голая женщина, в которой не было ничего особенного, кроме того, что она была совершенно голая. Эта картина мешала мне как обвинителю, потому что все время хотелось на нее посмотреть.

Все говорили разом, смеялись и умолкали, только когда прапорщик Сосионков — он был председателем — стучал карандашом по столу. Он

был розовый, лет восемнадцать, с шершавыми детскими щечками. Между собой мы называли его не Соснонков, а Поросенков.

Прапорщик сказал, что необходимо выяснить подлинную причину нашей ссоры, совершенно излишней теперь, когда трехсотлетняя империя Романовых отжила свой исторический срок. Политические партии, он полагал, необходимо запретить до полной победы.

Потом он предоставил слово Пашке, хотя допрос свидетелей не только не кончился, но, в сущности, даже еще не начинался. Пашка заявил, что он принадлежит к партии независимых, которой в России еще нет, но зато она играет заметную роль в Западной Европе. Как представитель этой партии он считает, что в Пскове надо организовать лигу свободной любви. Любовь есть частное дело каждого гражданина и должна охраняться хартией, вроде великой хартии вольностей, ограничившей в 1215 году английскую королевскую власть в пользу баронов.

Леночка Халезова выступила последней, и, слушая ее, я подумал, что Пашка, может быть, прав — с таким беленьким круглым личиком, с такими синими глазами, с такими локонами, прикрывавшими розовые уши, можно было, на худой конец, обойтись без убеждений. Она говорила горячо, но обращалась почему-то исключительно к прапорщику, который розовел все больше, моргая и надуваясь, так что постепенно для всех стало ясно, что Пашка прогорел, несмотря на всю свою беспринципность.

В общем, из суда ничего не вышло. Позвали ужинать, ребята, объявившие друг другу бойкот, оказались рядом, и никому больше не захотелось ссориться из-за Пашки.

Стол был длинный, не составленный из нескольких, как это делали у нас, когда было много гостей. У каждого прибора лежало несколько вилок и хорошенький овальный нож, с которым я не знал, что делать. Высокая гимназистка, сидевшая рядом со мной, тоже не знала. Она была серьезная, неторопливая, с плавными движениями, загорелая, хотя до лета еще было далеко. Ее звали Галя.

В Летнем саду

Общее собрание учащихся средних учебных заведений открыл наш директор Отто Францевич Готлиб. Он был величественный, с зачесанными серо-стальными волосами. В городе говорили, что он карьерист, потому что во время войны переменил свою фамилию на Готалов. Но мне он нравился: мне казалось, что настоящий директор должен ходить именно так — тяжеловато и неторопливо, — именно так покровительственно щурить глаза и слегка занкаться. Нижняя губа у него была большая, немного отвисшая, но тоже представительная. Гимназисты звали его «Губошлеп». Речь директора была похожа на ту, которую он произнес, когда родители добились, чтобы у нас были горячие завтраки на большой перемене. Мамы в белых передниках ходили между столами, присматривая за порядком, нельзя было капнуть на стол, и вообще была скучища, как на уроке. Завтраки были вкусные, но дорогие, и вскоре пришлось их отменить, хотя купец Ячменев, сын которого учился в нашем классе, пожертвовал полпуда какао.

Сейчас тоже пришли родители, нарядные, торжественные, а некоторые сдержанно-грустные: очевидно, жалели, что революцию, как школьные завтраки, нельзя отменить.

Директор сказал, что мы напоминаем ему стихотворение Некрасова:

Идет-гулет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум...—

и что в Петрограде гимназисты помогли Временному правительству быстро разобрать почту, залежавшуюся в отделениях.

— Поскольку во время революции, — с оттенком упрёка сказал он, — почта, как правило, доставляется плохо.

Но одновременно директор решительно возразил против дальнейшего участия гимназистов в народном движении. То, что было допустимо в первые радостные дни, является нежелательным теперь, когда учащиеся должны заботиться лишь о том, чтобы окончить год с успехом. Он предложил избрать председателя, и правые немедленно назвали князя Тархан-Моуравова, о котором в корпусе говорили, что такого умного и развитого кадета не было несколько столетий. Но, очевидно, левым было все равно, что он такой умный. Семинаристы, которые все были эсеры, закричали: «Нам нужен демократ, а не князь!»

Красивый, с черными усиками, Тархан-Моуравов сейчас же встал и с достоинством возразил, что Кропоткин тоже был князь, однако это, как известно, не помешало ему стать анархистом. Родители заплодировали — действительно, это было сказано сильно. Но семинаристы опять закричали:

— То Кропоткин!

И снова поднялся сильный шум. Потом Губошлеп предоставил слово приехавшему из Петрограда представителю ОСУЗа (Общества средних учебных заведений), и на кафедре появился громадный, толстый, добродушно улыбавшийся гимназист. Он тоже рассказал, как петроградские учащиеся быстро и энергично разобрали почту, — по-видимому, в деятельности ОСУЗа это был наиболее заметный общественный шаг. Потом он предложил учредить псковское ОСУЗ под руководством временного комитета, в который должен был войти и он как представитель столицы.

— Голосовать! — закричали семинаристы.

Мы с Алькой тоже закричали, но в это время подошел Емоция и ехидно сказал:

— А вы что здесь делаете, господа?

Он был похож на деревянного человечка с отваливающейся челюстью для шелканья орехов. Когда он говорил, у него рот открывался механически, точно за его спиной кто-то двигал палкой, к которой была приделана челюсть.

— Здесь имеет место разрешенное начальством собрание старших классов, а пятые не принадлежат к числу таковых.

Я объяснил, что нельзя отстранять пятые классы от участия в общественной жизни, но он прошипел: «Извольте удалиться!» — и пришлось уйти в самую интересную минуту.

На лестнице мы с Алькой чуть не поссорились: я сказал, что чуть не убил Емоцию, а он сказал, что возможно, но, без сомнения, лишь потому, что Галя стояла неподалеку и видела, как нас выгоняли.

— А что, слабо вернуться? — спросил Алька.

Он посмеивался, расставив сильные ноги, невысокий, крепкий, со своей поросшей светлым пухом мордой, на которой краснелись прыщи. Третьего дня на Сергиевской он поцеловал Верочку Стомболи, самую красивую в городе гимназистку, из-за которой застрелился один пожилой офицер, и выиграл пари, заработав всего лишь одну оплеуху.

Это было глупо — идти прямо к тому месту под губернаторской лоджией, где стояла Галя, потому что инспектор по-прежнему прохаживался в двух шагах от нее. Осузовец, похожий на переодетого взрослого, в гимназической форме, еще говорил. Все внимательно слушали его — и Галя, с тем доверчивым, серьезным выражением, которое я заметил у нее еще у Вогау. Она засмеялась, увидев меня, и показала глазами на инспек-

тора — с ужасом, но, может быть, и с восхищением, если считать, что этот взгляд в какой-то мере относился ко мне.

Я подошел, и мы поговорили. Смешной этот осузовец, правда? Очень. Здорово говорит? Очень. Вообще в Петрограде пятые классы никто не считает младшими. Один пятиклассник даже входит в правление ОСУЗа.

— Двенадцать часов в воскресенье, — сказал инспектор, почти не разжимая рта, когда нарочно, не торопясь, я проходил мимо. Это значило, что в воскресенье я должен отсидеть двенадцать часов — с восьми до восьми — в пустом классе.

Я ждал Галю на черной лестнице дощатого холодного Летнего театра. В маленькое кривое окошко светила луна. Легкие декорации наклонно стояли вдоль стен, точно спускались в сад по ступеням. Галя пришла, спустилась, и сад, в котором мы с Пашкой играли в казаки-разбойники, а отец по воскресеньям дирижировал своей музыкантской командой, сад, в котором я вырос, показался мне таинственным и незнакомым. Кусты жасмина как будто кружились над землей. На аллеях, на серебристой раковине эстрады лежали тени маленьких листьев и веток. Сторож вдруг появился на тропинке, и нам показалась необыкновенно смешным, что он вылез из заколоченной театральной кассы. В городском садоводстве за крепостной стеной было темно и тихо. Знакомый пес залаял, потом стал ласкаться, и мы немного поболтали с ним — спросили, как дела и здоровье. Галя была в накинутой на плечи жакетке, а потом сняла ее, оставшись в черной кофточке, застегивающейся у самой шеи. Я спросил: «Вам не холодно?» Она ничего не ответила, а просто покачала головой, и это тоже запомнилось надолго.

Сторож Филипп запер меня на четвертом этаже в здании женской Марининской гимназии и ушел, назидательно погрозив ключами. В мужской помещался штаб генерала Рузского. Мы переписывались с гимназистками, занимаясь во второй смене. В пустой парте на «камчатке» я нашел письмо, поразившее меня своим лаконизмом: «А вы думали, что я намерена удовлетворять ваши измененные потребности?»

Сочиня трагедию «Савонарола», я долго сонно бродил между партами. Время остановилось и снова двинулось вперед, когда на той стороне Великолуцкой я увидел Галю. Она стояла, подняв милое загорелое лицо — искала меня за слепыми окнами, отсвечивающими на солнце. Потом ушла и вернулась к вечеру, когда тень самого высокого в Пскове пятиэтажного дома Вундта упала на крышу Вольной пожарной команды.

Вечером мы снова встретились в Летнем саду. Меня немного пошатывало, я сразу съел завтрак, обед и ужин. Мы еще не умели целоваться, но все-таки целовались, крепко прижимая к губам нераскрытые губы.

Дуэль

Это была одна из тех невеселых вечеринок, на которых все напряженно шутили и приходилось осторожно есть, потому что, с тех пор как немцы заняли Псков, с провизией становилось все хуже. Я ушел рано, а Толька Розенталь пошел провожать Лепочку Халезову, и Сапожков нарочно, чтобы позлить его, увязался за ними. Это было подло с его стороны, и Розенталь сказал, что такие вопросы еще недавно решались с оружием в руках. Тогда Левка вызвал его. Они дерутся завтра в восемь вечера на Бабьем лугу.

Я сказал, что, как социалист, Розенталь вообще не имеет права драться на дуэли, но он возразил:

— А Лассаль?

Только был похож на араба. У него были добрые смеющиеся глаза и выпалые, отливавшие синевой щеки. С гимназистками он долго, умно разговаривал, а потом хохоча рассказывал мне, что у него опять ничего не вышло. То, что должно было выйти, мы почему-то называли «свет с Востока». Он жил у нас, потому что в городе Острове не было мужской гимназии. Мама согласилась взять его на пансион, тем более, что с нами никто не мог справиться, и считалось, что Розенталь подействует на нас благотворно.

В кофейне у Летнего театра, которая при немцах стала называться «Феликс», я встретился с Левкиным секундантом Кирпичевым. Он был уже довольно старый, лет двадцати, надутый, с выражением твердости на красном квадратном лице. Все на нем было новое — шинель, застегнутая на все пуговицы, поблескивавшие ботинки. Он носил не измятую фуражку, как это было еще недавно можно, а торчащую, с поднятым сзади верхом, как носили немецкие офицеры.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — отвечал он небрежно.

Возможно, что он сразу догадался, что я хочу повлиять на него в смысле провала дуэли, потому что, когда я сказал, что мы, как секунданты, обязаны прежде всего подумать о примирении, он усмехнулся — должно быть, подумал, что мы испугались.

— Разумеется. Итак, что вы предлагаете? Извинение?

Я сказал холодно:

— Об извинении не может быть и речи.

— Может быть, ваш друг предпочитает драться на шпагах или эспадронах?

Я ответил:

— Род оружия безразличен.

— Значит, pistols?

— Не возражаю.

— Расстояние? Двадцать шагов?

— Десять! — возразил я с бешенством, хотя мне хотелось, чтобы противники в момент поединка находились на расстоянии плюс бесконечность.

Кирпичев слегка покраснел.

— Прекрасно, — сказал он. — Остается договориться о порядке боя. Согласно дуэльному кодексу предполагаются три варианта: до первой крови, до невозможности продолжать бой и, наконец, до смерти одного из противников.

Мне стало страшно, но я сказал:

— До смерти.

Кирпичев еще остался в кофейне, а я пошел домой и стал учить уроки, хотя это было почти невозможно. Я не сказал бы «до смерти», если бы он не держался со мной, как с мальчишкой. Мы проходили «Метаморфозы» Овидия; я громко читал и переводил: сегодня Борода меня спросит. Я погубил Розенталя потому, что какой-то болван держался со мной, как с мальчишкой. Он сказал, что pistols нет, но что в крайнем случае он может достать их у знакомого офицера. Господи, хоть бы не достал!

Я швырнул Овидия в угол. Если бы немцы взяли город не в феврале, а хотя бы в марте, мы успели бы отменить латынь. Все было подготовлено. Мы с Алькой собирались выступить на педагогическом совете. Теперь Борода мне покажет! Я считал шаги, чтобы успокоиться. Десять. Еще десять. Я погубил Розенталя...

Утром, когда я шел в кофейню «Феликс», мне еще нравилось быть секундантом. Это было интересно, тем более, я был уверен, что дуэли не

будет. Теперь это было уже не интересно. Если бы я не был секундантом, я мог бы пойти к Сапожкову и сказать, что Розенталь фактически не может драться, но не потому, что трусит, а потому, что немцы посадят его, если он обратит на себя внимание.

Я пошел к Леночке Халезовой и сказал, что, как секундант, я обязан скрывать место и время дуэли, но что на всякий случай пускай она запомнит, что они будут драться сегодня в восемь вечера на Бабьем лугу. Она испугалась, но не очень, гораздо меньше, чем я ожидал. Она только повторяла: «какой ужас», а один раз нечаянно сказала «ужас» и засмеялась. Ее старший брат — дурачок — бормотал в соседней комнате все время, пока мы говорили. Возможно, что и она была дура, но самоуверенная и даже жестокая, со своими локонами и синими глазами. По-видимому, ей даже хотелось, чтобы из-за нее кто-нибудь был убит или ранен. С тех пор как один подполковник, семейный, уважаемый человек, застрелился из-за красавицы Стомболи, все псковские гимназистки только и мечтали, чтобы из-за них происходили несчастья.

«Но этого не будет, — подумал я с бешенством. — Этого не будет!»

Она соврала, что идет на урок музыки, и даже взяла папку, но на самом деле — я это знал — Розенталь должен был встретиться с нею у Шуры Вогау. Уходя, она надела меховую шапочку и стала такая хорошенькая, что от нее действительно можно было сойти с ума. Я вернулся домой с неприятным чувством, как будто я просил ее пощадить Розенталь, а она отказалась.

Только пришел голодный в шестом часу и, рванувшись к буфету, стал жрать хлеб. Он счастливо засмеялся, когда я стал ругать его. Синезеленый, с запавшими щеками, он глотал, не прожевывая, как собака. Я испугался, что он подавится, но он сказал:

— Теперь? Дудки!

— Что ты хочешь этим сказать?

Вместо ответа он с бессмысленной улыбкой закрыл глаза и немного постоял, качаясь. Потом снова стал торопливо жевать. Мне хотелось спросить у него, как насчет «света с Востока», но вместо этого я сказал раздраженно, что не могу, к сожалению, быть его секундантом. Причина политическая: он выступал как большевик, все это знают, и немцы посадят его, если он, Розенталь, обратит на себя внимание. Он нахмурился.

— Об этом нужно было подумать вчера.

Я возразил рассудительно, что, поскольку мы не подумали вчера, не худо бы подумать сегодня. Если он освободит меня от чести быть его секундантом, я могу пойти к Сапожкову и уговорить его извиниться.

Розенталь поблдевел. Вместо ответа он двинул меня кулаком в грудь и сказал, что еще не прятался за спину революции и не станет, хотя бы даже ему грозила не дуэль, а четвертование.

— Вообще, чего ты беспокоишься? Я его убью.

— Ты, брат, не убьешь и мухи.

— Посмотрим, — ответил он беспечно и пошел к себе, а когда я постучал к нему, крикнул: — Я хочу спать! — И потом: — Иди к черту!

Было светло как днем, когда мы наняли извозчика и поехали на Бабий луг. А я-то еще надеялся, что в темноте зимнего вечера Сапожков промахнется! С тех пор как немцы заняли Псков, уже в семь часов становилось пусто и тихо. Только на Пушкинской всегда стояла очередь у публичного дома, и теперь, когда мы ехали, — тоже. В освещенных окнах мелькали растрепанные девки, солдаты громко разговаривали, смеялись, а из ворот, оправляя мундиры, выходили другие.

Я вспомнил, как однажды мы купались с Сапожковым и как, вылезая из воды, он неприятно дурачился, встряхивая длинными прямыми волосами. У него была взрослая прыщавая грудь. Вообще, в сравнении

с нами, он был взрослый, давно уже знавший и испытывший то, о чем мы голько болтали. Я, например, наверно знал, что он несколько раз был в этом публичном доме. Непонятно, почему Розенталь подружился с Левкой, хотя сам же говорил, что Левкина мать, докторша, мучится с ним и что он подло ведет себя по отношению к девушке-воспитаннице, которая жила у Сапожковых и которой он не давал проходу. Однажды я зашел к нему. Мы говорили о Шопенгауэре. И вдруг по комнате неслышно прошла эта девушка, тонкая, в платочке, накинутом на плечи, с усталым лицом.

Город как будто отнесло далеко налево, и впереди показалась чистая, светлая река — голубая и белая от луны и снега. Сапожков со своим секундантом обогнали нас у Ольгинского моста и нарочно поехали почти рядом. Они пели, даже оралы — тоже, без сомнения, нарочно. Розенталь опустил голову. Я понял, что ему стыдно за них.

Мы сошлись у столбиков, перегородивших дорогу на той стороне Великой. Летом здесь был луг с душистыми травами, начинавшийся сразу за новой, недавно открывшейся гимназией Барсукова. Теперь пустая равнина холодно блестела под луной.

Мы свернули с тропинки и прошли недалеко по глубокому снегу. Все молчали. Кирпичев провел черту и сказал мне:

— Считайте.

Стараясь делать огромные шаги, я сосчитал до десяти и, не останавливаясь, двинулся дальше: двенадцать, тринадцать, четырнадцать...

— Виноват, — сказал Кирпичев.

Я вернулся.

Левка встал у черты и скинул на снег шинель и фуражку. Он был в штатском, в новом костюме с торчащим из наружного кармана платком. Он снял и пиджак, хотя было очень холодно, и остался в белой рубашке с накрахмаленной грудью. Розенталь спросил весело:

— Как? Раздеваться? Бр-ррр... — И, подумав, тоже сбросил шинель. Он стоял тоненький, отчетливый, как силуэт, в гимназической курточке, на фоне снежного сугроба, переходившего за его спиной в маленький холм.

Это была минута, когда я понял, что никто не представлял себе, что это будет так, то есть что они будут стрелять друг в друга, стараясь не промахнуться. Никто, даже Сапожков, которого еще у столбиков я спросил задрожавшим голосом: «Что ж. Лева, убьешь человека?» — и он ответил твердо: «Убью». Теперь все происходило как бы независимо от нашей воли. Так, Кирпичев спросил деревянным голосом: «Не желают ли противники помириться?» — и Розенталь, узнав, что нужно публично попросить прощения, ответил: «Э, нет, к черту! Тогда будем стреляться!»

Так, я вдруг фальшиво пробормотал: «Ребята, а может, хватит валять дурака?» — и все сделали вид, что не слышали. Ничего нельзя было остановить или изменить — я горестно понял это, когда Розенталь стал целиться, крепко зажмурив левый глаз, и его доброе лицо стало жестоким, с поехавшей вперед нижней губой.

Они выстрелили одновременно — точно кто-то негромко ударил в жестяное ведро. И ничего не произошло, только Левка, пошатнувшись, переложил пистолет в левую руку.

— Ранен? — спросил Кирпичев.

Ранен! И, забыв о дуэльном кодексе, мы с Толькой со всех ног побежали к нему, проваливаясь в снег и ругаясь.

Две недели Левка носил руку на черном шелковом фуляре, гимназистки ходили за ним маленьким разноцветным стадом — в трех женских гимназиях были синие, черные и красные платья. Он встряхивал

длинными прямыми волосами и говорил о Шопенгауэре, иногда путая его со Шпильгагеном.

Он учился в коммерческом, и теперь вечерами можно было встретить в Летнем саду гимназисток с коммерсантами, на которых они прежде просто плевали. Очевидно, тень Левкиной славы осенила все училище в целом.

...Веселые и голодные, вспоминая, как Толька спросил Кирпичева: «Это какой револьвер, «Смит и Вессон»?», а тот ответил с возмущением: «Это не револьвер, а дуэльный пистолет», — мы соскочили с извозчика у нашего дома и быстро прошли мимо. Дом был освещен, походная немецкая повозка стояла у ворот, а у подъезда скучал солдат, опершись о винтовку. Очевидно, немцы все-таки решили арестовать Розенталя.

Мы повернули за угол, и Толька сказал, что, может быть, это даже к лучшему, потому что ребята из типографии давно говорили, что ему нужно уйти. Плохо было только, что, если на границе задержат без «аусвейса», могут застрелить, а он, Розенталь, как это только что выяснилось, не любит, когда в него стреляют. «Аусвейс» остался в старых штанах, а штаны висят на спинке кровати.

— Я принесу.

— Задержат.

— Как бы не так!

Немцы были в передней, и где-то еще, за стеклянной дверью столовой, мелькала высокая незнакомая тень. Я прошел, ни на кого не глядя, и, стараясь не торопиться, достал из Толькиных штанов «аусвейс». Голоса были громкие, требовательные. Мама вышла из столовой, сдержанная, прямая, с красными пятнами на щеках, и сказала:

— Das ist unmöglich!¹

На глазах потрясенной няньки я выскочил в кухонное окно и через двор отца Кюпара вернулся к Тольке.

— Возьми. Я тебя провожу.

— Не надо.

Но я все-таки проводил его до Кохановского бульвара.

Все спали, когда я вернулся домой, только Пашка еще листал «Пещеру Лейхтвейса».

— Куда пропал, бес-дурак? А у нас тут события. Новый жилец.

— Как жилец?

— Очень просто. Обер-лейтенант Отто Шульц. И ничего, между прочим. Симпатичный парень.

Это был не обыск, а военный постой. Я кинулся за Толькой и догнал бы его — никогда в жизни я не бегал так быстро! Я догнал бы его, если бы он не завернул на Кузнецкую, к этой набитой опилками кукле. К этой кукле с локонами и синими глазами!

Мы встретились через пятнадцать лет — другими людьми, в другое время.

Измена

В студенческой столовой на Девичьем Поле я собирал грязную посуду и относил ее на кухню, где бабы с обтянутыми полотенцами животами окунали ее в лохань и ловко швыряли вдоль длинного накатанного стола. У них посуда почему-то не билась, а у меня билась. Одна из подавальщиц, Даша, была высокая, улыбающаяся, с серыми, немного навывкате, глазами, по которым сразу было видно, куда неудержимо летят ее мысли. Иногда к ней приходил любовник, смуглый солдат

¹ Это невозможно! (нем.).

с усиками, с черными, как дробины, пятнышками на скулах. Он сидел в кухне, улыбаясь, и она начинала нервно, мелко посмеиваться. Глаза у нее становились пьяными. Все она делала быстро, ловко.

Встречаясь с нею сто раз на день между столовой и кухней, я волновался, и посуда летела. Заведующий, медик Губер, перевел меня, как неисправимого, на кухню и поручил менее опасное дело. Я должен был резать хлеб на осьмушки и раздавать его обедающим, прислонив к столу деревянный лоток, на котором хлеб был уложен длинными ровными рядами.

Губер был доволен: хлеб не падал из моих рук, даже когда к Даше приходил ее солдат, которого я ненавидел.

Пашка достал два билета на «Ричарда III» с участием Южина-Сумбатова, который был не только знаменитым актером, но и драматургом, написавшим интересную пьесу «Старый закал». Но теперь он был, по видимому, стар и болен. Он часто становился спиной к зрителям, судорожно сжимая и разжимая пальцы, чтобы показать, что Кларенс все равно от него не уйдет. Когда кровать с зарезанными в Тауэре детьми поплыла по воздуху, он сердито засопел, может быть потому, что веревку заело и кровать долго не хотела уступить место другому видению. Но одна, тоже старая, актриса играла превосходно. Я рассердился на Пашку, который только в пятом акте сказал насмешливо:

— Дурак, это же Ермолова.

Потом он вспомнил, что Галя приехала из Пскова утром, когда я еще был в столовой. Я бросил «Ричарда III» и со всех ног побежал домой.

Я получил от Гали только одно письмо после того, как наши разбили Булак-Булаховича и снова заняли Псков,— мы не виделись больше года.

Она спала, когда я пришел из театра. Краешек знакомого платья торчал из чемодана, стоявшего на стуле в передней,— я знал все ее платья. Бесшумно сняв ботинки, я вошел и остановился у порога. В эту сырую и холодную комнату, которая была двумя ступенями ниже других, солнце приходило лишь на полчаса в день. Волнуясь, я простоял эти полчаса, глядя на Галю. Мне показалось, что она выросла и похудела. Волосы были перекинуты через плечо на приоткрывшуюся под знакомым халатиком грудь. Она дышала ровно, счастливо.

Первое время казалось странным, что мы могли почти не расставаться. В Пскове мы тоже виделись каждый день, но там все было иначе: прогулки на велосипедах за городом, потому что Галя стеснялась, что на велосипеде у нее развевается платье; свидания на Немецком кладбище, в Соборном саду, когда я ждал ее, волнуясь и представляя себе, что сегодня непременно произойдет то, что давно должно было произойти между нами. Ничего не происходило, потому что Галя считала, что тогда уж должны быть и дети.

...Все устроилось: я уговорил ее остаться у нас. Она поступила на службу — паек был маленький, но зато люди интересные, а это, с ее точки зрения, было важнее всего. Мне казалось, что эти интересные люди просто свалили на нее свою работу, но Галя спорила с жаром, и я соглашался. Вечерами мы уходили далеко, до самых деревень — вокруг Москвы были тогда деревни. Я читал Гале свои стихи, и она добросовестно старалась понять их, хотя это было почти невозможно. Что значило, например:

...Пролетят в глаза века
И на рельсы
Прольется жизнь молодого прозанка?

Почему «прозанка», если я еще ничего не написал в прозе? Мы спорили, и я доказывал, что даже если автор не может объяснить своего произведения, это еще ничего не значит, потому что возможно, что другие найдут в нем внутренний смысл, о котором он сам не имеет ни малейшего представления. В доказательство я повел Галю в Камерный театр на «Принцессу Брамбиллу» — великолепный спектакль, в котором было непонятно почти все, что происходило на сцене. Она сидела — хорошенькая, расстроенная, серьезная — и молчала.

Весной я кончил школу, и мы поступили в университет на философское отделение, потому что считали, что без философии почти невозможно сознательно жить, а жить бессознательно мы не хотели. Я скучал на лекциях, но почему-то запоминал их, а Галя записывала, даже составляла конспекты, но почему-то не запоминала. Студенческая столовая была далеко от 2-й Тверской-Ямской, где мы жили, и Галя провожала меня до Оружейного переулка. По Оружейному в восемь часов утра проезжал водовоз, я подружился с ним, и он стал возить меня на Девичье Поле.

...Буханка вкусно вздыхала, когда, обмакнув широкий блестящий нож в ведро, я делил ее крест-накрест, потом на осьмушки, студенты кидались к столам, в столовой было тепло, весело, шумно — и все это тоже была Галя, хотя прошло уже два, три, четыре часа с тех пор, как мы расстались на Оружейном. Больше я не думал о Даше, и мне было все равно, что ее солдат, придя с улицы, грел над дымящимися шами смуглые руки.

Плохо было только одно: с каждым днем мне все меньше правилась мысль, что любовь без детей безнравственна. Теоретически я с ней соглашался. Но практически она выразилась в том, что снова все стало падать из моих рук в студенческой столовой.

Мы стали ссориться на другой день, после того как условились, что будем только друзьями. Почему-то теперь мне все время хотелось обидеть Галю — и я даже сдерживался, чтобы не очень обидеть. Это было смешно, что она записывала лекции, составляла конспекты, а потом провалилась по психологии, хотя это был легкий экзамен, который я сдал, почти не готовясь. Да, в «Принцессе Брамбилле» многое непонятно, но именно это-то и ставит ее бесконечно выше, например, «Дяди Вани».

Но чем больше я сердился на Галю, тем меньше был способен не думать о ней. Может быть, следовало логически доказать ей, что в любви без детей нет ничего безнравственного, тем более, что Льву Толстому, когда он утверждал обратное, было, кажется, восемьдесят два года. Может быть, не надо было с таким безоруживающим уважением относиться к этой идее?

...В этот день Губер не пришел на работу — к счастью, потому что он уволил бы меня, хотя теперь по его распоряжению я таскал на кухню лишь небьющуюся, металлическую посуду. Смуглый солдат сидел на кухне, Даша носилась между столами. Она не замечала меня, а я не мог отвести глаз от ее лица с полными, всегда немного влажными губами, от ее крепких ног, проступавших под натягивающимся платьем.

Когда я вернулся домой, Галя сидела на кухне — почему-то с новыми туфлями в руках, — и в припадке мстительного вдохновения я рассказал ей о том, что произошло между мной и Дашей. Ничего не произошло и даже не могло произойти, потому что ошеломленная солдатом с дробинами Даша едва ли и видела меня или видела в неопределенном отдалении. Но я сказал, что вдруг обнял ее и она засмеялась. Да, засмеялась, как это ни странно! На замерзшем кухонном стекле она

поставила мне «4». Мне захотелось доказать ей, что я могу получить и пятерку, и тогда — я понизил голос — она глазами показала мне на деревянный сарай. В сарае пахло березой и еще чем-то, кожей от хвоста, лежавшего на земляном полу. Мы закрыли дверь на щеколду, а потом... Словом, ясно, черт побери, что было потом!

Почему-то у меня сильно дрожала одна нога и хотелось, чтобы Галя сразу поняла, что все это ложь. Но она не поняла. С туфлями в руках — потом я узнал, что у нее на работе нарочно устроили лотерею, чтобы она могла выиграть туфли, — она плавно прошла в холодную комнату и заперлась на ключ, не сказав мне ни слова.

Она не вышла к ужину. Я постучал. Она не открыла. Стихи, которые с упорством маньяка я писал каждый день, не получились, хотя в одной строфе что-то, кажется, было. Я стал читать и бросил книгу на первой странице.

Была полночь, когда я сунул под Галину дверь письмо, в котором не было и сотой доли того, что я неясно чувствовал — неясно, но сильно. Я позвал ее:

— Галя!

Она не ответила. Я вернулся и лег.

И с отчаянием, с раскаянием я стал думать о Гале. Я вспомнил, как она стеснялась есть у нас за столом, пока не поступила на службу, как в Камерном не сводила со сцены внимательных расстроенных глаз, как притворялась, что понимает мои стихи, как слушала мой туманный вздор о Ван-Гоге. Она, чистая, верная, удивляющаяся всему в Москве, — я смел сердиться на нее даже за это, — она любит меня. Вот что все это значит! Со своей смешной серьезностью, со своими накидочками и дорожками, со своим экзаменом, на котором она опять провалилась. — она в тысячу раз выше и лучше меня. И все равно — солгал я или нет. Раз я так солгал, значит мог так и сделать. Вот почему я теперь навсегда останусь с этой Дашей, с ее ногами, проступавшими под натянувшимся платьем, с ее грудью и пьяными глазами. Или с другой Дашей, которая поставит мне четыре с плюсом на замерзшем кухонном окне.

Я вскочил и снова подошел к Галиной двери: все ходит, ступая осторожно, бесшумно. Я позвал ее — шаги удалились, пропали. И я как будто увидел ее, прислушивающуюся, с поднятым нежным загорелым лицом, как в тот день, когда Емоция посадил меня на двенадцать часов и она искала меня в отвечивающих гимназических окнах.

Увы, это было не так! Я горько убедился в этом, когда в седьмом часу утра, не добившись ответа, влез со двора на крышу пристройки и увидел Галю сквозь грязные стекла: она ходила босиком, легко и быстро, с косами, перекинутыми на грудь, очень бледная, в неподпоясанном платье. Мое письмо лежало у порога — она даже не подняла его!

Краешек знакомого платья не торчал из чемодана, стоявшего на стуле в передней, когда я вернулся из столовой с форшмаком из очищенной — это было роскошью — картошки. Галя поблагодарила, но отказалась. Поезд отходил в шесть сорок — она торопилась. Пропуск в Псков теперь не нужен, а билет — подумаешь, она и в Москву приехала без билета!

— Не нужно провожать меня, — сказала она, не поднимая глаз, и ушла — милое, строгое, навсегда исчезнувшее виденье.



ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

★

ЦВЕТ ЛОЗЫ

Немало есть цветов на свете,
Их дарит нам весенний сад...
А кто из вас, друзья, заметил,
Как зацветает виноград?

С цветами пышными не схожий,
Так неприметно он цветет,
Что даже странно — разве может
В нем завязаться добрый плод?

Но соки щедрые, живые
Земля подымет, словно клад,
И гроздья дымчато-седые
На лозах осенью висят.

Прекрасен дар земли, горящий
Огнем, что солнце в нем зажгло,
Чтоб нам вином животворящим
Животворить сердца могло.

Чтоб солнце в чаше заиграло
У нас на праздничном столе,
Чтоб счастье людям даровало,
Труд утвердившим на земле.

Чтоб с каждым годом все чудесней,
Все веселее вновь и вновь
На всех устах звенели песни
Про труд, про дружбу, про любовь.

Кто видел, кто из вас заметил,
Как зацветает виноград?
Какой еще цветок на свете
Такой отрадою богат?

Перевел с украинского Николай Браун.



АЛЕКСАНДР КРОН

★

НА ХОДУ И НА ЯКОРЕ*

Стоим на якоре. Вот это тропики! Солнце лупит так, что трубач из духового оркестра держит свою трубу через влажную тряпку. Море ярко-голубое с муаровым отливом, как шелк на андреевской ленте. Сегодня флаг был поднят на кормовом штоке. Спущены на воду катера. Адмиралы ушли на эсминцы. Старпом обошел на шлюпке крейсер и установил, что окраска правого борта сильно пострадала, даже больше, чем на эсминцах. Эсминцы оказывают волне меньше сопротивления.

После обеда к нам в каюту заглянул Володя и радостно крикнул: «Есть «добр» на катер командующего до пятнадцати часов! Пошли?» Мы с А. П. мгновенно собрались, и через пять минут наш катер отвалил от трапа и понесся к «Выдержанному».

На «Выдержанном» красили верхнюю палубу, и в каюту командира нас провели через машину штормовыми ходами: тесными лазами и отвесными трапами. Командир Алексеев и представитель политуправления Польский встретили нас с тем особенным радушием, с каким встречают гостей на малых кораблях. Угощают хлебным квасом со льда — после путешествия по штормовым переходам это воплощенная мечта. Рассказывают: корабль сильно трепало пять дней, волна сломала трап, как ножом срезала медные бирки вместе с шурупами. На верхней палубе было на метр воды, даже мостик захлестывало.

Нас трепало один и тот же тайфун, но на эсминцах он был куда страшнее. Я слушаю рассказ командира и думаю: все это в общих чертах мне известно. Но именно в общих чертах. Почему-то у меня не хватило воображения, чтоб представить себе жизнь на эсминце в разгар двенадцатибалльного шторма. Я видел тайфун глазами человека с крейсера. Удивительно, до чего бытие (в данном случае водоизмещение) влияет на сознание! У недавно скончавшейся писательницы Белы Зорич есть хорошая комедия, где героиня говорит: «Я понимаю, что бытие определяет сознание. Но послушайте — не до такой же степени!» Вот именно. Как еще свойственно людям (в том числе и писателям) мерить на свой аршин и смотреть со своей колокольни!

Вернувшись на крейсер, попали на просмотр матросской самодеятельности. Оркестр (это уже третий), вокальный, танцевальный и акробатический коллективы. Руководит самодеятельностью энтузиаст этого дела военный дирижер Постный, человек, похожий на Чарли Чаплина. Результаты отличные. Квартет поет индонезийские песни, танцоры в комической матросской пляске могут поспорить с профессионалами из ансамбля. Акробаты творят чудеса. Присутствующий на просмотре

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

В. А. Фокин подзывает тренера акробатической группы старшего матроса Вилецкого, жмет ему руку, о чем-то расспрашивает. На парня приятно посмотреть — высокий, стройный, гармонично развитый, с открытым смелым лицом. Если корабль — визитная карточка страны, то такой матрос — визитная карточка корабля.

Часа за два до отбоя снялись с якорей и, не торопясь, двинулись к точке встречи с индонезийским эсминцем «Сарваджала». Лежим на баке, а по проволоке, натянутой между мачтой и гюйсштоком, бежит полная луна. В двадцать два часа передали по радиосети приказание: «Всем отдыхать в закрытом помещении».

* * *

Когда я проснулся, встреча с «Сарваджала» уже произошла. Мы в гостях, и о том, что еще вчера мы разгуливали по палубе в трусах и беретах, надо забыть. Занимаюсь своим туалетом вдвое дольше обычного и являюсь в кают-компанию в новеньком кителе с орденскими ленточками и при кортике. Вся пресса в сборе. Меня знакомят с двумя офицерами связи, перешедшими на борт «Сенявина» с «Сарваджала». Это первые индонезийцы, которых я вижу так близко. Они небольшого роста, но кажутся выше, оттого что тонки и хорошо сложены. Кожа темная, шоколадного оттенка, как у очень загорелых людей, гладкие черные волосы, блестящие черные глаза и очень белые зубы. Одеты в обычную «форму раз»: белые брюки и кителя с погонями. Мне они кажутся очень юными, похожими на подростков, я бы даже сказал — на девушек, если бы не боялся задеть их самолюбие воинов.

Еще одно знакомство: советский пресс-атташе Гамбаров, очень любезный человек. Он показывает свежие газеты с сообщением о предстоящем визите и информационный бюллетень, выпущенный нашим посольством. Шрифт латинский. В первой же строчке наталкиваюсь на таинственный знак: над словом «кара!» (корабль) стоит маленькая двойка, как будто слово возведено в квадрат. Это не так далеко от истины: в индонезийском языке множественное число достигается чаще всего простым удвоением. Корабль — капал. Корабли — капал-капал. Прошу прочесть несколько строк и вслушиваюсь в звуки незнакомого языка. В неяркую звуковую ткань вкраплены, как золотые блески, слова со звонкими окончаниями, похожие на удары маленького гонга. В индонезийском языке много таких слов. Оранг, кампунг, саронг, вайанг, бинтанг, пайонг, кучинг, Танджонг — какой набор колокольчиков! Это означает: человек, селение, юбка, театр, звезда, зонтик, кошка... А Танджонг, точнее Танджонг Приок, — название порта, куда мы идем.

После чая вся пресса отправляется в свою ложу. Утро раннее, и нежные краски рассвета еще не выгорели под палящими лучами. Все чаще попадают навстречу небольшие паровые суда, парусные шаланды, плавучие бамбуковые ловушки рыбаков. Из голубовато-розовой дымки выплывает Танджонг Приок, видны ярко раскрашенные сухие доки и белые складские строения.

Матросы и офицеры уже построены по большому сбору. Белые рубахи и кителя, синие воротники, золото нашивок, погон, кортиков и фанфар. Все это, а главное, ощущение стройности и единства, создает праздничное настроение, и на минуту я жалею, что на правах представителя печати не стою там, внизу, в одной из выстроившихся вдоль всего правого борта шеренг.

Взвилась два государственных флага. Наш и красно-белый индонезийский. Орудийные раскаты на фоне звонкой оркестровой меди — мы начинаем Салют Наций.

На висящем над шкафутом откидном мостике старый лоцман. Против ожидания не индонезиец, а немец. Интересно, из каких он немцев?

Приближаясь к берегу, замечаем дымки и слышим слабый гул — нам отвечает береговая батарея. По-видимому, это неизбежно: оставляет впечатление только собственный салют, а тот, что производится в твою честь, бывает еле слышен.

Берег плоский, город не виден. Подходим вплотную к пристани.

При первом знакомстве Танджонг Приок разочаровывает. Мы швартуемся против длиннейшего и угрюмейшего пакгауза с навесом во всю длину. В тени навеса стоят встречающие: взвод почетного караула в касках и военный оркестр. Солдаты в темно-зеленом, оркестр вроде нашего, только инструменты из белого металла и самая большая труба, та, что, как удав, обвивает тело музыканта, не такая широкогорлая. Суетятся полицейские, одетые на американский манер — белые лакированные шлемы, белые кобуры, пояса и гетры. Почти у всех на груди автоматы. Посередине набережной небольшая группа официальных лиц и, наконец, у самой воды несколько портовых рабочих, чтоб принять конец. И больше ни души. Мне объясняют: в связи с военным положением в стране собрания ограничены и по решению военных властей доступ на пристань закрыт.

Спущен парадный трап, и адмирал в полной парадной форме, в сопровождении группы офицеров спускается на пристань. Он здоровается с начальником штаба военно-морских сил Индонезии, с советским послом и начинает обход почетного караула. Церемония внушительная, но многократно описанная...

Сразу по окончании церемониала пресса разбивается на две части. Одна (в том числе Тимур и оба кинооператора) едет с командующим по официальным визитам. Другая вместе с большой группой матросов — в Богорский ботанический сад. Совместить то и другое невозможно. Утешаю себя мыслью, что, как ни приятно увидеть президента, я больше узнаю о нем, если поеду по стране.

На пристань въезжают восемь автобусов. На ветровых стеклах аккурратная надпись: «Для ВМФ СССР». Машины старенькие, не чета роскошным экскурсионным автобусам, возившим балтийцев из Копенгагена в Эльсинор. После неизбежной на первых порах неразберихи моряки высаживаются по машинам, и колонна трогается в таком порядке: впереди на мотороллере едет сержант полиции; в зубах у сержанта свисток, издающий звук пароходной сирены. За ним следует «джип» с офицером и уже затем автобусы в сопровождении автоматчиков-мотоциклистов, которые с угрожающим ревом гарцуют под нашими окнами.

Впрочем, на лицах полицейских написано столь очевидное веселое доброжелательство, что мы сразу понимаем: эскорт нужен не для того, чтоб ограничивать наши действия. Наоборот, его главная задача — обеспечивать колонне «зеленую улицу».

Не успели мы выехать за ворота пристани, как сделали первое открытие. Порт не так безлюден, как нам показалось вначале. Автобусы медленно катятся вдоль железной решетки, отделяющей пристань от доков, и мы видим: за решеткой на узенькой полоске земли собралась тысячная толпа. Нас провожает тысяча улыбок. Нам машут тысячи рук. Машут здесь не по-нашему — пальцы широко расставлены, ладонь вывернута наружу и слегка покачивается из стороны в сторону. Нам говорили, что этот жест имеет какое-то символическое значение, какое — мы не знаем, нам он понятен и так. Привычные к визуальной связи матросы мгновенно его осваивают и передают ответный семафор: сомкнутые, как на гербе Центросоюза, кисти рук и унаследованный от римских цезарей знак «на большой палец». Улыбки еще шире — сигналы разобраны. Таким образом, первая встреча с населением Джакарты проходит в атмосфере сердечности и взаимопонимания.

Выезжаем за ворота. Взыла сирена, десяток моторов издает львиное рычание, и мы трогаемся в путь со скоростью, с какой в Москве ездят только пожарные команды и кареты скорой помощи.

На Яве узкие дороги, левостороннее движение, несложные правила и лихие шоферы. Нам дается «зеленая улица» — не только не задерживают на перекрестках, но останавливается весь встречный поток. Огромные ярко окрашенные грузовики и крошечные автобусы, велорикши и повозки стоят, когда мимо них пронесется наша колонна, окруженная со всех сторон мотоциклистами.

Первые минуты сплошное мелькание. Мечутся цветковые пятна, вспыхивают блики...

Чуть было не написал слово «калейдоскоп». И, наверно, сошло бы, а между тем оно тут совершенно не к месту. Калейдоскоп довольно унылая игрушка. Попытаюсь найти другое сравнение.

В 1945 году, через несколько дней после освобождения Дальнего, группа советских офицеров, я в том числе, зашла в китайскую лавку. Мы не собирались ничего покупать, но молодые веселые продавцы, расшалившись, стали обрушивать с полок, метать на прилавки и разворачивать десятки узких рулонов разноцветных шелков. Если эту картину осветить, как на киносъёмке, мощными юпитерами и рассматривать на скорости в шестьдесят километров в час, то можно получить некоторое представление о первых минутах нашего путешествия по Яве.

Я взял с собой «ФЭД». А. П. — узкоплёночную кинокамеру. Но снимать не хочется. Если б еще была цветная пленка...

Я не очень люблю цветную фотографию. Не знаю, что будет дальше, но до сих пор я мирюсь с ней только в Крыму. Нашу северную природу трехцветка огрубляет до неузнаваемости. На цветном фото я кажусь себе раскрашенным. Вероятно, косность сознания: привык считать себя черно-белым. Но Ява непостижима, непередаваема вне цвета и света. На моих черно-белых фотографиях она будет выглядеть, как декорации Сарьяна на экране плохого телевизора. Даже земля здесь не землистого цвета, а красновато-коричневого.

Глаза привыкают, и я уже различаю предметы. Мы несемся по узкому шоссе, обсаженному цветущими деревьями. Справа канал с водой такого цвета, как будто в ней моют акварельные кисти. Деревья с листьями вроде пашей акации, но размером с березу, густо усыпанные ярко-красными цветами. Другие деревья цветут желтым и лиловым. Представьте себе: букет, стоящий у нас в ноябре рублей полтора, увеличен в тысячу раз и небрежно воткнут в землю у обочины...

Слева тянется череда легких построек на сваях и без свай, в окружении долговязых кокосовых пальм и выглядящих рядом с ними гигантскими сорняками банановых деревьев. Мелькают женщины в пестрых юбках, мужчины в коротких штанах, женщины в длинных штанах, мужчины в коротких юбках, голенастые велорикши везут в своих хрупких колясочках целые семьи, кто-то едет один, но зато везет целую башню из бамбуковых стульев. Идет беременная женщина с притороченным сбоку младенцем, катит велосипедист с мальчиком лет двух или трех, ребенок сидит сзади отца, крепко уцепившись за сиденье руками и ногами. Люди в огромных конических шляпах из пальмового листа, в темно-коричневых фесках, в белых тюрбанах и люди с непокрытой головой. Люди, несущие на голове корзины, люди, несущие корзины на коромысле, люди, несущие на коромысле бутылки, бидоны и целые предприятия (лавочка, харчевня, цирюльня, мастерская могут мгновенно сняться с места и двинуться в путь на плече хозяина). Люди, толкающие перед собой тележки и коляски с детьми, с утварью, с овощами и фруктами.

Мороженщики и лоточники всех видов, толпа продавцов, среди которых теряются покупатели. И все эти люди, не исключая сидящих во встречаемых машинах, пlyingущих в шаландах, стирающих белье и купающихся в мутной воде канала,— улыбаются и приветственно машут.

По мере приближения к Джакарте все меньше хижин, все чаще встречаются дома вроде тех, что я видел в окрестностях Копенгагена и на Карафуте, все гуще реклама. Реклама везде — на бортах грузовиков и колясках велорикш, на придорожных щитах, на стенах, на трамвайных вагонах. Бешеная интенсивность цвета, исступленная, пылающая эмаль, рядом с которой тускнеет даже синева экваториального неба. Знакомые, намозолившие глаза всему миру шрифты: Шелл, Шевроле, Стандарт Ойл, Агфа, Нивеа, Батя, Филиппс... А вот кадр для цветного фильма: крохотная коричневая девчушка в ярко-лиловом платье держит в руках стаканчик толстого стекла и с упоением ест неправдоподобно оранжевое мороженое. Солнечный луч, ударяя в стаканчик, превращает его в фонарик, осыпающий кожу и платье радужными бликами. Эта девочка, кажется, единственная, кто не машет нам...

Каково расстояние между Танджонг Приоком и Джакартой, никто не знает. Все говорят разное.

Я прочел десятка полтора книг и брошюр, написанных в разные годы, и не помню двух, где авторы отвечали бы на этот вопрос одинаково. Кто говорит — шесть километров, кто — восемь, кто — все двенадцать. Мне показалось, что не меньше пятнадцати. Теперь, когда порт и город фактически слились, разобраться стало еще труднее, все зависит от того, откуда вести счет.

Джакарта огромна и состоит из самых разнородных лоскутьев: мы проносимся мимо колоссальной городской свалки; горы жестяных обрезков серебрятся, как рыба чешуя, чуть подальше роятся полуголые люди, клубится черный дым — что-то жгут; и тут же рядом блистательный Кемайоран — один из крупнейших аэродромов мира, и мы видим идущий на посадку реактивный лайнер. Мелькают лачуги, заболоченные террасы рисовых полей, витрины магазинов, грязноватые набережные каналов и чудесные тенистые парки, железобетонная мечеть в стиле модерн и общественные здания в духе доброй старины, большие пустыри и шумные базары, прячущиеся за живой изгородью виллы посольского района и светлые университетские корпуса. На границах пустырей столбы с характерными для сегодняшней Индонезии надписями: здесь будет то-то и то-то. Такая надпись говорит о многом. В Дании легче увидеть надпись: здесь было то-то и то-то...

В Дании все было иначе. В каждом автобусе рядом с шофером сидел водитель идеологический — попросту говоря, гид туристической компании. Нашего гида звали Ольгерд Христианович. Насколько я пснял, он не был профессиональным экскурсоводом. В молодости он прожил несколько лет на юге России и научился свободно, хоть и не совсем правильно говорить по-русски. Это был совсем еще крепкий, рослый мужчина с отличной выправкой, в спортивном пиджаке, гольфах и шерстяных чулках. Розовые щеки, короткие серебряные усики и победительный взор человека, любящего ставить себя в образец. Он сразу изложил свою анкету: шестьдесят два года, убежденный холостяк (при этом он зачем-то согнул в локте левую руку и похлопал себя по бицепсу), род занятий — земледелец, точнее фермер, а по-вашему кулак: да-с, представьте, держу батрака и на лето нанимаю еще двух мальчишек. Беспартийный, голову сую за... может быть, за социал-демократов, а может быть, и нет, это мой секрет...

Трудно сказать, что толкнуло его поехать с нами — желание подра-

ботать или азарт проповедника, но всю дорогу он пытался убедить ехавших в автобусе матросов и журналистов, что современный капитализм отнюдь не таков, каким его изображают коммунисты: то, что писали о нем Маркс и Энгельс, возможно, и было справедливо для своего времени, теперь же капитализм мало чем отличается от социализма. Главным коньком Ольгерда Христиановича была датская налоговая система. Если верить ему, эта система существовала главным образом для того, чтоб уравнивать доходы рабочих и предпринимателей. Достоинства системы он иллюстрировал на собственном бюджете, и было странно видеть человека, который так счастлив, что его обирают. Строго говоря, он занимался не своим делом, но наши матросы, ребята молодые, не видевшие даже обыкновенного кулака, с восторгом ухватились за возможность попробовать свои молодые зубы на матером противнике. Возникла любопытная перепалка, сопровождавшаяся такими взрывами хохота, что шофер — единственный человек, не принимавший в ней участия, — только беспомощно оглядывался, пытаясь понять, отчего их так разбирает, этих русских...

По дороге в древнюю резиденцию датских королей Ольгерд Христианович растерял значительную часть своего апломба. Вчерашние колхозники подвергли его перекрестному допросу и установили, что извечная пропасть между хозяином и батраком зияет так же, как сто лет назад.

На обратном пути Ольгерд Христианович был молчалив и уже не пытался нас распропагандировать. Но для нас встреча с ярым защитником капиталистического уклада была в познавательном отношении небесполезна. В частности, она позволила проверить одно давнее наблюдение: капитализм стал застенчив. Ему обязательно надо во что-то рядиться. Он уже не просто капитализм, а народный капитализм, без пяти минут социализм. Еще застенчивее (на словах) современный колониализм. Времена, когда можно было вслух рассуждать а-ля Митрич, давно прошли.

В Индонезии нас не обременяют комментариями. Основной принцип: смотрите сами...

С нами нет экскурсовода, и я не очень об этом жалею. Рядом со мной сидит наш военный переводчик, милый человек, но флегма. В крайнем случае, можно обратиться к нему, а он в свою очередь спросит шофера. Конечно, способ этот несовершенен. Пока переводчик раскачается спросить, мы уже проскакиваем мимо того, что вызвало вопрос; шофер не сразу понимает и начинает жестикулировать — поэтому даже из чувства самосохранения мы стараемся не обременять его вопросами.

После плоской Джакарты дорога идет в гору. При выезде из города мы делаем первую остановку у service station — надо заправиться и починить одну из машин. Вылезаем, чтоб размяться, и сразу смешиваемся с толпой. Тут и рабочие, и торговцы, и бечаки (велорикши), и те самые люди, что носят на плечах целые предприятия: бродячие цирюльники, портные, рестораны и владельцы крохотных мастерских, к которым как нельзя точнее подходит наш старый нэповский термин — кустарь-одиночка без мотора. Действительно, моторов никаких. К их услугам рычаг первого и второго рода, клин, винт, ворот, блок и наклонная плоскость. Точка. В машиноведении восемнадцатого века все это называлось простейшими машинами. Современная наука отказала и в этом скромном звании.

На каждого взрослого по крайней мере трое ребятшек, полуголых, черномазых, белозубых, смешливых и общительных. Сперва мы только разглядываем друг друга — открыто и дружелюбно, — затем начинается разговор.

Индонезия — большая страна. Ее населяют десятки народностей, различающихся по языку и этническому типу. Большинство окруживших нас людей небольшого роста, стройные, тонкокостные, с длинными ногами и несколько удлинённой талией, что у военных подчеркивается манерой носить ремень очень низко. Изредка попадает более тяжеловесный или, наоборот, более аскетический тип. Но в основном толпа состоит из изящных, подвижных, моложавых на вид людей. Первое ощущение такое, как будто приехал в «Артек».

Наши офицеры стараются держаться поближе к переводчику, что до матросов, то они отлично справляются сами. Если матрос знает пять иностранных слов, он уже не пропадет, с десятью ему сам черт не брат, а с пятнадцатью он уже рискует касаться отвлеченных понятий. К тому же все вооружены разговорниками. Разговорник составлен довольно бестолково и рассчитан скорее на делегата мирной конференции, чем на получившего увольнение матроса, — много лишнего, а самых простых слов не доищешься. Однако коллективными усилиями в решающий момент нужное слово всегда находится.

Я стою рядом с заправочной колонкой. Колонка сверкает стеклом, латунью, пунцовой эмалью. Рядом огромный гляцевитый стенд с полуметровыми буквами: Шелл. Где я видел точно такую колонку? Ну конечно же, в Копенгагене. Только шлангом там орудовал плотный белокурый викинг в отутуженной униформе со множеством карманов, а здесь — худой, опаленный солнцем индонезиец, одетый в пропитанное машинным маслом тряпье. Сзади колонки я вижу нечто вроде будки, оттуда робко выглядывает изможденного вида женщина с грудным ребенком на руках, второй держится за подол ее саронга, третий и четвертый прячутся за углом. Будь на них какие-нибудь штанишки, они давно юркнули бы в толпу, но мать против того, чтобы трепать в будни парадную одежду, и они принуждены разглядывать нас издали. При этом они жуют ананасы, но я не сомневаюсь, что они предпочли бы кашу с маслом.

Понатужившись, я составляю длинную индонезийскую фразу. Если ее сразу же перевести обратно на русский язык, подстрочник выглядел бы примерно так: почему Шелл, Индонезия нефть Суматра много-много, где нефть ваша, товарищ?

Заправщик бросает на меня быстрый, испытующий взгляд. Он отлично понял вопрос, но соображает, стоит ли отвечать. И вдруг, сверкнув зубами, делает великолепный жест, который увидишь только в южном портовом городе, жест, похожий на зигзаг молнии, имеющий в Баку, Одессе, Марселе, Неаполе свои оттенки, но один и тот же смысл: «Я знаю?», «Он мне говорит!», «Э, спроси что-нибудь полегче»...

В самом деле, на этот вопрос нелегко ответить даже министру. Что же требовать от бедного заправщика?

Разглядывая рекламные щиты, делаю неожиданное открытие. Все то, что из окна мчащегося по шоссе автобуса казалось мне единым цветовым потоком, при остановке распадается на две несливающихся цветовые гаммы. Одна — это цвета самой Явы, нежные красновато-коричневые и темно-зеленые тона земли и листвы, смягченная влажной дымкой синева неба и золото солнечных бликов; цвета, многократно повторяющиеся в национальном узоре. Другая — это пылающая эмаль колонок и товарных фургонов, кричащая пестрота торговой рекламы, не знающая оттенков яркость фирменных проспектов и чемоданных наклеек, где все выглядит более тропическим, чем сами тропики, экзотика копенгагенского рынка, эстетика магазина колониальных товаров на Ко-зихе.

Такое открытие достаточно сделать один раз. Теперь уже ничто не объединит эти два потока в моем сознании, самая быстрая езда не вернет иллюзии...

Здоровые автобусы заправлены, но больной по-прежнему стоит с поднятым капотом. Около него целый консилиум — механики из *service station* и мотористы с «Сенявина». Вокруг сплошное кольцо мальчишек. Индонезийские мальчишки страстные любители и знатоки машин и в этом отношении похожи на всех остальных мальчишек земного шара. Те, которым не удалось пробиться к автобусу, осаждают матросов, имеющих фотоаппараты. В оптике ребята тоже понимают, наши «ФЭДы» и «Зоркие» им очень нравятся. Шелкают затворы. Девяносто пять процентов снимков — групповые. Гости и хозяева стоят обнявшись, матросы в фесках, индонезийцы в бескозырках. Владелец аппарата, щелкнув затвором, передает аппарат товарищу, а сам бежит занимать его место в группе. Является полиция. Запрещено? Нет, все в порядке, просто полиция тоже любит сниматься.

Солнце шпарит всюю. Боюсь, что будет много передержек.

Наконец мотор исправлен. Мы рассаживаемся по машинам и, провозжаемые новыми друзьями, выезжаем на шоссе. Курс на Богор.

В автобусе идет обмен первыми впечатлениями.

— Н-да, прокорми-ка этакую ораву.

— Но хороши, чертенята...

(Это о детях.)

— Бедновато живут.

— А нищих не видать.

— Гордый народ...

Очень верное наблюдение. Забегая вперед, скажу, что впоследствии, проходя по торговым улицам, мы видели нищих, но немного и почти всегда это были женщины с маленькими детьми. Характерной для многих городов Востока толпы профессиональных нищих здесь не увидишь. Индонезиец, как бы беден он ни был, не любит протягивать руку, а старается хоть что-то заработать, безработный откроет дверцу машины, сбегает за газетой, приведет бечака, но не будет просить. Держатся люди из народа с большим достоинством, без приниженности и без чопорности. В этом сказывается не только характер, но и независимый дух национальной революции, гордость народа, завоевавшего суверенные права.

Вероятно, нас тоже обсуждали. Что именно при этом говорилось — мы слышать не могли, но, несомненно, полчаса, проведенные в обществе советских моряков, оставили глубокий след и вызвали «цепную реакцию» большой силы.

Как-никак мы белые. Не то чтоб в Индонезии не любили белых, но некоторая мнительность все же существует, и нельзя сказать, чтоб она была лишена всякого основания. За триста пятьдесят лет голландского владычества в душе народа накопел осадок, который растворяется не сразу. Индонезиец очень чуток к нюансам, достаточно ему заподозрить скрытое неуважение, и он замкнется. И вот он видит триста молодых людей, для которых уважать другие народы так же естественно, как уважать самих себя. Триста молодых людей в военной форме, в ботинках на кожаной подониве, с золотыми знаками различия мгновенно нашли общий язык с босоногой, опаленной солнцем толпой. Это разносится по городу немногим медленнее, чем радиоволны.

Я знаю, есть на свете люди (есть они, конечно, и в Индонезии), которые на всякое естественное, как дыхание, проявление советского характера реагируют одним и тем же способом: кривят губы в сардонической усмешке и произносят сакраментальное слово «пропаганда».

Пропаганда пропаганде рознь.

В чужой монастырь со своим уставом не ходят; элементарное чувство такта подсказывает гостям воздерживаться от непрошеной критики чужих порядков и навязчивого восхваления своих. Мы считаем зазорным делом всякую фальсификацию или подтасовку фактов. Но нельзя даже во имя высшей объективности перестать быть тем, что ты есть. Любая честная информация несет в себе зерна пропаганды. И эта пропаганда бывает самой неотразимой именно в силу непреднамеренности. Всякий имеющий глаза и уши видит, слышит и — таково уж свойство человеческого мозга — делает выводы.

Теоретически можно себе представить такую картину: начальство выстраивает на юте три сотни оголтелых расистов и, потрясая перед их носами волосатыми кулачищами, предписывает ангельское поведение на берегу. Допустим, угрозы подействовали. Приказ выполнен, никто не сорвался, не напился... И все-таки это никого не обманет. Нельзя сретировать нечаянную улыбку при виде крошечного гражданина свободной Индонезии, нельзя обмануть инстинкт матери. В том, что касается ее ребенка, она разбирается не хуже, чем датский шкипер в швартовке.

До Богора примерно шестьдесят километров. Мы едем мимо рисовых полей и плантаций. Придорожная полоса почти сплошь застроена. Постройки легкие, сквозные, оградой служат бамбуковые жерди. Почти к каждому дому пристроено нечто вроде крытого прилавка. На нем стоят несколько стеклянных банок и лежат гроздь бананов. Вероятно, это лавочки, но не видно ни покупателей, ни продавцов.

Вдоль обочин ползут по-пластунски люди в защитных комбинезонах с пучком травы на голове. Вооружены они палками. Инструктор в шлеме, обернутом камуфляжной сеткой, в руках у него настоящая винтовка. Он отдает нам честь.

Чем ближе к Богору, тем больше зданий голландского типа, лишь слегка приспособленных к здешнему климату. Богор при голландцах назывался Бейтензорг, что значит «Без забот». Бейтензорг был Версалем, Потсдамом, Царским Селом тропической Голландии, резиденцией вице-короля и его ближайшего окружения. С 1945 года дворец — резиденция президента республики. Бейтензорг стал Богором и перестал быть «сеттльментом».

Жемчужину Богора — всемирно известный ботанический сад — мы почти не видели. На летучем совещании было решено: поскольку мы непоправимо вышли из графика, ехать дальше — в Чембулан, а сад и дворец осмотреть на обратном пути.

По территории сада мы ехали очень медленно. Даже из окна автобуса он великолепен. Мои спутники покачивают головами, кто-то почтительно произносит: сила! Действительно, сила. Жить среди этой силы не хочется, но зрелище грандиозное. Деревья, как и люди, хороши, когда они на своем месте. Меня тошнит от вида ресторанных пальм и московских фикусов, но аллея рстанговых пальм и фикусов-варингинов в Богорском саду прекрасны. Особенно хороши варингины: свисающие с ветвей воздушные корни превращают дерево в огромный шатер. Внутри шатра пронизанный солнцем полумрак, как в католическом соборе в ясный день; лучи пробиваются сквозь редкую листву, как сквозь цветные витражи. Мы проехали мимо огромных водоемов с цветущим лотосом и листьями гигантской кувшинки и, мельком взглянув на белый дворец, прибавили ходу. Дворец очень красив. Белизна вообще нарядна, а под экваториальным солнцем она сверкает ярче золота, золото же приобретает угрюмый оттенок бронзы.

Чембулан расположен еще выше Богора. Это первоклассный курорт, созданный в свое время для того, чтоб голландские купцы и чиновники могли отдохнуть в своей среде от жары и хлопот. Здесь есть все необходимое для отдыха: гостиница, ресторан и лучший на Яве бассейн для купания. Бассейн огромен, чист, оборудован вышками и трамплинами для прыжков. Дно бассейна выложено каким-то отсвечивающим материалом, и поверхность воды отливает перламутром. Вокруг бассейна пальмы, а под ними столики, кресла, шезлонги. За столиками считанные люди — индонезийцы и европейцы — тянут через соломинки что-то очень желтое или очень красное. На дне бокалов искрится лед — значит, к тому же очень холодное. Пустовато. Как видно, открыть народу доступ в Чембулан и сделать Чембулан доступным — это две разные проблемы, и вторая далеко еще не решена. Бассейн так велик и столиков кругом так много, что даже триста моряков не создают тесноты.

Рассаживаемся в тени и первые минуты чувствуем себя неловко. Между столиками снуют официанты — пожилые, почтенного вида люди в белых кителях и коричневых фесках. Сейчас они подойдут и спросят: «Апа янг судара ингинкан?» Это значит: «Что вы желаете»? А у всех нас, вместе взятых, нечем заплатить даже за стакан чистой воды, свои рупии мы получим не раньше завтрашнего дня. А между прочим на кораблях давно пообедали, и пить хочется до судорог.

Но мы недаром в гостях у военно-морских сил Индонезии. Моряки во всем мире — народ гостеприимный. Оказывается, наши хозяева обо всем позаботились, и каждый из нас получает по бутылке чего-то очень красного или очень желтого и по увесистому пакету. В пакетах хлеб, бананы и еще какие-то маленькие плоды с вырезанной косточкой, издающие резкий одеколонный запах. Затем нечто мучнистое, обернутое в банановые листья. И еще что-то совсем непонятное, в основном состоящее из риса и перца.

Не прошло и десяти минут, как наши морячки завладели обществом. У бензиновой колонки и в ресторане модного курорта они остаются сами собой. Нельзя сказать, что они застенчивы, — матрос не так часто попадает на берег, чтобы попусту терять время. Он смел без дерзости и предпримчив без развязности. Я вижу, что трое матросов заговорили с хорошенькой, нарядно одетой ньоньей¹. Меня это беспокоит — нас предупреждали, что в Индонезии не принято обращаться к замужней женщине иначе как через мужа. Муж, на вид коммерсант или чиновник, сперва немножко хмурится, но затем, убедившись в чистоте намерений и деликатности наших матросов, сам вступает в оживленную беседу, листает разговорник, хохочет, жестикулирует... Весь персонал ресторана высыпал наружу посмотреть, как прыгают с вышки советские матросы. Не знаю, относится ли полуторное сальто к разряду пропагандистских трюков, но восторгам нет границ. В разгар купания к нашим офицерам подходят несколько полицейских и что-то оживленно говорят, показывая руками на бассейн. Я настораживаюсь: что-нибудь не так? Нет, все в порядке. Полицейские тоже любят купаться и просят нас посторожить их автомамы. Как видно, в этой стране нам очень доверяют.

Уходя из ресторана, триста посетителей не оставили на чай и тридцати центов, но провожали нас с почетом, которого удостаиваются немногие. Весь персонал выстроился у входа, как «по большому сбору». Радио-ла играла «Полюшко-поле». Не хватало только салюта.

Начальника нашего эскорта зовут Кади. Он свободно говорит по-английски. От него мы узнаем, чем наши матросы особенно пленили персо-

¹ Ньонья — обращение к замужней женщине, она — к девушке (инд.).

нал ресторана: аккуратностью. Действительно, после матросского привала не осталось никаких следов, ни клочка бумаги, ни банановой корки. Тот же Кади сказал, что, если советские моряки всегда так рыцарски ведут себя с женщинами, у них в Индонезии никогда не будет недоразумений. Индонезийцы в этом отношении весьма щепетильны. Недавно в Джакарте был с визитом американский крейсер, гостей принимали очень тепло, но когда офицеры крейсера задумали устроить бал и пригласить на него двести молодых женщин без сопровождающих, это произвело дурное впечатление, омрачило визит и чуть не вызвало дипломатических осложнений.

Перед посадкой в автобусы летучее совещание: возвращаться в Богор или ехать дальше в горы, до Пунчакского перевала? Я всей душой за Пунчак. Бог с ними, с садом и музеем, чтоб осмотреть их как следует, нужно время, а у нас его нет. И если выбирать между музейной экспозицией и природой, пусть не совсем девственной,— я за природу. Мы проехали уже около ста километров, и до сих пор у меня ощущение, как будто мы не выехали из города.

К счастью, так думаю не я один. Автобусы трогаются, и вскоре мы выползаем из щели на простор. Перед нами открывается вид на далекие горные цепи. Дорога вьется и петляет, моторы рычат и греются. Наконец мы взлетаем на перевал, первый в гряде, отделяющей побережье от долины, где лежит Бандунг. Оставляем автобусы на шоссе, карабкаемся по каменистой тропе еще метров сто и останавливаемся в немом восхищении.

Перед нами широкая ложбина, покрытая свежей, как после дождя, зеленью, леса цветут, кроны деревьев покрыты шапками цветной пены. Небо чуть-чуть хмурится, но солнце светит ярко, в итоге образуется какая-то свержающая муть. Воздух чист, слабый ветерок осторожно сдувает горячий пот с наших распаренных и обожженных лиц. Вот она наконец, дождями теплыми омытая, похожая на свои песни и сказки Индонезия, без целлофановой обертки, отмытая от рекламного глянца.

Впрочем, я не совсем точен. Достаточно повернуть голову, чтобы наткнуться глазом на желто-красный гибрид пагоды и духана. Над входом в этот храм написано: «соса сола». Хуже всего то, что в радиусе тридцати метров всё — стволы деревьев, мясистые листья огромных агаз и даже распластанные на земле, похожие на птичьи когти корни — изрезано ножами, тысячи туристов оставили свои непрошенные автографы на всех языках. Кроме русского, кажется...

Целый час мы отдыхаем. Все разбрелись кто куда. Не хочется ни разговаривать, ни фотографировать — только смотреть и впитывать. Деревья, издали напоминающие сирень, вблизи выглядят совсем по-другому: цветы крупнее, вроде душистого горошка, и оттенок другой, нет того молочного отлива, который есть даже у самой темной сирени.

Кади показывает рукой на перевал. Там Бандунг — его родина. Бандунг считается самым красивым городом на Яве, а женщины Бандунга — самыми красивыми в Индонезии. Так говорит Кади, и я ему верю. Для меня Бандунг тоже не звук пустой. Там зародился «дух Бандунга», чья мировая слава опередила даже славу местных красавиц. Там в августе 1930 года происходил знаменитый процесс, на котором обвиняемый Сукарно произнес одну из самых замечательных обвинительных речей, какие знает история буржуазного суда. Он не защищался, а обвинял. Через пятнадцать лет суд истории своим приговором подтвердил справедливость его обвинений. Индонезия стала свободной страной, а подсудимый Сукарно — народным героем.

До Бандунга рукой подать, но надо думать не о Бандунге и даже не

о Богоре, а о том, как пспасть вовремя на корабль. Все писатели и журналисты должны быть на приеме у начальника штаба военно-морских сил коммодора Мартадината. Смотрим на часы и ахаем. На корабль мы тоже не поспеваем. Единственный выход — ехать прямо на прием.

Еще одно — последнее — летучее совещание. Производим перегруппировку: те, кому нужно на прием, пересаживаются в головной автобус. Взыла полицейская сирена, и мы понеслись.

Незачем описывать обратный путь. Вскоре мы ехали в полной темноте, прорезываемой лишь лучами наших фар и мерцающими огоньками придорожных строений. Ночь подкралась к нам незаметно и настигла одним прыжком. Джакарта тоже слабо освещена, улицы напоминают темные парковые аллеи со светлячками — это бечаки, ларьки и киоски, крохотные лавчонки и мастерские; ночь наступила, но рабочий день не кончился, и все зажгли свой огонек: кто коптилку, кто свечку, кто побогаче — карбидный фонарик.

Покружив по городу, останавливаемся у ворот правительственного здания. Вооруженная охрана пропускает автобус во двор, и мы, описав полукруг (посредине двора стоянка легковых машин), лихо подкапываем к освещенному подъезду. Вылезаем и ужасаемся. Все восемь автобусов тут как тут. Мы переглядываемся. У всех одна и та же мысль: братцы, скандал! Вместо десятка приглашенных офицеров ворвался целый батальон.

Полиции как на грех нет, осталась за воротами...

Мы шипим на переводчика, переводчик, позабыв от растерянности половину слов, машет шоферу, шофер пожимает плечами и дает газ. Автобус отъезжает, за ним нерешительно трогаются остальные. Мы облегченно вздыхаем — и слишком рано. Первый автобус опять остановился — на этот раз у ворот, — и теперь против парадного подъезда стоит последний. Матросы, вероятно, недоумевают. Несколько человек вылезли, чтоб размяться. А из подъезда уже высовываются чьи-то любопытные физиономии...

Положение становится критическим. Мы бежим к головному автобусу, затем обратно, к замыкающему, и кое-как выпихиваем всю колонну за ворота. Автоматчики у ворот крайне удивлены, но вопросов не задают. Как видно, в этой стране мы пользуемся большим доверием.

Возвращаемся к подъезду. По дороге обсуждаем, приехали ли наши из Танджонг Приока и, если нет, удобно ли нам явиться раньше. А. П. считает, что неудобно. Я тоже считаю, что неудобно, но мы почему-то спорим. В это время кто-то говорит: «Братцы, посмотрите-ка...»

Мы оглядываемся — и холодеем. Ворота открыты, и в них медленно вползает вереница автобусов. Сквозь стекла головной машины я ясно различаю матросские воротники...

— Опять?..

Нет, это не они. Приехали на трех автобусах приглашенные из Танджонг Приока. В головном автобусе едет наш корабельный оркестр.

Прежде чем замешаться в толпу, мы даем друг другу страшную клятву молчать. Вероятно, мы ее сдержали, ибо все обошлось благополучно...

Входим в широкий вестибюль. Слева гардероб, вернее фуражкохранилище. Матросы в беретах и длинных черных галстуках отбирают фуражку и дают взамен бумажный квадратик с номером. Второй такой квадратик засовывается под эмблему. На обратном пути мы найдем свои фуражки лежащими на длинных столах и подобранными по порядку номеров. Удобно.

Правую часть вестибюля занимает национальный оркестр — гамелан. Около двадцати музыкантов — мужчин и женщин — расположилось на ковре со своими инструментами. Здесь есть и духовые и струнные, но основу гамелана составляют ударные — подобранные по тону бронзовые сосуды разной величины, издающие неяркий, «малиновый» колокольный гул, заставляющий вспоминать о звучащих, как гонг, окончаниях индонезийских слов: анг, онг, инг, унг...

Раскрытые настежь двери ведут в большой зал, где уже собралось больше ста человек. Гостей встречают адмирал Фокин и коммодор Мартадина — плотный черносусый моряк в простом белом кителе с черными суконными погонами. Индонезийские офицеры одеты очень скромно, но выглядят элегантно. Моряки в белом, армейцы в сером и зеленом. Их жены в национальной одежде. Национальные костюмы — кебайя и саронг — довольно однообразны по покрою, но рисунок и расцветка тканей поразительно разнообразны и отличаются тонким вкусом. Много дипломатов и военных атташе в раззолоченных мундирах. Выделяются своим экзотическим нарядом индийские офицеры в коротких, сшитых на манер жилета, белых мундирах с золотым аксельбантом и нашитой у предплечья этикеткой «India».

Под потолком медленно вращаются огромные фены, трепещут десятки вееров, маленькие старички в коричневых фесках и мягкой обуви разносят прохладительное. Другие предлагают закуску — жареные бананы, маленькие бутерброды — и даже целые блюда: рыбу с острым соусом, жареную печенку, шашлык. В каждое такое блюдо воткнута палочка величиной со спичку. Блюдо целиком отправляется в рот, а спичка выбрасывается. Удобно. Все это пестрое собрание освещено, помимо люстр, десятками разноцветных фонариков. Первые минуты в глазах рябит, как утром в автобусе. Затем глаза привыкают...

Все приемы, где бы они ни происходили, имеют много сходного. Об этом позаботился всемогущий Протокол. Люди стоят группами, образуя сложные, но не стойкие молекулы. Время от времени какой-нибудь атом отрывается и бродит, пока его не проглотит другая молекула. Химическому средству весьма способствует знание иностранных языков. Тимур прилично говорит по-английски, поэтому чувствует себя как рыба в воде. Я с грехом пополам читаю по-французски, но разговаривать без крайности не решаюсь. Впрочем, на каждом приеме есть иностранцы, говорящие по-русски, и много добровольных переводчиков.

Тимур знакомит меня с Ольгой Четкиной. Четкину я знал по ее корреспонденциям в «Правде». Она живет в Индонезии уже четыре года и пользуется всеобщим уважением. Если в ближайшее время появится на русском языке хорошая книга об Индонезии, вероятнее всего, что ее автором будет Ольга Ивановна.

Четкина знакомит нас с председателем индонезийского парламента доктором Сартоно. Это невысокий, очень подвижный человек, у него веселые глаза, быстрая реакция, он красноречив и остроумен. Свою любезность он простирает до того, что делает комплимент моему французскому произношению, вероятно ужасному. Сам он говорит по-французски, как парижанин, и чем-то похож на крупного адвоката. Он и есть адвокат. В книге Сукарно «Индонезия обвиняет» есть фотография тридцатилетней давности. Снимок изображает участников Бандунгского процесса. В первом ряду подсудимые, среди них инженер Сукарно. Во втором — защитники. Один из них доктор Сартоно.

К нашей группе подходит стройный человек с очень блестящими глазами. Он молод, но глаза и вся повадка свидетельствуют о зрелой воле. Серьезен, собран, улыбается редко, но если уж улыбнулся, то не вообще,

как балерина, а именно тебе. Он недурно говорит по-русски. Это Д. Н. Айдит, генеральный секретарь Коммунистической партии Индонезии, насчитывающей в своих рядах свыше полутора миллионов человек, организатор и теоретик, автор большого труда по истории революционного движения.

Так мы бродим час или два. Перед окончанием приема Мартадината и В. А. Фокин произносят короткие речи. Большинство собравшихся аплодирует не дожидаясь перевода — речь идет о дружбе. В заключение адмирал вручает коммодору подарки моряков — новейший морской атлас и большой двенадцатикратный бинокль.

— Чтоб подальше видеть, — прибавляет он добродушно под смех и аплодисменты зала.

«Ого, — думаю я, — это отзвук каких-то утренних разговоров...»

Прощаемся, разбираем свси фуражки и через двадцать минут видим три огненные пирамиды — одну большую и две поменьше. Корабли наши иллюминированы и видны издалека.

Поднимаясь по трапу, замечаем, что без нас тут не сидели сложа руки. Над верхней палубой натянут спасительный тент. Корабль украшен флагами расцветивания, а на леерных стойках возле трапа большой портрет президента и слова приветия на индонезийском языке. Все готово к приему гостей.

В каютах убийственная духота. Забираем свои постели и, спотыкаясь от усталости, тащим их на одну из верхних площадок шкафута. Там мы блаженно вытягиваемся, однако засыпаем не сразу, надо еще обменяться впечатлениями. А. П. и я рассказываем о поездке в горы, Тимур — об официальных визитах. Из того, что он рассказывает, наибольшее впечатление на меня произвела фраза, принадлежащая видному индонезийскому политическому деятелю. Тонко улыбнувшись, он сказал:

— Наша страна богатая — и бедная. Сильная — и слабая.

Фраза кажется мне знакомой. Повторяю ее про себя несколько раз, и в памяти всплывает:

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная...

Вряд ли эти строчки известны в Индонезии. Тем интереснее совпадение.

Кстати сказать, в годы, когда были написаны эти строки, в России было примерно столько же населения, сколько теперь в Индонезии. А техническими символами в стране были соха и телега, дальние родственники кетменя и бечака.

Мы долго шепчемся, наконец умолкаем. Я подкладываю ладони под голову и разглядываю незнакомое небо. Очень черное, очень звездное. Ярких звезд мало. Южный Крест — это четыре весьма обыкновенные звездочки, образующие почти правильный ромб. В этом прославленном созвездии впечатляет не сияние составляющих его звезд, а гипнотизирующая пустота внутри ромба. Оно похоже на прорубленное в ночном небе окно.

Итак, я на Яве. Моя детская мечта осуществилась. Ветерок, овевающий мое лицо, — ветер тропиков. Надо мной зияет (именно зияет, а не сияет) Южный Крест. И хочется как-то закрепить это ощущение, чтоб его не стерло время, как оно уже стерло многое из пережитого, стерло настолько, что я сам иногда сомневаюсь по поводу некоторых событий: было это или не было?

Вспоминаю себя десятилетним. Я сижу на ступеньках балкона третьего яруса и стараюсь занимать как можно меньше места. Передо мной

удивительно праздничный занавес Большого театра: по лазурному небу летят ликующие крылатые фигуры и трубят в фанфары. Оркестровая яма освещена, и оттуда доносится волнующий гул настраиваемых инструментов: щебетание флейт и кларнетов, страстное соление фагота, серебристые вскрики труб, подавленный рокот струнных, из которого вырываются своевольные стремительные пассажи арф.

В Большой театр я ходил зайцем. В годы военного коммунизма зайцы были почтенными людьми. Только они и платили. Купить билет было невозможно, билеты раздавались бесплатно в учреждениях и воинских частях. У меня был «свой» капельдинер Тимофей Николаевич, бородатый человек в очках, похожий одновременно и на профессора и на кондуктора. За очень скромную мзду он пропускал меня на балкон. Делалось это в самую последнюю минуту, когда люстра уже тускнела, а дирижер еще не появлялся за пультом.

Эти секунды предвкушения я любил не меньше самой оперы. Для полноты ощущения я больно дергал себя за ухо и бормотал: «Я в Большом театре... Сейчас заиграет музыка и поднимется занавес. Я не сплю. Я сижу на ступеньке. Мне не кажется, а на самом деле... Еще только-только начинается...»

Я дергаю себя за ухо и мгновенно засыпаю.

* * *

С утра и до самого обеда на крейсере высокие гости с ответными визитами.

Приятная новость: в распоряжение прессы выделена легковая машина. Мои коллеги собираются заехать в советское посольство, поговорить с Гамбаровым и просмотреть газеты. Я еду с ними.

Нашего водителя зовут Сафри. Очень хороший парень, но такой же лихач, как все индонезийские шоферы. Он немножко понимает по-английски.

У меня есть пачка цветных открыток с видами Москвы. Я отбираю все, что относится к уличному движению, и дарю Сафри. Сафри с восторгом рассматривает поток автомашин в Охотном ряду и не сразу верит, что все это богатство отныне принадлежит ему. Убедившись, он горячо благодарит.

— Каждый из моих детей получит по одной открытке.

Если судить по количеству открыток, семья у Сафри большая.

На этот раз выехать за ворота оказывается не так просто. Вплотную к воротам стоит густая толпа. Охрана мечется. После сложной процедуры, напоминающей шлюзование, мы оказываемся за воротами, но принуждены двигаться еле-еле, все время на первой скорости, чтоб не заглох мотор. Нам машут руками, показывают «центросоюз» и «на большой». Машина закрытая, но мы опускаем боковые стекла и успеваем пожать десятки рук. Затем некоторое время несемся сломя голову, потом долго стоим: готовится «зеленая улица» первому министру г-ну Джуанда, едущему на крейсер с ответным визитом. Наконец он пронесится мимо нас в сопровождении «джипов» и мотоциклистов, и, когда сирена затихает, мы снова трогаемся.

Самая первичная радость, заключенная в произведении искусства, — радость узнавания. Я читаю книгу, смотрю спектакль, разглядываю рисунок и, еще прежде чем постигаю смысл увиденного, радуюсь простейшему сходству с виденным в жизни. Это сходство достигается тысячами различных путей, степень его бывает различна, и само по себе оно далеко не исчерпывает задачу художника, но там, где его нет совсем, искусство еще не начиналось.

Это я знаю давно. Не оказывается, есть и другая радость узнавания, когда узнаешь в окружающей тебя действительности читанное в книгах и виденное на картинах. Мимо меня с той же быстротой, что вчера, мелькают люди, повозки, здания, деревья, и мне доставляет радость, что они похожи на мое представление о них.

Советское посольство помещается в большом двухэтажном белом доме на одной из тихих улиц дипломатического квартала. За легкой оградой — внешний двор с цветущими магнолиями; если пройти сквозной вестибюль, попадаешь во внутренний двор, вернее сад; вечером там будет многолюдный прием по случаю прибытия нашего отряда.

В посольстве нас встречают дружески. Это не обычная любезность дипломатов, а нечто большее. Даже при нынешних средствах сообщения Москва не близко, и земляков здесь видят не часто. С пресс-атташе Гамбаровым мы уже знакомы. Знакомимся с другими сотрудниками посольства, затем сидим в вестибюле, пьем холодную воду, дышим кондиционированным воздухом и листаем газеты. В Индонезии издается много газет, большинство на родном языке, но есть и на английском, например «Индонезиан дейли ньюс». Газеты четырехполосные, верстка обычная для газет Западной Европы: много объявлений и торговой рекламы, биржевых и тиражных таблиц, на первой полосе политические новости вперемешку с отчетом о всемирном конкурсе красоток. Газета компартии «Хариан ракиат» построже, на последней странице рекламируются не только сапожный крем и патентованные лекарства, но и полезные книги, в том числе переводы советских авторов. Полиграфическая сторона в индонезийских газетах стоит невысоко, чувствуется изношенность оборудования.

На приход нашего отряда все газеты, вплоть до самых правых, откликнулись сочувственно. На видном месте большие клише: советские корабли в Танджонг Приоке, адмирал Фокин в гостях у президента Сукарно.

Приезжает уполномоченный Союза обществ дружбы В. А. Жаров. Вид у него умученный. Он рассказывает о расгущем с каждым часом интересе населения к нашему визиту. Конечно, во время концертов и спортивных выступлений залы и стадионы будут переполнены. Но больше всего желающих попасть на корабли. Посещение будет производиться по специальным пригласительным билетам. Они еще не отпечатаны, но от претендентов уже нет отбоя. Будет такое же столпотворение, как в Москве во время концертов Клайберна.

Подтверждение сказанному мы получаем, как только выходим за ограду посольства. К нам приближаются четыре очень милые девушки и умоляют провести их на корабль. Вместо лживых обещаний (ибо мы бессильны помочь) они получают по значку с корабликом и уходят, несколько не утешенные.

В 13.00 на крейсере обед для руководства вооруженных сил и гражданских должностных лиц. Поначалу предполагалось устроить его в кают-компани, но эта мысль могла родиться только под холодным небом Владивостока. Когда мы вернулись на корабль, на палубе накрывали столы.

Вскоре появляются гости. Среди них начальники штабов — сухопутного, морского и военно-воздушных сил. Еще недавно все три начальника были равноправны, и их действия координировались президентом республики на правах Верховного Главнокомандующего. Теперь начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Насутион назначен министром безопасности и обороны Индонезии, таким образом в его руках сосредоточено управление всеми вооруженными силами страны. Это не-

большого роста молодой генерал с красивым сумрачным лицом. При нем неотлучно его заместитель — полный, жизнерадостный человек с черной шевелюрой, неуловимо напоминающий кого-то из наполеоновских маршалов.

Перед обедом на юте небольшой концерт ансамбля. Басы располагаются между стволами главного калибра. Я уже слышал и видел ансамбль на репетициях и поэтому почти не смотрю на эстраду. Интереснее наблюдать реакцию гостей и тихонько переговариваться со своим соседом — офицером с эскадренного миноносца «Сарваджала». Язык, на котором мы говорим, не язык, а коктейль, но мы отлично понимаем друг друга.

Первый номер (не помню, что именно) выслушан сочувственно, по окончании вежливо похлопали. Вторым номером идет песня из кинофильма «По Индонезии».

После первого куплета, исполняемого по-русски, на всех лицах улыбки (Ага! Значит, песню узнали!). После второго — по-индонезийски — всеобщий восторг и бурные аплодисменты. Дальше — больше. А когда запели веселую плясовую «Типатокаан», с пристани донесся взрыв аплодисментов, заставивший всех обернуться. Это аплодировали шоферы.

За обедом я сижу с индонезийскими моряками и как умею выполняю роль гостеприимного хозяина. Наши корабельные коки не ударили лицом в грязь, и русская кухня имеет успех. Впрочем, всего предвидеть нельзя, такие верняки, как столичная водка и зернистая икра, не произвели никакого впечатления. Зато всех покорила ботвинья. Из напитков — грузинское виноградное вино. Но самым большим, почти сенсационным успехом пользуются наши скромные яблоки. Люди, круглый год живущие среди изобилия плодов земных, с восторгом ели яблоки между селедкой и ботвиньей, между ботвиньей и дичью, не говоря уже о десерте. Яблоки здесь редкость. В Индонезии они не растут. Миф о Париже и грациях не мог родиться на Яве. Однако нравятся яблоки не тем, что они редкость, а, так сказать, по существу. Большинство тропических фруктов вкусны, сытны, но слишком насыщены эфирными маслами и вкус имеют терпкий. Они не освежают, как яблоки, арбузы или виноград. Всего этого на Яве нет. Живи Ной на Яве, ему пришлось бы пить пальмовое вино. Зябкая виноградная лоза не приживается здесь, для ее произрастания недостаточно лета, нужен зимний период. А зимы на экваторе не бывает.

После обеда большой группой едем на футбол. Против тихоокеанцев играет сборная вооруженных сил Индонезии. Стадион «Икада», на котором происходит матч, выстроен недавно, об этом свидетельствуют надписи у всех входов: «Чтоб стадион окупил себя, надо, чтоб каждое место принесло столько-то рупий». По дороге на стадион мы видели на большом пустыре столб с надписью: «Здесь будет построено общественное здание». Мне это нравится. Чувствуется общая заинтересованность и дух созидания.

Стадион поменьше, чем «Динамо» или Лужники, но по количеству издаваемых одновременно воплей, а также свистков и аплодисментов несколько им не уступает. Оборудован без роскоши, «табло» простое, видны голые ноги мальчишки, который меняет цифры. Кругом стадиона растут кокосовые пальмы. Трибуны полны, только на солнечной стороне (вероятно, северной?) есть свободные места. Но это места для самоубийц. Аудитория самая разнообразная: от почтенных буржуа в чесуче и фесках до босоногой детворы. Много военных с женами. Некоторые пришли всем семейством и тут же закусывают. Остальные тянут через соломинку оранж из маленьких бутылочек. Потянут и поставят бу-

тылочку рядом с собой на цементный пол. Держать в руках или на коленях невозможно — мешает вскакивать и аплодировать.

Индонезийцы играют в красно-белых футболках — цвета национального флага. Они подвижны, техничны, изящны, но физически слабее, чем бело-голубые, и быстрее выдыхаются. Публика по-московски дружелюбна и объективна. А объективность ох как нужна! Игра складывается не в пользу хозяев поля, и не раз на поле возникали ситуации, при которых обычно разгораются страсти. Достаточно сказать, что судья — индонезиец — дважды назначал одиннадцатиметровый удар в ворота своей команды и остался цел. Бывало так, что атлетический тихоокеанец в борьбе за мяч сбивал с ног своего более хрупкого противника, но тут же бросался его поднимать, и они обнимались под аплодисменты зрителей. Что делать, футбол — игра силовая...

Счет четыре—ноль. Мы выходим вместе с толпой на площадь, где составлены и свалены в кучи тысячи велосипедов и ждут пассажиров сотни бечаков.

Бечак (велорикша) — основа городского транспорта. Трамвайных линий мало, автобусов тоже, а расстояния огромны. В Джакарте, где почти нет высоких домов, живет примерно два с половиной миллиона человек. На первый взгляд может показаться, что труд бечака легче, чем труд обыкновенного рикши, но это заблуждение. Оттого, что рикша сидит за рулем, он не перестает быть лошадью. Нагрузка же увеличилась.

Наши товарищи стараются держаться от велорикш подальше. Бечак огорчается, что мы упорно отказываемся от их услуг. Но что делать — ездить на людях мы не умеем.

Сегодня вечером прием в советском посольстве. До посольства не очень далеко, и времени у нас достаточно. Решаем пройти пешком. Не успевает наступить этот самый вечер, как на нас обрушивается темная безлунная ночь. Сразу вспыхивают светлячки. Мы идем мимо крохотных мастерских, освещенных мерцающим светом фонариков, и видим склоненные над работой головы — мужские, женские, детские. Люди точат, режут, сверлят, шлифуют, клеят, плетут, раскрашивают, чеканят... И чудовищной пошлостью кажутся рассуждения Митрича о врожденной малайской лени. Рабовладельцу все кажутся лодырями. Столь же низменна типично рабовладельческая мысль о том, что бедняку немного надо. Все это дешевая софистика. Бедняк вынужден довольствоваться малым, но это совсем не значит, что он доволен. Не иметь и не нуждаться — разные вещи. Даже в отдаленнейших уголках Индонезии уже нет людей, которые находились бы в святом неведении того, что существует жизнь более сытая и комфортабельная, труд более интенсивный и менее изнурительный.

У Альберто Моравиа есть сатирический рассказ, где он дает новую и оригинальную трактовку ада. Вместо устаревших атрибутов — кипящей смолы для купания и раскаленных сковородок для лизания — орудиями пытки служат примитивные ручные орудия труда. И современные грешники, привыкшие на земле к моторам, испытывают поистине адские мучения.

Тоска по мотору, голод на электроэнергию, жажда механической силы чувствуются на каждом шагу. Я уже отмечал присущую индонезийцам тягу ко всякой технике. Впрочем, к технике можно относиться по-разному. Бывает отношение творческое, а бывает потребительское. Есть люди, считающие себя цивилизованными, оттого что они умеют нажимать разные кнопки. Но интересует их только результат. Сущность происходящих при нажатии кнопки процессов для них темна. Любый полинезиец больше знает об окружающем его мире, чем такой технически оснащенный обыватель: Леонгард Франк в своем автобиографическом

романе «Слева, где сердце» рассказывает о девушке-ангелочке из голливудской аптеки:

«Однажды Михаэль заказал себе горячее молоко, потому что у него болело горло. Ангелочек огорченно ответил ему, что молочная машина, к сожалению, испортилась. Когда Михаэль спросил, нельзя ли вскипятить молоко на газе, безжизненно красивое кукольное личико впервые обнаружило признаки жизни — так ошеломило девушку предположение Михаэля, будто молоко можно вскипятить вместо специальной машины просто на газовой плите».

Индонезийцы не ангелочки. Зачастую им не хватает даже простой газовой плиты, но к технике они относятся творчески. Подростки у бензопомпы, разглядывая мой фотоаппарат, интересовались светосилой, фокусным расстоянием, скоростью затвора. Они страстные автомобилисты, такие же болельщики и непререкаемые знатоки, как московские мальчишки. Технику здесь любят и уважают, как, впрочем, все, что связано с наукой и знанием.

Прием происходит под открытым небом. Народу еще больше, чем вчера у Мартадината. Сад иллюминирован, на открытой эстраде выступает ансамбль тихоокеанцев. Успех огромный. На этот раз лидируют танцоры. Во время исполнения шуточной танцевальной сценки, изображающей аврал на корабле, стоящий рядом со мной американец так самозабвенно хохочет, что я опасаясь за его здоровье.

Часа через два иностранные гости разъезжаются, и мы остаемся среди своих. Наш Володя обнимается с появившимся неизвестно откуда кудрявым паренком, у обоих счастливые лица. Оглядываясь на нас, они повторяют: «Мы же соседи, оба с Цветного бульвара...» Паренек оказывается влиятельной персоной: шеф-поваром посольства. Зовут его Коля. Автобусов долго не подают, в ожидании мы пьем ледяное пиво и рассказываем Коле про Москву. В Москве Коля не был три года, на Яве у него родился сын. Володя обещает записать лепет мальчика на магнитофон и доставить запись Колиному отцу на Цветной бульвар. Володя человек надежный, и я несколько не сомневаюсь, что дед вскоре услышит голос внука.

Наконец объявлена посадка. Мы едем через полутемную Джакарту. Часть светячков погасла, но многие еще светятся. Я сижу на чьих-то коленях. Один из автобусов по пути к посольству скис, и всем пришлось потесниться. Что делать — не хватает моторов, техники...

Через полчаса мы у себя на корабле, где не продохнуть от этой самой техники, где все, даже самое незаметное из наших действий — дыхание, — и то механизировано.

* * *

Рано поутру отправляюсь к начфину.

За двадцать с лишним дней заграничного плавания мне причитается тысяча девятьсот рупий. Много это или мало?

И очень много и очень мало. Все зависит от взгляда.

Это месячное жалование крупного чиновника. Наш шофер Сафри не зарабатывает и трети полученной мною суммы.

Новая автомашинка «фиат» стоит на Яве миллион рупий. Газета — полторы рупии. Килограмм риса — двенадцать-четырнадцать рупий.

Если бы я последовал совету Митрича и поселился в «Hôtel des Indes», моих денег не хватило бы и на пять дней.

Это все, что я знаю. Более подробные сведения мне предстоит получить сегодня. Утром командующий едет осматривать городской музей. Команда принимает на борту крейсера гостей — индонезийских солдат

и унтер-офицеров. Более удобного времени, чтоб пройтись по городу и зайти в магазины, у нас, пожалуй, не будет.

В десять часов утра за нами заезжают два московских студента — Андрюша и Владик. Они живут в Джакарте больше года и хоршо говорят по-индонезийски. Так что консультация и перевод нам обеспечены.

Выезжаем на двух машинах. С каждым днем выехать за ворота Тан-джонгприокской пристани становится труднее. Толпа все увеличивается. Сегодня начинается посещение кораблей, и с самого раннего утра все слои населения осаждают порт. Слоев три: имеющие билеты, надеющиеся получить билет и надеющиеся пробраться без билета. Все они на-пирают, и полиции приходится туго.

В Джакарте три основных торговых района — Пасар бару, Нусангара, Старый базар, — и каждый имеет свое лицо. Пасар бару и Нусангара расположены в разных частях города, но неподалеку от центра, — мы их уже проезжали. Старый базар лежит в стороне от наших обычных путей.

Начинаем с Пасар бару. Это длинная узкая улица, состоящая из одних магазинов и лавок. Проехать по ней еще можно, но поставить машину нельзя. Мы оставляем машины на площади (за стоянку здесь платят) и идем пешком, разглядывая витрины и уличную толпу. Здесь торгуют всем — радиолами и детскими погремушками, драгоценностями и изделиями из рисовой соломы, произведениями искусства и портретами кинозвезд. На Пасар бару нет ни шикарных универмагов, ни грязных лавчонок — здесь все рассчитано на среднего человека со средним достатком.

Через час мы подытоживаем первые впечатления.

Покупателей немного. У витрин достаточно, но у прилавков мало. Очередь к кассе из двух человек я видел только раз. Одним из них был я.

Товары делятся на местные и импортные. Как правило, местные хороши и сравнительно дешевы. Импортные весьма посредственны и при этом дороги.

Из местных товаров поражают тщательностью выделки и тонким вкусом кустарные изделия из дерева, серебра и различных волокон, а также всемирно известный «батик» — ткань со сложным узором ручной работы.

В магазинах, торгующих чеканным балийским серебром и деревянными скульптурами, можно стоять часами, как в музее. Сложный рельефный орнамент воспроизведен в каждой вещице с такой первозданной силой и точностью, что кажется уникальным и неповторимым. Ремесло не убивает искусства, а служит ему. Поражает мощь традиции. Многие рисунки, несомненно, живут и воспроизводятся сотни лет. Вероятно, как во всяком кустарном производстве, дело не обходится без подделок и халтуры, но в хороших вещах пленительна каноническая строгость, отсутствие попыток что-либо упростить и стандартизировать. Деградация, вызванная конкуренцией, коснулась главным образом материала. Серебряный сплав подозрительно легковесен — вероятно, в нем больше олова и алюминия, чем серебра.

Деревянные скульптуры чаще всего изображают сюжеты и героев «Рамаяны», индонезийского эпоса и народных сказаний. Я влюбился в тоненькую богиню из светлого пальмового дерева. Впрочем, может быть она и не богиня. Во всяком случае, она божественно изящна, хрупка, капризна, жестока, высокомерна, женственна. В этом странном лице и пленительном теле все неправильно и, с точки зрения анатомии, не выдерживает критики. Руки слишком тонки, ноги слишком длинные, рас-

стояние между веком и бровью слишком велико. Но именно эти отступления от анатомических норм и делают фигурку столь выразительной. Эту длинноногую богиню не надо ставить на высокий постамент, монументальность органическая, она в самой позе. А в расстоянии между опущенным веком и приподнятой бровью вложен весь характер моей богини. Формализм? Но когда в скульптуре все выразительные средства прежде всего подчинены идейному замыслу, можно ли назвать ее формалистической?

В конце концов я похищаю мою богиню за наличный расчет. Вместе с несколькими серебряными безделушками эта покупка съедает три четверти моих капиталов, и я считаю, что заплатил недорого. А главное, гораздо приятнее привезти с Явы вещи, в которых отразился дух народа, чем самомоднейшие нейлоновые босоножки на алюминиевых каблукках, более похожие на кофейники, чем на обувь.

Везде — на улице, в магазинах, в кафе — нас встречают улыбками. Многие хотят пожать нам руки, и, пробираясь сквозь толпу, мы пожимаем больше рук, чем в вестибюле клуба писателей. С противоположного тротуара нам приветственно машут — по-своему, покачивая ладошку из стороны в сторону. Наши поистине оптовые запасы сувениров тают. Мальчишки налетают, как смерч. Они не попрошайки, но хитрецы и тонкие психологи. У них уже разработана своя система. Подходит к моряку малец с зажатым в кулаке значком и предлагает меняться. Моряк прикалывает ему к рубашке какой-нибудь кораблик. Тогда мальчик делает умильную рожицу, разжимает ладонь и говорит жалобным голосом: «Совет...» Понимать это надо так: «Зачем тебе советский значок?» Понятно, никто значка не берет. Другой вариант: в кулаке зажат не советский значок, а монета в двадцать пять или пятьдесят сен. Но не брать же у мальчишки деньги...

На Пасар бару я видел настоящего дикаря. Первого и единственного за все время визита. Вид у него был страшноватый. Полуголый и немыслимо грязный, на голове огромная шапка волос, как будто слепленных сапожным варом, вокруг бедер звериная шкура. В руках какая-то деревянная штука, вроде копья или посоха. Будь он нищим, я бы все понял, нищие те же актеры, но он ничего не просил и даже к чему-то приценивался. Не помню, к чему. Не к мылу.

Из Пасар бару поехали в район Нусантара. Большие кинотеатры торгуют голливудским товаром. Большие магазины, торгующие в основном импортной продукцией. Все поставлено на большую ногу: жужжат кассовые аппараты, вышколенные, одетые в форму продавцы и продавщицы заворачивают покупки в хрустящую фирменную обертку. Встречают нас здесь еще сердечнее, чем на Пасар бару. Сперва это кажется необъяснимым, затем мы вспоминаем, что на Пасар бару за прилавком стоят купцы, а здесь служащие. Они раскидывают перед моряками товар получше и легкой гримаской дают понять, чем увлекаться не следует. Те, кто посмелее, кроме гримаски, делают тот же непередаваемый жест, что заправщик от Шелла, и говорят: «А! Сингапур...» Как видно, сингапурские экспортеры не пользуются доброй славой.

Цены здесь выше. Кусок местного мыла стоит на Пасар бару семь рупий. Цена импортного доходит до пятидесяти рупий. Дороговизна складывается из сверхприбылей экспортных компаний и высокого таможенного тарифа.

Жара адская. Заходим в кафе, чтоб выпить кока-кола и просмотреть газеты. В жару кока-кола утоляет жажду лучше, чем фруктовые воды. Пора перестать издеваться над этим безобидным напитком. И было бы совсем не вредно завести у нас что-нибудь подобное. У нас не растет

орех кола, но есть другие растения, дающие превосходный тонизирующий экстракт — например, дальневосточный лимонник.

В кафе за столиками сидят вполне почтенного вида ноны и ньоньи без провожатых. Пьют кофе. Все время заходят торговцы батиком, книгами, художественными аппликациями. Один продавец хромолитографий (обнаженные красотки) заявил: «Я знаю, что вы у меня ничего не купите, но охотно покажу весь свой товар из бескорыстного уважения к советским морякам». Заходят также музыканты со свирелями. Двое бородачей играли — и недурно — на гитарах. Вероятно, филиппинцы.

К обеду возвращаемся домой, на корабль. Дом полон гостей. По всему кораблю медленно движутся экскурсии. Лица экскурсантов сияют, как будто им только что показали Сикстинскую мадонну. Еще вчера я не понимал, почему беглый осмотр корабля вызывает еще больший интерес, чем концерт или футбольный матч. Сегодня я это понял. Побывать на корабле — это значит побывать в Советской стране. Недаром наш довоенный морской устав начинался с великолепной формулы: «Корабль есть часть территории Советского Союза». Индонезийцев привлекает сочетание передовой машинной техники с высокой организованностью коллектива. Им корабль не кажется устарелым. И я не согласен с теми товарищами, которые расценивают слова Н. С. Хрущева: «Военные корабли хороши лишь для того, чтобы совершать на них поездки с государственными визитами», как уничижительные. Да, крейсера непригодны для ведения атомной войны. Но что значит: хороши только для государственных визитов? Это значит: пройти много тысяч миль, выдержать двенадцатибалльный шторм и благополучно прибыть к месту назначения, а в дальнейшем достойно представлять свою страну, наглядно свидетельствуя о достигнутом в ней уровне технического и культурного развития. Не так-то мало!

Сегодня общество «Индонезия — СССР» устраивает грандиозный «вечер дружбы» в одном из самых больших концертных зданий города. Но сначала мы (А. П., Тимур и я) едем в «Лекру». «Лекра» — иными словами общество народной культуры — творческая организация, объединяющая прогрессивных литераторов и деятелей искусства. В нее входят многие видные писатели и художники Индонезии.

Беленький домик, где помещается правление «Лекры», больше напоминает дачу, чем учреждение. Как мы потом узнали, домик принадлежит одному из членов общества, который предоставил его «Лекре» в безвозмездное пользование.

Вместе с нами приезжают яванские старожилы — Четечкина, Жаров и оба студента. Таким образом, нас уже семеро. Хозяев тоже семь.

Юбаар Айюб, Ньото, Басуки Ресобово, Прамудья Ананта Тур, Саманджая, Судоно и Валуяди Тур.

Встречают нас так, как будто мы пришли в семейный дом. Через минуту все уже знакомы и чувствуют себя свободно.

Имя Прамудьи Ананта Тура широко известно за пределами страны. Ему всего тридцать пять лет, он худощав, строен, но не выглядит моложе своих лет. Его узкое выразительное лицо сурово. Он похож на свои «Рассказы о Блоре» — сдержанные, страстные, до жестокости правдивые.

Валуяди Тур тоже прозаик. В отличие от наших братьев Тур, индонезийские Туры — настоящие братья и никогда не пишут вместе.

У талантливого публициста Ньото вид молодого ученого: очки, легкая сутуловатость. Он и есть ученый. Его специальность — история национально-освободительного движения. Ньото — член политбюро Индо-

незийской компартии, заместитель генерального секретаря по вопросам пропаганды.

Мы сидим в маленькой гостиной на удобных низких креслах. Горят свечи. Сначала от них только прикуривают, затем они становятся основным источником света. Сегодня во всем районе ток выключен. Так бывает два-три раза в неделю.

Председатель Юбаар Айюб предлагает — пусть и гости и хозяйева ответят на один и тот же вопрос:

— Что вы знаете о нас?

Предложение хорошее. Оно дает отличный трамплин. Итак, что же мы знаем друг о друге?

Оказывается, кое-что знаем. Мы рассказываем, что у нас в Советском Союзе популярны поэтические сказки индонезийского народа. Переведен на русский язык роман Абдуллы Мунса «Сурапати», новеллы Прамудьи Ананта Тура, Мухаммада Димьяти, пьеса Сонтани, работа Ньото «Октябрьская революция в России и августовская революция в Индонезии». В свою очередь мы узнаем, что в Индонезии хорошо известны имена Л. Н. Толстого, Тургенева, Чехова, Горького. Но переведены до сих пор лишь немногие произведения, причем в большинстве случаев не с русского оригинала, а с английского или голландского перевода. Конечно, такой «контратип» не может отличаться высоким качеством, неизбежны потери и даже прямые искажения. Доказательством может служить такой курьез: наши новые друзья с большим пиететом отзываются о романе Толстого «Катя». Фамилии Кати никто из них не помнит. Мы смущенно переглядываемся. Кто-то робко высказывает предположение: не «Сестры» ли? Наконец путем наводящих вопросов устанавливаем: «Воскресение». «Катя» — это Катюша Маслова.

За последние годы курьезов становится все меньше. Перевод горьковской «Матери», сделанный Прамудья Ананта Туром, считается образцовым. Из книг советских писателей переведены: «Сорок первый» Лавренева, «Судьба человека» Шолохова, книги Эренбурга, Пришвина, Полевого... Я беру Всеволоду Иванову небольшую книжку под названием «Kreta ari badja 14-69». На обложке изображен обтекаемый электровоз. Художник не очень виноват — откуда ему знать, как выглядел сибирский бронепоезд эпохи гражданской войны?

С предварительной информацией покончено, начинается общий разговор. Он течет извилисто и непринужденно. Языковая преграда почти не ощущается — так уверенно и точно переводит Андрей Павленко. Он умеет передать оттенок и донести шутку. А шутка, как известно, заставляет сердца раскрыть свои створки.

Беседа продолжается часа два. Говорим обо всем, но больше всего о литературе. Много шутим, а разговор получается серьезный. У нас много общих проблем, за экватором они выглядят несколько иначе, чем в Москве, но суть все та же: реализм, позиция писателя, типические конфликты, мастерство. У прогрессивных писателей Индонезии большие перспективы, но и много трудностей — нет толстого журнала, нет драматического театра.

Наши хозяйева радушны, гостеприимны, хлебосольны, как... как москвичи, лучшего комплимента не могу придумать. И, прощаясь с этим милым домом, я мысленно желаю ему как можно дольше оставаться непохожим на учреждение.

Мы боялись опоздать на концерт — и напрасно. Перед входом в здание такая давка, что совершенно ясно: раньше чем через полчаса страсти не улягутся и концерт не начнется. С трудом протискиваемся внутрь. Зрительный зал похож на трибуну стадиона. Огромный амфитеатр гудит, белые форменки моряков попеременно с белыми рубашками джакартцев,

среди них, как радужные световые зайчики, яркие женские шали. Моряки сильно загорели, и я различаю своих не столько по цвету кожи, сколько по синим воротникам. Долговязый матрос, вскочив на скамейку, простирает над рядами двухметровые в размахе руки. Он показывает вступление:

Морями теплыми омытая...

И несколько сот голосов подхватывают по-русски и по-индонезийски:

Лесами древними покрытая...

Начало затягивается, но администрация может не волноваться — публика этого не замечает.

Мне машут из первых — приставных — рядов. Есть свободное место. Пробираюсь по тесному проходу и усаживаюсь между индонезийским художником и вьетнамским журналистом. Впереди меня Ньюто с молодой беременной женой и двумя ребятишками.

Вечер начался речью заместителя председателя общества «Индонезия — СССР» г-на Вердойо. Мне понравилось, как он говорил. Кратко, весомо, незатасканными словами.

— Вы несете с собой культуру, — сказал Вердойо, — военная сила без культуры означает фашизм.

Затем выступает ансамбль и акробатическая группа Вилецкого. Успех громовый. Овации во время исполнения. На эстраду летят цветы...

После концерта мы прощаемся с товарищем Ньюто и его семьей на темной площади. Они идут домой пешком.

У меня сжимается сердце. В стране еще не угасла гражданская война и не разгромлена до конца «пятая колонна». Я спрашиваю одного из коммунистов: не опасно ли, что заместитель генерального секретаря партии ходит по темным улицам без охраны?

— Конечно, это не совсем безопасно, — говорит мой собеседник.

Уже довольно поздно, а расходиться не хочется. Ольга Ивановна предлагает зайти к ней в «Des Indes». Собирается довольно большая компания. Несмотря на поздний час, нас пропускают беспрепятственно. Так вот он, знаменитый отель, упомянутый во всех источниках. Двухкомнатный номер стоит астрономическую сумму — триста шестьдесят рупий в сутки. Номер как номер, ничего особенного. В холодильнике все теплое, только недавно дали ток. В кранах нет воды. У нас в гостинице «Москва» такой номер стоит дешевле, а перебоев с водой и светом не бывает. Джакарта, как и Нью-Йорк, — город контрастов, только контрасты здесь другие. Нет кричащей, бессмысленной роскоши. Но разрыв между тем, как живет большинство населения, и далеким от роскоши элементарным комфортом еще очень разителен.

Ольга Ивановна живет здесь одна, без семьи, живет скромно, но даже ее студенческий быт обходится очень дорого. Она принимает нас без затей, по-студенчески, и, хотя студентов среди нас только двое, все мы чувствуем себя в этот вечер студентами, с особенным удовольствием распиваем бутылку «столичной» с сингапурским штампом на знакомой этикетке и поем песни нашей далекой родины.

* * *

С каждым днем наш утренний туалет занимает все больше времени. В Москве казалось, что трех смен «формы раз» на пять дней визита хватит за глаза. Мы не учли климата. Жарища и влажность таковы, что даже от орденских ленточек на груди образуются разноцветные потеки.

Наш каютный приборщик Веня, несмотря на свою юность, величайший скептик. Воду в графин он наливает только горячую, к тропическим цветам, приносимым в каюту, относится недружелюбно: от них только мусор. Любимое его выражение — «наверяд ли». Помощи от него мало, но мы все-таки пытаемся вернуть себе парадный вид. Кстати, до двух часов дня нам никуда ехать не надо.

На корабле сегодня происходит очень ответственный дипломатический прием. В гостях у моряков триста индонезийских детей. На юте организованы игры и аттракционы. На банкетных столах разложены подарки в целлофановых мешках. Помимо тех, кому официально поручен прием маленьких гостей, на юте толпится масса добровольцев. Они охотно участвуют во всех играх, разрешают ездить на себе верхом и не отказываются в случае нужды проводить до одного обозначаемого цифрами места. Энтузиазм этих людей легко понять, большинство из них давно не было дома, они подолгу не видели своих младших братьев и сестер, и им приятно подержать в своих огрубевших руках маленькие детские ручки.

До полудня — дети, с четырнадцати часов — взрослые. В тринадцать сорок пять на пристани появились первые группы. В тринадцать пятьдесят пять их уже столько, что старпом хватается за голову. В четырнадцать на пристань хлынула сплошная толпа. Белые шлемы полицейских носятся в этом человеческом море, как расшвырянные бурей рыбацьи поплавки. Все ясно: Джакарта ринулась в Танджонг Приок, сметая на пути все препоны. Я не вижу ни злых, ни испуганных лиц. Все обошлось как нельзя лучше, виноватых нет. Даже с полиции взятки гладки: не стрелять же было...

Охранять трап не приходится — на него никто не покушается. Вдоль всего корабля выстроились тысячи людей, но порядок полный. Люди стоят, задрав головы, и переговариваются с матросами на борту крейсера. Записочки и сувениры поднимаются и спускаются при помощи удочки.

Экскурсантов еще больше, чем вчера. Вероятно, много зайцев. Я сам бывший заяц и поэтому не осуждаю.

Во второй половине дня — две встречи с соотечественниками. А. П., Тимур и я приглашены обедать к послу. После обеда поедем выступать в советскую колонию.

К обеду не принято опаздывать. Мы выехали вовремя и чуть не опоздали, машина еле продвигалась в толпе, осадившей порт.

Я бы не стал описывать обед, если б не несколько трогательных деталей.

Мы вошли в небольшую гостиную. Простая, удобная мебель. Горки с русским фарфором и несколько писанных маслом пейзажей. Северная природа, русская снежная зима... Я не успел рассмотреть их — вошел посол, и через несколько минут мы перешли в столовую. Почему-то все мы были уверены, что нас хотят познакомить с произведениями индонезийской кухни.

Войдя в столовую, мы очутились в Москве. Посредине комнаты стоял стол, накрытый не по-банкетному, а как в хорошем старомосковском семейном доме, интеллигентном и хлебосольном. Посредине стола икра, селедочка, маринованные грибки и маленькие пупырчатые огурчики — все такое знакомое, привычное, когда живешь в Москве, и такое редкое, диковинное, поистине заморское здесь, на Яве. Угостить нас, приезжих, тем, что за экватором достается с таким трудом, а главное, тем, что очень нравится самим, — в этом было такое утонченное радушие, что мы были растроганы.

Мы едим настоящий душистый борщ и разговариваем. Я не собираюсь пересказывать то, что говорилось за столом. Скажу только, что мы провели два часа в обществе людей, знающих и любящих Индонезию, много и напряженно работающих и очень тоскующих по родине.

Я никогда не верил, что жизнь дипломатов течет в эмпиреях, в сплошных увеселениях и банкетах, но все-таки я неясно представлял себе их быт. Теперь я вижу, что дипломату нужно здоровье легкоатлета, знания ученого и выдержка полководца.

Прямо из посольства мы вместе с советником П. С. Кузнецовым и его женой едем в поселок советской колонии. Немножко волнуемся. Придется выступать экспромтом, а экспромты хороши, когда к ним как следует подготовишься. О чем говорить? Мы видели в посольстве кипы советских газет и журналов, они приходят сюда с опозданием, но все-таки приходят. Что же мы можем рассказать такого, чего бы здесь не знали?

От посольства до поселка не меньше семи километров. Небольшие коттеджи окружены плодовыми деревьями — папайями, бананами. Цветут магнолии. Теннисный корт и детская площадка залиты недавно прошедшим дождем.

Выступаем под открытым небом. Собралось около ста человек, мужчин и женщин. Все москвичи. У всех одно требование: расскажите нам о Москве.

И мы рассказываем. О строительстве Юго-Западного района и о новых маршрутах автобусов. Об уличных туннелях и надземной линии метро, о новых веяниях в практике суда и о развитии международного туризма. Слушают, затаив дыхание. Оказывается, есть что рассказать. Больше того — самому интересно послушать, что рассказывает товарищ. Он говорит о вещах как будто бы общеизвестных. Но из-за экватора их видишь в несколько ином ракурсе. Дело не в «остранении» (был такой модный литературоведческий термин), а в нарушении инерции. Живя в Советской стране, люди привыкают считать завоевания революции чем-то само собой разумеющимся и видеть в них общепринятую норму человеческих отношений. Я не уверен, что некоторых пресыщенных юнцов нужно лечить от скепсиса именно заграничными командировками. Но, несомненно, им было бы полезно увидеть собственными глазами, что на большей части земного шара многие проблемы, кажущиеся элементарными, не разрешены даже в самых общих чертах. Уверенность в завтрашнем дне, свойственная советскому народу, не есть нечто само собой разумеющееся, ее не хватает многим людям на земле и завоевать ее нелегко. Вот почему рассказ о самых простых, повседневных событиях в жизни столицы слушается с таким волнением.

К тому же мы люди, всего две недели назад ходившие по московским улицам. Мы живые свидетели и в то же время как бы живые реликвии. Нас можно потрогать, можно спрашивать и переспрашивать. Вопросов масса.

Молодая женщина, вероятно жена сотрудника посольства, спрашивает:

— Как вы считаете, товарищи писатели, хорошо ли, что мы называемся «Советская колония»?

— ?

— Мы же против колониализма. Неужели нет другого слова?

Возникает веселая дискуссия. Если поискать, есть и другие слова. Например, землячество.

Хорошее слово «земляки». Годится и на Земле и на Луне.

После выступлений отдыхаем у Кузнецовых. Нас радушно угощают тропическими фруктами. Ананасы и бананы очень хороши. В Москве

таких нет. Что касается «царицы плодов» — манго, то это морковка, возомнившая себя персиком.

Затем вместе с земляками едем в «Hôtel des Indes» смотреть индонезийские народные танцы.

Ресторанный зал превращен в зрительный. На маленькой эстраде расположился джаз. Сбоку, на полу — гамелан. Столики из зала вынесены, стулья расставлены полумесяцем. В первом ряду против эстрады В. А. Фокин и Мартадината. Обстановка дипломатического приема. Вращаются фены. Почтенные старички в фесках шныряют с подносами.

Начинает джаз. Солисты — две певицы и певец — очень недурны. Несомненно, что в джазе индонезийские мелодии и манера исполнения подверглись нивелирующему влиянию Запада. Но столь же очевидно и обратное влияние.

Поет индонезийская кинозвезда, красивая женщина в темно-красной национальной одежде. Поет, слегка раскачиваясь всем телом, лицо неподвижно, приоткрытые губы почти не смыкаются, голос низкий, глуховатый и как будто все время срывающийся; в этих срывах и придыханиях есть своеобразная прелесть. Манера чем-то знакома, но теперь мне понятно: первоисточник здесь. Американки — это второе издание.

Неожиданно появление школьников. Они входят парами в сопровождении учителя, вооруженного большой указкой. В руках у всех девочек и мальчиков какие-то непонятные инструменты, сделанные, по-видимому, из бамбука. Инструменты одинаковой формы, но различных размеров. Ребята выстраиваются перед эстрадой. По знаку учителя два старших мальчика разворачивают свиток чуть поменьше школьной географической карты. Свиток испещрен столбиками цифр. Учитель поднимает указку...

Что за странный урок арифметики в десятом часу, да еще в ресторанном зале?

Это не урок. Это аклунг.

Аклунгом называется бамбуковый инструмент, а также весь ансамбль в целом. Это хор и одновременно оркестр. Каждый аклунг в отдельности не более чем трещотка, но с нежным звуком, слегка напоминающим пиано ксилофона. Инструмент издает один музыкальный тон, мелодия и гармония возникают в результате сложного взаимодействия. Нотная система — цифровая. Аккорды изображаются столбиками цифр. Указка, передвигаясь от столбика к столбику, выполняет функции дирижерской палочки.

О происхождении аклунга существует легенда. Я слышал ее в весьма приблизительном переводе и воспроизвести не берусь. Существенно в этом рассказе то, что яванские заливные рисовые поля часто расположены уступом, вода стекает с верхних террас на нижние по бамбуковым трубам, издавая музыкальные звуки... Человек всегда учится у живой природы. Поэтому самая фантастическая легенда всегда имеет под собой реалистическую основу.

Итак, дирижер подымает палочку, то бишь указку... Смотреть на дирижера — истинное удовольствие. Он весь улыбка (зубы занимают ровно треть лица) и весь движение. Он дирижирует, танцуя. Правая рука с указкой показывает вступление, левая, как у всех дирижеров, ведает forte и piano. Остальное договаривают ноги. Дирижер наступает, отступает, изгибается, приседает и вновь вырастает, поднимаясь на пуанты, как балерина.

Морякам все это очень нравится. Они много раз заставляют ребят бисеровать, пока дирижер не вспоминает, что он прежде всего учитель,

педагог. С трудом согнав с лица улыбку, он вежливо, но твердо заявляет: «Детям завтра надо рано вставать. Мы должны думать об успеваемости».

Его провожают аплодисментами.

Затем начинаются танцы. Я видел индонезийских танцовщиков в фильме «По Индонезии». Мне было интересно, не более. Вероятно, в фильме засняты не лучшие исполнители. То, что мы видели в отеле «Des Indes»,— великолепно.

Танцуют под звуки гамелана. Первый номер—танец со светильниками. Танцовщица держит в обеих руках зажженные светильники, такие же светильники стоят на полу, окружая артистку огненным кольцом. Нужна необыкновенная плавность и точность движений, чтоб не погасить ни одного из них. Огоньки в руках танцовщицы временами почти угасают, но затем разгораются вновь. Вероятно, почти у всех народов есть танцы, где благородство движений сопряжено с благородным риском, такие, как фанданго, горская лезгинка...

Балийский танец «Охотник и птица». Сюжет ясен из названия. Танцуют двое — девушка-птица и юноша-охотник. У девушки вместо рук крылья, лицо — почти белое — неподвижно, живут только глаза. Юноша обнажен до пояса, бедра обернуты похожей на парчу материей, образующей шлейф. Лицо юноши жестоко и страстно, он преследует девушку неторопливо и настойчиво. И охотник и птица напряжены до предела, но это не мускульная напряженность, внутренний накал выдают только глаза и легкое трепетание пальцев, движения танцоров плавны и размеренны, в них живет и вольный дух импровизации и условность древнего обряда.

Еще более условен классический яванский танец на сюжет из «Рамаяны». Юный воин с колчаном (его изображает девушка) и свирепая маска. Короче говоря — Давид и Голиаф. Прежде чем стрела из колчана Давида вонзается в сердце Голиафа, она участвует в сложных эволюциях, похоже, что в них заключен, помимо пластического эффекта, какой-то смысловой код, несмой язык того же рода, что язык веера, на которм, по свидетельству Фейхтвангера, разговаривали, а может быть, разговаривают и теперь мадрндские махи.

Совсем в другом роде суматранский танец. Это почти мснует. Две стройные девушки и двое юношей обмениваются придворными поклонами. Интересны костюмы мужчин: поверх длинных шаровар набедренные повязки, нечто вроде короткого саронга. На голове высокие шапки, как у закарпатских горцев, ноги босы. Впрочем, почти все танцы исполняются без обуви. В индонезийской хореографии пальцам рук и ног придается большое значение.

Володя и Митя упоенно крутят. Временами мне кажется, что они тоже танцуют.

После перерыва, как всегда с успехом, выступает ансамбль тихоокеанцев. За ними смешанный хор индонезийских студентов. Этот хор был на московском фестивале. Студенты поют народные песни, а затем неожиданно заводят «калинку-малинку».

Овация!

За «калинкой» следуют «Подмосковные вечера».

Самое волнующее в том, что происходит на наших глазах,— это взаимопостижение. Не в том дело, что индонезийцы выучили трудные слова и незнакомый мотив, а в том, что им как исполнителям доступны юмор «калинки» и ласковая грусть «Подмосковных вечеров». В то же время они чуткие слушатели. Они благодарно аплодируют русскому солисту Мясникову за то, что в «Песне с веслом» он уловил что-то такое, чего не объяснишь словами, но без чего эта песня перестает быть индоне-

зийской, а становится похожей на «арию индийского гостя». Они аплодируют второму тенору мужского квартета Василию Герасименко не за какую-нибудь замысловатую фиоритуру, а за задорную чисто русскую юмористическую интонацию в шуточной песенке «А почему?».

— «А потому наве-е-ерно»,— хитро улыбаясь, разливаются Герасименко, и я ловлю на всех лицах ту же добродушно-лукавую усмешку...

В заключение исполняется «Широка страна моя родная». Поют оба хора, и весь зал им подтягивает.

* * *

Последний день. Закончились концерты и соревнования. Продолжается посещение кораблей населением Джакарты.

Рано утром за нами захала Ольга Ивановна и повезла на Старый базар. Действительно, быть в Джакарте и не видеть Старого базара — грех непростительный. Базар на Востоке нечто большее, чем место торговли. Это и выставка, и увеселительный парк, и дискуссионный клуб.

Мы едем смотреть, а не покупать. Покупать на восточном базаре — это значит до хрипоты торговаться. На это у нас нет ни времени, ни охоты. Нас предупредили, что на индонезийских базарах существует своеобразный этический кодекс. К примеру, можешь торговаться целый час и ничего не взять, это твое право. Но если продавец согласился с предлагаемой тобой ценой — отступления уже нет. Нарушать базарную этику рискованно. Хорошо, если нарушитель отделается срамом, — могут забросать гнилыми фруктами.

Старый базар в стороне от нашей обычной трассы. Здесь торгуют всем, что имеет хоть какую-то ценность. Ржавыми велосипедными цепями и живыми змеями. Каменная чашка даяка лежит рядом с хлорвиниловой мыльницей. Счет идет не только на рупии, но и на сены.

Основное богатство базара — дары тропического моря. Конечно, это только так говорится — дары. Достаются они тяжелым трудом.

Люди бедны, но море богато. Глаза разбегаются, глядя на это богатство красок и форм. Гигантские раковины и кораллы. Рыбы, черепахи и всякая прочая морская живность. Я сразу нахожу такую же чудораковину, какую некогда привез дед, и, не торгуясь, плачу полторы рупии — цену утренней газеты.

И даже тут продавцов больше, чем покупателей.

В середине базара — здание аквариума. Внутри здания полутемно, подсвечивается только вода, в которой плавают рыбы. Аквариум невелик, но впечатление оставляет сильное. Никакому Диснею не под силу соревнование с художником, придумавшим бело-желто-красных рыбок, перед которыми я простоял, не отрываясь, минут десять. И никакие люминисцентные краски не могут соперничать со сказочным сиянием, исходящим от лазоревых рыбок с мудреным латинским названием. Есть рыба, похожая телом на змею, а раскраской на леопарда. Есть рыбы с головами вдвое большими, чем туловище. Одна рыба — вылитый Гитлер. Страшная сволочь — с чубом и даже коричневого цвета. Много рыб-драконов. Если облака здесь похожи на драконов — рыбам сам бог велел.

Во дворе террариум. Крокодилы и водяные собаки. Крокодилы комментариёв не требуют, а водяные собаки очень симпатичные, вроде дворняжек, но с плоскими хвостами, как у бобров.

Из аквариума едем на Цасар бару обедать. По совету О. И., заказываем «наси горенг» и «крупук». Наси горенг — это жареный рис с острыми приправами. К нему подается вода со льдом. Тем, кто не умеет глотать огонь, запивать водой необходимо. Крупук — нечто вроде хво-

роста из муки с примесью измельченных устриц и креветок, печенье, пахнущее морем.

Затем сидим на веранде огеля «Des Indes». Пьем пиво и разговариваем. Кроме нашего, ни один столик не занят. Вращается шесть фенгов, играет салонный оркестр. Наконец появляется парочка. Он — европеец, она — индонезийка. Оркестранты и официанты оживляются. Парочка заказывает одну бутылку «круша» и погружается во взаимосозерцание.

Я сижу за мраморным столиком, прихлебываю холодное пиво, но мысли мои далеко. На Старом базаре и даже еще дальше — на Суматре и Калимантане. Почему? А потому, наверно, что, бродя по закоулкам Старого базара, я впервые ощутил (именно ощутил, знал я, конечно, и раньше), что Индонезия это не только перенаселенная Ява, где возделан каждый гектар земли, но и Суматра, и Калимантан, и Сулавеси, и Тимор, и Молуккские острова, и еще не освобожденный от голландских колонизаторов Западный Ириан, и еще сотни населенных островов, где живут миллионы людей. В Нидерландской Индии времен Станюковича жило двадцать миллионов. В современной Индонезии — во семьдесят восемь. Шестьдесят из них населяют Яву. Нет, не такой была Ява моего детства. По ней запросто бродили слоны и тигры. Сегодня на Яве тигра легче всего встретить в зоопарке. Какие уж слоны на острове, где плотность населения выше, чем в большинстве европейских стран.

Возникает вопрос: почему же надо продолжать жить на перенаселенной Яве, страдать от тесноты и безработицы, когда рядом столько слабонаселенных и неосвоенных земель, тропическая целина, ждущая людей, которые поднимут ее, чтобы собрать богатый урожай? Рядом Суматра с ее огромными запасами нефти, плодороднейшие земли Калимантана. Я задаю себе вопрос: почему люди не снимаются с насиженных мест и не устремляются на северные просторы? Создала ли августовская революция 1945 года, освободившая народы Индонезии от колониального рабства, все необходимые предпосылки для развития техники? Об этом судить не мне. Знаю только, что национальное освобождение — залог решительного изменения в условиях существования многомиллионных масс. Изменения эти могут произойти в результате создания собственной индустрии и преобразований, делающих труд продуктивнее, а распределение — справедливее.

Понимают ли это в Индонезии? Народ понимает.

(Скоро пять часов. Сегодня на посещение кораблей населением отведено всего три часа — от пяти до восьми. Воображаю, что сейчас там творится...)

Понимают ли это политические деятели? Понимают, но по-разному. Экономика Индонезии напряжена, внутривнутриполитическая ситуация сложная.

И вот тут-то и появляется иностранный экспортер. Ему надо сбыть излишки залежавшихся товаров, и он не торопит с уплатой. Подобно флоберовскому коробейнику Лере, он умело раскидывает свой товар. Сначала власть его неощутима...

Когда-то «Hôtel des Indes» был постоянной резиденцией экспортеров. С тех пор как отель из сэтльмента стал обычной гостиницей, многие из вчерашних завсегдатаев предпочитают жить при своих посольствах. Кстати, там свои «движки» — душ и «кондишенд эйр» во всякое время...

Есть в Индонезии люди, хорошо знающие, что подлинная независимость — в создании собственной индустрии. Их много, и они пользуются влиянием. Эти люди — индонезийские коммунисты.

На прощальном приеме, происходившем на юте «Адмирала Сеня-

вина», я видел руководителей Индонезийской компартии. Великолепные люди, бодрые, веселые, сердечные. Все молодые. За этими людьми полтора миллиона членов партии и несколько миллионов избирателей.

Радостно знать, что за экватором так много коммунистически мыслящих людей. Лишнее доказательство того, что коммунизм — идея всемирная.

Прощальный прием меньше похож на все прочие приемы, он как-то тише и интимнее. У всех появилось много новых знакомых, и никого не надо развлекать.

* * *

Прощаемся с Индонезией, Явой, Джакартой, Танджонг Приоком...

Подъем в 5.00. В семь часов на стенке уже стоит индонезийский военный оркестр и почетный караул. Кроме полиции в белых шлемах, к кораблям допущено только несколько портовых рабочих, чтобы помочь сняться со швартовов. За оградой, как всегда, толпа. Машут руками, поднимают над головами детей...

В девятом часу приезжает посол. Затем подъехали автобусы, из которых высыпало все советское землячество с букетами тропических цветов. Поднимаются на корабль. Никакого митинга, непринужденное прощание с друзьями. На душе тепло и грустновато. Все немножко устали. Нет сил продолжать это напряженное, почти лишенное сна существование, и в то же время не хочется уходить.

Приезжает Мартадината со свитой. Оркестры исполняют оба гимна. Затем все провожающие сходят, трап втаскивают на корабль. В наступившей тишине раздается звук, похожий на журчание талой воды, — первые осторожные обороты винта. Узкая щель между бортом и стеной делается шире. Все — на борту и на пристани — машут руками, букетами, фуражками. В самом конце пристани, там, где она обрывается, стоит Ольга Ивановна и показывает, что обнимает нас всех...

Разворачиваемся. Слева остаются ярко окрашенные доки, справа нежно-зеленая вода, в которой покачиваются бамбуковые беседки-ловушки. Рядом с нами бежит лоцманский катер, на нем трое полуголых матросов и элегантная седая жена лоцмана в темных защитных очках. Она стоит по-моряцки, ни за что не держась, заложив руки за спину. Перед тем как прибавить ход — остановка. Старый лоцман сходит с корабля на катер. «Сарваджала» еще некоторое время сопровождает нас. Я и не заметил, что не было орудийного салюта. Оказывается, к общему удовольствию договорились не палить. Ах, если б можно было договориться об этом со всеми, навсегда и на все случаи жизни!

Проходим мимо стоящих на рейде судов, местных и пришедших издалека. Нас приветствуют отовсюду. На некой «Белле» (порт Панама) матрос стоит на самом форштевне — как только не свалится!

Танджонг Приока уже не видно ..

* * *

На этом поход не закончился. Еще целых десять суток мы шли знакомой читателю океанской дорогой, видели играющих китов и летающих рыб, немножко штормовали, трудились и развлекались, жили дружно, хотя нередко спорили, — и каждый вечер я записывал в дневнике хотя бы несколько строчек. Но визит уже состоялся, цель похода достигнута, и надо вовремя поставить точку.

Время бежит, жизнь движется вперед — я пишу эти строки в шестидесятом году, уже после поездки Н. С. Хрущева в страны Азии. Значение этой поездки для укрепления дружбы между народами СССР и Индонезии не надо разъяснять. Визит тихоокеанских кораблей был только прелюдией.

Передо мной лежат привезенные с Явы сувениры. Они стали домашними реликвиями. Внутри кокосового ореха еще плещется молоко, а внутри раковины шумит море. Достаточно приложить ее к уху, чтоб услышать шум волн. Этот шум напоминает мне о нашем походе, о далекой Яве. Теперь я с совсем другим чувством, чем до похода, читаю каждую газетную строчку об Индонезии. Я радуюсь каждому сообщению, свидетельствующему о победе планового начала в национальной экономике, об укреплении связей со странами социалистического лагеря. Прочитанное становится зримым и объемным, все, что я знаю и помню об Индонезии, я знаю и помню теперь не только головой, но и сердцем...

Здесь я должен сделать еще одно — последнее — отступление. Несколько лет назад редакция газеты переслала мне письмо трех ленинградских врачей по поводу моей статьи о драматическом конфликте. Не касаясь поднятых в статье вопросов, авторы письма выражали крайнее возмущение выражением «болезнь, загнанная внутрь». С их точки зрения, так выразиться мог только закоренелый невежда. Они жаждали пригвоздить меня к позорному столбу. Письмо было грубое, и я на него не ответил.

Да, я знаю, что болезни не загоняют внутрь, что кровь не стынет в жилах, что памятью ведает головной мозг, а сердце не замирает от любви. Я знаю, что Большой театр — небольшое здание в центре Москвы, но от этого он не перестает для меня быть Большим театром, и на мой вкус это понятие более емкое, чем, скажем, «академический театр оперы и балета».

Я живу на шестом этаже большого дома. Мои окна выходят на набережную. С ранней весны до поздней осени мимо моих окон идут корабли и баржи. В нашем доме светлая лестница, выходящая окнами в сад. Каждое утро я спускаюсь по этой лестнице. Чтоб в любой момент знать пройденный путь, есть два верных способа. Первый — смотреть на квартирную нумерацию. Вижу цифру «65» и знаю — третий этаж, ровно полпути. И есть другой способ — взглянуть в окно. Тогда я вижу землю, белую от снега или зеленеющую травой, вижу ветви — голые или покрытые листвой, вижу играющих в саду детей... Я пользуюсь обоими способами, но предпочитаю смотреть в окно.

Я видел Индонезию своими глазами, и теперь она у меня в сердце.



ЖУБАИЩИСТИКА

П. МАСЛОВ

Доктор экономических наук

★

ВРЕМЯ В БЫТУ

1

Время... Всегда ли мы умеем правильно распорядиться им? Работа на производстве требует рационального и наиболее производительного использования времени. Если рабочий производит продукции, скажем, в среднем на тысячу рублей в день, то одна минута его простоя обходится государству примерно в два рубля. Допустим, в цехе пятьсот человек, тогда при поточном производстве одна минута простоя стоит тысячу рублей, две минуты за смену — две тысячи рублей. Понятно, что проблема экономии времени приобретает особое значение на любом нашем предприятии. Она становится государственным, общенародным делом.

А дома? Дома обычно не считают ни минуты, ни часы.

Для потерь времени характерна их невосполнимость. Уходит пустой час, и ваш жизненный фонд уменьшается на эту долю. Запасных часов нет, вы безнадежно утратили кусочек жизни. Разве не правильным будет сказать, что самое драгоценное достояние человека — время?

Для нас досуг — это возможность использовать время по своему усмотрению. Однако «время на дудку не идет», как говорит пословица, и организация досуга целиком зависит от бытовых условий. Значит, регулируя эти условия, мы сможем расширить границы для распоряжения ресурсами свободного времени. Не есть ли это своеобразная победа над неумолимым властелином?

2

Годовой фонд времени у каждого из нас — 8 760 часов. Сделаем такой расчет: триста шестьдесят пять дней в году минус двенадцать дней отпуска, минус сто четыре выходных, минус пять праздников, получается двести сорок четыре рабочих дня. По семи часов в день это составляет 1 708 рабочих часов. Таким образом, при двух выходных днях в неделю и семичасовом рабочем дне работник сможет проводить вне производства восемьдесят процентов времени. Изменения в структуре суток в связи с переходом на пятидневную рабочую неделю представляются в таком виде (в процентах к итогу):

	Работа	Досуг	Сон
При восьмичасовом рабочем дне и одном выходном дне за неделю	25	46	29
При семичасовом рабочем дне и двух выходных днях за неделю	20	51	29

Примерно так будет складываться бюджет нашего времени в течение ближайших лет. Его, если можно так выразиться, перемонтировка неизбежно вызовет ряд проблем. Остановимся на некоторых из них.

Природа отдельных затрат времени различна. Продолжительность работы на предприятии устанавливается законодательным путем, часы, необходимые для сна, определяются требованиями физиологии, время на дорогу зависит от местожительства и т. п. Таким образом, сразу же обнаруживается весьма важная для каждого человека взаимосвязь двух компонентов — продолжительности пребывания дома и времени в пути. Вот вам и первая проблема. Расселение людей в новых кварталах крупных городов часто производится без всякого учета места работы вселяемых. Длинная дорога не только является серьезной потерей времени, но и утомляет, снижая производительность труда. Очевидно, в ближайшем будущем, по мере удовлетворения населения жильем, надо будет поставить вопрос о свободном обмене жилищными площадями и тем приблизить жительство трудящихся к месту их работы.

Механический транспорт намного удлинил сумму человеческих жизней, если считать «жизнью» рационально используемое время. Но достигнут ли здесь предел? Нет, не достигнут. Ускорение передвижения, ликвидация «пробок» на городских улицах, особенно в часы пик, устройство наземных и подземных переходов, разумное, а не стихийное направление потока людей и транспорта — все это значительные резервы времени, которые мы еще не используем в полную меру.

Существенное значение имеет также и правильная организация транспорта. В тех случаях, когда нет возможности расселить работников близ предприятия, очень важно организовать их доставку к месту работы. Затруднения же финансового порядка можно преодолеть, может быть, вычитая из заработной платы рабочих и служащих, пользующихся транспортом, какую-нибудь незначительную сумму.

Огромной важности проблема — всяческое облегчение домашнего труда.

Вопрос о домашней работе более сложен, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что какое-то время должно быть уделено домашним делам даже у одиночек, и вопрос здесь сводится к дозировке этих непроизводительных, но неизбежных затрат времени. У членов семьи всегда имеется известное разделение труда, то есть некоторая семейная кооперация. Можно прямо сказать, что если кто-либо из членов семьи может уделять время полезным занятиям или развлечениям, то, очевидно, кто-то из других членов семьи выполняет за него работу по дому. Обычно это судьба женщин, особенно пожилых.

У семейной работницы время, потраченное на домашнее хозяйство и на уход за детьми, составляет сейчас от трех до пяти часов. Практически это означает непомерное продолжение трудового процесса. Семь часов работы на заводе, да часа четыре — дома, выходит одиннадцатичасовой рабочий день. Добавьте сюда, допустим, два часа на дорогу в оба конца, как это нередко бывает, остается одиннадцать часов, из которых семь-восемь часов займет сон. Громадная затрата времени!

Помножьте эти величины на миллионы — количество женщин, занятых в производстве, — получится число, которое и не выговоришь. Все это, конечно, не чистые потери, так как общество получает пользу от затрат времени на домашнюю работу, но каждому ясно, что эти затраты непроизводительны, что время здесь тратят почти так, как было и тысячу лет назад. К этому факту нельзя относиться с философским равнодушием, с грустной улыбкой, ограничиваться пожатием плеч.

В программе дальнейшего роста благосостояния советского народа Коммунистическая партия предусматривает многое, что заметно улучшит бытовые условия рабочих и служащих. «Нужно позаботиться и о том, чтобы всемерно облегчать труд женщин в домашнем хозяйстве», — говорил Н. С. Хрущев. — А для этого следует больше строить детских яслей, детских садов, школ-интернатов, столовых, прачечных и других культурно-бытовых учреждений».

Потребности людей — это не просто нужда в чем-либо. Потребность возникает в процессе жизненной деятельности человека, она связана с условиями общественной жизни, и — что особенно важно — носит осознанный характер. Решающее влияние на развитие личности, а следовательно, и общества оказывают духовные потребности. Чем ближе к коммунизму, тем шире их круг и тем они настоятельнее. «Время разум дает», гласит народная мудрость. Как неотложную задачу надо рассматривать сейчас резкое сокращение непроизводительных потерь времени и увеличение полезного досуга людей.

Справедливости ради надо сказать, что во многих случаях такие потери обусловлены не только житейскими условиями, но являются следствием несознательного и небрежного отношения человека к своему фонду времени. Расточители времени иногда считают себя «широкой натурой». Но такая «широта натуры» и расхлябанность — синонимы.

3

Что значит экономно тратить время? Это значит беречь каждый кусочек жизни. Величайшая скупость здесь вполне оправдана. Транжир и мот своего времени часто губит заложенные в нем природные таланты. Вспомните чеховский рассказ «Талант». Это грустная и по-чеховски беспощадно трезвая история. «Коллеги, все трое, как волки в клетке, шагают по комнате из угла в угол. Они без умолку говорят, говорят искренно, горячо; все трое возбуждены, вдохновлены. Если послушать их, то в их руках будущее, известность, деньги. И ни одному из них не приходит в голову, что время идет, жизнь со дня на день близится к закату, хлеба чужого съедено много, а еще ничего не сделано...»

Наш советский труженик прекрасно понимает, что разумно организованный досуг приносит пользу и работнику и обществу, что время — знание, а знание — сила. Правильный досуг повышает производительность труда. Увеличение свободного времени дает возможность соединить труд с образованием, расширить кругозор, удовлетворить духовные потребности.

Очевидно, что у каждого члена советского общества будет больше фонд времени для самосовершенствования, если станут более эффективными услуги, которые оказывает населению государство.

Часть этих услуг входит в сферу советской торговли и осуществляется ее сетью (общественное питание, мастерские по шитью и ремонту), часть относится к жилищному и коммунальному хозяйству. Услуги распылены между ведомствами. Дело это должно непрерывно совершенствоваться, и решающую роль здесь призван сыграть общественный контроль.

В тридцатых годах у нас действовали КОТНИБЫ (комиссии оздоровления труда и быта). В те времена в их деятельности было много маниловщины, но по идее такие общественные начинания и тогда были прогрессивны. Думается, что в той или иной форме такого рода массовые организации следовало бы возродить.

Партия и правительство наметили в ближайшее время резко увеличить сеть детских учреждений. Так будет решен этот безотлагательный вопрос нашей жизни. Первейшее значение здесь имеет воспитание детей в коллективе. Вместе с тем детские учреждения являются действенным средством облегчения труда женщины. Важно при этом правильно размещать детские сады и ясли. Часто их организуют предприятия, что не всегда удобно для родителей. По-видимому, целесообразно размещать детские учреждения по тому же принципу, что и школы, то есть по территориальному признаку. Это сильно сократит рейсы и детей и сопровождающих их.

Нет сомнения, что со временем пионерские лагеря будут попросту перемещение младших классов за город. То, что пионерские лагеря сейчас формируются предприятиями и учреждениями, причем каждому на свой лад, объясняется их нехваткой: ведь привилегированное положение детей, попадающих в лагерь, в большинстве случаев объясняется удачным стечением обстоятельств. В самом деле, например, гардеробщица в министерстве может отправить ребенка в лагерь, а гардеробщица в кинотеатре лишена этой возможности по той простой причине, что в этом учреждении нет своего лагеря. Чтобы весь комплекс детских учреждений — ясли, сады, школы, интернаты, клубы и пионерские лагеря — лучше, полнее обслуживал население, нужно усилить влияние на него общественных организаций.

Решительно и организованно помочь матерям высвободить часть времени, занятого уходом за детьми, — важная задача. Что греха таить, есть у нас родители, которые предпочитают мешанскую «семейную автарию» и изоляцию детей от коллектива. Дело, конечно, вкуса, но о хорошем вкусе такая точка зрения не свидетельствует. О здравом смысле тоже.

Многие матери не знают, куда девать своих малышей во время отпуска. Для некоторых женщин эта проблема неразрешима, и они отказываются от санаторного лечения. В Сочи есть санаторий «Мать и дитя», где могут отдыхать матери с детьми, таких здравниц надо открыть побольше. Но ведь вполне возможно создавать специальные детские дома, куда можно было бы помешать детей на время отпуска родителей. Над этим следует поразмыслить органам здравоохранения и профсоюзам.

В бюджете времени значительное место занимают те часы, которые люди тратят на приготовление пищи и связанные с этим хождения по магазинам и рынкам.

Слов нет, резкие сдвиги произошли в улучшении работы предприятий общественного питания. Вспомните те, не столь уж отдаленные времена, когда хороший обед можно было получить лишь в ресторанах или дорогих столовых, когда в «кафе» кофе и не пахло, когда полуфабрикаты были недоступны и в буфетах отсутствовали холодильники. Все это осталось позади. Особенно много партийные и советские органы стали уделять внимания общественному питанию после известного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальнейшем развитии этого дела. Возникли тысячи новых столовых, «забегаловки» были заменены приличными закусочными, широко развернулась сеть автоматов. Резко улучшился ассортимент блюд, упорядочилось обслуживание.

И все же факты показывают, что, как бы ни расширялась сеть общественного питания, она не разрешает полностью проблемы экономии времени трудящегося человека. Почему? Да просто потому, что семьи не хотят ходить все время по столовым. Они предпочитают обедать в кругу родных. Это естественная, веками сложившаяся традиция, с которой надо считаться при организации общественного питания. Следовательно, речь идет о создании в столовых соответствующей обстановки, имея в виду домашний уют и опрятность, удобное расположение мебели и так далее.

Нет сомнения, что видное место в нашем быту может занять система домовых кухонь. Об этом уже не раз говорилось в нашей печати, в частности в полезной статье профессора И. Ю. Писарева («Новый мир» № 6 за 1959 год). Дело это у нас новое, в стране сейчас таких кухонь имеется еще очень мало, но по всему видно, что их работа — верный путь экономии времени советской женщины.

Надо сильно расширить торговлю полуфабрикатами и готовыми блюдами в замороженном виде, улучшить организацию предварительных заказов. Уже появился ценный почин — стол заказов на предприятии. В этом случае работник вообще может не ходить в магазин, в обеденный перерыв он заказывает продукты, а после работы их получает. Еще лучше было бы принимать заказы прямо на дому, причем не только продуктов питания, но и предметов широкого потребления, скажем, галантереи, парфюмерии, хозяйственных вещей.

Все это далеко не частный вопрос, не мелочи. Сотни миллионов часов будут сохранены для народного хозяйства. А как уменьшится число посетителей в магазинах, насколько будет сэкономлена площадь торговых помещений! И ведь требуется-то немного — больше поворотливости торговых работников.

Несколько слов о бытовых приборах, машинах и механизмах. В капиталистических странах это домашнее «оборудование» приобретается обычно в рассрочку и поступает в собственность семьи — проявляется стремление по возможности изолировать свой внутренний мирок от внешнего окружения. У нас этого тяготения нет. Коммунальные квартиры — наше зло, и мы его изживем. Но нет худа без добра: они привили коллективистические навыки в быту, и это значительно упрощает вопрос о рациональном использовании бытовых машин и приспособлений. В самом деле, если холодильник нужен действительно отдельной семье, то стиральная машина, электрополотер и пылесос могут быть общими. В наших условиях возможно применение бытовых машин группами семей, живущих в одном доме или рабочем поселке. Это сильно упрощает проблему их приобретения.

Хочется особо остановиться на таком биче нашего быта, как стирка. Право, нет большего зла в доме! Тяжелое, изнурительное это дело до сих пор лежит на совести организаторов бытовых условий. А что делается, когда в семье грудные дети и женщина сама превращается в стиральную машину?!

Можно живо представить себе весьма реальную картину. Роженица возвращается домой и находит на столе картонную коробку с набором чистых пеленок, предусмотрительно доставленных ей магазином по заказу родильного дома. Она бросает в картонку грязные пеленки, и взамен ей приносят новый комплект. Могут ли быть у нас такие государственные услуги? Конечно. Однако для этого нужно решительно перестроить всю систему прачечного обслуживания населения. Ведь вот что происходит, например, в Москве. В городе с пятимиллионным населением всего пятьдесят три прачечные. В сутки они пропускают около полутора тонн белья, причем только две с половиной тонны (один грузовик!) принимается на дому и доставляется обратно заказчиком. Прачечные стирают главным образом для учреждений, обслуживая менее десяти процентов населения столицы. Если построить еще шесть-семь крупных механизированных прачечных, то и в этом случае они смогут обслужить не более четверти москвичей.

Ясно, что быстрое решение вопроса нужно искать и в других направлениях. Жизнь подсказала такое решение — это домовые прачечные.

Одна такая прачечная находится в Москве, на Ленинском проспекте, в доме № 37. Ее оборудование состоит из двух больших стиральных машин, двух машин для выжимания белья, сушильного шкафа и электроутюгов. Есть домовая прачечная и в Хавско-Шаболовском переулке, в доме № 17. Ежедневно здесь бывает не менее восьмидесяти (!) хозяек. В их распоряжении находятся стиральные машины, центрифуги для выжимания белья, сушилки и, что очень важно, гладильные барабаны. Стирка идет гораздо быстрее, чем дома, и квартиры полностью освобождены от этой операции.

Хорошее это дело — домовые прачечные. Ему бы шириться и крепнуть в нашем быту. Но вот беда: нет интереса к этому начинанию со стороны строительных организаций. А отсюда и следствие: в сданных в эксплуатацию за последние три года новых многоквартирных домах в Москве только в десяти предусмотрены домовые прачечные, причем лишь две из них расположены в отдельно стоящих строениях, где можно поставить мощные механизмы. Еще хуже в других городах.

Прачечные узлы надо проектировать либо в крупных жилых массивах, либо в каждом квартале. Это необходимо и вполне возможно. В дальнейшем, когда будет усовершенствован коммунальный «сервис», нужда в домовых прачечных, конечно, отпадет. Приедет фургон, заберет вашу корзину с ношеным бельем, а в положенный срок доставит чистое.

Когда речь идет об экономии общественного времени, нельзя не упомянуть о еще одном виде бытового обслуживания. Это прокат инвентаря — дело, у нас еще только-только осваиваемое, но, бесспорно, многообещающее.

На пунктах проката (почему-то названных «ателье») можно взять в аренду разные бытовые приборы. Например, прокатный пункт в 3-м Сокольническом переулке, дом № 41 (Москва), имеет двадцать холодильников, столько же стиральных машин, полсотни швейных машин, пылесосы, механические полотеры и многое другое. Но стоимость проката высока. Прокат холодильника много дороже проката пианино. За пылесос берут четыре рубля в сутки. Срок аренды ограничен, и это создает неудобства. Кроме того, нет доставки на дом и обратно, а самому перетаскивать громоздкие вещи трудно. Непродуманность организации полезного дела приводит к тому, что прокатные пункты работают вяло и не пользуются популярностью у населения. В последние годы у нас заметно повысилась культура торговли. Обилие товаров, разнообразный ассортимент, густая сеть магазинов, торговля вразнос, торговля в рассрочку, автоматы, тщательное изучение запросов потребителя сыграли свою роль в нашем быту. Тем обиднее за такой отсталый участок, каким оказался прокат хозяйственной утвари.

По-видимому, наиболее разумно было бы организовать прокат бытовых предметов так. При домоуправлении создается прокатный пункт, работающий на хозрасчете. В этом случае вещи в аренду жильцам можно давать на очень короткий срок, буквально на несколько часов, по мере надобности. Тогда и оплата услуг будет совсем низкой, а использование инвентаря весьма эффективным. Надо только сделать так, чтобы в прокатном пункте, кроме вещей, о которых говорилось выше, можно было взять и электроутюг, и чайный или столовый сервиз, и радио, и «раскладушку», и многое другое, что подчас так нужно иметь под рукой хозяйке.

Повторяю, все это отнюдь не пустяки. Простые арифметические подсчеты доказывают, что пришла очередь вплотную заняться ликвидацией самых элементарных неустройств нашего быта. Отставать в этом отношении от зарубежных стран нам, право, не к лицу!

4

А вот теперь о «мелочах».

Тысячи мелочей отнимают крошечные кусочки полезного времени. Каждый, подумав, может их заметить вокруг себя. Вот примеры. Вы подходите к кассе магазина, к окошечку бюро пропусков, к продавщице марок на почте. Переговариваться с работником приходится или через стекло или нагнувшись к крошечному отверстию, повторяя несколько раз то, что вам нужно, так как собеседнику плохо слышно. Мелочь? Да, а проследите-ка за всей суммой последствий, которые эта мелочь влечет за собой!..

Вы сдасте порошковые бутылки и банки («тару»), и у вас требуют обязательно чисто вымытую посуду. Зачем? Ведь ясно, что последующая механизированная мойка гораздо целесообразнее мытья дома.

В одном конце прилавка скопился народ, но стоящие без дела рядом продавцы не могут помочь своему собрату. Это объясняется «индивидуальной материальной ответственностью». Между тем любой продавец имеет свободный доступ к товарам, за которые отвечает сосед.

В Подмоскowie у многих жителей кухни работают на привозном газе в баллонах. Однако хозяйки пользуются примусом и электроплитками. Почему? Ведь газ дешевле. Оказывается, доставка баллона стоит много дороже его содержимого, а для получения баллона нужно потерять полдня (рабочего, так как газовый завод работает до семнадцати часов). Далее. В оформлении обмена пустого баллона на заполненный участвуют десять человек на заводе и столько же в районной приходной кассе, затем в банке.

Сколько времени граждане тратят на оплату коммунальных счетов, сколько ненужного аппарата связано с оформлением этих оплат! Разве не проще было бы все счета сдавать по месту работы? Легко прикинуть: пятьдесят миллионов рабочих и служащих или членов их семей тратят не менее двух часов в месяц на эти оплаты. Это сто миллионов часов в месяц, другими словами, двенадцать с половиной миллионов рабочих дней — феноменальная величина бессмысленных потерь.

Если подбирать мелочные недостатки как бы с микроскопом в руках, то в поле зрения попадет пестрая паутина ненужных затрат времени. Можно составить утомительно длинный реестр всяких неполадок, к которым мы пригляделись, но с которыми пора кончать, — сейчас, когда мы намерены выполнить семилетку досрочно, каждая капелька времени особенно дорога. Не будем заниматься здесь этим перечислением.

Наше общество не знает непобедимых привычек. Советский человек обязан дорожить временем, общественное сознание должно воспитывать гражданина с малых лет так, чтобы он считал, что не уметь ценить время так же неудобно, как и не уметь читать и писать. Искусство разумно организовать свой день приходит после того, как человек осознает всю неповторимость каждой минуты жизни и каждой минуты досуга.

5

Мы говорили о том, как экономить время, как увеличивать фонд свободного времени у советского человека. Теперь очень кратко и о том, как можно рационально пользоваться досугом.

Вернемся к расчетам. Мы установили, что при семичасовом рабочем дне более половины фонда времени у нас будет свободным от работы, не считая сна.

Куда же девать свободное время?

Физический труд, которым занят наш промышленный рабочий, сегодня уже иной, чем был вчера, — мы все больше и больше перекладываем его на механизмы. И применителен тот факт, что нервное утомление часто стало превышать физическое. Это соотношение должно определять характер досуга.

В наших условиях, в силу свободы выбора профессии, труд требует не только выучки, но и некоторого дарования или хотя бы естественного предрасположения. У советского человека работа на первом месте не по количеству затрачиваемого труда, не по часовой стрелке, а по творческому к ней отношению, по заботам и помыслам. Индивидуальность в отношении к выполняемому труду вызывает и нужду в специфике отдыха. Каждый работает по-своему, по-своему устает и по-своему отдыхает. Однако в зависимости от характера работы должен отличаться по своему качеству и отдых.

У любого здорового человека появляется потребность чередовать физическую работу с умственной: после умственного труда заняться физическим или наоборот. Без такой обоюдной компенсации в области трудовой деятельности организм быстро дряхлеет, и клетки перерождаются. О физической работе еще Плутарх сказал: «Кто не трудится, желая сохранить силы, подобен тому, кто решил молчать, желая укрепить и развить голос».

Утвердилось мнение, что в борьбе с утомляемостью лучшее средство — спорт, гимнастика. Это правильно, однако практически не всегда осуществимо. Как правило, пожилые и даже люди среднего возраста о занятиях спортом и слышать не хотят, сколько их ни агитируй.

На мой взгляд, есть очень привлекательный вид занятий в часы досуга. Это сельский труд во всех его разновидностях. По-видимому, можно сделать отличнейшее дело — на берегах рек и озер, повсюду, где это возможно, на лоне природы разбить кооперативные сады, соорудить пансионаты. Здесь могут возникнуть известные трудности, прежде всего транспортного порядка, — ведь садовые участки мыслятся вдали от городских центров. Возникнет проблема времени: когда заниматься садоводством или огородничеством трудящемуся человеку?

По-моему, проблему времени можно было бы решить таким образом. В интересах лучшей организации досуга, его наибольшей отдачи и эффективности следовало бы пересмотреть календарное распыление дней отдыха. Разве не удобнее будет для рабочего и служащего, если его свободное от работы время соединится в виде нескольких дней подряд? Для производства это тоже может иметь свой смысл. А для здоровья? Здесь у гигиенистов нет разногласий.

Удлиненный отдых, к тому же рационально организованный, лучше, нежели прерываемый, действует на нервную систему человека, позволяет быстрее восстанавливать силы. Представьте себе человека, проработавшего подряд десять дней по семи часов. Это семьдесят часов, или две тридцатипятичасовые недели. Если он после этого получает подряд четыре или пять выходных дней, это лучше, чем в среднем на каждые два дня работы один выходной. При таких продолжительных паузах в производственной работе возможно очень интенсивное занятие сельским хозяйством не только у себя на коллективных участках, но и в колхозах или совхозах — в тех случаях, когда есть нужда в рабочих руках.

6

У нас плановое начало ведаёт всей хозяйственной жизнью, указывает каждому участку предел и меру, управляет настоящим и предопределяет будущее развитие. Плановое начало должно найти и формы организации вне рабочего времени. Конечно, это не означает, что государство может регулировать времяпрепровождение отдельных граждан, речь идет о другом.

Как известно, баланс труда у нас составляется из двух частей — с одной стороны трудовые ресурсы, с другой — привлечение людей в отрасли материального производства и во нематериальную сферу. Но пора перейти просто от счета людей к точному счету и людей и времени. В самом деле, мы довольно точно планируем фонд рабочего времени на отдельных предприятиях. Он вытекает из календарного фонда дней за вычетом праздников, выходных дней и отпусков. Насколько рационально используется этот фонд, зависит от правильной организации труда и производства. Но заметим, что здесь обычно присутствует неточность, когда планируется фонд рабочего времени без учета состава рабочих. Всем известно, что в среднем число рабочих дней у женщин меньше, чем у мужчин, так как часть года уходит на детей. Например, на

текстильном предприятии, как правило, число рабочих дней в среднем на одного работающего меньше, чем на металлургическом заводе. Между тем, эта «деталь» не принимается в соображение даже при планировании работы отдельного предприятия. А далее, за пределами предприятия, планирования времени вообще нет, планируется потребная численность рабочих в районе, области и республике. И делается это путем составления баланса труда, где единицей счета служит человек, — безотносительно, мужчина это или женщина.

Надо, чтобы единицей в таких балансовых расчетах был не человек, а календарный день, а еще точнее — календарный час. Тогда неизбежно весь баланс предстанет уже не как баланс труда в собственном смысле этого слова, а как баланс жизненного фонда в часах, где приблизительно половина пойдет на работу в производстве, около 30 процентов уйдет на физиологический расход времени (сон), а остальной фонд должен будет распределяться по разным статьям в зависимости от возраста, пола, семейного положения, условий расселения. Могут сказать: позвольте, это слишком сложно, и где исходные материалы? Сложностей нам нечего бояться — мы располагаем мощными электронными вычислительными машинами, которые мгновенно произведут все нужные расчеты на основе заранее заданной программы. Что касается исходных данных, то материалы недавно проведенной переписи населения здесь исчерпывают вопрос.

Если встать на этот новый путь и подсчитать для огромных человеческих масс весь годовой фонд в часах (можно и не только годовой, но и семилетний, с учетом естественной убыли и переходов из младших возрастных групп), то сразу выявятся и суммарные величины досуга у разных категорий населения. Тогда можно точно, с циркулем и линейкой планировать все то, что относится к организации разумного досуга, со всеми вариантами, связанными с возрастом, категорией населения и разнообразием личных склонностей.

Человеческое время требует учета в масштабе государства, района, предприятия и семьи. Без строгого точного счета получится нередко так, что намеченная планом работа проводится нецелесообразно и в значительной мере самочинно отдельными местными органами и предприятиями. Возьмем высшие учебные заведения. Часто бывает так, что преподаватель задает на дом по своему предмету задания, совершенно не считаясь с заданиями по другим учебным дисциплинам. Проверки показали, что если студент будет только попросту читать все то, что с него требуют, то для этого нужно ежедневно тридцать и более часов. Студенты в таких случаях это быстро устанавливают и перестают читать дома вообще. Некоторые институты из осторожности проводили специальные анкетные исследования бюджетов времени, другие эмпирически, ощупью устанавливали дозировки домашних занятий. Но здесь речь идет о производственном времени, так как самостоятельная работа студента дома служит продолжением учебных занятий.

На предприятиях домашним времяпрепровождением никто не интересуется. Правда, в самое последнее время усилился интерес к бюджету времени рабочих. Центральное статистическое управление РСФСР предприняло специальные наблюдения через свою сеть бюджетной статистики. Такие же наблюдения были сделаны Сибирским отделением Академии наук СССР и Научно-исследовательским институтом труда. Эти исследования во многом смогут помочь уточнить балансовые расчеты, о которых мы здесь говорим.

Если составить баланс времени для крупных коллективов, то из него автоматически будут вытекать выводы, подсказывающие и предприятиям и общественным организациям те пути, которые следует избирать для использования досуга в интересах советского общества и отдельных его членов. Нет сомнений, что работа плановых органов в этом направлении будет содействовать в первую очередь повышению производительности труда, ибо организация досуга — это не только организация подготовки к следующему рабочему дню, но и повышение культурного уровня, а следовательно, и квалификации рабочих и служащих.

Составление баланса фондов времени неизбежно поставит ряд вопросов, важных для перспективных планов. Вот пример, связанный с передвижением возрастных групп: выход на пенсию престарелых означает образование громадного непроеизводительного

фонда времени, выражающегося в миллиардах часов. Считать ли эти часы чистой потерей для общества? Нет ли возможности практически использовать эти громадные резервы времени?

Надо сказать, что слово «престарелый» — термин чересчур общий и двусмысленный. Формально это пятьдесят пять — шестьдесят лет, но для одних это дряхлость, для других — полнота жизненных сил. Все зависит от условий, в первую очередь от общественных условий, определяющих занятость престарелых. Найти занятие для пенсионеров — важная и общественная и личная проблема. Известно, что при бездействии человек умирает раньше, чем наступает его физическая смерть. Увлекательное занятие продлевает жизнь.

Естественное призвание бабушек — участвовать в воспитании внуков. В дошкольных учреждениях на двух детей требуется один работник (при круглосуточном дежурстве). Они составляют большую армию. Разве не могли бы здесь найти себе разумное и полезное дело выходящие на пенсию женщины?

В равной мере может быть поставлен вопрос о перераспределении фонда времени мужчин-пенсионеров. Несомненно, что громадные фонды в виде досуга пенсионеров надо использовать рационально, может быть и прибегнув к пересмотру существующих правил о порядке получения пенсий. Вероятно, нетрудно будет доказать, что государственному бюджету будет значительно выгоднее разрешить заработки в пределах полупенсии (при ее сохранении) и направить бесчисленные кадры пенсионеров в управдомы, сторожа, регулировщики, в торговлю и так далее, высвободив оттуда массу цветущих мужчин, могущих найти применение в материальном производстве (в частности, заменив женщин на тяжелых дорожных и строительных работах).

Помимо этих примеров, можно привести и другие. Во всяком случае ясно, что баланс фондов времени открывает широкие возможности для точного расчета трудовых ресурсов во всех отраслях производства.

В разных местах, под разными широтами, на необъятном пространстве, где раскинулась советская земля, наш народ творит новую культуру. Это происходит не только на предприятиях, но и в быту — дома и в общежитиях, в городах и деревнях, в старых поселениях и на новостройках. Задача заключается в том, чтобы всячески облегчить эту созидательную работу.

Правильную организацию вне рабочего времени надо рассматривать как важную народнохозяйственную задачу, вытекающую из намеченного семилеткой сокращения рабочей недели. Самая короткая рабочая неделя требует самой рациональной организации досуга.



В М И Р Е Н А У К И

ЮРИЙ ВЕБЕР

★

БОЛЬШОЙ ПОИСК

(Заметки с международного конгресса)

МАТЕМАТИКА ОЖИДАНИЙ

Телефонные звонки:
— Ты был на конгрессе? Ну как, пишут уже машины стихи, играют в шахматы? Скоро будет электронный чемпион?

-- Ну как там с размножением машин? Угроза их нашествия...

Первые вопросы, которые почему-то всегда возникают у так называемых любителей кибернетики. Вероятно, есть что-то раздражающе притягательное в том, чтобы созерцать нечто себе подобное: либо по ординате вниз (обезьяна в клетке), либо по ординате вверх (иллюзорное кибернетическое существо). Изумление перед наукой подменяется простым желанием пощекотать нервы. При известном воображении крайние следствия можно вывести из любой науки, основываясь на рассуждениях о том, «что в принципе возможно» (а что только в принципе не возможно?). И эта любительская игра в очеловеченные машины, в машины, берущие власть над обществом, заслоняет, к сожалению, от многих то подлинно живое и трепетное, что происходит сейчас в научных исканиях.

Первый международный конгресс по автоматическому управлению, собравшийся летом этого года в Московском университете на Ленинских горах... «Конгресс по кибернетике?» — тотчас спросили любители. Да, можно было бы назвать и так. Конгресс рассматривал вопросы, входящие в круг кибернетики, — «управление и связь в машине и живом организме», как определил ее Норберт Винер. Он и сам приехал на этот конгресс. И все же словами «автоматическое управление» конгресс наиболее верно оттенял свою цель, острин своих интересов. Бывает, одна простая перемена слов не то чтобы меняет существо предмета, но вдруг поворачивает его к нам другой стороной. При таком повороте всякие рассуждения об электронном мозге и сверхчеловеческом роботе оказались бы просто неуместными.

Кстати, и Норберт Винер ответил в дни конгресса на один такой любительский вопрос: в стремлении копировать человеческий мозг получилась бы слишком большая цепочка — программирование программирования, затем программирование программирования программирования... и т. д. И чем дальше, тем убедительнее будет проступать бесконечное превосходство живого над искусственным.

Прошел тот романтический период молодой науки, когда первые конструктивные решения оформлялись в образе живых существ: кибернетические «мышки» и «черпахи» служили как бы флагом новых представлений. Остались заложенные в этих игрушках основные принципы. Память, оформленная, скажем, в виде заблокированных реле или магнитной ленты. Обратная связь, получившая сейчас настолько всеобщее, сильнейшее значение, что символ ее стал эмблемой всей международной ученой федерации. Принципы остались и развиваются. Но внешнее подделывание под живое отброшено, так же как и построение первых механических автоматов восемнадцатого столетия в виде нашумевшего «железного человека».

Теперь все самое романтичное, перспективное в науке заключено в оболочку стандартных ящиков-блоков с набором электрических деталей. И все это называется системой автоматического управления. И даже не машиной. Потому что, как только вы произнесете это слово, вас тотчас же начнут допрашивать: «А что такое машина?» Математический расчет, регулярный метод, позволяющий вкладывать в эти блоки всю гамму различных способностей — от выполнения строго предписанной программы до способности обучаться, создавая на ходу новую, собственную программу,— вот что волнует по-настоящему исследователей кибернетических систем, составляя их трезвы наяву и темы обсуждений на конгрессе. Молодая область науки поистине переживает расцвет своего математического вооружения, и ожидания чудес выливаются тут в формулы «математического ожидания» (есть и такой термин!).

Вариационное исчисление, статистическая динамика, функциональный анализ, символическая логика... Весь арсенал современных математических теорий брошен на разработку законов автоматического управления. И недаром голос русской, советской школы математики так сильно прозвучал на этом многоязыковом конгрессе. Имена Колмогорова, Маркова, Лузина, Новикова, Понтрягина, Соболева и других наших выдающихся математиков не раз повторялись в разных докладах, на разных языках, упоминались в ссылках на источники. Советская математика оплодотворила за короткий срок немало кибернетических идей.

Не однажды можно было вспомнить на конгрессе известные меткие слова о том, что «нет ничего более практического, чем хорошая теория».

На языке формул и кривых происходил на конгрессе наиболее острый, захватывающий обмен мыслями. Даже вполне привычные вещи получали технико-математическое выражение. «Рука как замкнутая система с обратной связью», «Человек — нелинейная система»... И в этом строгом аналитическом подходе, за точной раскладкой всех свойств и всех средств выполнения, за их систематизацией и классификацией таился свой огонь. «Жар холодных чисел».

Достаточно побывать на одной из многочисленных секций конгресса, чтобы в этом убедиться.

ПО СТУПЕНЯМ ПОВЕДЕНИЯ

Секция теории самонастраивающихся систем. «Самое новое»,— объясняли одни. «Самое модное»,— считали нужным добавить другие. Во всяком случае, секция эта собирала в самой большой аудитории наиболее полный состав. Стояли иногда в проходах, в дверях, а один делегат, только что приехавший, с лакированными чемоданами, не найдя себе места, уселся прямо на пол. Даже студенты, сбегая с лекций, пробирались тайком на эти заседания. (Пусть пробираются! Может, кто-нибудь из этих пробравшихся и станет настоящим ученым.) Здесь разгорались споры и подлинные дискуссии, продолжавшиеся после в коридорах, да и докладчики отличались наступательным духом. А речь шла...

Каждый процесс управления (за исключением наипростейших) должен быть математически описан, чтобы его можно было автоматизировать. Формулы и уравнения дают возможность вывести способ управления процессом, или, как говорят, алгоритм. Все условия, в которых протекает процесс, все характеристики управляемого объекта и характеристики управляющих устройств, то есть все материалы, температуры, давления, скорости и все электрические катушки, конденсаторы, лампы, реле,— все выражается в виде переменных, иксов и игреков, а их величины — в виде коэффициентов. Уравнения отдельных узлов и уравнения связей между ними.

Получив такую полную информацию о процессе, ее можно перевести на язык двоичных чисел (да—нет или 1 и 0) и заложить в программу действий автоматической системы. Не пугайтесь, программа — это всего лишь какая-нибудь перфорированная лента, на которой узор дырок и «недырок» (1 и 0) подробно говорит системе, что и как ей надо делать. Чередование дырок и «недырок» вызывает чередование электрических импульсов — сигналы. С сигналами, собственно, и идет дальше вся игра. Их направляют то туда, то сюда, сортируют, сравнивают, подсчитывают, накапливают в памяти, преобразуют и усиливают, чтобы придать им в конце концов ту мощь, которая способна

двигать рычаги управления станков, печей, самолетов, счетных машин, подвижных протезов, кибернетических игрушек... Математика, увенчанная реальным действием, справляет свое торжество.

Но... Далеко не всякий процесс может быть точно, математически описан. Чем сложнее, ответственнее процесс, тем труднее учесть и рассчитать заранее все его условия. Классическая доменная плавка, насчитывающая более трехсот лет, и та находится во власти случайных, меняющихся, или, как говорят, нерегулируемых, величин. Кто может сказать заранее, какой точно факел будет в пламенной печи, отапливаемой сложными смесями, или какой будет точно ход процесса в аппаратах большой химии? Нет информации, как принято выражаться в кибернетике. Или, как говорят попросту: «Перед нами черный ящик».

Помехи, возмущения еще больше путают общую картину. Даже в простейший режим управления токарным станком могут ворваться в любой момент вибрации самого произвольного свойства. А попробуйте-ка вычислить все порывы ветра, которым может подвергнуться самолет, и вы убедитесь, что строго математическое описание многих процессов недоступно пока что даже самой умной голове.

Казалось бы, кризис автоматизации? Но нет, ученые разрешили его, применив обходный маневр. Они пошли в обход трудной математической проблемы. Если нельзя заранее все знать о процессе и записать в уравнениях, то пусть сама система узнает на ходу. И делает необходимые поправки.

По ступеням все более совершенного решения этой задачи поднимается наука автоматического управления. Первый шаг — система компенсации. Она следит за каждой помехой, измеряет ее и вносит в ход процесса поправку — компенсирует. Очень хорошо. Такие системы несут большую службу.

Но разных помех и возмущений бывает иногда десятки, сотни. Мы окружены сонмом помех, говорит кибернетика о нашей жизни. И если каждую учитывать, измерять, то в сложных, капризных процессах система обрстет таким роем измерительных аппаратов, что все преимущества автоматизации будут подавлены этой непомерной громоздкостью. А большинство помех и измерить-то нельзя.

Наука делает следующий шаг, привлекая к решению задачи великолепное средство — обратную связь. Могучий принцип приспособления всего живого к окружающим условиям. Почему же его не использовать и для приспособления автоматических систем? Посмотрите, что получается. Управляющее устройство действует на объект, которым оно управляет. А этот объект по цепи обратной связи действует в свою очередь на управляющее устройство. Или, как говорят, вход связан с выходом. Та самая замкнутая петля сигналов, которая позволяет, например, руке правильно ощупывать и хватать, глазам — рассматривать, автоматической системе — управлять своим объектом. И все это без того, чтобы заранее математически описывать или измерять каждую помеху.

Опять игра сигналов. Сигналы с выхода, говорящие о состоянии объекта в каждый данный момент, идут по цепи обратной связи на вход системы и здесь сравниваются с пачальными сигналами, изображающими предписанный режим. Сравнение производит релейное устройство. И в силу того, что релейные схемы и логические суждения подчиняются одинаковым законам, это устройство может делать умозаключения: «Если..., то...» Если сигнал с выхода под влиянием помех (безразлично каких!) не совпадает с входными сигналами, то положение объекта или ход процесса надо исправить. Это и есть логика кибернетических созданий, что приводит в священный трепет неосведомленных, а на самом деле осуществляется крайне просто, с помощью, скажем, двух последовательно соединенных реле. Другой блок (счетно-решающий) высчитывает, какая должна быть поправка, и задает ее в программу управления. Новые сигналы идут на объект. Снова объект сообщает по цепи обратной связи. Петля повторяется... По принципу «если..., то...» и работает большинство современных систем автоматического регулирования.

Наука не успокаивается. Ей уже не нравится, что в сложных случаях автоматическая система, получая с выхода сигналы об отклонении режима, не знает сама, в какую сторону сделать поправку. Куда идти? Приходится высчитывать с помощью мудреных

устройств и заново вводить программу. А если бы сама система смогла искать наилучшее положение? С этого вопроса и открылась новая страница автоматического управления.

Сама жизнь заставляет ставить такие вопросы. Новейшие тонкие процессы. Современная высотная авиация, меняющая за считанные секунды режим полета десятки раз. Ядерные реакции, протекающие в условиях полной к ним недоступности. Космические ракеты, преодолевающие гигантские пространства в неизученной внешней среде... Все требует новых решений, новых идей.

Так появляется новинка последних лет, словно приуроченная к международному конгрессу, — чтобы было о чем горячее спорить. Самонастраивающиеся системы, или, иначе, системы автоматического поиска. Еще крупный шаг в главном направлении — придать машине возможно большую свободу поведения. Принципы, заложенные в первых кибернетических игрушках, в «черепахах» и «мышках», расцвели, обогатились, приобрели реальную силу. «Мышки» и «черепахи» — это действительно детские игрушки в сравнении с тем, что могут совершать сегодня самонастраивающиеся системы, — и в качестве автопилотов, и наводчиков на цель, и управителей производством...

Самонастраивающаяся система не получает заранее жесткой программы управления. И не ждет, пока выход объекта сообщит ей о помехах. Она сама все время посылает в объект легкие, слабые возмущения, сдвигая преднамеренно его режим. Система совершает поиск. Чуть влево, чуть вправо... Пробует, как бы нащупывая. Объект отвечает по обратной связи на эти пробы: лучше — хуже. Независимо от того, становится ли это «лучше» или «хуже» от внешних помех или от самой пробы. Ну примерно так же, как мы настраиваем радиоприемник на волну станции сквозь все возмущения. Чуть влево, чуть вправо — яснее, глуше... и наконец устанавливаем на самой выгодной точке. Запомнив в своем устройстве памяти значение наилучшего, система сравнивает с ним результаты своих проб и узнает, куда ей идти, в каком направлении править. Она как бы видит кривую режима, по которой можно подняться к высшей точке наилучшего состояния. Для этого достаточно производить легкие сдвиги чуть вправо, чуть влево — действие, основанное только на двух положениях, стало быть вполне укладываемое в логику релейных схем.

Так, например, автоматическое устройство может подавать в металлургическую печь то чуть больше кислородно-воздушной смеси, то чуть меньше. Пробует! Прибор пирометр измеряет, какая при этом получается температура факела, — это и будет «выход системы». Сигналы о температуре с этого выхода идут обратно на вход, в управляющее устройство, и там сравниваются с сигналом, означающим нужную температуру. И система «видит» результаты своих проб: или чересчур горячо, или еще недостаточно. Значит, надо либо уменьшить, либо, напротив, добавить еще смеси. Система сама ищет и сама находит все время наилучший режим.

То же и самонастраивающийся автопилот. Он сам все время воздействует слегка на рули самолета, а сигналы от прибора, измеряющего, скажем, килевую качку машины («выход»), сообщают, есть ли ошибка в режиме полета и в какую сторону надо править, чтобы ее уменьшить. Автопилот приспосабливается ко всем капризам воздушного океана не хуже опытного летчика.

Кто сидел за рулем автомобиля, тот хорошо это знает: даже на прямой дороге приходится все время вести игру рулем — чуть вправо, чуть влево, — отвечая, может быть и бессознательно, на все неровности пути. Вероятно, в этой игре, в этом живом чувстве движения и заключается вся прелесть — веду машину! Руки сами, автоматически непрерывно ищут, совершая легчайшие пробы, — чуть вправо, чуть влево. А «выход» машины — ее бег вперед — как бы сигналил по обратной связи наших нервов: лучше — хуже. Великолепная самонастраивающаяся система!

Автоматический поиск — это вовсе не мистическое одушевление неодушевленного предмета, а очень остроумный технический ход. И все для того, чтобы обойти недоступную пока проблему математического описания сложных процессов в изменяющихся условиях. Но это вовсе не значит, что математика отступает на задний план. Нет, в самонастраивающихся системах, как показал конгресс, математическая теория, математический метод определяют успех. Если нельзя изложить в уравнениях динамику са-

мого процесса, то необходимо создать уравнения, по которым должен происходить поиск, а это уже разрешимая задача, как и расчет систем компенсации или систем автоматического регулирования. Математика недоступная заменяется математикой доступной.

В докладах и наших ученых и зарубежных ярко проявлялось все значение регулярного, математического метода в создании самонастраивающихся систем. Метод максимума, метод кратчайшего спуска, метод Гаусса—Зайделя, метод гармонического баланса... В кабинетах и лабораториях идут напряженные поиски: как лучше осуществлять автоматический поиск? По каким правилам? Или, выражаясь по-ученому: «Как вывести алгоритм выработки алгоритма?»

Значение поиска осмысливается широко. Все наше поведение, воспитание не что иное, как сплошной ряд проб и ошибок. А условный рефлекс — это в результате поиска приобретенный алгоритм.

Немало интересных решений целым строем прошло перед критическим взором конгресса. Как подобрать наиболее выгодную систему поиска: чтобы она была и не слишком осторожная, медленная и не слишком самоуверенная, хотя и действующая быстро, но часто попадающая впросак? Как совершать поиск, чтобы не раскачивать каждый раз объект, обладающий большой инерцией, а дать только пробу ненадолго, заметить тенденцию и вывести заключение, в какую сторону менять режим? Как создать электрическую модель объекта, который не позволяет, чтобы на нем самом производили пробы, и как совершать поиск с помощью такой модели? И как можно научить модель подстраиваться к изменениям объекта, чтобы она всегда в точности его копировала? И как заложить в систему эту программу, которую можно выразить словами: «Я обучу тебя, как обучаться».

И еще предложение — применить к разработке поиска теорию игр. В роли игроков могут выступать различные показатели системы. Или противниками в этой игре можно назначить, с одной стороны, устройства, осуществляющие перестройку системы, а с другой стороны — внешнюю среду с ее помехами. Тогда задачей исследователя будет составить стратегию поиска, как составляется, например, стратегия шахматной игры или военных операций. На конгрессе один из наших докладчиков и описал прибор, играющий партию с помехами. Вот он, электронный шахматист, пристроенный к делу, а не к тьму, чтобы отнимать лавры у Таля или Ботвинника.

НА ТРИБУНЕ

Трибуна конгресса — высокое место для ученого, которому выпала честь выступать перед этим собранием знающих, острых, критически отточенных умов. Трибуна конгресса была не только в парадном зале, где каждый участник по контрасту с архаическими колоннами облачался в радиоприемное снаряжение (почти костюм космонавта!) — телефонные наушники на голове и коммутаторная коробка на груди для слушания речей с переводом на четыре языка. Трибуна расходилась веером по разным аудиториям и разным этажам высоченной университетской башни, куда студенты привыкли ежедневно подниматься к вершинам науки на скоростных лифтах. Здесь, к счастью, уже нет всепожирающего мрамора, трибуна по виду гораздо скромнее; может быть, многовато полированного ореха, но зато здесь стерильной чистоты, в белом нитролаке, новейшие эпидиаскопы с автоматической сменой диапозитивов, шторы, опускающиеся от поворота переключателя, вращающиеся бесконечные грифельные доски. В общем, обстановка, достаточно подходящая для выражения и для иллюстрации своих мыслей. Здесь-то и проходила деловая часть конгресса, если не считать еще двух комнат оргкомитета, куда непрерывно стекались сводки обо всем происходящем и где непрерывно вырабатывалась стратегия управления разговоров об управлении. И если не считать еще коридоров, но о них речь впереди.

Я видел на трибуне и одного из «старшин» конгресса, первого вице-президента Международной федерации по автоматическому управлению проф. Э. Герекке (Швейцария), говорившего о значении языка новой науки, и, пожалуй, самых молодых участников конгресса В. Лазарева и П. Пархоменко, доложивших о построенных у нас на основе релейно-контактной теории логических машинах, способных проектировать

и анализировать за человека сложные схемы. Я видел развертывание дискуссий, когда за их перипетиями внимательно следил весь зал и когда выступавшие, избегая на трибуну, едва сдерживали поток своих аргументов, чтобы соблюсти паузу, необходимую для перевода. Мысль опережала словесную процедуру. Но бывало, что под видом дискуссии на глазах аудитории просто разыгрывался хорошо организованный спектакль, когда после докладчика выходят один за другим его соумышленники или сотрудники и, развивая в подробностях тот же доклад, оттеняют его несомненные достоинства. Или когда, используя право всякого на пять минут в дискуссии, разворачивают заготовленный текст и принимают читать без всякой связи с докладом, не соглашаясь с ним и не отвергая, а попросту сообщая о своих собственных достижениях. Вот тогда-то и наступает в аудитории скука формального заседания.

Были ораторы на заседаниях, готовые отвечать на любой вопрос еще новым подробным докладом. Но были и поборники крайнего лаконизма, как один американский делегат, который почти на все вопросы отвечал по правилам двузначной логики: либо «yes», либо «no» — и ни слова больше. Если это было немножко смешно, то что же сказать о расточителях на трибуне? О тех ораторах, которые нам, к сожалению, хорошо знакомы и которые вечно заклинивают председателя на пальцах: «Еще две минутки», растягивая их еще в дважды две и еще вдвое. Удивительно, как ученые люди, привыкшие, казалось бы, обращаться в своих теориях с миллисекундами, попав на трибуну, часов не наблюдают. Это значит отнять у своих коллег нечто большее, чем внимание. Конгресс был очень стеснен во времени, и многие достойные доклады не могли быть прочитаны и обсуждены. А тут вдруг такое расточительство. Надо сказать, что иностранные гости были в этом смысле экономнее.

Да и вообще черта экономности проглядывала в том, что высказывали некоторые зарубежные ученые. Судить о системе не только по ее техническому совершенству, но и по ее экономическому эффекту. Какую перестройку вызывает она в производстве, в технологии? Каковы ее эксплуатационные качества? И что во что обходится? Один доклад так и рассматривал системы с точки зрения экономической целесообразности, и автор ввел в расчеты как основную характеристику «критерий штрафа». У наших докладчиков беспокойство на этот счет пока что не слишком проявлялось. О широкая спина государственных дотаций!

Между прочим и о манере. Не знаю, есть ли где-нибудь такой неписанный закон, что строгости научного изложения более всего отвечает и строгость позы за кафедрой, чуть ли не руки по швам. Некоторые докладчики это отлично демонстрировали. Но мне почему-то показалось, что и свободный жест, как бы дирижирующий смысловыми акцентами, и умение удобно облокотиться, и даже выход вперед, за кафедру, с обращением прямо в лицо аудитории через рампу несколько ничему не мешали и, напротив, даже способствовали. Свобода поведения приятна, пожалуй, не только в кибернетических системах.

Аудитория прекрасно умеет различать. Я видел за кафедрой американского делегата. Рослый, полный, с пухлым детским лицом, несмотря на роговые очки, — как пишет Хемингуэй: «американское лицо, которое до старости останется мальчишеским». Он привлекал аудиторию своей непринужденностью, когда докладывал и спорил в дискуссии с завидным увлечением. И мгновенно холодок отчуждения пробежал по рядам, когда тот же делегат небрежно, по-барски пощелкивал пальцами, чтобы механик сменил диапозитив, словно тот не человек, а какая-нибудь «черепашка», выполняющая приказы по звуковому сигналу. Я бы сказал: несоответствие алгоритма поведения.

Из реплик, которые были для докладчиков не обязательны, но которые запомнились:

— Ваш вопрос очень интересный! Мы долго думали об этом у себя в лаборатории.

— Я рад, что вы не соглашаетесь! Это усилит мои доказательства...

Несколько раз выдвигал конгресс свою трибуну на обширное поле. Две публичные лекции Винера в Политехническом музее, лекция австрийского ученого Цеманека... Общедоступное слово о самых тонких исследованиях в кибернетике. Увидя переполненный до отказа амфитеатр Политехнического, который не раз слушал крупнейших ученых мира, увидя тесные толпы в проходах, на ступеньках, у подножия эстрады, Нор-

Берт Винер, этот умудренный, спокойный человек, приехавший на склоне лет сюда, в Москву, из-за океана, не мог не выразить своего непосредственного чувства:

— Я очень рад, что нахожусь среди людей, которые так интересуются наукой.

Он рассказал о своих последних работах по изучению электрической природы деятельности мозга. Ничего лишнего, никаких утомляющих подробностей, только самое главное, существенное. Отличный образец популяризации и «чувства аудитории». Пегромкий, мягкий голос, взгляд чуть навывкат сквозь призмы очков, старомодная бородка, старомодно корректный жилет под пиджаком, несмотря на тридцатиградусную жару,— и при этом удивительная легкость на улыбку в середине самого серьезного разговора. Ничего не скажешь, приятная манера.

— Я хочу поблагодарить всех вас за то внимание, с которым вы меня слушали, и за ту атмосферу дружелюбия, в которой протекает мой визит в Москву,— сказал он в заключение.

Впрочем, выражение благодарности можно было не раз услышать от многих иностранных делегатов. Москва умеет принимать гостей.

Где бы ни находилась трибуна конгресса, кто бы ни занимал на ней место, тотчас возникала одна и та же проблема — перевод с языка на язык. Сколько богатых мыслей, сколько богатых возможностей для их обмена на таком съезде — и какое досадное ограничение! Мы плохо знаем языки, а наши иностранные гости владеют русским и того хуже. Самоотверженные переводчики трудились вовсю, чтобы смягчить этот разрыв. Но даже лучшие из них, например на пленарных заседаниях или на лекциях в Политехническом, не раз невольно приводили аудиторию в недоумение: что оратор хотел сказать? А если переводчик не столь опытен и талантлив... Это была мучительная картина на некоторых секциях, когда тяжесть непонимания длилась слишком долго, лишая доклады и обсуждения их живого пульса.

Нетрудно было подсчитать, что даже не половина, а две трети времени на конгрессе уходят на перевод. В наш век — и такая несообразность! Сколько можно было бы еще друг другу сообщить или насколько провести всю работу быстрее! Конечно, можно посетовать, что еще недостаточно готовят «квалифицированных переводчиков», которые специализировались бы по определенным отраслям. Но позволим себе допустить и некоторое «если бы...»

Если бы все эти собравшиеся знатоки, так великолепно сочиняющие всякие умные машины, взялись как следует сообща да и придумали наконец такую машину, чтобы она могла действительно осуществлять перевод, ну хотя бы с ограниченной целью, в известной области. И чтобы с ее помощью смогли для начала сами ученые-кибернетики обслужить хотя бы свои собственные нужды, например свой очередной международный конгресс по автоматическому управлению, который должен, кажется, состояться в 1963 году. Какой бы это был великолепный памятник могуществу новой науки и всемирному содружеству ученых!

Может быть, времени хватит?

ИДЕИ И НАЗВАНИЯ

Неплохо, конечно, чтобы и люди, говорящие на одном языке, достаточно хорошо понимали друг друга. Молодая наука бурно идет в рост. Новые явления, новые теории, новые методы... И новые термины. Трудно устоять против соблазна окрестить свое маленькое открытие или свою разработку каким-нибудь звонким именем. «Метод каскадов», «Система с предвидением»... Каждый автор стремится сказать по-своему. И часто разные слова несут один и тот же смысл, а разный смысл вкладывается в одни и те же слова. А процесс развития продолжается, и, по остроумному замечанию одного из ораторов на конгрессе, количество новых названий катастрофически опережает количество новых идей.

Ученые перестают хорошо понимать друг друга, не говоря уже о том, что инженерам и вовсе трудно разбираться в потоке понятий, выдаваемых с такой щедростью наукой. «Что он под этим словом имеет в виду?» — вопрос, возникающий все чаще и при чтении литературы и при научных диспутах. Выяснять каждый раз, «что имеется в

виду», — занятие нерациональное, глубоко антинаучное. Научный термин для того и существует, чтобы сохранять время, освобождая от необходимости объяснять каждый раз все сначала. А между тем лавина новых понятий нарастает. Как же быть? Вопрос настолько важный, что он был предметом особого обсуждения на конгрессе, — доклад советского комитета по терминологии, прочитанный проф. М. А. Гавриловым.

Всякая наука, ставшая на ноги и претендующая на классическую строгость, вырабатывает свой язык: круг отобранных, проверенных терминов. Хаос первоначального накопления приходит в порядок. То же и в науке автоматического управления. Некоторый хаос в ее терминах — это своеобразный показатель, если хотите, ее накопленных сил. Но нужен порядок.

Проблемой терминов по автоматике озабочены во многих странах. Кое-где введены даже национальные стандарты, регламентирующие до полусотни обозначений. Но всеобщего применения они все же не получили. Немало наших ученых потрудились над тем, чтобы расчистить здесь новый путь.

Советский комитет по терминологии отверг тот господствующий всюду чисто эмпирический подход, когда из общей груды отбираются термины по принципу наибольшей употребительности — «что чаще встречается». Самое употребительное не всегда самое верное. При ближайшем рассмотрении оказалось, что даже такие простые понятия, как «автомат» или «воздействие», не имеют точных определений, а между словами «управление» и «регулирование» происходит достаточная путаница. Все приходится подвергать пересмотру. Уж на что мы привыкли объяснять: «Автоматическая система — это система, освобождающая человека от...» и т. д. А ведь это неверно, устарело. В наше время появилось немало таких автоматических процессов, которых раньше вовсе не было, и потому они никогда не управлялись человеком. Так что освобождать тут не приходилось. Самый распространенный признак оказался на поверхности неподходящим.

Я спросил профессора Гаврилова, как проходит работа в комитете.

— Все спорят, и все друг к другу придираются, — ответил он.

Но руководит в спорах главный принцип: терминология должна быть заложена на научных основаниях, а не просто выборочным порядком. Необходимо создать сначала круг общих понятий, а затем выводить из них все частные термины разных разделов автоматки. Ну как Евклид строил на нескольких аксиомах все многогранное здание геометрии.

Советский комитет и предложил конгрессу свой проект основных понятий: управление, управляемый объект, автоматическое управляющее устройство и автоматическая система. И чтобы дать возможность наиболее строгих определений, были введены два понятия, которые отражают дух нашего времени в науке: «алгоритм функционирования» и «алгоритм управления», — с них все начинается.

Вот как теперь звучит по новой терминологии понятие автоматической системы: «Совокупность управляемого объекта и автоматического управляющего устройства, взаимодействующих между собой».

Если меня спросят, как проходило обсуждение этого проекта на конгрессе, я отвечу:

— Все спорили, и все друг к другу придирались.

Спорили из-за оттенков отдельных понятий. Но главный принцип «Евклидовой терминологии» пришелся по вкусу. Все увидели в нем спасительный просвет. Обязательно строить здание терминов дальше. Обязательно доложить на следующем конгрессе...

Новая наука хочет иметь свой ясный, точный и сильный язык. Потому что язык — великая сила научного движения.

КУЛУАРЫ

Говорят, всякий конгресс отличен не только своими заседаниями, но своими кулуарами. На этом конгрессе кулуары были заметно оживлены. Длинные университетские коридоры, оконные ниши, круглые столики у стендов книжной выставки — все служило местом встреч и бесед. Люди, знавшие друг друга лишь по литературе, сводили теперь знакомства лицом к лицу. Здесь продолжались обсуждения, завязанные во время заседаний, выяснялись подробности, происходил обмен авторскими экземплярами и разре-

шались иногда давние заочные споры. Приходилось даже слышать: «Встречи в кулуарах дали мне не меньше, чем доклады».

Кулуары выходили далеко за стены конгресса. Были экскурсии на заводы, в академические институты. Были встречи в лабораториях, где у рабочих макетов выяснялась плодотворность новых идей. Были и приглашения запросто в гости на ужин или на чашку чая. Не говоря уже о поездках в другие города.

Кстати, вспомним обеды молодых ученых Гарвардской медицинской школы, где за гастрономической болтовней переваривались первые представления кибернетики, и мы поймем, какое все это имеет отношение к делу.

Делегаты конгресса разъехались. Каждый засядет у себя, по лабораториям и институтам всего мира. Но знакомства и личные дружбы, завязанные на московском конгрессе, не дадут связям оборваться. Наука автоматического управления ведет большой поиск — наилучшего, наиболее выгодного решения задач. И кто знает, за каким столом, за какой беседой может возникнуть та вспышка мысли от соприкосновения умов, которая осветит новую страницу новой науки.

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После академических прений — мощный голос народнохозяйственной жизни. После рамок лабораторий — масштабы всей страны. Едва закончился конгресс на Ленинских горах, как в Кремле, в зале Большого дворца, открылся Пленум Центрального Комитета КПСС. О развитии промышленности, о внедрении в производство новейших достижений науки и техники слушал и говорил Пленум. С высокой партийной трибуны вновь с большой силой прозвучали вопросы автоматизации — вопросы, поднятые до общегосударственного, политического значения.

И когда говорилось о том, что за один год у нас введено в действие около двухсот пятидесяти автоматических и полуавтоматических линий, что почти весь чугун теперь дают доменные печи с автоматизированным тепловым режимом, что количество автоматизированных нефтяных скважин увеличивается в три раза по сравнению с 1958 годом, что в Грузии, например, все гидростанции переведены на автоматический пуск, установку и самосинхронизацию, а в одной только Российской Федерации на машиностроительных предприятиях будут действовать в этом году девяносто полностью комплексно механизированных и автоматизированных цехов и участков, что в новейшие конструкции вводятся принципы программного управления, что институты оснащаются средствами вычислительной техники, что радиоэлектроника внедряется во все отрасли народного хозяйства, что в Институте электронных управляющих машин произведен успешно расчет оптимальной схемы поставок угля из тридцати угольных бассейнов в девяносто восемь совнархозов, — каждый ученый, работающий в области автоматизации, мог с удовлетворением отметить: есть и моя частичка во всем этом.

И разве не к нашим ученым — участникам конгресса относятся слова, сказанные президентом советской науки с кремлевской трибуны: «В Академии наук получили широкое развитие исследования по теории и применению самонастраивающихся систем...» Мы понимаем теперь, сколько усилий и сколько поисков мысли кроется даже за таким лаконичным замечанием.

Недаром в постановлении Пленума имеется такая короткая, но много говорящая фраза: «Технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства неразрывно связан с успехами советской науки, с выдающимися достижениями наших ученых».

Но достижения всегда уже как бы позади, а впереди — всегда еще не решенное. Постоянное чувство творческой тревоги. Еще много нерешенного, что заставляет инженеров и ученых думать, и дальше искать, и спорить друг с другом — и с трибуны, и в кулуарах, и при всех деловых встречах. Я представляю себе этот большой диалог: Инженер — Ученый.

И н ж е н е р. Мы ждем от вас новых решений. Задача широкой автоматизации.

У ч е н ы й. А мы ждем от вас, чтобы вы нам сказали, что же должны делать новые автоматы. Всегда ли вы сами хорошо знаете, что именно вам нужно? Ведь мно-

гие процессы, которыми вы занимаетесь, оказываются неизученными. Нет сформулированных требований. Как же нам вывести алгоритм?

Инженер. Ох уж этот ваш алгоритм! Только о нем и разговор.

Ученый. В том-то и дело, что он так же ваш, как и наш. Пора бы уже одолеть боязнь формул, математических описаний. Без них какая же автоматика!

Инженер. Но у вас бывает своя боязнь — подойти к машине, к рабочему месту. Метод бывает хорош в принципе, а на практике...

Ученый. Не отрицаю, среди нас есть еще любители строить системы не от жизни, а от литературы. Литература от литературы... Выход, пожалуй, в том, чтобы нам — поближе к машине, а вам — поближе к формулам. В точке встречи и надо ожидать успеха.

Инженер. Мы ждем... Нужда в автоматах огромна, каждый день возрастает. Хотите, мы забросаем вас заказами?

Ученый. Учтите, что дело науки не только в том, чтобы отвечать на текущие заказы. Наука должна смотреть вперед, вести глубокий поиск, который открывал бы нам наше завтра. Без задела не может работать производство. Но без своего задела не может развиваться и наука.

Инженер. Но вы все же поторапливайтесь.

Ученый. Поторапливаться надо не только нам. Вы знаете, когда к вам попадает то, что мы придумаем, сколько потом проходит времени. На реализацию, на внедрение...

Диалог этот отличается, кажется, той особенностью, что ему нет и не может быть конца. По крайней мере до тех пор, пока идет развитие науки и развитие техники. Бесконечный диалог, меняющий только свои словесные формы.

Комплексная автоматизация... Опять тема для поисков и раздумий. Ее значение сильно подчеркивал Плениум. А знает ли наука к ней верный подход, единый метод решения? Ведь комплексная автоматизация — это не просто сумма отдельных автоматов, а особый цельный организм, который должен жить, действовать по своим внутренним законам. Но по каким? И тут, вероятно, должен произойти столь же коренной пересмотр самых основ дела, структуры технологических процессов, как пришлось пересматривать, например, основы структуры языка, когда новая наука математической лингвистики подошла к проблеме автоматического перевода. Как языковеды должны были для этого вступить в союз с математиками, так и для решения задач комплексной автоматизации ученые вступают в союз с производственниками — союз, который скрепляется в спорах и взаимных претензиях. Диалог продолжается.

И, конечно, диалог все время идет об одном из самых важных моментов — о надежности.

Немало остроумных методов и систем уже создала наука автоматизации управления. И заглядывает дальше: самообучающиеся системы, самоорганизующиеся... — названия, поражающие нас опять своим сходством со способностями человека. Но какие бы блестящие решения ни возникли еще в ученых умах, как только дело касается применения в работе, встает один и тот же неизменный, неумолимый вопрос: а надежность?

Нетрудно себе представить, что может случиться, если какой-нибудь управляющий автомат вдруг разладится и начнет вести себя подобно водителю, хвотившему лишнего. А если целый клубок таких устройств, связанных между собой, автоматические линии, автоматические цехи и заводы, — если там это начнется? Ведь достаточно искажения в одной малой точке, чтобы вся цепь восхитительных ухищрений пришла в расстройство. В автоматике мы уже лишены возможности применить на ходу старое верное средство — «подправить рукой». И чем больше задач возлагается сейчас на автоматические системы, чем тоньше их действие, чем более разветвленные и сложные связи играют в них, тем острее проблема надежности. Давно уже известно: чем больше аппаратуры, тем больше вероятности нарушений.

С разных сторон наука берет подступы к этой проблеме. Давно уже известны способы «защитного отказа». Если что-нибудь сработало неверно, то защитное устройство выключает всю систему, простейший пример чему хотя бы пробка, перегоревшая у вас в квартире от короткого замыкания. Защита не позволяет нарушению разрастаться, не допускает ложного действия, и все останавливается. Останавливается, чтобы вступить

в свои права старое средство «подправить рукой». Бегут монтеры, бегут наладчики...

Но это лишь первый, элементарный шаг. Да и не каждый процесс управления можно остановить. Попробуйте остановить космическую ракету, полетевшую вдруг «не туда», или даже хотя бы загасить пламя в металлургической печи. Такая остановка — это не решение надежности, а просто авария.

Наука ищет... Можно применить более надежные материалы, более надежные аппараты, основанные на новых физических принципах. Уже сейчас разработаны такие новейшие «кирпичики» для построения автоматических узлов, как элементы из тончайших пленок, и такие новейшие приемы соединения, как печатание схем, что устройства будут и гораздо миниатюрнее, и действовать с молниеносной быстротой, в миллиардные доли секунды. Ученые уже видят такую возможность, чтобы в объеме всего лишь одного кубического сантиметра заложить много тысяч «элементов памяти». Вместе с тем эти новые аппаратики будут и гораздо надежнее.

Поиск идет и в другом направлении. Как из ненадежных элементов построить надежные системы? Странно звучит, но это так! Можно вполне обычные элементы составить в такое сочетание, что они будут проверять друг друга, находить ошибку и даже указывать, где она произошла. В теории информации выдвинута теорема, которая опровергла одно из самых распространенных заблуждений: если при передаче сообщений по некоторому каналу происходят искажения, то прием достоверно правильного сообщения будто бы невозможен. Теорема открыла путь: как именно передавать по ненадежному каналу надежные сообщения. Созданы так называемые самокорректирующиеся коды, то есть такие сочетания сигналов, которые не только показывают собственную ошибку, но и сами помогают ее исправить. Этаким кибернетический наладчик!

И все же решающие открытия лежат, вероятно, еще на одном направлении. Снова взоры ученых обращаются к живой природе. Но совсем не так, как представляют себе некоторые любители «кибернетических сенсаций». Не о превосходстве машин над человеческим мозгом идет сейчас реально речь. А как раз о том, что автоматические устройства, увы, далеко еще отстают по своей надежности и что им надо еще многому научиться у живых организмов, у которых, по выражению академика В. А. Трапезникова, «нервная система, осуществляющая функции управления, содержит миллиарды клеток, и тем не менее, несмотря на эту сложность, бесперебойно функционирует десятки лет». Именно в них заключена та «избыточность элементов и связей», что лежит по теореме информации в основе всякой надежной передачи сигналов, а значит, и надежного управления.

В самом деле, разве не должны мы со всемерным уважением подойти к той великой автоматической системе, в которой происходят такие совершенные процессы передачи сигналов, процессы управления и которая именуется человеческим мозгом, человеческой нервной системой. В поисках секретов надежности и пытается сейчас наука со своими методами кибернетики проникнуть в самые глубины живой природы. Большой поиск, глубокий поиск!

...На Пленуме ясно звучало в устах многих ораторов: «Автоматизация позволила нам заменить тяжелый труд», «Автоматизация помогла нам ускорить переход на семичасовой рабочий день», «Автоматизация обещает дальнейшее сокращение рабочих часов»... Счастливым сознанием для ученого, что он видит реально эту цель и что в его теориях и его системах всегда заключен этот величайший из всех критериев — «критерий общего блага».

И хочется спросить: а что же видят у себя те люди науки, которые вернулись сейчас с международного московского конгресса в свои капиталистические «заокеаны»? Что там несут их отличные, самоновейшие системы людям производства?

Несут ли они этот критерий?



В МИРЕ ИСКУССТВА

ВЛ. САППАК

★

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 1960

Из первых наблюдений

Вчитателя всегда есть право бросить недочитанной книжку, если она ему не понравилась. Зритель, убедившись, что театр принимает его за дурака, встает с места и, невзирая на шиканье соседей, устремляется в гардероб. И уже совсем легко разорвать нить, связывающую искусство и его потребителя, когда это касается телевидения. Вы протянули руку, поплыла куда-то вдаль светящаяся точка — экран погас... Кто-то достал с заветной полки Чехова или поставил на проигрыватель новую долгоиграющую, кто-то вспомнил, что сосед звал его нынче на преферанс...

Критически настроенный читатель пишет письмо автору или в редакцию газеты. Раздосадованный зритель идет к администратору, стучит кулаком по столу и требует деньги обратно. Зритель телевидения, если домашний экран особенно досадил ему, поступает коварнее. «Выключим звук!» — как бы невзначай произносит он и затем со снисходительным смехом поглядывает, как певица замирает, сложив губы колечком, тромбонист трудолюбиво надувает щеки, а знаменитый чтец, сразу уподобившись провинциальному трагику, зверски жестикулирует, пытаясь беззвучно выкричать нечто сверхпатетическое.

Зритель чувствует себя отмыщенным.

Говорят, передачи только московского телевидения смотрит ежевечерне двенадцать миллионов человек. Существует ли статистика, сколько из них, недосмотрев, выключает свои телевизоры?

Как же бороться против недисциплинированных владельцев «Темпа» или «КВН»? Может быть, назначить премию самому усидчивому зрителю? Может быть, снять рекламно-душеспасительный фильм о том, как пошла под откос вся жизнь человека из-за пагубной страсти недосматривать телепередачи?... Увы, у работников телевидения есть, по сути дела, только одно-единственное средство борьбы за зрителя — сделать свои передачи интересными.

Совет, что называется, куда как прост. Но именно тут и начинается самое сложное. Что интересно по телевизору? На это до сих пор нет даже приблизительного ответа. Известно, что хорошо и что плохо применительно к живописи и кино, к поэзии и театру. Но эстетические критерии телевидения еще не выяснены даже в самых общих чертах.

Можно на домашнем экране — с большими или меньшими потерями — посмотреть кинофильм; можно последить за диктором, читающим сводку погоды. Телевидение — посредник, телевидение — рассыльный, доставляющий другие искусства и информацию на дом, — в этой его функции не сомневается никто. Но где начинается собственно телевидение? Телевидение как жанр, как зрелище, как искусство — мы даже не знаем, как назвать, как обозначить его.

Телевидению, слышишь кругом, предначертано великое будущее. Да, в это веришь — веришь почти без доказательств. Но каковы эстетические возможности соб-

ственно телевидения? И конкретнее — что представляет собой телевидение сегодня? Каковы его свойства? В чем его сила? И насколько верно оно своей природе, то есть самому себе?

Итак, телевидение, год 1960-й.

I

Диктор Валентина Леонтьева.— Полчаса актрисы.— Зритель и экран, природа контакта.— Эффект присутствия.— «Скажите что-нибудь нашим зрителям!» — Клуб счастливых.— Жизнь врасплох.— К. И. Чуковский беседует с детьми.— Передача выходит из графика.— Мы — участники события.— Эффект рамп.— Быть или не быть телевидению искусством?

...Если бы у меня спросили, что более всего другого интересно мне на телеэкране, и бы, не задумываясь, ответил: диктор Валентина Леонтьева.

Признание это пусть не покажется излишне интимным: многие, я уверен, присоединятся к нему.

Ведет ли Леонтьева концерт, «круглый стол», веселую викторину или в передаче для малышей серьезно и ласково беседует с бойким деревянным Буратино, вы всегда охотно и доверчиво следите за ней — вам это интересно. Но чем? Почему?

Можно ответить просто: молодая, обаятельная женщина — для диктора телевидения это, видимо, «профессиональное» качество; естественно, каждый раз вы с доброй улыбкой встречаете и провожаете ее.

Мы редко даем себе труд задумываться над простыми и близко лежащими вещами. Однако задуматься над работой диктора Валентины Леонтьевой стоит. Ибо Леонтьева, на мой взгляд, в чем-то угадала, почувствовала — и, может быть, раньше и лучше других, — как надо вести себя перед телевизионным объективом.

Представьте, завтра появится на нашем экране новый диктор (а мы, зрители, всегда очень оживленно реагируем на такие «события»), и диктор этот — первейшая красавица: светлокожая, вокруг головы тугая коса, ну словно бы только что сошла с картины Венецианова. Сидит красавица в современном кресле на ножках-спичках и медленно, грудным своим голосом читает «Последние известия»... Нет, скажете вы, произошла ошибка, нам не нужна красота этой женщины, она нам мешает, она неестественна, неуместна, излишне декоративна, что ли...

Современный характер облика — вот, пожалуй, то первое, что делает Леонтьеву столь органичной на экране. Если диктор читает рекламу парфюмерной фирмы — с него мы внутренне не требуем ничего. Но обязанности диктора современного телевидения не только более сложны и разнообразны; у нас совсем иное к нему отношение, самый смысл нашего контакта с ним совершенно иной.

Леонтьева говорит не в пустой объектив. Она чувствует не только жанр передачи, но как бы само «настроение зрителя». В то же время Леонтьева, больше чем кто-либо, всегда остается в рамках профессиональных задач. Только в улыбке словно бы приоткрывается душевная завеса, все «официальное» отлетает — наступает секунда внутреннего, лирического контакта экрана и зрителя.

Если немного пофантазировать, можно довольно точно представить себе того воображаемого собеседника, к которому обращается с экрана Валентина Леонтьева.

Ее собеседник — человек умный и легкий, он наделен чувством юмора (Валентина Леонтьева и сама чуть иронична) и, как человек вполне современный, ценит такие качества, как независимость суждений, умение во всех случаях оставаться самим собой...

Видимо, внутренняя ориентировка на такого зрителя помогает Валентине Леонтьевой обрести ту свободу, тот «импровизационный» характер поведения перед объективом, который составляет важнейшую черту ее работы и облика.

Я не хотел бы назвать качество, которым должен обладать ведущий беседу или веселую викторину, находчивостью. Для меня, зрителя, важно не то, что не произойдет «накладки» и объектив не задернет шторка с нарисованным цветочком. Для меня важна внутренняя (быть может, даже неосознанная) уверенность, что Валентина

Леонтьева действует «от себя» и в каждый данный момент может поступить так, а может — иначе (или хотя бы чуть-чуть иначе), словом, что перед нами не строго срепетированное, выверенное по хронометру действие, а живой, рождающийся на наших глазах процесс. Как ни странно, но именно это делает для меня достоверным каждый ее шаг!

Все знают, как мучительно для зрителя видеть, что актер (или диктор) ошибается, нетвердо знает текст, что вот-вот забудет его. Вы готовы провалиться сквозь землю, готовы подсказать, вы уже ни за чем не следите, не улавливаете смысла, а только ждете, ошибется ли он еще.

Если оговаривается Валентина Леонтьева — это не расхолаживает и не отвлекает, а вызывает лишь добрую улыбку и даже сосредоточивает на сути дела. Неправильности ее речи, запинки, раздумчивость, паузы — это все естественные неправильности речи вашего собеседника, к которому, повторяю, вы испытываете полнейшее доверие. Ведь всегда приятнее, когда ваш собеседник не «шпарит», как по-писаному, а говорит свободно, думая при вас, порой подбирая нужные, наиболее точные слова. На телевидении же магнетизм живой речи особенно велик!

Казалось бы, можно прийти к выводу, что работа Леонтьевой выходит за рамки дикторской работы и где-то смыкается, граничит с творчеством актрисы.

Так ли это?

Как-то на телестудии устроили нашим лучшим дикторам своеобразный «бенефис». Валентина Леонтьева, Анна Шилова и Светлана Жильцова в специальной передаче читали рассказы Чехова. Они сидели за столом, все в ряд, их объявлял и вел передачу Игорь Кириллов, а Леонтьева, Шилова, Жильцова чувствовали себя актрисами. Они и были актрисами на эти полчаса, читали вполне достойно, вполне профессионально. На студии полагали, видимо, этой передачей поднять «авторитет» своих дикторов. Передачу готовили тщательно. Было даже названо имя режиссера-педагога.

Не знаю, как другим, но для меня это был чуть ли не единственный случай, когда Леонтьева вдруг перестала быть мне интересна. Она хорошо читала — ну и что? На свете много актрис..

Я думаю, что Леонтьева интересна как раз тем, что воспринимается нами не как актриса. Да, для нас очень важно, что Леонтьева не «в образе», что она с нами такая, как на самом деле, что она «обыкновенный человек» и даже как бы наш представитель по ту сторону экрана. Именно поэтому Леонтьевой не нужно точно заучивать текст, не нужно наигрывать полуофициальную приветливость. Леонтьева обладает даром куда более редким, чем дар перевоплощения, — в любой роли, в любых обстоятельствах она остается сама собой.

Может показаться, что все это разговор о вещах не столь уж значительных. Давайте сразу будем говорить о «больших проблемах»: о репертуаре, о привлечении писателей к работе телевизионных студий, о том, сколько миллионов смотрит передачи сегодня и сколько будет смотреть завтра. Но для телевидения, по-моему, нет ничего более насущно интересного и практически важного, чем все то, что связано с характером и смыслом общения экрана и зрителя. Мы вообще не занимаемся изучением механизма восприятия искусства. Для других искусств или зрелищ (не будем сейчас придираться к словам) это еще, может быть, полбеды. Но телевидению без этого нельзя. Это, по-моему, и есть здесь вопрос номер один.

* * *

Обращали ли вы внимание, как оживляются все сидящие у телевизора, когда камера покидает концертную эстраду и начинает медленно скользить по рядам зрителей, выхватывая крупным планом то одну, то другую группу лиц?

Казалось бы, зачем нам зрительный зал? Ведь мы хотим смотреть на сцену! Там артисты: они поют, танцуют, читают стихи, они делают все это талантливо, ярко, они учились этому — это искусство! А в зале обыкновенные лица, такие же, как в метро и на работе, — зачем они нам? А вместе с тем всегда кривая нашей заинтересованности передачей в этот момент дает резкий скачок вверх. Говорят, мол, сидящие у телевизора надеются увидеть в зале своих знакомых. Что ж, может быть.

Однако нет ли иных, более серьезных предпосылок, вызвавших перемену нашей активности?

Вчерашние телезрители, ставшие на эту минуту сами объектом передачи, видимо, интересны нам именно своей обыкновенностью, своей предельной узнаваемостью (которая в любом зрелище, в любом виде искусства доставляет зрителю радость), а юведение их — тем, что таит возможность любых неожиданностей.

Телевидение родилось на наших глазах. Оно делает лишь первые шаги, но уже сейчас оно не хочет ограничивать свои функции доставкой других искусств на дом. Оно жаждет самостоятельности, оно тянется к живой жизни. И всегда при встрече с ней, при встрече с жизнью в любых ее естественных формах, зритель немедленно откликается обострением реакции на увиденное.

Да, телеобъективу нужна живая жизнь. Жизнь в ее непредвзятом течении. Он необыкновенно выявляет и делает для нас увлекательным то, что происходит, что рождается на наших глазах.

Телеобъектив — хроникер по своей сути

Видели ли вы игру в футбол, снятую на пленку? Напряженнейший момент матча, предшествующий голу, ставший, скажем, одним из «сюжетов» еженедельной кинохроники? Мы не были на стадионе во время этой встречи, мы не знаем, как протекала и чем кончилась игра, да и глаз кинооператора зорче увидел перипетии схватки, чем увидели бы мы сами, — все едино. Спокойно, нерастревожено, без тени того азарта, который охватывает нас на трибунах, будем смотреть мы в безмолвном зале этот киноэпизод.

А у телевизора?

Здесь мы «болельщики»!

Телевизор сохраняет и передает самое главное в спорте — напряженность секунды. И тут уж всегда интересно, что бы ни передавали — футбол или бег, прыжки в воду или мотогонки.

Спорт — сама стихия телевидения.

Приблизительно по тем же причинам на телеэкране интересен и цирк. Уточню: передачи непосредственно из цирка; ибо все знают, как пресно благополучен цирк в кино. Пусть гимнаст под барабанную дробь балансирует на проволоке, фокусник подбрасывает кисейный платочек и достает из него расплескивающийся аквариум с живыми рыбками, а укротительница с ослепительной улыбкой входит в клетку к львам, царственно восседающим на тумбах. В кино от всего этого осталась лишь чисто зрелищная сторона; исчез драматизм, ушло то ощущение маленького «чуда», которое всегда рождается в цирке, ушло то «быть или не быть?», которое каждый вечер, каждую минуту встает на арене так, как будто представление идет в первый и единственный раз. А на телевидении — тут, что называется, нет обмана. И время сжато. И все передалось вам — риск, мужество, ожидание любых неожиданностей в любой момент...

«Эффект присутствия» — вот в чем прежде всего сила телевидения.

Можно спорить, станет ли телеобъектив художником, но в «таланте журналиста» ему не откажет никто. А коли так, значит он должен прямо-таки набрасываться на события, на факты живой жизни. Передавать ее ритм. Ее напор. Значит, обязан с «журналистским нахальством» проникать всюду. Поспевать везде.

И вот замечательно, ведь это журналист, для которого документальность, прямое обращение к жизненному факту, отсутствие какой бы то ни было подстроенности даже не вопрос «профессиональной чести», а просто язык, на котором он говорит.

Итак:

Интервью. Очерки. Репортажи с места события.

Как это должно быть интересно!

Очерки? Что ж, есть и очерки. Интервью хотите? Пожалуйста. Все это, как говорится, занимает заметное место в «репертуарной сетке» сегодняшнего телевидения. Это есть. И смотреть это чаще всего бесконечно скучно.

Почему?

...Передача идет прямо из цеха. Стучат машины. На заднем плане проходят люди. Словом, обстановка вполне документальна, и в первую минуту вы с живым любопытством разглядываете все это.

Но вот в кадр входит диктор-очеркист с микрофончиком в руках, за которым тянется шлейф проводов. И сразу же вы ощущаете чужеродность, всяческую ненужность этого человека в хорошо сшитом костюме здесь, в цехе, где действительно идет работа. Интервью еще не началось, но вы почему-то уже начинаете терять интерес к нему.

Следует приблизительно такой диалог:

Диктор (как можно непринужденнее). Мы из студии телевидения. Давайте знакомиться.

Рабочий (словно отвечая урок, без пауз). Моя фамилия Егоров. Иван Егорыч. Наша бригада...

Диктор (в тоне вольной беседы). Очень хорошо, Иван Егорыч. Станьте вот так, чтобы наши зрители могли вас видеть. А теперь расскажите, что в минувшем году было самым главным, ну, что ли, самым захватывающим в вашей жизни. Ведь были у вас такие события?

Рабочий (старательно). Да. Были. Наша бригада в последнем квартале выполнила план на сто два процента. Однако мы не остановимся...

Диктор (смотрит в самый рот говорящему. Кажется, еще никогда он не слышал ничего более захватывающего. Словно бы даже проговаривает про себя его текст).

Рабочий (все так же одноотонно). ...Не остановимся на достигнутом. В будущем квартале мы дали обязательство выполнить план на сто пять процентов.

Диктор (весело договаривает за рабочего). Вот это и было для вас самым главным в минувшем году?

Рабочий. Да, это самое.

Диктор (облегченно вздохнув и сразу потеряв всякий интерес к собеседнику). Спасибо вам, товарищ Егоров, от имени наших слушателей. Желаю вам, чтобы и этот год был у вас столь же содержательным. *(Тянет кабель к следующему станку.)*

...Вы сидите у телевизора и испытываете мучительное раздражение. Вы уже не верите ни этому диктору, ни этому рабочему. Не верите, хотя все, что вы сейчас услышали, если разобраться спокойно, без сомнения соответствует фактам.

Что же произошло? В чем тут вина телевизионных камер? Вина не только передо мной, зрителем, но и перед самим этим рабочим?

Отметим самое очевидное. Телевидение — если даже это чисто репортажная передача — не может ограничиться лишь функцией информационной. Оно невольно подключает сюда (а следовательно, требует) и правды поведения, жизненных обстоятельств, наконец, отношений между двумя беседующими людьми. Поэтому нет для телевидения ничего ужаснее, чем тщательно спретиризованная импровизация, чем заученная «живая» речь, чем вымученная, неестественная естественность. Можно говорить без бумажки (если умеешь). Можно открыто читать лежащий перед вами текст. Но нельзя «незаметно» подглядывать в шпаргалку или разыгрывать с независимым видом явно литературный, явно отредактированный диалог, заученный к тому же не вполне твердо.

Было бы несправедливым сказать, что работники телевидения не стремятся к естественности. Стремятся.

И вот пример понсков «новых форм» в части живого репортажа.

...Улица Москвы. Вечер. Спешат пешеходы, мчатся автомобили, миллионер регулирует движение.

Увидеть обычную улицу в обычный день по телевизору — это уже больше чем любопытно: это по-настоящему интересно. Если бы телекамеры передавали просто «поток жизни», талантливо отыскивая наиболее выразительные детали, мы бы, не отрывая глаз, следили за этим. Объектив телекамеры «зорче» нас, он вглядывался бы в лица прохожих, увидел бы, что каждый дом имеет свой облик, заметил бы то, чего не замечаем мы сами в примелькавшемся пейзаже. Это как крупный план в кино... А как важно и увлекательно открыть вдруг нечто новое в обыденном, ежедневном, в том,

что повседневно окружает нас! Не в таком ли «подглядывании» жизни, обыкновенной жизни, лежат особые свойства телевидения? Не здесь ли одна из предпосылок к тому, чтобы со временем стать искусством?..

Но пока на экране происходит вот что.

Как тогда в цехе, так и теперь на улице в кадр входит диктор-очеркист. Он говорит сначала какой-то свой текст, затем обращается к милиционеру-регулирущику и просит остановить якобы первую попавшуюся машину, дабы побеседовать с ее водителем. Милиционер не выказывает ни малейшего удивления. Милиционер останавливает как раз в эту минуту подъехавшую «Волгу». Из нее выходит шофер. Он в пыжковой шапке и в пальто с пушистым меховым воротником. Он тоже ничему не удивляется. Не удивляют его ни остановка среди улицы, ни просьба сказать что-то в микрофон. Без секунды колебания, со знакомыми интонациями начинает он рапортовать: переехал в новую квартиру, на столько-то процентов перевыполнил план...

Никто из зрителей, разумеется, не верит в неподготовленность происходящего, хотя и не сомневается в том, что слышит от шофера. Поэтому вся передача для нас всего лишь инсценировка, где некий статист (в данном случае шофер такой-то) сообщает о себе кое-какие сведения анкетного порядка. К этому, в сущности, сводятся почти все аналогичные телешинтервью.

Может быть, лучше вместо десяти подобных, ничего не говорящих ни уму, ни сердцу встреч остановиться на одном человеке, поведать о нем подробно и его самого втянуть в беседу или хотя бы в рассказ о себе. Я допускаю, что трудно найти рабочего, инженера даже, который может свободно, легко, от себя говорить (увы, культура живого слова у нас развита слабо, нет непринужденности, нет привычки во всех обстоятельствах чувствовать себя независимо и легко). Что ж, один не умеет — обратиться к другому. Так будет хотя бы правдиво, а без этого — телевизионного репортажа просто нет.

Повторяю, речь совсем не о «литературных качествах» беседы (мсл, товарищи журналисты, пишите себе и вашему партнеру более яркий и более похожий на живую речь текст). Речь о том, что каждое такое интервью, лишь начавшись, сразу же останавливает естественное течение жизни. Я не знаю, что затем следует: радиointервью с одновременной передачей изображения, кинохроника или любительский спектакль, но только к телевидению как таковому это уже отношения не имеет.

Как быть? Задавать ли вопросы врасплох? Или вообще задавать совсем иные вопросы?

Впрочем, и по части «иных вопросов» у нашего телевидения свой опыт тоже имеется.

Редакция телевидения собирает в некоем клубе (это, кажется, была выездная передача) тех представителей молодежи, которые чувствуют себя... счастливыми. А затем в течение чуть ли не часа ведущие передачу подходят то к одному, то к другому и задают уже такой вопрос: «Вы счастливы?» — «Да, я счастлив», — отвечают все опрашиваемые и в двух-трех фразах (регламент!) обосновывают предпосылки своего счастья. «Да, счастлив, я сдал экзаменационную сессию». «Да, счастлив, я повысил свою производительность... Или — с той же добросовестностью отчета: «Да, счастлив, мы с Машей в этом году познакомились...» И так примерно два десятка «счастливых». Все собраны в одном месте, все ждут своей очереди, чтобы отрапортовать...

И снова! Собрались хорошие и молодые люди. Вполне искренне (несомненно) сказали что-то о себе. А мы... Мы испытываем чувство какой-то неловкости.

Вот, оказывается, каким опасным свойством обладают объективы телевизионных камер!

Да, нет ничего органичнее и увлекательнее для телевидения, чем импровизация — в любых ее формах. Но, повторяем, нет ничего невыносимее импровизации мертвой. Срежиссированной. Импровизации как «формы подачи».

Видимо, телевизионная камера уже как бы сама диктует нам свои законы. И она жестоко мстит, когда эти законы мы начинаем нарушать.

Беседа о международном положении. Чаще всего перед объективом просто выступает комментатор, он рассказывает или полурассказывает (это уже не очень существенно) о событиях недели, об откликах мировой печати на тот или иной политический акт.

Обыкновенная беседа. Без претензий. Очень хорошо.

Но работники телевидения хотят, видимо, как-то оживить подобную передачу, сделать ее более доходчивой.

Группа журналистов-международников выезжает на завод. Рабочие задают вопросы, журналисты отвечают. Чем, казалось бы, не верный шаг в сторону новых и разнообразных форм пропаганды? Но не прошло еще и двух минут передачи, как сразу же — по ровному, чуть замедленному ритму, по тому, как без сучка и задоринки разыгрывается действие, — вы угадываете, что вопросы между присутствующими распределены заранее, очередность установлена, ответы написаны и отредактированы. Вы видите, как наигрывают внимание рабочие, вежливо согласившись принять участие в этом представлении. И к вам уже подкралась скука, и вы уже не заметили, как утратили интерес к передаче.

Нет, это не «плохая форма» хорошей передачи! Это передача, где потеряно именно содержание.

И, наконец, апофеоз. В ролях телевизионных статистов выступают дети. У нас есть излишнее увлечение передачами из детских садов, чуть ли не из яслей. Впрочем, это легко объяснить: дети, как никто, обладают той неподготовленностью, той безусловной правдой поведения, на которой, как сказано, держится телевидение. Но тут детей заставляют произносить чужие, выпренные слова. «Дорогие товарищи! Разрешите от имени...» — звонким голосом открывает девочка в пионерском галстуке выступление хора. В другом случае мальчик и девочка лет десяти развязно и, что называется, «чи обаянии» ведут парный конференс. Бедные дети, они уже научились наигрывать естественность!

Несколько иной пример.

Перед демонстрацией фильма «Люди на мосту» телезрителям представляют его съемочный коллектив. Выступает актриса, она в вечернем платье, сильно декольтирована, на плече огромный пышный цветок, в ушах кольца. «Я стремилась создать образ скромной труженицы», — рассказывает актриса...

Полагаю, что, если бы это происходило в Доме кино, вообще в клубе, если бы актриса говорила с эстрады, на противоречие между ее внешним обликом и ее словами никто не обратил бы особого внимания. На телеэкране противоречие это неожиданно становится очевидным, разительным, нестерпимым.

Так и в качестве хроникера, простого передатчика изображения, телеобъектив не нейтрален. Он требует подлинности и не терпит фальши. Он подмечает каждую ложную ноту и каждую несообразность. Иначе сказать, он обостряет наше чувство правды. Кажется, еще немного, и мы сможем сказать о нем словами Маяковского: «не отображающее зеркало, а — увеличивающее стекло!»

* * *

Но довольно неудач и непопаданий. Где же зеленые ростки? Где удачи?

Покажите нам их!

Рассмотрим с этой точки зрения одну передачу — встречу с К. И. Чуковским.

Вначале мы видим детей, которые собрались на елку и ждут приезда любимого писателя. Корней Иванович «задерживается» (почему-то такой «ход» испокон веков считается остроумным, хотя, безусловно, ни один человек не верит, что кто-то на самом деле опаздывает и что поэтому передача идет не так, как якобы должна). Затем двояк ребятам отправляют за Чуковским: мы видим, как они бродят по заснеженному Перedelкину, разыскивают дачу Чуковского, видим Корнея Ивановича, который сидит

с детьми и «совсем забыл», что у него передача, потом они вместе отправляются в Москву, и наконец Чуковский появляется в студии и читает детям свои стихи.

Таков сюжет. Как же передача строится?

В первом отрывке дети довольно бойко произносят перед телеобъективом разученные тексты. Тут же появляются герои книг Чуковского — грубо загримированные актеры. Они прыгают, кривляются, размахивают руками. На Бармалея, к примеру, страшно смотреть. У него наклеенная борода, прыжки и ужимки орангутанга (все это на фоне таких натуральных детских лиц). Разумеется, это еще не имеет никакого отношения к собственно телевидению.

Затем — появление Мойдодыра, вмонтированные в живую передачу кадры из мультипликации, рисованный персонаж, кусочек иного, условного мира, мира в двух измерениях, словом, кино.

Дальше — дети в поисках Чуковского, тоже кинокадры, на этот раз хроника, по характеру — любительская съемка.

Прошла уже примерно половина передачи, и тут вдруг живой, настоящий Корней Иванович входит в студию! Нет, теперь вы уже не выключите свой «Темп» и не оторветесь от экрана. Телевидение, настоящее телевидение демонстрирует свое обаяние и свою притягательную силу!

Чуковский один из тех немногих людей, которые всегда, с любым собеседником, на любой аудитории остаются самими собой. Дар свободного самовыявления — вот качество, которым обладает Чуковский. Я уже не говорю о его таланте разговаривать с детьми, находить с ними общий язык, увлекать и подчинять себе.

И дальше на экране шла просто беседа, беседа писателя со своими маленькими читателями — то есть именно то, что и было объявлено темой передачи!

Чуковский читал свои стихи, а дети вторили ему, подсказывали, поправляли. Непредвзятость — она ощущалась во всем. И в том, как Чуковский заметил вдруг между разговором, что он сегодня охрип, и в том, что его попросили прочесть «Федорино горе», а он отказался и прочел «Чудо-дерево», и в том, как он заставил ребят повторять скороговорку:

Шел козел с косою козой,
шел козел с босою козой...

И как дети не могли выговорить трудные сочетания слов, и это были уже не натасканные, напряженно притихшие дети, которые старательно учили тексты и со страхом божьим, когда подходила очередь, вставляли свою реплику, а дети, которые забыли о наведенных на них телекамерах и вновь стали просто детьми.

И хотя в первой половине передачи были вроде и выдумка, и «сюжет», и длительная подготовка, была, наконец, «специфика» телевидения, якобы соединяющая самые разнородные элементы в единое целое, а во второй половине передачи не было ничего, кроме самого писателя, его маленьких читателей и искренней, взаимной радости встречи, — насколько же интереснее была эта вторая часть, насколько больше захватывала она!

Давно уже телевизор не вызывал во мне такого активного ответного чувства! С момента появления в студии «живого Чуковского» я стал участником этой встречи, я невольно ощутил, что эмоциональная, психологическая основа передачи теперь уже совсем иная.

Специфика, если понимать ее как действительно особые возможности телевидения, началась там, где ее бросили искать...

Как, к слову сказать, нужны, незаменимы на телевидении такие люди, как Корней Иванович Чуковский, как Иракий Андроников, как Эренбург, Юткевич, Образцов, Аллатов, Шкловский, как умерший недавно киновед Авенариус — те, которым не только есть что сказать, но и которые умеют (это особый дар) непринужденно, свободно говорить, нет — мыслить перед объективом.

Такие живые и интимные беседы со зрителями (быть может, даже — не пугайтесь — «на свободную тему») и слушались бы с взволнованным вниманием и действительно собирали бы у телевизоров гигантскую аудиторию.

Да, телевидению нужны люди, которым бы давали время на экране ради них самих, а не только ради заданной темы. В приведенном примере сам Чуковский — объект передачи, Чуковский как характер, как личность, а не просто как человек, который что-то комментирует, читает или ведет передачу.

Впрочем, есть у нас на московском вращении передачи, которые я всегда смотрю с самым живым интересом. Просто, что называется, не могу оторваться. Может быть, в этом даже неудобно признаться, ибо передачи вроде бы как и не очень серьезные — не то общеобразовательные, не то развлекательные, словом, викторины.

Заинтересовала бы меня подобная викторина где-нибудь в клубе? Честное слово, вряд ли. А тут я чувствую, как сам телевизор активизирует мое отношение к происходящему, втягивает меня в то, что происходит.

В телестудию вызваны две команды; одна представляет Трехгорную мануфактуру, другая — клуб строителей «Новатор» (беру для примера одну из таких викторин). Сооружены небольшие трибуны, укреплены таблички — «восточная», «западная». Команды — на трибунах. Ведет игру Валентина Леонтьева. Она с самого начала предупреждает, что разрешается «болеть», вообще всячески проявлять себя. А задания такие. Скажем, подойти к весам и отвесить сто граммов колбасы и полкило апельсинов. Вызывают добровольцев. Молодежь смущается. Леонтьева подбадривает: «Мара, иди!», «Ну, Танечка, ничего страшного не будет». И вот уже застенчиво улыбающийся юноша в очках неумело орудует ножом. Трибуны словно в Лужниках. Трибуны переживают. А судит магч опытный продавец из «Гастронома» № 3 Нина Васильевна Дворецкая. Вдруг бурное ликование на трибуне «Новатора» — их представитель победил, Леонтьева вручает ему награду... Вопросы сыплются один за другим. Попробуйте по деталям одежды узнать литературного героя. Калоши? Ну конечно, это человек в футляре. Тигровая шкура? Ну конечно, витязь из поэмы Руставели.

Но трибуны уже до того расшумелись, что Леонтьева вынуждена все время предупреждать: «Не подсказывайте!» — или уговаривать: «Тише! Зрителям не слышно!» Дальше — больше. Одна из команд по очкам вырывается вперед, а те, что проигрывают, начинают обвинять Леонтьеву в необъективности. Кажется бы, это скандал, за передачей следит миллион человек, а передача вышла из графика... Происходит явно что-то не то. Но с этого «не то» для нас, зрителей, и начинается самое увлекательное.

Вот она, счастливая минута внутренней раскованности, когда участники передачи забыли о направленных на них объективах! Произошло самое хорошее, что только может произойти в телевизионной студии. Передача оказалась во власти свободного, «незаинтересованного» течения событий, действие обрело ту непреднамеренность, о которой телевидение пока в основном лишь мечтает, ловя, так сказать, всеми правдами и неправдами минуты этой непреднамеренности.

Однажды (это было уже год или два назад) ведущие викторину допустили какую-то ошибку. Условия игры были слишком облегчены, и победителей оказалось во много раз больше, чем предполагалось. Мы, зрители, стали свидетелями, как выполнившие задание все прибывали и прибывали из города, вот они уже забили всю сцену, мы увидели растерянность организаторов передачи, наступила «томительная» (а для нас полная переживаний и впечатлений!) пауза; наконец, передача была прервана, прекращена. А через некоторое время где-то даже промелькнуло сообщение, что, мол, на «виновных» наложено взыскание... Право же, их стоило премировать!

И, честное слово, в нашей активной и веселой реакции на происшедшее не было и тени от так называемого «скандального» интереса, от интереса к ошибке как таковой!

Вероятно, я недостаточно убедительно, а может быть, и просто неверно объясняю, почему такая полунимпровизационная, да еще с «накладками» передача оказывается для нас интереснее, чем строго организованная и ни в чем не отклонившаяся от намеченного русла. К тому же я меньше всего склонен утверждать, что путь к сердцу зрителя идет через срывы и неполадки перед включенными камерами. Речь идет только

о том, что порой и из неудачи может быть извлечен полезный урок. Да, тут надо экспериментировать, такие факты надо собирать, над ними еще, как говорится, надо думать. Но то, что здесь, где-то здесь вдруг может родиться что-то новое, свежее, телевизионное,— для меня несомненно.

Приходилось ли вам видеть выступления перед телевизионным объективом художника Вадима Курчевского? Он ведет диалог с куклой Буратино и углем на листе ватмана рисует для него разные картинки — например, дом с трубой и дым из нее или какую-нибудь зверюшку, словом, все, что тот пожелает. Красивый, в белой рубашке со свободно распахнутым воротом, Курчевский, совсем не торопясь и с полной верой, поддерживает беседу со своим любознательным и догошным партнером. Он говорит с Буратино очень просто, серьезно и с добрым юмором, он и рисует для него так же серьезно, с сознанием, что «дело мастера боится». Рисунок появляется на наших глазах, вот сейчас появляется — тут нет подделки!.. Линия изгибается, еще, еще, теперь несколько штрихов, точек — и вдруг возникает птица в полете, или поросенок, или еще кто-нибудь, не менее занимательный. Право же, это как маленькое чудо! И я готов уподобиться легковерному Буратино и, как он, захлебываясь от удивления, хлопать в ладоши...

Подлинность и непосредственность процесса творчества, а отсюда и наша приобщенность к нему — вот что дает напряжение, смысл этой передаче.

Художник рисует не для нас. Он рисует для Буратино. Они так увлечены друг другом, так заняты своими картинками, что им нет ровно никакого дела до нас, зрителей.

И чем больше им нет дела до нас, тем больше нам есть дело до них.

Актеры, как известно, умеют фотографироваться. На портретах они выглядят величественно и вместе с тем непринужденно. Но когда обыкновенному человеку фотограф говорит: «Спокойно, снимаю!» — у него появляется натянутое выражение лица.

Видимо, все-таки самое интересное на телеэкране — это живая, неподревоженная жизнь, жизнь, увиденная со стороны.

Горький писал о Толстом и Чехове, «подсмотрев» минуты, когда великий человек оставался наедине с собой. Эрнбург снимал Париж боковым видоискателем, боясь спугнуть привычное течение жизни города и ненавидя Париж, кокетливо позирующий перед фотоаппаратом туриста. Итальянские неореалисты мечтали снять улицу, когда этого никто не замечает; но стоило привезти и установить кинокамеры, как невольно начиналась инсценировка... Да, я не знаю ничего более интересного, как если бы глазу телевизионных камер удалось подсмотреть за пенсионерами на бульваре, или за играющими детьми, или в течение получаса — допустим невозможное — за меняющимися пассажирами одного такси. Мы даже не представляем себе, какие свои тайны раскрыла бы нам жизнь, застигнутая врасплох. Застигнутая в этом своем «публичном одиночестве» (выражение Станиславского).

«Жизнь врасплох» — этот лозунг родился в документальном кино. Он принадлежит Дзиге Вертову, замечательному режиссеру, одному из зачинателей советской и мировой документальной кинематографии. «Подсмотренные» и зафиксированные им на пленку кинопортреты работниц на стройках первой пятилетки стали, как известно, кинематографической классикой. «В игровом кино подобные образы можно было бы назвать созданиями великих актрис», — читаем в критической статье тех лет.

Но какой новый и, я бы сказал, истинный смысл может обрести этот принцип на телевидении!

В наши дни жизнь обнажает такие свои пласты, формирует и выносит на поверхность такие «обобщенные» характеры, что, кажется, сама делает за искусство его работу.

Недаром документальные формы отражения жизни занимают все большее место в мировом искусстве.

И в этом нет ничего неожиданного. Ведь искусство не обязательно заострение или сгущение. Искусством может быть и фиксация. Отбор и фиксация.

Острота нашего восприятия тем более увеличится, если жизнь окажется застигнутой нами в момент значительного события, в момент некой внутренней своей кульминации.

В этой связи я хочу рассказать о лучшей — на моей памяти — передаче московского телевидения.

...Сегодня чуть ли не пол-Москвы вышло на улицы, но можно с уверенностью сказать — все остальные сидят у телевизоров. Через час на стадионе в Лужниках взвьется флаг Всемирного фестиваля молодежи. Передающие камеры установлены прямо на улице. Проспект Мира. Площадь Маяковского. Площадь Восстания. И нескончаемый поток открытых машин — это слуги делегаты фестиваля.

Телевизор выхватывает из общего шествия, из огромных людских толп отдельные группы фигур. Крупные планы — как портреты с хорошей фотовыставки. Какое многообразие человеческих типов! Какое разноголосие песен, форм выражения своей радости! И как это — при всей пестроте, даже экзотичности — похоже на знакомое, наше, вплоть до поражающего вдруг сходства совсем разных по своему типу лиц! Кажется, весь город охватило общее чувство. Как его назовешь? Открытость хорошим чувствам? Ощущение всеобщей молодости? Да, молодежь — сегодня хозяин всего, что происходит. Кажется даже, «средний возраст» москвичей снизился этак лет на десять...

Давно нарушен предварительный «литературный сценарий» передачи. Превышены все регламенты. Идет вдохновенная — в масштабах целого города — импровизация. И люди, сидящие у своих телевизоров, чувствуют себя причастными к тому, что сейчас, сию минуту происходит на улице. Они втянуты, включены в общий круг. Они живут той же минутой и так же, как те, кто идет или едет по улицам, ощущают значительность этой минуты, живое дыхание ее. Это так — одни на улицах, другие у своих окон, третьи у телевизоров, и у всех общее волнение, общая ответственность. Все мы участники Московского фестиваля!

Пусть прошло время, и о Московском фестивале были сняты кинофильмы, где есть и цвет, и напряженный монтаж, и поэтический дикторский текст. Они тоже по-своему взволновали нас. Но это не было уже волнение непосредственное, живое и неповторимое, волнение — скажем еще раз — участников события.

Это мог дать только телевизор.

Но он дал не только это. Чувствовалось, что, сидя у телевизора, мы получили больше, чем просто сумму жизненных картин. Получили больше, чем даже те, кто был там, на улицах. И совсем не потому, что сумели побывать сразу во многих местах. Тут к впечатлениям жизненным прибавилось нечто еще, прибавились впечатления художественные, эстетические. Откуда же возникли они?

В каком-то рассказе подросток обещает другому показать замечательное произведение искусства и затем ведет, показывает через пустую картонную раму пейзаж за окном, кажется, закат. Примелькавшийся пейзаж неожиданно производит огромное впечатление. Поражает красотой. Рама обновляет и активизирует наше восприятие, превращает жизнь в объект наблюдения, в зрелище, позволяет взглянуть на жизнь как бы со стороны. Возникает то, что называется магией рамы, магией искусства.

Стихийно или по воле оператора-режиссера (вернемся к телевидению) возникает «композиция кадра», художественное соотношение частей; все это эстетически организует жизнь, расставляет акценты, в конечном итоге — выражает отношение к ней.

Итак, передача с Московского фестиваля была вершиной документального телевидения. Так, может быть, это и есть телевидение-искусство? И будущее его здесь, в хронике, в живой натуре, в недоступной ни кино, ни литературе способности поднять до искусства живой, пульсирующий, схваченный в момент свершения факт?

Или телевидению предстает еще сделать следующий шаг? Шаг от документальности — к достоверности, от правды факта — к правде образа, от честной журналистики — к реализму? И если да, то существует ли (в настоящем или будущем) связь между телевидением как хроникером-документалистом и телевидением как видом искусства? Или телевидение-искусство — явление совсем иного ряда, которое живет (будет жить) по иным, несхожим закономерностям?

II

«Жилищный кризис» на Парнасе.— Радиотеатр.— Стоит ли ходить в театр?— Маяковский на экране.— Театр в моей комнате.— Учиться ли у кинематографа?— Фантастические возможности «Аэлиты».— В чем неправ М. Ромм?— Реформа актерской игры.— Ван Клиберн — великий актер телевидения.— Поиски современной формы.— Вакансия «основоположника».— Телевидение и кино.

Долгое время вокруг работы наших телевизионных студий существовал заговор молчания. Передачи смотрели миллионы людей, но газеты и журналы эти передачи не замечали. Теперь о телевидении пишут много. Превозносят его роль. Удивляются его техническому росту. И, несколько зачарованные его техническим могуществом, запросто именуют искусством.

На страницах журнала «Искусство кино» А. Юровский, представленный читателям как аспирант МГУ (добавим — специализирующийся по проблемам телевидения), пишет: «Уже сейчас, сегодня телевидение — замечательное средство художественного выражения, новое, привлекательное и важное для народа искусство».

А. Юровскому все ясно. У него нет сомнений. Он даже выделил в тексте слово «сегодня», чтобы, так сказать, не откладывать дело в долгий ящик. Для него вопрос уже решен.

Не хочется выглядеть скептиком рядом с энтузиастом. Но, право же, рановато под радостные выкрики справлять на Парнасе новоселье у новой (какой по счету?) музыки — музыки телевидения. Тем более, что над Парнасом нависла угроза «жилищного кризиса». Телевидение, фотография, документальное кино, полиэкран — сколько новых кандидатов, и все молодые, агрессивны, и все в творческом росте — ну прямо «турнир претендентов»!

Не будем отрицать, у телевидения в этом смысле, как мы видим, «неплохие шансы». Но борьба еще только разгорается, и пока в турнирную таблицу занесены лишь первые очки...

Каковы и сколь долги пути, на которых телевидение обретает качества самостоятельного искусства, — это очень сложная эстетическая проблема, еще не скрестившись по-настоящему мнения, да и трудно критике идти здесь впереди фактов. Тем более необходимо уже сейчас отделить эту проблему от того круга вопросов, которые встают в связи с идеологическим, воспитательным и общекультурным значением телевидения.

Никто, к примеру, не сомневается в значении радио. Но никто и не утверждает, что это самостоятельный вид искусства. А ведь у радио есть и своя специфика, и можно, к примеру, говорить о радиотеатре как о театре со своим комплексом выразительных средств. И есть, вероятно, произведения, которые лучше всего прозвучат на радио; и есть радиопостановки, которые запомнились на многие годы, — скажем, «Дон-Кихот» с Качаловым и Яншиным или «Баня» с Ильинским. И все-таки радио — это только посредник, и все-таки мы не можем сказать, что родился художник, чтобы поведать о жизни языком радио...

А вот кино, которое вовсе не родилось искусством и в котором в течение многих лет видели лишь техническое чудо, аттракцион, накопило некие новые качества, обрело свой язык, обнаружило в людях соответствующий себе образ художественного мышления и стало искусством, великим искусством современности, оказавшим могучее влияние на все остальные.

Есть ли у телевидения свой художественный язык?

Мы искали его в удачах телеобъектива, встречающегося с живой жизнью, с непредвзятым течением ее. Теперь обратимся к совсем иной области. Поищем элементы этого своего и нового художественного языка на встречах, «стыках» телевидения с другими искусствами.

Начнем с театра.

Что происходит, когда по телевидению транслируется спектакль? Остается ли здесь телевизор «нейтральным лицом», незаинтересованным посредником или он вступает с искусством сцены в некие — эстетические — отношения? Может быть, тут лежит прямой и крайчайший путь телевидения в будущее?

* * *

Существуют в основном два вида театральных передач по телевидению. Трагедия уже идущих на московской сцене спектаклей и собственно телевизионные постановки, подготавливаемые специально для передачи в эфир.

Рассмотрим первый из этих случаев.

Допустим, идет спектакль в Театре Моссовета или в Театре Вахтангова: его смотрит, ему аплодирует (или им возмущается) тысяча зрителей, и в один из таких вечеров к этой тысяче присоединяется еще какое-то количество тысяч, вернее — это каждый раз трудно себе вообразить — какое-то количество миллионов зрителей: те, что расположились сегодня у своих телевизоров.

Эти новые зрители, бесспорно, что-то потеряли против тех, что сидят сейчас в зале театра, в чем-то оказались с ними в равном положении, а что-то и приобрели.

Потеряли:

1) ощущение праздничности и приподнятости, которое сопровождает само пребывание в театре;

2) чувство общения, единения с сидящими в зрительном зале (отчасти это восполняется гулом зала, аплодисментами, смехом, которые доносит до телезрителя микрофон).

Замечу в скобках, что смотреть телепередачу в пустой комнате одному как-то неуютно и менее интересно, чем когда у телевизора собралось несколько человек. У вас появляется внутренняя потребность обменяться репликами, потребность разделить с присутствующими ваши эмоции. Не поэтому ли у телевизора так часто комментируют вслух увиденное, призывают занятых другими делами взглянуть на экран, вообще нуждаются друг в друге? Но в любом случае это веселое общение уступает тому удивительному чувству единения с огромным театральным залом, что, по словам Голя, готов смеяться одним общим смехом и плакать одними общими слезами...

3) теряет ту непосредственность впечатлений, что дает только прямая встреча с живым актером, с которым дышишь одним воздухом и который заражает тебя всей настроенностью своей психики, своих нервов, заражает чем-то поверх того, что может быть непосредственно выражено в логике образа, то есть тем, что когда-то именовали «магнетизмом»;

4) теряет, далее, все то, что дает объем, цвет, не говоря уже о четкости изображения чисто телевизионного, зависящего от качества передачи.

В равном положении зритель, отправившийся в театр, и зритель, оставшийся у своего телевизора, находятся в одном и, быть может, наиважнейшем смысле.

И тот и другой зритель ощущают себя присутствующими при зрелище, которое возникает в данный момент, возникает на их глазах, оба они свидетели и сопереживатели вот этого — сегодняшнего — спектакля, который никогда уже в точности не повторится, они соучастники самого процесса его рождения.

Речь, таким образом, идет о признаке, который определяет суть эстетической природы театра как искусства.

Ясное дело, сидя у себя в комнате, вы не можете повлиять на ход спектакля, ваш скучающий зевок или ваши шумные восторги не долетят до актеров. Но то особое внимание, та особая активность вашего восприятия, которая связана с тем, что вы следите за зрелищем, рождающимся на ваших глазах (снова «эффект присутствия»), в полной, а скорее всего даже в усиленной, обостренной форме дана зрителю телевидения.

И, наконец, преимущество зрителя, который следит за спектаклем, расположившись у своего телевизора, — а у него есть и преимущества — состоят в том, что:

1) он наделяется чудесной возможностью в нужный момент как бы перешагнуть рампу и приблизиться к актеру, оказаться с ним почти вплотную, вытеснить из своего поля зрения все, кроме лица, или рук, или глаз. Телеобъектив одаряет искусство сцены одной из самых потрясающих возможностей кино — к средствам театра он присоединяет еще и крупный план; взятую отдельно художественную деталь;

2) он не платит за билет, ему не надо после окончания представления добираться куда-то в другой конец города, и вообще он может «покинуть зал», разорвать свои свя-

зи с искусством в любой момент... Впрочем, в этом одновременно и его крупный проигрыш: не потребовав никаких затрат, ни материальных, ни физических, искусство по телевизору может не требовать от нас и никаких «нравственных затрат», а это будет означать не только то, что искусство пройдет мимо, но и то, что мы все больше будем привыкать глядеть на него свысока...

Впрочем, это особая тема, и мы еще обратимся к ней в конце нашей статьи.

Итак, разобравшись в эмоциональных «потерях» и «приобретениях» зрителя, решившего познакомиться с новой, простите — старой (новых не показывают) театральной постановкой и включившего для этого свой «Темп», мы можем довольно четко разграничить, какие по характеру спектакли больше, а какие меньше теряют при передаче в эфир. И, напротив, в каких случаях полнее скажутся преимущества такого их опосредствованного восприятия.

Или, как мы сказали выше, в каких случаях телевидение контактирует с искусством сцены, обнаруживает свое эстетическое родство, а в каких незаинтересованно оказывает театру лишь свои услуги, остается лишь техническим чудом: вы играете, я показываю — у каждого свое...

Но посмотрим на экран.

Не однажды видел я по телевизору пьесы Маяковского, поставленные Театром сатиры. Я очень люблю эти спектакли, и в театре всякий раз они заражают меня веселой стихией выдумки, напором мысли, ритмами, от которых молодеет сердце. И вот эти спектакли, когда я следил за ними на своем домашнем экране, оставляли меня почти холодным. Почему? Думаю, дело в том, что драматургия Маяковского как бы сама требует твоего, зрителя, присутствия в зале, она властно включает тебя в свою орбиту. Больше, чем любой другой драматург, Маяковский живет и работает в прямой связи с тем, как настроен сегодня зрительный зал. И в то же время пьесы Маяковского предполагают дистанцию между сценой и залом. Перед нами тот случай, когда зрителей не посадишь на сцену, как это частенько делает Охлопков... А на сцене жизнь предстает в концентрированных формах, все подробности отброшены, но главное, основное взято локально, взято крупно, взято в открытом преувеличении. Пристальный, тоже увеличивающий глаз телеобъектива излишен. Тут уж не нужна лупа. Здесь и штрих другой, да и важна почти всегда не одна какая-нибудь деталь, а композиция в целом. Наконец, та «интимная интонация», которую телевизор вносит в спектакль, что-то отнимает от зрелищного, феерического, адресованного к тысячной аудитории разом театра Маяковского, не восполняя это чем-то другим.

Предположим, мы задались целью познакомить нашу телевизионную аудиторию с творчеством режиссера Георгия Товстоногова и выбрали для показа два его спектакля — «Оптимистическую трагедию» и «Пять вечеров». В каком из этих двух случаев телезритель получит более полное представление о спектакле?

Сумеет ли зритель, расположившийся у своего маленького экрана, ощутить весь масштаб, всю условную, образную природу натетико-трагедийного спектакля по Вишневскому, с его кажущимся на этот раз как никогда огромным пространством сцены, с распахнутым небом, с незабываемыми проходами революционного полка, что все идет и идет, и нет, кажется, этому движению ни начала, ни конца... А щемящие, берущие за душу минуты прощального матросского вальса на серой, стальной палубе под гигантскими жерлами орудий!.. А Ведущие, обращающиеся непосредственно в зрительный зал! Что говорить, тут почти все время надо видеть всю сцену разом, тут существенно важен смысл массовых, народных сцен, их рисунок, динамика их; тут нет или почти нет эпизодов, где фокус внимания сосредоточен на чем-то одном.

И другое. Вот Вожак — великая работа артиста Толубеева, одна из вершин сценического реализма. Образ точно выбит из каменной глыбы, сработан, что называется, грубым резцом. Правда Толубеева в роли Вожака беспредельна, она безжалостна и точна, но до тех пор, пока она соответствует жанровой и образной природе всего спектакля. Да, такому Вожаку место в этих бескрайних степях, где лишь вечное, равнотдушное небо, пыльный шлях да скифский каменный идол, что мелькнет порой за бугром, идол, как окаменевший Вожак... Можно ли представить такого Вожака в комнате за сервированным чайным столом? В вашей комнате! За вашим столом!

Повторяем, образ Вожака соотношен с условной сценической средой; нужна рампа, нужно соответствующее освещение, нужны, как называет это сам Г. Товстоногов, каждый раз особые «условия игры» (их предлагает зрителю пьеса и театр); все это нужно, чтобы мы поверили в правду образа Вожака, в правду пьесы Вишневского.

Среда же телевизионного экрана — во всех случаях — среда безусловная. То, что происходит за телеэкраном, — это происходит в вашей комнате, это лишь продолжение ее за экраном. Телеобъектив, а вместе с ним мы, зрители, можем вплотную подойти к актеру. Между зрителем и сценой телевизионного театра нет дистанции, нет рамы. Здесь происходит, по-моему, обратное тому, что происходит в документальном телевидении. Там поток жизни, и телеобъектив берет его в раму, создает раму. Здесь — он разрушает театральную рампу, как бы предлагая относиться к явлению искусства как к явлению живой действительности. Он придает документальный характер тому, что мы видим. Он вообще не умеет каждый раз по-особому «настраивать глаз»... Но ведь известно, что «чувство рамы» (как иногда говорят) многое определяет и в самом театральном искусстве и в его восприятии. Естественно, что ее исчезновение не может пройти незаметно: взаимоотношения зрителя и искусства (принятого нашим телевизором) начинают подчиняться иным эстетическим закономерностям.

Другое дело спектакль «Пять вечеров». Здесь всего несколько действующих лиц, действие в основном происходит в комнате, и все внимание наше сосредоточено на душевных переживаниях героев. Здесь уже в самом спектакле как бы преобладают «крупные планы»: режиссер выдвигает важнейшие эпизоды на авансцену — ближе к зрителю, он высвечивает героев, он уже как бы сам создает «телевизионные мизансцены». Это важно. Но еще важнее другое. Дарование А. Володина «кинематографично» по природе, так у него устроен глаз, даже самые хорошие актеры кажутся слишком «театральными» для его пьес. Драматург открывает и рассматривает новые характеры, он не отправляется за ними на поиски, он смотрит вокруг себя и видит их всюду, по сути дела для него каждый человек — новый характер: он о каждом может пьесу написать. Разумеется, тут уж и для театра (коль скоро он хочет быть верен драматургу) совсем иные «правила игры». Тут уж не страшно, а, напротив, хорошо, что сцена за экраном становится продолжением вашей комнаты.

Итак, режиссер Товстоногов, обратившись к пьесе Вишневского, создал спектакль масштабный, торжественно-патетический; взявшись ставить Володина, решал его пьесу в манере бытовой, психологической (я нарочно беру крайние случаи). На языке критических статей это называется: режиссер верен драматургу.

Но будет ли «верен Товстоногову» телевизор в задуманном нами цикле передач? Увы, лишь в одном случае из рассмотренных двух. Практика показывает, что спектакли эпического, приподнято-романтического ряда утрачивают при передаче в эфир много больше, чем спектакли, действие которых, условно говоря, происходит в комнате.

В чем же тут дело? Может быть, все упирается в очень простые вещи — в то, что экран мал и массовые, народные сцены на нем плохо видны (кажется, что вы смотрите в перевернутый бинокль, к тому же неважно настроенный)? Или техническая проблема идет здесь рядом с неким эстетическим качеством?

Так или иначе, подобная «избирательность» телеэкрана составляет его слабость. Но она может превратиться в силу, если мы будем это учитывать, если не станем идти этому наперекор.

Лично я полагаю, что телевизор не просто что-то может, а чего-то не может (это очевидно). Я полагаю, что он, опираясь на некие свои органические свойства, тяготеет к искусству определенного рода.

Искусство, которое выглядит, как действительность, «жизнь в формах самой жизни», — вот что прежде всего, на мой взгляд, будет иметь успех на телеэкране. И это логично, если понять и учесть, что вера в подлинность, вера в безусловный характер происходящего вообще есть главный закон, по существу первое условие воздействия любой — хроникальной и художественной — телевизионной передачи.

Черты телевидения-документалиста где-то в перспективе смыкаются, видимо, с чертами телевидения как самостоятельного вида зрелища.

— А как же быть с героикой, с эпосом, с сатирой?— спросит, быть может, иной читатель.— Неужели все это придется исключить из круга возможностей, из «сферы чувств» театра на телевидении?

Думаю, что нет. Разве не проникнут романтическим пафосом строго документальный фильм «Повесть о нефтяниках Каспия»? Разве не героичен вполне «бытовой» спектакль Театра имени Ермоловой «Спутники» — сценическое переложение повести Веры Пановой? Да, это примеры из других искусств. Но они еще раз свидетельствуют, что романтика и документальность, героика и быт вовсе не взаимоисключающие друг друга понятия. Значит, вопрос лишь в том, как удастся совместить их на телевидении.

(Возможно, тут следовало бы сделать еще какие-то оговорки. Но не хочется. Внимательному и добросовестному читателю, надеюсь, ясно и так, а в ином случае все равно оговорок не напасешься.)

Все сказанное о театре на телеэкране обретает особую актуальность и остроту, когда от вопросов, связанных с трансляцией готовых спектаклей (из театра или с площадки телецентра), мы переходим к собственно телевизионному театру — театру, который за последнее время весьма активизировал свою деятельность.

Если в готовом спектакле, выбранном для трансляции, уже ничего нельзя изменить, то здесь телевидение, так сказать, у себя дома, тут оно хозяин положения. Не ясно ли, что именно телевизионный театр должен быть озабочен всеми этими нерешенными вопросами, что он просто обязан учитывать особенности восприятия искусства по телевидению; именно эти особенности должны определить, сформировать его творческое лицо.

Есть ли сейчас художественный почерк у театра, передающего спектакли в эфир? Вопрос чисто риторический...

Скорее всего надо признать, что свои особые черты наш телевизионный театр ищет пока лишь в некотором расширении своих постановочных средств.

В глубине души театр почему-то всегда завидовал кинематографу. И теперь молодой и шустрый собрат театра — театр телевизионный — весело поспешает за пресловутыми «кинематографическими возможностями», то есть, с моей точки зрения, копает землю в направлении, прямо противоположном тому, где может оказаться руда.

И вот мы смотрим «собственно телевизионный» спектакль — «Аэлита».

Чувствуется, пафос «многообразных возможностей» здесь в большой степени определил замысел постановки да и самый выбор повести Алексея Толстого с ее «межпланетным» сюжетом. Подумать только! Где еще, как не на телевидении, можно показать живого актера во всей непосредственности, незафиксированности актерской игры и картины звездного неба, планету Земля, увиденную из далей Вселенной? Где еще можно подсмотреть за героями в момент следования с Земли на Марс, когда — невесомые — они, точно рыбы в аквариуме, свободно парят внутри межпланетного корабля? Где еще произведешь такое впечатление, изобразив причудливые пейзажи Марса, наконец, самих марсиан, таинственных, странных марсиан, и даже марсианок?

Да, конечно, только на телевидении. Нигде, кроме...

Телеспектакль «Аэлита» оказался неудачным.

Природа Марса была изображена во всей своей бутафорской конкретности и «фантастической» нелепости; марсиан обрядили не то в детские капюшоны, не то в летные комбинезоны с металлическими рожками-антеннами на голове, а их верховный правитель своим голым черепом и атласными одеждами мучительно напоминал балетного хана-завоевателя, добывающегося любви у пленницы княжны...

Предположим, однако, что телевизионная «Аэлита» была бы более терпима и с точки зрения стиля и с точки зрения исполнительского мастерства.

Все равно, зрелище это не представит единого художественного целого, ибо исходит из предположения, будто особые возможности телевидения в том только и состоят, что соединяют в себе — путем сложения — театр и кино.

Выглядит это примерно так. Включается камера, перед нами — крупный план актера, которому, вероятно, одновременно подали знак: начинай, мол! Секунду актер пре-

бывает еще с застывшим, «нейтральным» выражением лица, затем на наших глазах «входит в образ» и произносит нужный текст. Действие течет неспешно, актеры играют с нажимом — то, что называется «театрально», — голоса звучат гулко: живое присутствие актера перед передающей камерой вы ощущаете вполне.

Но герой оказывается на природе — и подключается кинолента, тут уж и иная контрастность, и иная в соотношении с передним смотрится задний план, здесь уж и ритм, и даже темп совсем не тот — ведь кино живет по иным законам: монтаж сжимает время, купирует, превращает в пунктир линию действия. Наше сознание невольно фиксирует, сопоставляет переход от условной (при любой «натуральности») обстановки на вильбона к реальной, безусловной натуре; наконец, и манера игры здесь другая: хочет режиссер того или не хочет, но отснятые куски все равно смотрятся совсем иначе.

Речь, таким образом, не столько о том, что видны швы, что один кусок грубо пригнан к другому (порой это бывает сделано тщательно), сколько о том, что в этот момент якобы незаметно — а на самом деле чрезвычайно заметно — смещаются принципы, меняется механизм восприятия, мы попадаем в область иных эстетических закономерностей, по сути дела — в область другого вида искусства.

Однако именно «монтаж», объединение разнородных искусств в рамках одной передачи, радость по поводу того, что телевидение позволяет соединить все это в некое целое и тем самым продемонстрировать его «специфику», — именно это и определяет характер многих передач.

...Человек вышел в дверь, вот он уже шагает по улице. К тому же льет дождь. Настоящий... Или так. Улица. Снова дождь. Окно. По стеклу бегут капли. Объектив приближается. Через окно (заметьте!) мы входим в комнату... Это уже почти совсем как в кино!

А где еще можно включить в живое действие картину бегущих облаков или бушующих морских стихий (кинокадры морского пейзажа врываются даже в телеспектакль по Ибсену «Столпы общества»)?

Дальше — больше. Можно даже заставить двигаться перед объективом одного актера, а говорить, петь — другого, то есть перенести сюда метод «озвучивания», «дубляжа» (так была построена передача «Шекспир в музыке»). И, наконец, в постановке оперы Цезаря Кюи «Кавказский пленник», где тоже одни играли, а другие вместо них пели, за кадром актер читал Пушкина, в то время как сухие бутафорские кусты и морщинистые дерюги, покрывавшие ступени, демонстрировали ту самую прекрасную и дикую природу, о которой слагал свои строки поэт...

Вот уж и кинематографические «наплывы» научились делать в театре на телевидении, а, как сказано у Ильфа, счастья все нет!..

Быть может, конечно, на совсем ином уровне — озарением таланта — удастся соединить на телевидении и разные искусства; талант затем и приходит в жизнь, чтобы опровергать очевидное. Быть может, как раз и удастся совместить главнейшие, определяющие свойства кино и театра: от театра — сиюминутность действия; природную документальность — от кино. Но, повторяю, озарением таланта, в некоем высшем синтезе, а не с помощью ножниц и клея, как это делается сейчас. Нет, право же, так не выйдет ничего!

Телевизионный театр — это и не театр, вставший под знамена откровенной театральности, и уж тем более не эстетический кентавр, где кино и театр лишь причудливо срослись между собой.

Другое дело, что практика телевидения, думается мне, обнажает, ставит на повестку дня совсем иной насыщенный ракурс проблемы взаимовлияния сцены и кинематографа.

Идет любопытный процесс. Театр и кино как никогда стараются отгородиться, даже откреститься друг от друга (вспомните хотя бы недавнюю статью М. Ромма). Современный кинематограф борется с театрализацией. Киноэкран все чаще настаивает на том, чтобы актеры не были похожи на актеров. Обыкновенные люди. Их разыскали в уличной толпе. И с экрана они рассказывают нечто очень близкое и к самим себе, и к обстоятельствам своей жизни. И в то же время именно сейчас, может быть как никогда, театр и кино нуждаются друг в друге, могут быть «полезны» друг другу. Кино необходим опыт театра, его «школа», чтобы те же артисты «из уличной толпы», сыграв

однажды себя, не превращались затем в пустых носителей примитивных штампов, в типаж номер такой-то. По-прежнему питается кино и идеями и образами театра (прекрасный фильм «Мы — вундеркинды», снятый в откровенно брехтовской традиции, недавний тому пример). Театр же вовсе не теряет своего достоинства, когда вглядывается в процессы, происходящие в кинематографе, когда учится у него широте охвата явлений, учится «вещественности», натуральности кинематографа, умению соединить высокую концентрацию жизненных впечатлений и идей с почти документальной точностью, с предельной естественностью жизненного потока.

Хрестоматийно известен рассказ К. Станиславского о том, как однажды в аллее парка, напоминавшей декорации к спектаклю Художественного театра «Месяц в деревне», Книппер и он, Станиславский, решили сыграть одну из своих сцен. И вот правдивая, психологическая, одухотворенная игра артистов вдруг показалась на природе и грубой и фальшивой. Анализируя этот факт, М. Ромм в своей статье говорит об ограниченности реализма театра и о принципиальном превосходстве над ним кинематографа, который легко и свободно переходит из павильона на природу.

Нечего и доказывать, что не существует искусств более реалистических и менее реалистических, — просто каждое говорит на своем языке. Но совершенно верно, что перед объективом киноаппарата надо играть еще более тонко и натурально, чем даже в самом что ни на есть «психологическом» театре. В этом нет превосходства кинематографа, в этом его особенность.

Существует факт: игра Сары Бернар, отснятая на киноплёнку, неожиданно произвела гротесковое, чуть ли не пародийное впечатление. Но это еще не значит, что Сара Бернар как актриса хуже, чем, скажем, Гурченко или Касаткина, хотя и та и другая выглядят на экране более естественно.

Это говорит лишь об иной эстетической природе кинематографа. То же самое можно сказать и о телевидении. Поэтому, если для обычного театра движение к, условно называя, «кинематографической манере» — это пожелание, путь для решения новых и более сложных задач, наконец, признак определенного стиля, то для театра в эфире, театра в моей комнате это естественный и единственно возможный язык. Не высшее, а элементарное условие его.

Театр максимального слияния актера и образа, где всегда надо играть с таким внутренним наполнением, на таких психологических нюансах, будто снимают «крупный план». Театр актера современного, который все меньше прячется за «характерность», за чистое перевоплощение и играет откровенно, интимно, оголенно. Театр, где никогда не показывают результаты сделанной работы и где каждый раз действительно рождается новое, где, говоря словами Станиславского, все происходит «сегодня, сейчас, сию минуту». Театр абсолютной правды поведения и чувств и тонких, одухотворенных движений человеческой души.

Вот каким рисуется мне театр телевизионного экрана. И он, на мой взгляд, просто не выполняет своего назначения, когда оказывается иным.

«Кинематографическая манера игры» есть важнейший признак, неотъемлемая особенность этого театра, и если пока она еще не осознана практическими работниками нашего телевидения, если усилия их пока идут главным образом в противоположном направлении, то в этом как раз и коренится, на мой взгляд, одна из наиболее очевидных причин нашей неудовлетворенности тем, что мы ежевечерне видим на нашем экране.

И все-таки я задаю себе вопрос, какие из виденных по телевизору произведений театра оказали на меня наибольшее воздействие, впечатление от которых было не посредственным, эмоциональным. Речь, таким образом, идет о живой заразительности искусства. Были такие спектакли?

Да, были.

И вот среди других — скажем прямо, немногих — вспоминается совсем небольшая по объему работа московского телевидения: «Прощание», одноактная пьеса Леонида Зорина, сыгранная артистами Олегом Ефремовым и Лилией Толмачевой. Дедо происходит где-то на целинных землях. Чайная у большой дороги. Стрелились двое: журналистка из Москвы и шофер соседнего совхоза, до отъезда на целину тоже москвич, студент. В прошлом у них любовь; теперь она готовится выйти замуж, он про-

должна ее любить. И вот весь спектакль (а действие длится минут двадцать—двадцать пять) двое сидят за столом, сидят и, что называется, выясняют отношения. Все время дается «крупный план». Лица заполняют экран. Диалог немногословен. Беседа идет вполголоса; какие-то куски вообще без диалога, и тогда за кадром мы слышим сдержанный, лирический рассказ героя. Скупыми средствами создает Ефремов ощущение глубокого драматизма происходящего. Тонко, постепенно, без всякого нажима раскрывает нам эгоистическую природу характера своей героини Толмачева.

Мне рассказывала Маргарита Микаэлян, режиссер этого спектакля, с каким трудом ей удалось убедить работников телевидения в целесообразности именно такого решения. Ее предупреждали, что будет скучно, что надо разнообразить действие, переключая его время от времени ну хотя бы на общий вид чайной, что мизансцены должны быть более подвижны, более «театральны»: не худо бы герою в запальчивости вскочить из-за стола, побегать по комнате, менять позы и места... Видимо, на телевидении еще не привыкли к тому, что мизансцена в их театре — это и сдержанный жест, и поворот головы, и брошенный или отведенный взгляд: здесь все фиксируется, все может быть исполнено глубокого смысла.

Лаконизм, искусство «под хроникку живой жизни», сдержанность в выражении чувств, богатый лирический второй план, неприятие любой назидательности — все это важно для телевидения, все это имеет здесь свой резон.

И все-таки я убежден, не нужно понимать особенности, а с ними и общее направление развития телевизионного театра слишком однозначно.

Не подстерегают ли нас и здесь многие неожиданности?

Совсем к иному актерскому поколению принадлежит выдающийся мастер советского театра Михаил Федорович Романов. Но чуть ли не каждое из его выступлений по московскому телевидению становилось событием для зрителей. Что это было? Просто воздействие редкостного по силе и обаянию таланта? Не только. Какие же качества, присущие именно Романову, оказались в этом случае особенно важными? Мне кажется, дар интимного общения со зрителем и та откровенность души, это неразгадываемое качество не то таланта, не то душевного строя артиста, которое все, чем он живет, о чем спрашивает жизнь, заставляет каждого проецировать на себя...

В финальных кадрах телевизионного спектакля «Машенька» по Афиногенову Романов — академик Окаемов (здесь, к слову, ставший главным героем пьесы) обращается непосредственно к зрителям. Камеры все ближе наезжают на артиста, вот его лицо уже заполнило весь экран. Глядя вам прямо в глаза (то есть в фокус объектива), Романов говорит о молодом поколении, об ответственности каждого за его судьбу. У Романова, у его Окаевова это и итог жизни, и исповедь, и широкий гражданский призыв. Несколькими риторическая концовка пьесы Афиногенова на этот раз неожиданно заставляет вновь задуматься над простейшими истинами, она волнует и трогает своей человечностью, заставляет вздрогнуть от прямой обращенности к тебе...

Да, актер, выступающий перед телевизионными камерами, не видит своего зрителя, не может сказать: «Сегодня был хороший зритель, он схватывал на лету каждое слово...» Но с телевизионного экрана актер еще больше, чем со сцены, обращается непосредственно к людям и к каждому человеку в отдельности. Ему, вот этому своему невидимому, но как никогда близко к нему подступившему зрителю, адресует он свое искусство.

Мне кажется, великим телевизионным актером станет не тот, кто удивит нас изощренной способностью к перевоплощению, а кто потрясет лирической обнаженностью таланта, редкостным даром душевной откровенности.

Так в интимности телевизионного искусства заключена возможность его глубокого гражданского воздействия, воздействия идей. И в то же время открытый пафос большинства наших постановок, не соотношенный с особенностями телевизионного театра — с механизмом его восприятия, — улечучивается, как жар из печи, если хозяин печь вытопил, дров не пожалел, а заслонку задвинуть забыл.

К слову, о великом телевизионном артисте.

Я видел его. Видел на своем экране. Это был Ван Клиберн — Ван Клиберн московского прощального концерта (я имею в виду первый его приезд). Хорошо, нет —

галантливы работали в этот вечер передающие камеры. Помните этого мальчишка с выраженным добром и печалью на лице, его красивую, чуть запрокинутую голову, его детские ресницы, его скорбно, недоуменно поднятые брови и этот безмолвный — хоть и звучит прекраснейшая музыка — монолог распахнутой души, интимнейший акт творчества, помните? И его улыбку, немного виноватую даже, при выходе на аплодисменты... Я видел потом то же самое несколько раз, видел отснятым на киноплёнку. Но это не производило впечатления. Утратилось самое главное — я уже не был приобщен к великой, неповторяющейся минуте рождения музыки.

Что это было? «Подглядывание жизни» или встреча с артистом той меры искренности и внутренней свободы, о которых искусство сцены сегодня может еще только мечтать? Но, так или иначе, знаю только, что для телевидения это были счастливые часы.

Мы сказали о телевизионном театре много горьких слов. Почему же все-таки совсем не так уж редко мы с приятностью проводим вечер у своего телевизора, да еще при этом смотрим трансляцию спектакля, который принадлежит к другому направлению, далек от тех свойств и качеств, о которых тут идет речь? Да потому, что пока в большинстве случаев роль телевизора остается в основном информационной. Не так ли вы можете отправиться в кино, чтобы посмотреть «Вассу Железнову»? Это фильм-спектакль. Удачный. Он ничего не скажет вам об искусстве кинематографа, его цель дать вам хотя бы некоторое (заведомо неполное) представление об искусстве театра, в частности Малого театра. Вы понимаете, что это компромисс, что лучше было бы пойти непосредственно в Малый театр, но, как говорится, лучше что-то, чем ничего.

Так и здесь. Для вас ясно: лучше было бы пойти на творческий вечер В. Лепко в Дом работников искусств и сидеть в первом ряду. Несколько хуже сидеть в десятом ряду или на галерке. Еще хуже, но, в общем, тоже не так уж плохо расположиться у своего телевизора. Вы усаживаетесь поудобнее и знаете: вы получите не сто процентов возможного удовольствия, а, скажем, пятнадцать. Артист Лепко — замечательный, вы много раз видели его на сцене, и теперь даже намек вам будет достаточно, чтобы вспомнить и вновь пережить виденное.

По сути дела, телевизор выступает здесь в роли хроникера. Только на этот раз он помогает вам «подглядеть» не за футбольным матчем и не за встречей у «круглого стола», а за концертом любимого артиста. Телевидение как таковое ничего в нашем впечатлении не меняет, ничего не прибавляет, тут не возникает никакого нового эстетического качества; а вот в случае с Клиберном было совсем иначе: здесь я, телезритель, был куда больше приобщен к процессу, к акту творчества, чем те, кто сидел в зале; наконец, для меня возникли иные — новые — взаимосвязи личности художника и его искусства. И, так же как после передачи с фестиваля, еще не известно, чье впечатление в сумме было сильнее...

Театр телевизионного экрана — театр органически современный. Это касается и репертуара, и манеры, и всего строя, даже антуража любой из передач. Телевизионный экран разоблачает старомодность, пусть и «добротную!» Он распознает ее и подчеркивает точно так же, как распознает, подчеркивает неточность и фальшь. Телевидение — одно из самых блестящих современных изобретений, воистину это «рождение времени». Так не закономерно ли, что оно требует и современных средств художественного выражения, современного языка?

Но осуществимо ли (могут спросить) при подобном стремлении к предельной естественности, документальности стиля создание в собственно телевизионном театре характеров крупных, масштабных, поднимающих глубокие пласты жизненных явлений, концентрирующих сложную, философскую мысль? По каким законам живет, в частности, актерское искусство, ищущее свои новые возможности уже на границе, за которой, казалось бы, кончается перевоплощение? Практика телевидения пока еще не дает реальной основы для ответа на этот вопрос. Но когда я еду в метро, или сижу на бульваре, или смотрю новые работы на выставке фотокискусства, я вижу вдруг, что сама жизнь формирует порой такие типы, и именно типы, что встает весь характер человека и вся его судьба, и невольно — не в словах, не в формулировках — прибавляется какая-то крупница в твоем понимании жизни. Может быть, так, через «автобиографичность», через

жизненный типаж (и в хронике и на сцене), пойдет когда-нибудь телевидение к высокой и беспредельной правде своего искусства?

Но во всех случаях вторжение в искусство из окружающей нас действительности новых характеров (уже в обычном смысле) — задача равно насущная и для театра, и для кино, и для телевидения. Или стоит сказать иначе. Может быть, просто телевизионные камеры, наведенные на иные подмостки, неожиданно для нас самих сделали особенно наглядным устарелость их языка...

Надо искать. Надо делать смелые, неожиданные эксперименты. Нужны талантливые и, видимо, молодые люди — ведь кино тоже начиналось с талантливых людей.

Почему бы, например, не разыграть пьесу (хотя бы небольшую) прямо на натуре? Актеры без грима. Все кругом подлинное. Ну и, разумеется, соответствующего качества текст. А впрочем, почему обязательно текст? Горький мечтал в свое время о театре импровизации. Идеей этой увлекались и Станиславский и Вахтангов. Может быть, театр живой импровизации это и есть телевизионный театр? Или хотя бы частичной импровизации?

Охлопков писал недавно, что мечтает поставить «Бориса Годунова» прямо на ступенях кремлевских соборов. Я не думаю, что именно историческая трагедия в стихах и режиссер, мыслящий патетико-декоративными образами, составят завтра телевизионного театра. Но в самом перенесении театрального действия на вольный воздух нет ничего невозможного. Разумеется, тут уж не должен повториться случай, рассказанный Станиславским. Может быть, в этом и смысл эксперимента, чтобы перед телевизионным объективом заставить играть так же, как на натуре.

Что ж, это, видимо, дело будущего.

А пока включите телевизор, и вот уже на экране подкручивают ус бравые гусары, хихикают провинциальные простушки и слезливые — «бедные, но честные» — отцы сначала кому-то грозят, хватаются за сердце, а в финале безголосо декламируют и пускаются в пляс... Идет водевиль. Не старый — старинный, может быть хороший сам по себе, милый, трогательный водевиль, у которого жестокий телевизионный экран отнимает все его обаяние. Или оперетта — ее готовы слушать всегда. Так, может быть, не мудрить, не искать, а просто чаще давать оперетту — и публика, как говорят в таких случаях, «будет за нас»!

Впрочем, и здесь речь не о жанре. Речь о стиле.

Однако одно общее замечание, касающееся репертуара, хочется сделать.

Я имею в виду весьма нередкое предоставление телеэкрана участникам самодеятельности, спектаклям драматического коллектива того или иного завода, колхоза, института. Что бы мы ни говорили, с каким бы уважением ни относились к этим людям, к их успехам в труде, все-таки в подавляющем большинстве случаев актеры-любители играют хуже, чем актеры-профессионалы. А телеобъектив (как мы это уже видели не раз) подчеркивает, «выставляет напоказ» это их неумение.

Не желая того, телевидение оказывает идее народного творчества медвежью услугу, оно не пропагандирует, а другой раз дискредитирует его.

Не лучше ли (если уж об этом зашла речь) сделать об этих людях очерк или пригласить в студию да попросить рассказать о себе, о том, что дает им самим увлечение театром? Может быть, предложить тут же — в кругу своих товарищей — сыграть какую-то сцену: в этом случае мы иными глазами взглянули бы и на их искусство...

Пока же главное место в театральных передачах занимают оперетта и старинный водевиль, занимает показ работ коллективов самодеятельности и сходящих с репертуара спектаклей второстепенных московских театров, — говорить о поисках нашим телевизионным театром новых, специфически ему присущих форм не приходится.

* * *

О драматургии собственно телевизионного театра. Вообще о литературе для телевидения.

Об этом сейчас много говорят и пишут. Да, такой литературы пока по существу нет. Да, она необходима. Однако здесь меньше всего годится «всеобщая мобилизация».

Можно очень высоко ставить того или иного художника, драматурга, но в его творческом диапазоне может и не оказаться пьесы для театра в эфире.

В такой избирательности телевизионного театра, вообще телевизионного экрана, ни для кого нет ничего обидного. Даже среди литераторов, наделенных драматическим даром, один может оказаться прирожденным сценаристом, видеть мир в образах кино; другой как никто чувствовать сцену; третий, скажем, стать автором балетного либретто. Это называют — «характер дарования».

Оставим пока более сложный вопрос о градациях, направлениях в н у т р и искусства телевизионного театра. Но то, что «завлит» этого театра должен ориентироваться на определенный круг писателей,— бесспорно.

Что ж, пройдет не так много лет, и мы будем говорить — это прирожденный теледраматург, как сейчас уже говорим — прирожденный сценарист. «Что поделаешь, он рожден, чтобы писать для телевидения. Это у него от бога!» — скажем мы, нимало не удивляясь, что всего лет двадцать назад телевидения не было и в помине. Но жизнь так устроена. Время рождает спрос, время рождает и предложения. Есть телевидение, кто ему стать искусством — будут и художники его.

Кто же станет «основоположником» большого телевидения?

И все-таки, по моему убеждению, будущее телевидения-искусства начнется не с литературы. Да простят мне товарищи драматурги! «Основоположником», по-моему, станет оператор-режиссер.

Впрочем, есть время доказать обратное.

* * *

Несколько замечаний о кино на телевидении.

Полагаю, здесь все куда проще, чем с театром. Никакой собственно телевизионной проблемы демонстрация фильма на наших домашних экранах не выдвигает. Хороший фильм — хорошо. Плохой — плохо. Показывают в основном плохие. Хорошие не показывают, чтобы «не отпугнуть» от них зрителя в платном кино. Поэтому отбирают те, на которые зритель не ходит; те, которым все равно «нечего терять». Но верно ли думать, что зритель станет смотреть подобные фильмы с доставкой на дом?

Впрочем... Увы, смотрит.

Смотрит то, что никогда бы не стал смотреть по добромому выбору; смотрит — бранясь и привыкая; смотрит — учась плохое считать хорошим.

Но сейчас скажем о другом.

В этой «доставке на дом» состоит, пожалуй, единственная заслуга телевидения применительно к кино (будем все-таки иметь в виду хороший фильм). Да, мы потеряли в четкости изображения, мы потеряли цвет (правда, при нынешнем состоянии цветного кино об этом редко приходится жалеть). Мы выиграли в удобстве. Вот и все.

Итак, тут все ясно.

Телевидение показывает и должно показывать фильмы. Стоит только побольше показывать таких, что действительно достойны внимания миллионов людей, посвящающих фильму свой вечер. Может быть, чаще и по разным поводам надо показывать старые фильмы: сколько их накопил мировой киноэкран! Идея «повторного фильма», на которой существует — и с неизменным успехом — кинотеатр у Никитских ворот, должна занять здесь постоянное место. С живым энтузиазмом восприняли зрители циклы о Чаплине, об итальянском кино, серию лекций-показов о выразительных средствах кино («монтаж», «композиция кадра», «драматургия» и т. д.). Невольно вовлекают тебя в свою орбиту разнообразные киновикторины — например, недавняя о советской и зарубежной комедии. Можно представить себе аналогичные циклы по отдельным актерам (скажем, фильмы с участием Игоря Ильинского, или Шукина, или Марецкой). По режиссерам (скажем, Пудовкин, Сергей Герасимов, Гриффит, Рене Клер). Можно придумать и другие циклы — была бы охота...

Иное дело, что домашний экран — это действительно домашний экран, и для него можно специально снимать картины как бы «ограниченного пользования». Киноочерк, киношутка, киноновелла, кинопутешествие, кинотрюк, кинореклама, все то, за чем вы не пойдете в кинотеатр, но дома посмотрите с удовольствием.

Но какой бы на нашем домашнем экране ни шел фильм (специально снятый или не специально, игровой или мультипликация), телевидение как жанр, как самостоятельная эстетическая возможность, повторяю, складывает свое оружие. Остается только кино, просто кино.

Это надо подчеркнуть, разумеется, не затем, чтобы отказаться на телевидении от демонстрации фильмов. Разговор об этом возникает по иному поводу. Дело в том, что на телевизионных студиях, видимо во имя четкости работы или в страхе перед ошибкой, «накладкой», пытаются как можно больше предварительно отснять на пленку. Иногда это маскируется под передачу, рождающуюся в данный момент, чаще знаменует открытый уход от живого телевизионного очерка к киноочерку, от живого телевизионного театра к фильму-спектаклю; они так и объявляются: снято «по заказу московского телевидения».

Так планомерно и вроде бы даже «в интересах зрителя» подрубаются сук, на котором где-то уже начали прорезываться зеленые ростки.

«Не мешайте,— скажут нам,— работать наверняка и снижать процент прошедших в эфир огрехов. У нас слишком большая аудитория, нам не экспериментировать надо, а повышать качество. Снимая все заранее на кинопленку, мы имеем возможность отбросить все случайное, лишнее, проходное, вообще, что называется, проверить на свет каждый кадр...»

Предположим. Но что, если окажется, что на телевидении именно не отобранность материала составляет для нас особую привлекательность, рождая впечатление его полнейшей достоверности? Почему то, что хорошо для кино, должно быть обязательно хорошо и для телевидения?

Заблужденне, видимо, коренится в том, что телевидение на первый взгляд кажется куда ближе к кинематографу, чем к театру. «Если между театром и кино есть глубокая разница, то ее нет, на мой взгляд, между кино и телевидением»,— пишет в своей книге «Размышления о киноискусстве» Рене Клер. Мнение это является общераспространенным. Изображение, отброшенное на экран, требование документальности стиля — многое, казалось бы, говорит в его пользу.

Однако я не вижу никакой перспективы от прямого сближения и особенно взаимоподмены телевидения и кинематографа. Но в эстетических взаимосвязях с театром, на стыке телевидения и театра таятся (я убежден) и еще обнаружатся новые, непознанные свойства телевидения будущего.

Итак, мы не знаем, как пойдет на телевидении накопление и формирование первоэлементов самостоятельного искусства; проляжет ли его путь через обращение к натуре, к чистой документальности или будет иначе и решающим окажется тут особо трансформированный опыт других — смежных — искусств.

А может быть, подобно тому как это было в кинематографе, «документальное телевидение» и «художественное (игровое) телевидение» будут развиваться параллельно и дадут даже не одно, а два новых искусства. Они могут встречаться, образовывать самые неожиданные сочетания. Они могут дать — на высшем этапе — некий синтез.

III

Магия «бесплатного зрелища». — Дешевая распродажа искусства. — Ответственность телевидения перед другими искусствами. — Только посредник? — Основные свойства телевидения. — «Тираж 12 миллионов». — «Абсолютный слух» на правду.

Я долго сопротивлялся покупке телевизора.

Приводил резоны, ставшие обычными в подобных случаях. Тут были и высокие соображения о невозможности достаточно полного постижения явлений искусства по их телевизионным копиям, и более чем житейские — вплоть до классического, связанного с нашествием соседей.

Но телевизор был куплен и сразу же повел себя весьма агрессивно. Захватил весьма заметное место в нашей не такой уж просторной квартире (ему отвели в столовой лучший угол), а затем очень скоро не менее прочно водворился и во всем строе нашего домашнего быта.

Передачи смотрели каждый вечер. Смотрели все подряд. Даже когда было неинтересно и экран служил лишь мишенью для семейного остроумия. Но стогло кому-нибудь, взмолившись, попросить пощадить, как кто-то другой философски замечал: «А вдруг дальше будет лучше?» Перед боязнью пропустить нечто «самое интересное», быть может сенсационное, снижали все. Магия «бесплатного зрелища» уже властвовала над нами...

А время шло. Телевизор работал с завидной нагрузкой. Конечно, жизнь целой семьи не могла ежевечерне оказываться полностью парализованной; нужно было обуздать дневные дела, переговорить по телефону, выпить чаю. Но выключить телевизор по-прежнему не поднималась рука. И вот к старому доводу — ожидание интересного — начал прибавляться новый. Он звучал уже не столь романтично:

— Старайся не обращать внимания!

И мы, как уже сказано, пили чай, делились новостями и даже порой спокойно переругивались между собой. Да, мы по-прежнему много смотрели телевизор, но наловчились совмещать это занятие с любимым иным. Маленький экран стал для нас в иные дни чем-то вроде домашней эстрады. Совсем как в ресторане: люди отдыхают, посасывают через соломинку коктейль, обмениваются репликами со своими партнерами и время от времени бросают на оркестрантов скужающий взгляд... Мы научились смотреть телевизионные передачи между прочим.

Нас уже не стесняло «присутствие» в комнате знаменитой актрисы, читающей нам Пушкина. Мы стали привыкать к тому, что искусство уже не служит прекрасному, а лишь обслуживает нас.

Дело было вечером,
Делать было нечего...

Искусство, к которому обращаешься «от нечего делать», которое не требует от тебя никаких нравственных затрат и с которого спрашиваешь соответственно.

Эстетический демпинг. Вот та мера резкости, с которой сейчас многие говорят о телевидении. Что же касается конкретных телевизионных программ, то им адресуют и разочарование, и недовольство, и плохо скрываемое раздражение. Бранить телевидение, бранить даже не за конкретные неудачи, а чехом, авансом, в уверенности, что «не ошибешься», стало даже своеобразной модой, признаком «хорошего тона».

Искусство требует уважения к себе. Искусство настаивает на этом уважении. В театре вас не пускают в зал после третьего звонка. В картинной галерее просят тишины; если вы повысите голос, к вам подойдут, вам сделают замечание. В библиотеке не пробуйте делать пометки на книге — на вашу голову тотчас обрушится целый залп запретов и бед. Разумеется, все это элементарная форма уважения к искусству. Азбука этого высокого чувства. Начало начал. Еще не само уважение, а лишь предварительное условие его. Без этого встреча с искусством просто не состоится.

И тем опаснее в этом смысле полная незащищенность телевидения. Оно не властно выдвинуть никаких предварительных условий. Оно должно само, единственно силой своего воздействия — и с этого мы начали нашу статью — организовать зрителя, заставить его уважать себя.

А если к этому добавить, что за собственно телевидением стоит и театр, и кино, отчасти даже и литература, станет ясно, сколь велика ответственность современного телевидения перед всем искусством и перед теми миллионами людей, в глазах которых оно может либо вознести искусство, либо унижить его.

Телевидение делает искусство достоянием будней. Буднично настроен человек, когда он — в пижаме и домашних туфлях — усаживается у телевизора, чтобы как-то занять вечер. Искусство может либо поднять этого размагнитенного, немного усталого зрителя до себя, либо само опуститься до уровня предмета домашнего обихода.

Чем может быть измерен в этом втором случае нанесенный людям идейный и нравственный ущерб?!

Именно в силу всего этого с такой остротой встает вопрос о направленности, особенностях и механизме воздействия телевизионного экрана. Вот почему этот, казалось бы, специальный вопрос сегодня обретаet открыто общественный интерес.

Известно: максимальной силой воздействия на человека обладают те средства худо-

жественной выразительности, которые определяют специфику данного рода искусства Его эстетику. Его природу. Язык зодчего — объем; муза архитектуры не ответственна за причудливую лепку на фасаде, за все эти цементные облупленные овощи, олицетворяющие «дары природы». Это не ее работа. Цвет — язык живописца, но не скульптора, даже если это золото, которым жирно покрыты фигуры, ведущие хоровод вокруг фонтана... Но каковы особые, специфические средства воздействия у телевидения? Какая неразгаданная еще сила заключена в них?

Конечно, можно обойтись и без поисков ответа на этот вопрос. Можно использовать телевидение лишь «утилитарно»: читать лекции, передавать последние известия, показывать кинокартины. Но поступить так — все равно что современную фотографию, становящуюся на наших глазах искусством — искусством новых поразительных художественных возможностей, — свести к снимкам для паспорта.

С другой стороны, не следует наш домашний экранчик представлять и уж совсем беззащитной овечкой: мол, любой мешанин может инвезсти его, а вместе с ним искусство, до себя. Когда на экране во время фестиваля возникла вдруг почная Манежная площадь с несметными толпами народа, а ветер чадил факелами и маленькая японская девушка, пережившая Хиросиму, говорила о борьбе за мир; или когда весь экран заполняла — точно на фоне неба — запрокинутая красивая голова Вана Клиберна со скорбно приподнятыми бровями, — я уверен, никто в этот момент не бранился с соседом и не помешивал ложечкой чай.

А если кто и вел себя подобным образом, то ни телевидение, ни искусство, право же, тут уже были не в ответе. Это характеризовало только зрителя.

Но пока — пока у телевидения «опасный возраст». Технический рост во многом обогнал рост эстетический.

Поэтому выяснение природы, особых свойств и качеств телевидения сделалось столь насущным, встало перед нашей художественной интеллигенцией как одна из самых острых идейно-творческих проблем дня.

Нужно ли пояснять, что автор не претендует на окончательность своих выводов. Напротив, уже в процессе работы новые впечатления входили порой в противоречие с тем, что казалось уже понятным. Заставляли пересматривать позицию или уточнять ее.

Я написал, например, что телевизионный театр лишен рампы, дистанции между актером и зрителем, и поэтому его среда безусловна: она не выносит приподнятой театральности, актерского, «жанрового» заострения, она требует как бы полного слияния актера и образа, очень тонкой, натуральной манеры игры. Однако ряд новых впечатлений убедил меня в том, что условность отнюдь не чужда и театру, передающему изображение в эфир.

Так, появление рисованных, ироничных и, разумеется, совершенно условных декораций (задников) в поставленной Валентином Плучеком на телевидении пьесе-памфлете современного французского драматурга Р. Мерля «Сизиф и Смерть» неожиданно не разрушало иллюзию подлинности, а, напротив, помогало поверить в правду хорошей, но откровенно театральной, порой граничащей с гротеском игры актеров Театра сатиры, в правду даже такого аллегорического персонажа, как Смерть.

Заведомая, демонстративная «ненатуральность» рисованных задников сразу особым образом настраивала наш глаз, как бы предупреждала о том, какого рода зрелище мы увидим, создавала единство художественного языка. Она утверждала и оправдывала на этот случай иную — во много раз возросшую — «меру условности», чем та, которая обычно возникает в этом театре.

Я хочу обратить внимание на этот факт и подчеркнуть естественность подобных противоречий. Вчера еще я полагал, что условные декорации невозможны на экране, но пришел Плучек и своим талантом доказал, что это возможно. Мне казалось, нащупана вполне определенная закономерность, однако появился новый факт, эксперимент, и «закономерность» пошатнулась. Я вот до сих пор не могу понять, объяснить, почему, например, на телевизионном экране всегда так интересны и органичны куклы, театр кукол. Процессу становления сопутствует процесс постижения — иначе и не может быть.

Подведем итоги.

Повторяем, телевидение переживает пору своего детства. Телевидение сегодня — это кинематограф эпохи братьев Люмьер, когда на экране больше всего поражали простейшие действия, документальность сама по себе, когда поезд шел на аппарат и зрителей без чувств выносили из зала.

Может быть, поэтому мы до сих пор так поражаемся на телеэкране тому, что человек говорит без шаргалки и что художник может нарисовать дом с трубой.

Телевидение стоит на пороге того, чтобы быть реализованным как качественно новая эстетическая возможность.

Телевидение ждет своего Протазанова и Дзигу Вертова, оно ждет своего Эйзенштейна, своего Урусевского. Место «основоположника» вакантно — скажем это еще раз. Не знаю, каким будет художник телевидения. Гадать об этом наивно. Наш разговор по существу лишь попытка понять свойства, присущие как бы самой телекамере, самому телеобъективу.

Вот некоторые из них.

Импровизационность. Иначе говоря, ощущение, что происходящее на вашем экране свершается само по себе и в эту секунду, что телеобъектив, как хроникер, лишь фиксирует живой процесс, живое и свободно развивающееся действие. «Подглядывание» за жизнью. Жизнь, застигнутая врасплох. Быть может, это самое сильное, что может дать телевидение. Вы присутствуете при рождении слова и мысли, или футбольной комбинации, неожиданно завершившейся голом, или слезы, сбежавшей по лицу актера, глаза которого смотрят в ваши глаза...

Телевидение обостряет это чувство присутствия; посему и волнение прямого очевидца больших событий, и азарт спортивного болельщика, и сопереживание зрителя, находящегося в зале театра, — все это как основа основ входит в эмоциональную сферу телевидения.

Документальность. Подлинность, «натуральность» во всем. Никакой бутафории. При всей принципиальной близости к театру («сюминутность» творчества!) — язык не театральный, а кинематографический. В этом, кроме всего прочего, еще и современность почерка телевидения.

Вообще, думать о будущем телевидения — это значит думать о путях современного искусства, о его эстетических процессах, о его образном языке.

Однако я меньше всего хотел бы свести понятие современного стиля к документальности и лаконизму. Напротив, мне кажется, мы идем к новому, более широкому восприятию реализма, вбирающего в себя самые разные способы художественного осмысления мира — от фотографизма (не будем бояться этого слова!) до гротеска.

Однако телевидение-искусство, полагаю я, будет все-таки развиваться (или во всяком случае пробовать свои силы) на «полюсе» максимальной документальности.

Интимность. Прямая, доверительная, лирическая обращенность к зрителям. К каждому зрителю. К тебе лично. Разговор один на один. Отсутствие рампы, пьедестала. Искусство, которое для своего восприятия не требует дистанции. Впрочем, здесь в наших рассуждениях обнаруживается противоречие. Интимность — наиболее бесспорное качество телевидения, а лучшей передачей нескольких лет мы назвали репортаж о Московском фестивале, этом всемирном форуме молодежи, — скорее эпический, чем интимный по характеру своему. Как же так?

А не обладает ли телевидение способностью вносить интимное, лирическое начало в эпическое зрелище или событие? Может быть, так и было с фестивалем? Может быть, еще и в этом была в те часы сила нашего экрана? Если это так, если телевидение предоставит художнику возможность творить искусство, эпическое по размаху, по материалу и лирическое, интимное по характеру воздействия, — кто знает, какие еще горизонты откроются тогда перед ним...

И, наконец, еще одна черта, которая именно на телевидении так важна, что я готов приравнять ее к первым трем, считая и ее своего рода неотъемлемым признаком.

Высшее качество, высшее мастерство. Конечно, оно желательно, даже необходимо всегда и везде. Но здесь, на телевидении, оно не только — я убежден — нужнее, чем где бы то ни было, но и как бы входил в первоначальные условия, уже в

самые предпосылки его нормальной работы. Без высшего качества телевидение словно перестает существовать, перестает оказывать то воздействие на зрителя, на которое способно и к которому призвано. А очень часто начинает воздействовать в направлении прямо противоположном.

И Островский и Чехов — великие драматурги. Но Островский, сыгранный «доботно, средне», все равно остается великим драматургом и доставляет определенное удовольствие зрителям; а поставленный «доботно, средне» Чехов неожиданно начинает казаться писателем средней руки, способным вызвать нарекания скорее не по адресу актеров, а по адресу драматурга!

Есть такие случаи и в искусстве, и в технике, и в жизни, когда высшее качество, высшая точность, высшее мастерство является нормой, единственно возможным условием существования, где нет перехода к первому и второму сорту, а есть только «высший» и брак.

К явлениям такого рода принадлежит и телевидение с его пристальным, все подмечающим взглядом телекамер, с его крупными планами, с его обращенностью к миллионной аудитории, наконец, с его необычайной, драгоценной чуткостью к правде.

На многих ли книгах, пьесах, статьях у нас поднимается рука поставить росчерк: «В печати! Тираж 12 миллионов»? А разве не аналогичный гриф накладывает тот, кто на телевидении редактирует литературную композицию или прослушивает актера, тот, кому доверен ключ от двери, над которой горят слова «Идет передача»?..

Не в силу ли всего этого показ по телевидению иногда дискредитирует явление искусства — например, театральные спектакли. Шел, шел он у себя в театре, и публика ходила, и успех вроде был, и пресса расточала похвалы, а показали по телевизору — и все словно прозрели: позвольте, говорят, а спектакль-то ведь плохой!

Театральные критики, отправляющиеся по поручению ВТО на периферию с целью просмотра и отбора лучших спектаклей для гастрольного показа в Москве, хорошо знакомы с фактом, который слишком часто повторяется, чтобы быть расцененным как случайность. Спектакль на столичной сцене, как правило, выглядит хуже, чем он казался на месте. И порой тот же критик, что рекомендовал этот спектакль, теперь сидит среди столичных зрителей, смотрит на сцену и с удивлением спрашивает себя: «Как могло мне это понравиться?»

Случаи эти в чем-то аналогичны.

И дело здесь вовсе не в том, что первоначально зрители и критика были введены в заблуждение, а король был и остается голым. Совсем нет. Просто спектакль не выдержал более высоких критериев, которые естественно, сами собой оказались предъявленными ему демонстрацией на телевидении или (как во втором нашем примере) переносом на столичную сцену.

Такова проявляющаяся, я бы даже назвал отрезвляющая, способность телевидения.

На наших глазах нарождается искусство, которое не приемлет и как бы даже само разоблачает фальшь. Точность, документальность, подлинность лежат здесь, как мы видели, в самом его основании, составляют как бы исходный пункт всей его эстетики. «Абсолютный слух» на правду — вот что от природы получило телевидение. Право же, оно родилось в рубашке!

И не хочется вспоминать, что всего полвека назад кинематограф тоже нарождался как искусство безусловной подлинности. Но сколь часто в своей истории он изменял самому себе, молился иным богам, превращался в свою противоположность! «Как в кино!» — это звучит в обиходе не синонимом точности и документальности, а синонимом иллюзорных, оторванных от реальности постановок...

Пройдет совсем немного лет, телевидение войдет не только в наш быт, но и в наше сознание, в самую нашу жизнь. «Как на телевидении!» — скажем мы...

Какой смысл вложит время в это понятие?



Н. КУЗЬМИН

★

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

На древнем пути из Ярославля в Москву памятники старинны то и дело будят исторические воспоминания. Прекрасен золотоголовый кремль Ростова Великого, отраженный в синих водах озера Неро — того озера, где обитал когда-то в давние времена знаменитый Ерш Ершович, сын Шетинников, с которым вели судебную тяжбу рыба Лещ да Голоавль. А в свидетелях ходила Сельдь залесская, жительница Плещеева озера, возле которого стоит древний город Переславль, связанный с именами Юрия Долгорукого и Александра Невского. Город шесть раз подвергался нашествию ханов Золотой Орды, видел у своих стен и рати лиговского князя Кейстута и отряды польских интервентов во главе с Сапегой; насыпные валы детинца целы и поныне.

В семи верстах от Переславля, по московской дороге, стоит часовня на памятном месте, где царица Анастасия, жена Ивана Грозного, в пути разрешилась от бремени царевичем Федором.

На Переславском озере юный царь Петр строил флот и тешился «морскими» баталиями: «у матери выпросился... и там несколько лет охоту свою справлял...»

А дальше — Загорск с его знаменитой лаврой, основанной Сергием Радонежским и построенной в глухом, дремучем месте трудами первых поселенцев-инок, «своею потною прямою силою, а не царским жалованием и не крестьянскими слезами».

Сюда приехал перед выступлением в поход на татар великий князь Дмитрий Иоаннович, чтобы получить благословение старца Сергия на ратный подвиг на Куликовом поле.

Четверть века спустя Троицкая обитель была разграблена и сожжена дотла ордами хана Едигея и снова была восстановлена на углях пожарища.

В Смутное время защитники Троице-Сергиевой обители выдержали тяжкую пятнадцатимесячную осаду войск Сапеги и Лисовского и принудили интервентов бесславно отступить.

Дважды стучал в ворота лавры царь Петр, ища защиты от стрелецких козней. тут закончилась жестокая, кровавая распря между ним и царевной Софьей.

Здесь же, в стенах лавры, сохранилось до наших дней написанное в начале XV века по заказу игумена Никона «в похвалу отцу Сергию» самое знаменитое произведение всей древнерусской живописи — «Троица», имя создателя когорой, инока Андрея Рублева, ныне стало известным всему миру.

* * *

Рублев в некоторых летописных сказаниях именуется Радонежским. Это может значить, что он был монахом обители Сергия Радонежского, что подтверждается многими источниками. Но, может быть, наименование Радонежский означает, что он был уроженцем и жителем Радонежа и что здесь протекали его детство и юность. Когда в окрестностях Абрамцева бродишь по лесам и полям на берегах тихих речек Пажи и Вори, приходит на ум великий русский живописец, живший здесь шестьсот лет тому назад. Чудесный, хватающий за сердце подмосковный пейзаж, так поэтически запечатленный в «Аленушке» В. Васнецова и «Видении отроку Варфоломею» М. Нестерова,

вероятно, и в те давние времена был таким же. Конечно, леса тогда были гуще и богаче зверем, а реки глубже, полноводней и обильней рыбой, но так же вот зеленели свежими побегими молодые елки, цвели калужницы и кулавки, так же бродили в лесах сохатые лоси, и те же птичьи голоса несли похвалу «матери-пустыне». И названия здешних малых лесных речек остались все те же: Веля, Воря, Пажа, Кунья, Таллица, Сумерь, и звучат в них седою древностью то мерянские, то славянские корни.

Сто лет назад К. С. Аксаков, посетивший село Городок (так был переименован Радонеж в XVIII веке), от местных крестьян еще слышал предания о «белых богах» — отзвуки уходящего в глубокую старину языческого культа.

Когда с высоких насыпных валов древнего Радонежа смотришь на живописные излучины Пажи, на широко раскинувшиеся просторы полей и перелесков, то хочется думать, что краски родной природы нашли свое отражение в бессмертном творении Рублева: может быть, дивная колористическая гамма «Троицы» «вобрала в себя и бледно-сизую зелень молодой ржи, и темную лазурь полевых васильков, и лилово-желтое великолепие цветочных ковров иван-да-марьи, и «багрец и золото» осеннего леса.

* * *

В истории русского искусства 1904 год является знаменательной датой. В этом году по почину Московского археологического общества была предпринята реставрация «Троицы» Андрея Рублева. Икона эта с XV века находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, издавна почиталась чудотворной и привлекала в монастырь щедрые пожертвования благочестивых богомольцев. Золотой оклад, украшенный драгоценными камнями, — дар царя Бориса Годунова — покрывал всю икону, оставляя незакрытыми только лица, руки и стопы ног¹. Когда оклад с иконы был снят, археологи и реставраторы были разочарованы. «Вместо древнего и оригинального памятника мы увидели икону, совершенно записанную в новом стиле палеховской манерой XIX века», — рассказывает руководивший работами художник В. К. Гурьянов в своем подробном отчете об этапах реставрации. Три слоя позднейших записей пришлось удалить мастерам-реставраторам, прежде чем появился первоначальный живописный слой XV века, и тогда впервые после многих столетий открылось взором творение великого живописца, чье имя до той поры было только волнующей легендой, лишенной реального содержания.

Академик И. Э. Грабарь, современник этого события, рассказывает: «Впечатление, которое произвело это первое раскрытие рублевской живописи на тогдашние художественные и исследовательские круги, было поистине потрясающим. Начались настоящие паломничества к «Троице», явившейся подлинным откровением».

Однако эти паломничества любителей искусства вскоре прекратились. Монастырские власти приказали вновь закрыть икону ризой и водворить на прежнее место в храме св. Троицы. Для суждения о ней остались лишь фотографические снимки, не дававшие, конечно, никакого представления о ее исключительных колористических достоинствах.

Однако и этого было достаточно, чтобы понять, что мы имеем дело с вновь открытым пленительным шедевром мирового значения и что в истории искусства открывается новая — рублевская — страница.

* * *

В то время икона Рублева поразила всех видевших ее своим изолированным совершенством. Она казалась одиноким явлением в древнерусском искусстве, ее генеалогические корни представлялись неразрешимой загадкой. Но в последующие годы была произведена реставрация целого ряда икон из частных собраний, и, когда на выставке древнерусского искусства, имевшей место в Москве в 1913 году, были собраны сотни расчищенных и завершенных своими первоначальными красками икон

¹ «В 7108 (1600) году государь царь и великий князь Борис Федорович всея Руси обложил чудотворный местный образ живоначальной Троицы златом и многоценным камнем и драгим жемчугом и всякою царскою утварью украсил...» (Владимирская книга 1673 года).

XIII—XVII веков, стало очевидным, что появление Рублева среди московских живописцев XV века не было случайным. У него оказались славные предшественники, оставившие нам убедительные образцы вдохновенного мастерства. Там, где прежде историкам и исследователям мерещился «темный лес», наметились очертания грандиозной исторической перспективы искусства древней Руси — от подражания византийским образцам до возникновения и расцвета национальных живописных школ Новгорода, Пскова, Суздаля, Твери, Ярославля и Москвы — школ различных, но единых в своем многообразии.

* * *

Раскрытие «Троицы» дало возможность от бесплодных гаданий о том, как может выглядеть живопись Рублева, перейти к конкретному анализу его живописных приемов. Туманная формула, какой характеризовалась по преданию рублевская живопись: «дымом писано», не нашла подтверждения перед лицом «Троицы» с ее четким силуэтом и звонкими сочетаниями цельных красок. Не выдержали сопоставления с «Троицей» и многие иконы московских собраний, по преданию считавшиеся рублевскими.

Н. П. Лихачев, собиратель и знаток древнерусского искусства, в 1907 году выпустил книгу «Манера письма Андрея Рублева». В ней, анализируя живописные приемы автора «Троицы» и его предшественников, Лихачев делает первую попытку наметить внешние приметы живописи Рублева. Осторожные выводы автора не шли дальше анализа технических приемов и не касались проблемы стиля Андрея Рублева. Для постановки этой проблемы в те годы еще не хватало достоверного материала.

* * *

Знаменитый шедевр Рублева оставался пленником золотой монастырской темницы до Великой Октябрьской революции. Распоряжением Советского правительства икона была изъята из рук черноризцев и передана для дополнительной реставрации в только что учрежденные в 1918 году Центральные государственные реставрационные мастерские. После реставрации икона в 1920 году была выставлена для всеобщего обозрения среди других икон, раскрытых трудами реставраторов. Среди них были: древняя икона XII века «Владимирская богоматерь», «Деисусный чин» из иконостаса Благовещенского собора московского Кремля, писанный Рублевым в сотрудничестве с греком Феофаном и старцем Прохором, и три иконы Рублева, найденные в Звенигороде. «Отдел музеев и охраны памятников искусства и старины» выпустил по случаю выставки листовку, в которой между прочим говорилось: «...выставка лишь малая доля раскрытого и спасенного от гибели древнерусского искусства в столице и провинции».

Только после великого сдвига всех устарелых основ социальной жизни России, только с упрочившейся Советской властью работа реставрационной комиссии музейного отдела стала возможной в полном объеме.

В революционных муках рождается новый мир, и, в то же время, воскресая на наших глазах, смотрит на него с светлой улыбкой своих дивных красок освобождаемый мир древней красоты».

Ныне «Троица» Рублева является постоянным экспонатом среди сокровищ древнерусской живописи Третьяковской галереи. Икона много раз воспроизводилась в цвете и в тысячах репродукций стала известна всему миру.

* * *

Чем привлекает современного зрителя это произведение, язык символов которого для нас ныне глух и невнятен?

Библейский рассказ о посещении Авраама тремя странниками утратил в интерпретации Рублева все те повествовательные черты, какие по традиции входили в композицию иконы на этот сюжет¹. Нет Авраама и Сарры, нет сцены заклания тельца.

¹ В экспозиции Третьяковской галереи есть еще две иконы на тот же сюжет — псковских писем XV века и московских писем XVI века. Их композиция опровергает утверждение, что мастера древней Руси слепо следовали требованиям иконописного канона: расположение фигур в каждой из этих икон совершенно оригинально.

Мелочные детали не отвлекают внимания от центральной группы. Даже атрибуты трапезы сведены к минимуму: крылатые гости представлены не вкушающими, а беседующими. Композиция группы, вписанной в невидимый круг, дает ощущение покоя, тишины, гармонии. Жесты собеседников, плавные и сдержанные, свидетельствуют о мирном и возвышенном характере их беседы. Прекрасные юноши облачены в яркие цветные одежды. Колористическое решение иконы свидетельствует, что в Рублеве мы имеем одного из величайших колористов всей мировой живописи. Незабываемый аккорд красочных сочетаний — голубого, темно-вишневого, нежно-зеленого, розово-сиреневого в одежде, оранжевого с золотом в крыльях, оливкового в зелени Мамврийского дуба — звучит, как торжественная органная музыка. На иконе почти полностью утрачен золотой фон, и теперь мы можем только домыслить, какое дополнительное звучание давало золото в сочетании с лазурью в общей гармонической полифонии иконы. Широкая амплитуда цветовых контрастов от белого покрывала на столе до темно-вишневого хитона среднего ангела дает впечатление исключительного цветового богатства. Увидевший «Троицу» хоть раз никогда не забудет ритма ее линий и музыки ее красок. От иконы исходят токи благостной силы и нежности, чистоты и ясности, покоя и умиротворенности. Икона древнего инока звучит, как гимн к радости.

* * *

Биографические сведения о Рублеве скудны и отрывочны. Предположительная дата его рождения 1360 год. Достоверно неизвестно, из каких мест он родом. По летописным сведениям, Рублев был иноком Троицкого монастыря, основанного Сергием Радонежским в тридцатых годах XIV века. Где и у кого Рублев обучался живописи, также неизвестно, но уже в 1405 году он как признанный мастер приглашается для росписи Благовещенского собора в Кремле вместе с прославленным Феофаном Греком и старцем Федором с Городца. В 1408 году он расписывает в содружестве с Даниилом Черным — в дальнейшем его постоянным товарищем по работе и «сопостником» — Успенский собор во Владимире. По некоторым источникам, Даниил называется учителем Рублева, но это, кажется, следует понимать как духовное руководство — не забудем, что оба мастера были иноками и Даниил был по возрасту старше Андрея.

До нас не дошли упоминания летописцев о работах Рублева с 1408 по 1425 год. К этому периоду исследователи относят рублевские работы в Звенигороде, из которых сохранились часть фресок и три иконы деисусного чина: спас, архангел Михаил и апостол Павел и икона «Рождество Христово», приписываемая мастеру рублевского круга (Третьяковская галерея). Существует предположение, что в эти годы Рублев выполнял работы и для Кирилло-Белозерского монастыря, где находилась икона «Успения богородицы», по описи XVII века именуемая рублевской. По-видимому, к этому же периоду полной физической и творческой зрелости художника следует отнести и «Троицу». В 1425 году игумен Троицкого монастыря приглашает Андрея Рублева и Даниила для росписи собора св. Троицы. Стенная живопись этого собора не сохранилась, но иконостас сохранился почти полностью и в своем теперешнем виде, после реставрации, является великолепным примером композиционного и декоративного единства. Весь иконостас в целом несет на себе печать рублевского гения, но несомненно, что не все иконы принадлежат кисти Рублева.

По летописным свидетельствам, последней работой Рублева были фрески собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве, выполненные им в содружестве с Даниилом Черным. Фрески эти погибли, сбитые в конце XVIII или начале XIX века под штукатурку для новой росписи.

Здесь же, в Спасо-Андрониковом монастыре, инок Андрей скончался и был похоронен в 1430 году¹.

В летописных рассказах о Рублеве есть трогательные черты, драгоценные для понимания эпохи, круга идей и среды, в которой творил художник. Рассказывают, что для

¹ В настоящее время на территории Спасо-Андроникова монастыря находится Рублевский музей.

Андрея было высочайшим наслаждением созерцать произведения искусства. В праздники и дни, свободные от работы, Андрей и его «сопостник» Даниил отдыхали, подолгу рассматривая «всечестные иконы» и исполняясь «божественной радости и светлости». Летописи говорят также о неразлучной дружбе Андрея и Даниила.

Прижизненная и особенно посмертная слава Рублева была громадной. Все начертанные им иконы считались чудотворными, а сам он именуется в летописях «преподобным», хотя никогда не был канонизован официально. Летописец считает нужным отметить как важное событие, что во время пожара в 1547 году «загорелся деисус Андреева письма Рублева». Монастырские описи с особым тщанием каждый раз отмечают иконы Рублева как величайшую ценность и святыню. Стоглавый собор, созванный в 1554 году митрополитом Макарием для решения церковных вопросов, в своем постановлении об иконописании особенно выделяет Рублева как образец: «Писать живописцам с древних образцов, как писали греческие живописцы и как писал Андрей Рублев и прочие преславные живописцы».

Вся древнерусская церковная живопись была по традиции анонимной. Лишь немногие имена славных мастеров донесли до нас история. Велико должно было быть обаяние творчества и личности Андрея Рублева в среде его современников и потомков для того, чтобы его имя осталось в веках в сиянии легендарной славы.

* * *

До Великой Октябрьской революции «Троица» оставалась единственным известным произведением Рублева. Изыскания советских искусствоведов и реставраторов открыли ряд важных произведений Рублева, позволивших шире осветить этапы творчества великого художника. Работа эта была нелегкой. Резкая смена эстетических норм и вкусов в русском обществе в XVIII веке губительно отразилась на хранении и судьбе многих произведений древнерусского искусства. Старая церковная живопись в XVIII веке безжалостно записывалась и частью уничтожалась. Так, грандиозный по размерам иконостас древнего Успенского собора во Владимире работы Рублева и Даниила Черного был в 1775 году снят и частью уничтожен. Только в 1922 году специальная комиссия отыскала уцелевшие иконы в селе Васильевском, Шуйского уезда. Было спасено от окончательного разрушения двадцать семь икон и передано в государственные мастерские для реставрации. Часть их находится сейчас в экспозиции Третьяковской галереи. Три иконы из Звенигородского чина, находящиеся ныне также в Третьяковской галерее, были обнаружены в 1918 году в церковном сарае в крайнем небрежении и совершенно плачевном состоянии. Умелая и тщательная реставрация сберегла эти драгоценные фрагменты, чрезвычайно важные для понимания творчества Рублева.

В одной из них, в образе Спасителя, Рублев дает не традиционного грозного Пантократора с «ярыми» очами, а кроткого «Спаса» со светлым и благостным взглядом, может быть впервые в русской иконописи устанавливая свое национальное понимание идеи христианства. Там же, в Звенигороде, на столбах церкви «Успения на городке», удалось открыть фрагменты фресок, стиль которых позволяет отнести их к эпохе Рублева.

Я уже говорил, что фрески Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре бесследно пропали, уничтоженные варварской рукой «поновителей», и реставраторам удалось найти лишь незначительные орнаментальные фрагменты.

Счастливей оказалась реставрационная экспедиция, развернувшая в 1918 году обширные работы по реставрации фресок Успенского собора во Владимире. Правда, эти фрески подвергались в свое время неоднократным поновлениям и записям, но под новыми записями удалось раскрыть большие куски стенописи в виде фрагментов многофигурных композиций «Страшный суд», «Шествие праведников в рай», «Лоно Авраамово», группы праведников и святых жен. Замечательно, что и здесь, как в Звенигородском чине, в изображении Христа-судии и в обликах апостолов и святых явственно выступает национальный облик русского человека. Некоторые из этих голов, характерных и выразительных, ярко воплощают тип русского крестьянина. Они настолько живо эмоциональны, что приводят на память крестьянские образы Тургенева и Льва Толстого

Параллельно с реставрационными работами во Владимире выполнялась широкая

программа расчистки и восстановления древней живописи в соборах московского Кремля и Троицкого храма в Загорске. Таким образом были разведаны все места деятельности Рублева, упомянутые в летописных источниках, и приведены в известность выполненные им работы. Сверх этого были обследованы также иконы в тех храмах и монастырях, в которых, по устным преданиям или по исторической вероятности, предполагалась возможность найти иконы Рублева или его школы.

Как ни обширна проделанная работа, ее не приходится считать окончательно завершенной. В творческой биографии Рублева все еще остаются незаполненные пробелы, и самый большой из них — это годы ученичества и формирования мастера. До сих пор мы очень мало знаем о его деятельности до 1405 года, когда он в зрелом возрасте, как уже известный и зарекомендовавший себя мастер, получил почетное приглашение вместе с прославленным Феофаном Греком расписывать Благовещенский собор.

Изучение художественного наследия Рублева продолжается, но будет ли когда-нибудь произведено полное размежевание между живописью самого Рублева и произведениями других мастеров его школы — предсказать невозможно, ибо самая специфика древнерусской живописи ставит решению такой проблемы серьезные препятствия.

* * *

Древнерусские живописцы были чужды суетного желания личной славы и не ставили на иконах своего имени или монограммы. Их творчество было анонимным и «соборным». Роспись церковных стен и иконостасов была на Руси всегда делом артельным, общей работой содружества художников. Среди них были, разумеется, мастера разных степеней опытности и таланта, но в их общей работе выделить в настоящее время индивидуальные творческие признаки каждого представляется делом чрезвычайно нелегким.

В этом заключается основная трудность рублевской проблемы. В летописях имя Рублева упоминается не изолированно, а всегда рядом с именами его товарищей по работе, причем, разумеется, упомянуты только самые главные из них. Благовещенский собор он расписывал вместе с Феофаном и Прохором; Успенский собор во Владимире — в содружестве с Даниилом; для росписи Троицкого собора в Загорске, по свидетельству летописи, игумен монастыря св. Троицы Никон пригласил Даниила, Андрея «и неких с ними». Если для определения индивидуального стиля Феофана Грека в иконах Благовещенского собора нам служат его новгородские фрески, то стилистические признаки «Троицы» помогают нам выделить вклад Андрея Рублева в коллективном труде иконописной артели. Специалисты приписывают Рублеву те вещи, которые им кажутся наиболее «рублевскими» по основным приметам рублевского стиля: по изысканному и сильному звучанию колористических сочетаний, по безукоризненному чувству ритма в построении композиции, по тому самому важному, но трудноопределимому признаку, который мы назовем поэзией образа.

Но не всегда аналитический скальпель ученого оказывается в состоянии расщепить живую взаимосвязь между отдельными мастерами и без колебаний отделить одно имя от другого.

Так, под иконами деисусного чина Успенского собора во Владимире, находящимися в Третьяковской галерее, на музейных этикетках стоят два имени — Даниила и Андрея, — и проницательности зрителя предоставляется сделать выбор между ними.

Бесспорно одно, что авторитет наиболее сильной творческой индивидуальности должен был властно проявиться и в коллективной работе, и в орбите рублевского влияния оказались не только его младшие сотоварищи, но и старший его годами Даниил.

Влияние это не переставало расти и после смерти Рублева. Обаяние рублевского гения широко и плодотворно продолжало сказываться на всей последующей московской живописи в продолжение целого столетия.

* * *

Рублев жил в суровую эпоху русской истории. Куликовская битва (1380) принесла русским победу над татарами, но стоила колоссальных жертв и надолго обескровила русскую землю. При жизни Рублева Русь не раз подвергалась нашествию татарских

орд, опустошавших московскую землю и уводивших в полон московских людей. В 1382 году хан Тохтамыш взял Москву и сжег города Звенигород, Можайск, Боровск, Рузу, Дмитров, Переславль. В 1408 году полчища хана Едигея осадили Москву, а отдельные отряды татар разбрелись по Подмосковию, жгли и грабили города и селения. Был разграблен и сожжен дотла и Троицкий монастырь, в котором прошли молодые годы инока Андрея. Два года спустя татары напали на Владимир и разграбили Успенский собор, на иконах которого, только что написанных Рублевым и Даниилом Черным, еще не успели высохнуть краски. С 1418 года по 1421 год русскую землю трижды посетила страшная гостья — чума, — за ней следовали годы неурожая. Целые селения вымикали от голода и мора, и во многих местах не оставалось никого, кто бы мог дать показания о бывших владельцах опустевших жилищ. Эта эпоха великих бедствий надолго осталась в памяти населения эпохой «великого мора, великой меженины».

Не удивительно ли, что самое светлое, самое гармоническое произведение древнерусской живописи было создано в эти трудные, черные годы!

Может быть, в «Троице» нашла свое выражение мечта исстрадавшихся русских людей той эпохи о вожденном мире и благоденствии? Смирный инок Андрей не был изолирован в своей келье от внешнего мира — современность, в ее самом жестоком обличье, безжалостно вторгалась и в храмы и в монастыри. Он видел бедствия родной земли, он страдал вместе с нею, он жил общими надеждами и упованиями.

Недаром икона «Троица» была написана «в похвалу» основателю Троицкого монастыря Сергию Радонежскому, деятельному миротворцу, который всю жизнь своим нравственным авторитетом гасил кровавые распри удельных князей и вся деятельность которого была направлена против «ненавистой розни мира сего».

На отвлеченном языке религиозных символов Андрей Рублев зовет своих современников к братскому согласию, к единению, к миру и радости, и этот зов гениального художника и через пять веков нам близок и понятен.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. РАЧУК

★

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО — ПИСАТЕЛЬ

(Заметки)

1. МАСШТАБНОСТЬ

С волнением читали мы опубликованные в 1957 году в украинском журнале «Дніпро» дневники Александра Петровича Довженко, в которых виден облик большого художника, подходившего к изображению нашего современника, к современной теме с сознанием своей ответственности перед народом.

«Недавно,— писал он,— посетив с целью создания киносценария Каховку, Запорожье, Крым и объехав южноукраинские степи, я пережил много сложных, волнующих чувств. Огромные украинские дела полны столь огромного смысла, люди столь интересны и внутренне богаты, что мне казалось, будто целые тома увлекательнейших книг, ненаписанных, ждущих своих создателей, лежали вокруг меня. И я не раз думал: что же здесь надо мне, кинодраматургу? Мне надо написать об этом неозримом единстве места и действия всего лишь навсего сто страниц на машинке... И надо еще, чтобы в этих ста страничках не было ни схематизма, ни декларативности, ни ходульности. Чтобы все великое и главное жило и двигалось в стройной системе зримых характеров и образов... И от ощущения огромности смысла и простора, с одной стороны, и кажущейся ничтожности ста страничек — с другой, стало порой казаться, что мозг работает как бы под давлением каких-то ста атмосфер...»

Это была у Довженко пора невиданного подъема творческих сил. Александр Петрович уже знал о своей болезни, но не боялся ни говорить о ней, ни думать. Человек кипучей энергии и неугасимого творческого вдохновения, он теперь решительно втор-

гался в новые для себя сферы, шел своей трудной, непроторенной дорогой.

Что поражает нас в каховских дневниках Довженко? Его стремление к широкому, наиболее полному охвату исторического величия дел нашей эпохи, нашего человека. «Простой» человек — строитель нового мира — все время находится в центре внимания художника.

«— Так за творчество инженера, преобразователя земли, за творчество! — говорит он.— Это самое дорогое на свете, что только несет народам грядущий коммунизм,— за свободу творчества. За ваше творчество, гидромеханизаторы и энергетики, каменщики и плотники, монтажники, водители машин, экскаваторщики, за богатырскую мощь земснарядников и за тебя, С-ов, за твой беспримерный, новый вибратор, от которого земля дрожала и болото... за всех великих и дерзновенных малых, перед кем большая и древняя старославянская река Днепр седой останавливает свои архаические воды и, покоряясь разумной воле партии и вашим трудам, переходит в ...многосоткилометровые каналы, чтобы украсить планету нашу. За вас, творцы новой истории человечества и новой географии. За то, чтобы не только на земле народы, а даже и с других планет увидели разумные существа в свои телескопы ваши первые знаки на земле.»

Поистине грандиозный масштаб творчества. Все плоское, однолинейное, мелкое отвергается. Отмечается в сторону все то, что не поднимается выше фотографирования действительности.

В последнее время в нашем кино заметен рост внимания к бытовой тематике. В эпоху, когда страна столь успешно и всесто-

ронне решает проблемы материального благосостояния и культурного роста народа, нельзя считать бытовую тему мелкой. Нет, теперь самая узкая по масштабу, но содержательная и глубокая по идейному замыслу житейски-бытовая тема уместна, нужна, художественно интересна. Но Довженко как бы предчувствовал, что этот вид кинематографического творчества будет кем-то поднят и противопоставлен другим, не менее важным видам, другим аспектам подхода к современности.

«...Не знаю, что со мною будет дальше,— записывал он в записную книжку.— Тут переменится все через три года, таким неузнаваемым мы сделали весь этот край, что и сами изменимся, как этот Днепр. И тогда действительно можно будет сказать: «Редкая птица долетит до середины Днепра», который получил из наших рук высшее образование. Пройдет много лет. Волга и Днепр перестанут быть прежними реками, окончилась эра их анархического бытия.

И природа, облагороженная нами, очищенная от случайностей божьего хаоса и зарослей диких, преобразованная творчеством, предстанет перед народами мира в такой новой красе, в которой предстал сегодня перед миром великий советский человек, творец жизни, поборник мира на земле...

...Направить все сознание на хорошее в людях. Проникнуться им в быту, в мыслях, в чувствах. И на сей основе творить красоту о народе на строительстве коммунизма».

Выступая в 1955 году в Москве перед молодыми режиссерами, Довженко читал им отрывки нового сценария и говорил о том, что хочет открыть двери кино для поэзии. «Зритель жалуется,— говорил тогда Александр Петрович,— что в наших картинах исчезла поэзия, поэтичность. Из чего она создавалась, почему она исчезла? Почему-то так складывается, что сценарии, которые мы получаем, в большинстве своем это сокращенные повести, романы или полупьесы, в которых драматургия построена на словах».

Записные книжки и раздумья Довженко в период создания сценария «Поэмы о море» говорят об огромной идейно направленной, художественно зрелой и вечно ищущей, рвущейся вперед творческой мысли художника, которого не могли удовлетворить отдельные маленькие удачи в освоении современной темы. Он мечтал о герое кино, ко-

торый встанет рядом со строителями Каховки, со строителями семилетки.

Это был партийный художник с широким кругозором. Его позиция в кинематографе не отрицает бытовую, новеллистическую картины, но предполагает рядом с ней масштабную, эпическую кинематографию, развивающую лучшие традиции эпохи в советском кино. И работа над «Поэмой о море» показывает, с какой страстью, с каким полемическим увлечением создавал Довженко сценарий, главный принцип которого — широкий размах художественного освоения действительности, охват огромных явлений и процессов строительства коммунизма.

2. СЛОВО

Но для того, чтобы воплотить этот принцип, Довженко, как никому другому в кино, нужно было слово. Слово на родном языке. Слово, которым он владел в совершенстве.

На первых порах своей творческой деятельности в кино Довженко еще не стремился стать писателем. В середине тридцатых годов, выступая на Всесоюзном совещании с речью о сценарной проблеме, он предостерегал режиссеров кино от того, чтобы они занимались несвойственным им делом — писали сценарии. Это было накануне создания «Аэрограда». Сам Довженко, уже написавший несколько самостоятельных сценариев, попытался тогда работать совместно с А. Фадеевым. Однако приход его самого в литературу был неизбежным, потому что самобытное понимание искусства и самой действительности требовательно толкало его на путь самого широкого и многообразного общения с аудиторией в слове и образе.

Литературные сценарии «Арсенала» и «Земли» появились позднее, когда Довженко записал их и затем литературно обработал уже по готовым фильмам. Первым литературным сценарием Довженко, который был опубликован, оказался «Аэроград». Он был написан, как поэма, белым стихом.

Отличительные черты литературного почерка Довженко очень отчетливы. Это романтическая приподнятость, взволнованность. Стремление к широкой масштабности, склонность к гиперболизации. Пренебрежение к литературно-драматургическим

канонам, постоянные поиски новых выразительных средств. Смелое, не имеющее прецедентов в кино введение личности автора в живую ткань сценария. Глубокий философский подтекст, очень часто рвущийся на поверхность и даже (иногда) нарушающий логику изложения. Постоянное стремление к художественному освоению актуальных проблем нового мира и его борьбы со старым миром. Очень широкое обращение к средствам сатиры и юмора. Ни с чем не сравнимое, глубокое постижение национальной формы в киноискусстве. Своеобразная, лишенная детализации, а порой вовсе не индивидуализированная обрисовка действующих лиц, которые иногда благодаря этому превращаются в почти контурно очерченные фигуры...

Эти особенности Довженко как писателя в кино впоследствии распространились и на другие виды его литературного творчества.

Чем дальше, тем шире становился круг литературных интересов Довженко. Выросший в тесной дружбе с Бажаном, Яновским, Рыльским, Йогансеном, он очень дорожил своими связями в русской литературе (с Фадеевым, Вишневским, Шкловским и многими другими), в литературах других братских народов. Он не мыслил своей жизни вне связи с литературой, с писателями, для него не был дискуссионным вопрос о связи литературы и кино. И кинодраматургию он прочно ввел в литературу. Да, пожалуй, именно Довженко был одним из пионеров той сценарной литературы, подлинно художественные качества которой уже не берется отрицать ни один самый требовательный критик.

Довженко ушел от нас, оставив большое, до сих пор недостаточно изученное литературное наследство. Кроме сценариев, по которым он поставил фильмы, известны литературные произведения Довженко, которых вполне достаточно, чтобы составить славу писателю: киноповесть «Зачарованная Десна», сценарии «Украина в огне», «Повесть пламенных лет», пьесы «Жизнь в цвету», «На рубеже столетий», «Потомки запорожцев», рассказы преимущественно военных лет, каховские дневники и выступления по вопросам театра, кино, литературы, живописи.

Об отдельных сценариях, рассказах и других литературных произведениях Довженко написано уже немало. Но настало

уже время для нашей критики приступить и к созданию обобщающего очерка литературного творчества Довженко.

3. ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО

Довженко любил вспоминать, как в 1935 году на совещании по кинодраматургии Алексей Толстой обратил внимание на то, что «пользоваться» кино для тем малых или случайных значит дурно его использовать: все равно как в большой рефрактор Пулковской обсерватории рассматривать блоху.

Слова А. Толстого отвечали самым заветным помыслам Довженко. Для него главным в творчестве был образ современника. К воплощению этого образа он и стремился.

Довженко не раз обращал внимание на то, что наше искусство вошло в мир, получило свое содержание, форму от революции, от новой действительности. Особое значение при этом он придавал образу нового, советского человека, «простого человека» из народа. Образ этот, нашедший свое воплощение во многих произведениях литературы, живописи, кино, он считал высшим достижением нашего искусства.

Вместе с тем Довженко глубоко и вдумчиво критиковал отношение к образу «простого человека», сказавшееся в ряде фильмов периода культа личности. Дело не в том, говорил он в уже упоминавшемся выступлении перед молодыми режиссерами в 1955 году, что появились многочисленные фильмы об ученых, деятелях искусства, государственных деятелях и военачальниках. Это закономерно. Но эти люди почему-то стали показываться не как «простые люди», тогда как артист Шукин в фильме «Ленин в 1918 году» играл роль Ленина, как образ человека из народа, из самой гущи народа.

В последние годы, по мнению Довженко, происходит в этом отношении возврат к лучшим традициям советского искусства. Но при этом, по его словам, нередко допускается иной «большой грех»: «...мы тему малого и среднего человека стали трактовать как мелкую тему...»

Довженко ратовал за то, чтобы показать на экране человека нового мира, человека, у которого есть и страдания, и любовь, и личная жизнь, но эти страдания, любовь и личная жизнь принадлежат Человеку с большой буквы, человеку с богатой духовной жизнью, с высокими идеалами.

Советский человек был для Довженко основным героем его творчества. Это о нем происходит краткий диалог в финале пьесы «Потомки запорожцев».

Спрашивает колхозник Левко Царь:

«— Да, да, так вот теперь, когда человек, скажем, умирает, как трактовать его? Списывается он с бригады в яму, как бесполезный инвентарь, или можно думать, что теперь есть что-то такое?..»

Отвечает секретарь обкома партии Орацкий:

«— Великий Ленин будет вечно жить».

Но Левко Царь не унимается:

«— Ясно, понимаю. Ну а мы, простые люди, те, что по церквам когда-то копеечные свечки перед иконами жгли, вымаливая крошку бессмертия...»

Орацкий:

«— Бессмертно человечество, товарищ мой. И в нем бессмертен человек в своих делах. Качество содеянного и будет мерой его в коммунизме. Другой меры жизни не знаю. Безупречная ленинская мера...»

Этому бессмертному человеку, неизвестному солдату коммунизма, Довженко и отдал все свое творчество.

Таков, например, герой сценария и фильма «Земля» — молодой колхозник Василь.

Василь — это воплощение нового, деятельного человека, сражающегося за прогресс, за народ, за коммунизм. Все лучшее, все передовое — в этом образе.

Василь активно борется за коллективизацию. Он пишет заметку в газету, в которой разоблачает кулаков. Василь — тракторист; вспомним, что в те времена трактор был революционной новинкой в селе. Развитие сюжета в фильме является типичным для своего времени. Но нужно было обладать талантом Довженко, чтобы вложить огромное содержание в простой, почти схематичный сюжет «Земли».

Силы, выступающие друг против друга в «Земле», очевидны и ничем не прикрыты. Василь, его отец Панас, кулак Хома, возлюбленная Василия — Наталка и другие действующие лица фильма ясны, четко очерчены, лишены психологических усложнений, даже несколько прямолинейны.

И как высоко ни ставился фильм «Земля» — первое значительное произведение о строительстве социализма в деревне, — он еще недостаточно оценен как художественное произведение, замечательное по силе

слияния идеи, содержания и поэтической формы.

Простота «Земли» — результат огромной, сложнейшей работы. Большие социальные страсти, изображенные в фильме, раскрыты так, что все образы — и образы крестьян, сторонников коллективизации, и образы ее врагов — поднимаются до высоких социальных обобщений.

Как близка и понятна нам фигура Василия! Мы видим в нем предтечу тех замечательных людей колхозного села, которых вырастила Коммунистическая партия и на которых с гордостью теперь взирает весь наш народ. Если бы жизнь Василия не была оборвана врагом-кулаком, то этот типичный представитель самой яркой, самой передовой части колхозного крестьянства был бы в рядах героев колхозного строя. У него есть для этого все данные, все черты цельного характера борца за коммунизм.

Ночная сцена пляски, идущая сразу после эпизода, где Василь победоносно распахивает трактором межи, ликвидируя извечную разобщенность крестьян, глубоко закономерна. Все существо Василия переполнено радостью — радостью здорового, молодого, сильного человека, который отлично поработал, провел вечер с любимой девушкой и вот возвращается домой, мечтая о прекрасном будущем.

Всю гамму чувств Василия с большой эмоциональной силой и передает его ночная пляска. Во всех деталях этой сцены нет ничего случайного, «хроникального». Здесь изумительно точно воплощен идейный, художественный замысел, великолепно использованы выразительные средства литературы и «немого» кинематографа.

Как уже говорилось, впоследствии Довженко литературно обработал сценарий «Земли», записал он и эту сцену. Читая страницы, посвященные ночной пляске Василия, нельзя остаться равнодушным. В слове она встает перед глазами во всей своей пластической силе, как вставала и в зрительном образе.

С такой же художественной яркостью, индивидуальным своеобразием запечатлены Довженко и другие лучшие образы «простых людей».

Таков, например, образ Савки Трояна из сценария и фильма «Щорс». Народность, обаятельность, сочный природный юмор, богатырский размах, смех, разящий врагов и зажигающий друзей, — вот краски, с по-

мощью которых создает этот образ Довженко.

Зритель не может не запомнить этого огромного и нескладного человека, обладающего чистой душой, безгранично преданного революционному делу и своим командирам Щорсу и Боженко.

Если сравнить образ Савки Трояна с героями первых фильмов Довженко, то видно, какие серьезные изменения происходили в творческом методе художника. Он теперь глубже проникает во внутренний мир своих героев. Подчеркивая главное в героях — их общественно значительные черты, — он все больше внимания уделяет тонкой индивидуальной психологической характеристике.

Дальнейшее развитие этой тенденции мы находим в фильме «Мичурин». Создавая образ ученого, Довженко как бы хотел сказать, что таким, как Мичурин, должен быть каждый хороший, каждый настоящий человек. Таковы рабочие, крестьяне, солдаты, лучшие сыны народа. Но сценарий ни в малейшей степени не был похож на те произведения, в которых профессия героя или схема человека заслоняет его неповторимый облик. В центре внимания Довженко все время находится индивидуальная психология и личная жизнь Мичурина.

Нигде, ни на одной странице сценария, мы не найдем той иллюстративной, не проникающей в глубь образа описательности, которая, увы, нередко свойственна фильмам о людях, известных миру.

В дореволюционной российской глуши, затерянный среди тупого провинциального мешанства, живет скромный, ничем не приметный человек, в сознании которого зародилась и выросла глубокая убежденность в том, что человек не бессилен перед природой и не должен примиряться с ее причудами и упрямой инертностью. Не внешняя красота садов, которые он так любит, прельщает Мичурину. Его интересует самая сущность происходящих в природе явлений.

Америка шлет Мичурину своих послов, хочет переманить его за океан, купить его за деньги. Жалкое, бедное существование в провинциальной глуши, невыносимо трудные условия работы — все это мгновенно, будто по мановению волшебной палочки, может исчезнуть и уступить место ослепительному благополучию.

Но Мичурин даже не колеблется. Он отвечает американским посланцам отказом. Подобно другим великанам отечественной мысли,

он много претерпел от царских чиновников и полов, но не мог ожесточиться против России, против своего народа...

Когда мы читаем сценарий о Мичурине — ужасающе одиноким, колючем, нелюдимом человеке, — мы испытываем не жалость, не сострадание, но радостное чувство гордости перед истинным величием человеческого духа.

Такое чувство вызывают и другие герои Довженко: и охотник за тиграми Глушак — «Тигриная смерть», и его сын-летчик, и Щорс, и Боженко, и солдат на войне, и Тимош из «Арсенала».

И хотя сам Довженко на дискуссии о фильме «Мичурин» обещал написать свой новый сценарий двумя кистями: одной маленькой, тонкой кистью для выписывания глаз и ресниц и другой — размашистой, крупной для широкого письма стокилометровых пространств, массовых движений, глубоких страстей, но мы склонны полагать, что сквозной герой довженковского творчества смело и отлично выписан преимущественно этой второй, размашистой кистью.

Он потряс нас своей любовью к родителям и родному селу, к родной державе. Он взволновал нас своими делами, своей бесстрашной готовностью умереть за коммунизм, своим нравом, смелым и веселым, своим оптимизмом, могучей силой, добродушием, непримиримостью к врагу. Он идет по ленинскому пути. Он монументален. Он мог подставить свою грудь под пули врага, и пули его не брали. Он мог танцевать в ощущении неопишемого счастья на залитой лунным светом улице села.

Он вошел в наше сознание как воплощение великой правды нашего века.

4. ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОГОЛЕВСКИЕ МЕСТА

Я вспоминаю украинское село Ярьскн на Полтавщине, на которое мне указали старые друзья Довженко.

Оно лежит в бассейне малых полтавских рек, причудливо огибающих селения в этой живописной местности. Там вы не найдете ничего бьющего в глаза, ничего кричащего, ничего декоративного. Именно тут родились замечательные пейзажи Довженко...

Два потока проходят сквозь все творчество художника, то расходясь, то сливаясь

воедино новая красота, кипение новой жизни на берегах обновленных рек, рывок вперед, в будущее,— и живые до боли картины прошлого, Запорожская Сечь — мать и Великий Луг — отец, вишневые садочки, хаты под соломой, прелесть тихого утра в безлюдной степи; грандиозные образы, громящиеся друг на друга, словно скалы, смелые метафоры, ассоциации, обрывы во времени — и пластическая ясность, зримость образов, тонкость и последовательность психологических наблюдений.

И особое место здесь занимает «Зачарованная Десна», произведение, в котором Довженко достиг, может быть, самого большого художественного совершенства. О «Зачарованной Десне» уже много писали, но, может быть, стоит сказать еще несколько слов.

Это очень маленькая повесть, вернее, даже набросок повести. В ней сияет солнце, цветут цветы и щебечут птицы, в ней все пронизано ощущением великой слитности с землей, природой, матерью Украиной.

Полные таинственного очарования народные сказания, легенды, сны — и суровая правда бедняцкого голодного житья; неистребимые детские радости — и грозные картины бедствия народного, наводнения, — все это сливается в единое целое, в такое целое, где художественная форма естественно и непринужденно вытекает из самого содержания, полностью выражает авторский замысел.

Р. Юренев в своей книжке «Александр Довженко» пишет о «Зачарованной Десне»: «Лирика и ирония, добродушный, чисто украинский искрящийся умом юмор и эпическая, спокойная сила. «Зачарованная Десна» с наибольшей определенностью показывает истоки творчества Довженко, ощущавшиеся еще в «Звеннгоре», «Земле» и в «Иване» Гоголь!» Это все верно, как верны и дальнейшие слова автора о том, что это не влияния и не заимствования. «Гоголь близок Довженко потому, что оба — и великий русский классик, и современный советский писатель — выращены и вскормлены украинским народным творчеством, зачарованы тихой украинской природой, вдохновлены мыслью о великом братстве русских и украинцев».

Но хочется еще добавить, что Довженко здесь продолжает традиции не только Гоголя, но в отдельных чертах и Котляревского, и Панаса Мирного, и Свидницкого, и

Нечуй-Левницкого, и других художников слова, стремившихся запечатлеть украинский национальный характер.

«Зачарованная Десна» образами деда, бабушки, матери, отца, всем своим строем не только вызывает воспоминания о творчестве Гоголя, но и устанавливает широкие связи Довженко с украинской литературой. А главное — с жизнью, нравами, людьми Украины. Сам Гоголь черпал из того же благодатного родника.

5. ПРИНЦИПАЛЬНОСТЬ

Довженко всегда стремился к гармонической ясности формы. Он стремился к контакту со зрителями, но ни на минуту не допускал, что достигнуть этого контакта можно путем облегчения поставленной задачи, упрощения содержания.

В своей работе «Слово в сценарии художественного фильма» Довженко вспоминал о немом кино и, в частности, о том, какими рукоплесканиями встречал зритель удачно найденные яркие и лаконичные немые средства художественной выразительности, все то, что давало ему, зрителю, возможность активно, творчески воспринимать картину.

Зритель как бы благодарил режиссера и сценариста фильма за доверие к нему, за то, что режиссер будил в нем творческие ассоциации и тем самым как бы ставил его в положение если не соавтора, то во всяком случае тонкого ценителя искусства.

В другой речи Довженко, развивая ту же мысль, сетует на то, что некоторые кинематографисты не доверяют зрителю. «Люди, — говорил он, — гораздо умнее, чем многие думают. Народ наш чрезвычайно умный и очень интересный». Довженко отвергает упрости́тельный подход к кинодраматургии. «Для писателя, пришедшего в кино, — говорил он молодым режиссерам, — очень важно сразу дать себе ясный отчет в том, что написать киносценарий не менее сложно, чем другое литературное произведение, что киносценарий — не пьеса, хотя, подобно пьесе, он должен удовлетворять всем требованиям драматургического построения; что сценарию не следует стремиться к пьесе. ограниченной спецификой сцены, что фильм обладает возможностями передвижения действия в пространстве, во времени — настоящим, прошедшем, давнопрошедшем, будущим — и в масштабах, не мыслимых ни для какого иного искусства. И, что самое глав-

ное, сценарий требует, чтобы все в нем жило и развивалось не только во внутреннем сюжетном, но и в пространственном движении, в постоянной зрительной изменчивости».

Довженко всегда был серьезен, требователен и самокритичен. Он прямо указывает на то, что недостатки фильмов «Иван», «Аэроград», «Щорс» были предопределены качеством сценариев, им же сочиненных.

Довженко не стесняется со всей открытостью сказать: зрителю нет и не должно быть дела, что авторское знакомство с жизнью огромного нашего Приморья при создании «Аэрограда» было слишком кратковременным, что сценарий «Иван» в силу сложившихся обстоятельств писался всего лишь одиннадцать дней и фильм начал сниматься без подготовительного периода, что «Щорс» перегружен материалом. И снова в поле зрения зритель: «Мне казалось тогда, что все достойно экрана. И, действительно, все оказалось достойным экрана, все до последнего кадра, до последнего метра. Только законы восприятия художественного остались законами».

И раньше и позднее критики Довженко обвиняли его в пренебрежении интересами зрителей. Дескать, картины Довженко требуют от зрителя чрезмерного напряжения мысли, они не приносят отдыха и т. д.

Нет, это неверно, что Довженко пренебрегал интересами зрителей. Он стремился к контакту со зрителем, сближению с ним. Но в интересах этого сближения, стремясь быть понятым и любимым, Довженко не шел ни на какие уступки. Этой принципиальной позиции он не сдавал до последнего дня своей жизни, все больше и больше утверждаясь в том, что обращение к новой действительности не может быть и не должно быть ни поверхностным, ни мелкотравчатым, ни облегченным.

До последних дней Довженко преодолевал шаблоны кинодраматургического почерка. Может быть, ему не всегда и не везде удавалось добиться полной слитности содержания с формой и художествен-

ное воплощение иногда оставалось ниже той программы, которую он сам начертал для кинодраматургии. Но горячая устремленность вперед, поиски новых форм, адекватных новому содержанию, созвучных эпохе, битва против мещанства и мелкотравчатости в искусстве — все это никогда не покидало Довженко.

Довженко всегда помнил о зрителе и читателе. Но он хотел вести их вперед. Его обуревало желание заглянуть вместе со зрителем в завтрашний и даже послезавтрашний день. Его волновал образ нового человека, вернее человечца.

Помните сцену в «Щорсе»: «Пусть они мечтают. Не надо им ни есть в это время, ни пить, ни курить, ни зашивать поношенные одежды свои. Не надо обыденных слов, бытовых телодвижений, правдоподобных подробностей. Уберите все пятаки медных правд. Оставьте только чистое золото правды...»

И это относится не только к героям «Щорса». Во всех своих произведениях Довженко неудержимо стремится ввысь, к охвату новых, величественных горизонтов. В одном случае он пренебрегает не только канонами сюжета, но и тем, «как в жизни». Вспомним, как смерть не берет героя «Арсенала». В другом случае он вкладывает в уста своему герою речи, нарушающие требование лаконичности, которое он сам неуклонно выдвигал. Вспомним длиннейшие монологи в «Щорсе», в «Мицурине», в «Потомках запорожцев» и других произведениях.

Изображая своих героев сильными, смелыми, честными, освобождая их образы от всего повседневного, от деталей быта (которые в иных случаях сам же мастер выско ценил и пропагандировал), Довженко поднимал советского человека на пьедестал истории.

Довженко живет среди нас — и мы подходим к его творчеству, как к творчеству живого. Довженко живет среди нас — и мы видим в его произведениях новые доказательства боевого, наступательного характера советского киноискусства.



Б. МЕЙЛАХ

★

УХОД И СМЕРТЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО

ТОЛСТОМ ЖИВОМ И ИКОНОПИСНЫМ

Восьмого марта 1910 года, за несколько месяцев до того, как Толстой навсегда ушел из Ясной Поляны, он записал в дневнике: «Вечер опять читал с умилением свои письма к Александре Андреевне [Толстой]. Одно о том, что жизнь труд, борьба, ошибка — такое, что теперь ничего бы не сказал другого».

Вот строки этого письма: «Вечная тревога, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен смочь думать выдти хоть на секунду ни один человек... Мне смешно вспомнить, как я думывал, и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя... Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Здесь с поразительной глубиной раскрывается личность Толстого. Ищущий и анализирующий, сомневающийся и утверждающий, проповедник протеста и смирения одновременно — таким он был до последних дней своих. Нет ничего более лживого, чем легенда о том, что в последние годы жизни он стал благостным, умиротворенным старцем, утихомирившим в себе кипение дум и чувств. Могучая сила жизнестверждения и борьбы вступала в непримиримое противоречие с идеей смиренномудрия и аскетической моралью.

Из подготовленной к печати книги Б. Мейлаха «Уход и смерть Льва Толстого». Главы печатаются в сокращении.

В громадной, почти необозримой дореволюционной литературе о Толстом и во многих современных работах на Западе облик писателя в последние годы его жизни чаще всего предстает освобожденным от «земных сует», религиозно просветленным, почти иконописным. Говоря о Толстом, о его мировоззрении, ученики и последователи стремились доказать, что к концу жизни он обрел полное духовное успокоение. Умиротворением, незлобностью, всепрощением будто бы было проникнуто отношение писателя к своим врагам. Таким нарисован Толстой и в четвертом томе обстоятельной, получившей всемирную известность биографии П. И. Бирюкова. Этот том, изданный в 1923 году, вызвал интерес множеством новых фактов. Но подбор этих фактов был односторонним. Биограф Толстого, сам того не замечая, «идеализировал» своего учителя, избегая приводить те суждения писателя, которые не укладывались в обедненную, пресную схему. Читая Бирюкова, вспоминаешь слова, сказанные в свое время Лениным о русских и заграничных последователях Толстого, превративших «в догму как раз самую слабую сторону его учения». Как сквозь цветное стекло, которое избирательно пропускает сквозь себя только, скажем, синие лучи и никакие другие, в трудах создателей иконописного лика Толстого отсеивалось все, что не соответствовало этому искусственно созданному образу.

Иконописным является и облик писателя в книге В. Г. Черткова «Уход Толстого» (1922). Эта единственная в литературе о Толстом книга, специально посвященная теме ухода, стремится представить Толстого лишь как непротивленца, проповедника

«всеобщей любви» и смирения. Жизнь Толстого, по словам Черткова, в особенности во второй ее период, должна «служить светлым и ободряющим примером того, как следует и как возможно, руководствуясь голосом божим в своей душе, сочетать в своих поступках величайшую сердечность и мягкость по отношению к своему обидчику — с непоколебимой твердостью там, где дело касается верности тому высшему Началу, которому служишь». Поэтому и уход Толстого Чертков рассматривает как логическое следствие его религиозно-нравственного учения.

Живучесть легенды о Толстом подтверждается выходом в Париже в 1960 году большой, объемистой книги Н. Вейсбейна «Религиозная эволюция Толстого». О ее тенденции лучше всего говорит предположение автора, что Толстой, если бы он остался жив, мог бы примириться с церковью. Автор задается вопросом: «Что случилось бы, если б Толстой смог спокойно остаться в Шамордино по соседству с Оптиной Пустынью и святыми угодниками?» Отвечая на этот вопрос Н. Вейсбейн говорит, что тогда можно было бы ожидать «если не полного примирения с церковью и не немедленного, то во всяком случае в близком будущем...». В этом предположении сказывается полное непонимание действительного характера эволюции Толстого. Автор совершенно игнорирует возмущенную реакцию писателя на неоднократные попытки вернуть его в «лоно церкви» в последние годы жизни. Книга Н. Вейсбейна может служить одним из ярких примеров того, что идеалистическое литературоведение не только не имеет возможности проникнуть в действительный смысл эволюции Толстого, но вступает в прямое противоречие с фактами.

В конце жизни Толстой оказался свидетелем первых в истории России массовых революционных выступлений народа — революции 1905 года. Она вызвала у него глубочайший отклик, еще более обнажив противоречия между жизнью и догмой. В его произведениях, статьях, беседах, письмах этого времени мы встречаем типичные «толстовские» призывы к отстранению от политики — и вместе с тем небывало острую постановку злободневных политических вопросов; призывы к «всепрощению» — и никогда еще не доходившую до такого высокого накала ненависть к ца-

рю, правительству, духовенству, помещикам и капиталистам; проповедь нравственного самосовершенствования как единственного пути уничтожения социального зла — и оправдание революционных выступлений народа невыносимым состоянием, до которого его довели поработители. Страдания народа он переживал с такой силой, что они стали его собственными страданиями. А противоречия, свойственные писателю, становились в еще большей степени источником нравственных мучений, они лишали душевного спокойствия, заставляли проверять истинность своих взглядов, искать для себя выхода. Но в рамках его мировоззрения выхода не было и не могло быть.

Естественно, что к концу жизни у Толстого все чаще возникают новые, неожиданные, тревожные признания по поводу, казалось бы, уже решенных вопросов. Вот некоторые из этих признаний:

29 декабря 1906 года: «Как тщетны все убеждения о лучшем устройстве всякого рода полтянков, социалистов, революционеров, так тщетны и мои».

2 сентября 1909 года: «Ночью и поутру нашло, кажется, никогда не бывшее прежде состояние холодности, сомнения во всем, главное, в Боге, в верности понимания смысла жизни...»

13 февраля 1909 года: «Главное же, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и пр.»

15 июня 1910 года: «Страшно сказать, но что же делать, если это так, а именно, что со всем желанием жить только для души, для Бога, перед многими и многими вопросами остаешься в сомнении, в нерешительности».

Приведенные выдержки из дневников Толстого находятся в соседстве со многими рассуждениями в ортодоксально-толстовском духе. Но можно ли, как это делают Бирюков и его вольные или невольные последователи, игнорировать эти высказывания Толстого, которые подрывают представление о его якобы «цельном» облике последних лет, о гармонии его внутреннего мира? Разве не говорят даже процитированные выше признания об обострении духовной драмы писателя? Если бы Толстой в конце жизни достиг идеала смиренномудрия и полной религиозной просветленности, разве он говорил бы о своем тягчайшем

душевною состоянии, о «мучительной тоске», о страданиях «до боли, до слез»?

Иконописный лик Толстого, почти святого, излучавшего сияние умиротворения, создавали не только толстовцы. Вот что писал, например, Леонид Андреев, вспоминая о пребывании у Толстого в 1910 году: «С правильностью почти математической завершая круг своей жизни, пришел он к мягкости необычайной, к чистоте и незлобию почти детскому. Эта мягкость была настолько необыкновенна, что не только виднелась, но как бы и осязалась. Мягкие седые волосы нематериальные, как сияние... И я думал все время: «Где еще в мире можно встретить такого благостного старца?» По уверению Андреева, от одного соседства с Толстым «то, что казалось в жизни неразрешенным, запутанным и страшным, — стало просто, легко и разрешимо».

Возможно, что в часы, когда Леонид Андреев видел Толстого, он казался ему таким. Но как он мало понял своего великого современника, если это частное впечатление положил в основу характеристики всего его облика! А сколько таких характеристик в литературе о Толстом...

Публикация в советское время новых материалов о Толстом, издание полного собрания его произведений, дневников и писем, доступ к засекреченным ранее архивам, пристальное изучение статей Ленна о Толстом как теоретической основы исследования мировоззрения писателя — все это создало возможность нового подхода к сложному вопросу о последнем этапе его жизни.

Ленин не касался в своих статьях специально вопроса о причинах и цели ухода Толстого. Однако вся ленинская постановка вопроса о взглядах и творчестве художника направлена против представлений о Толстом как угоднике, праведнике, елейном старце, каким рисовали его все те, кто, искажая облик писателя, писал об уходе как религиозном подвиге. Ленин показал, что проповедник непротивления был одновременно горячим протестантом, страстным обличителем, великим критиком.

Одним из немногих, кто еще при жизни Толстого понял необыкновенную противоречивость его облика, был Горький.

Горький считал Толстого «самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия». После первой же встречи с ним Горький заметил, что монолитности мироощущения у него нет, и пи-

сал Чехову: «В конце, он все-таки — целый оркестр, но в нем не все трубы играют согласо».

Горькому удалось разглядеть, что в религиозном проповеднике скрывается «атенст, и глубокий». А в очерке «Лев Толстой» мы находим такое пронизательное наблюдение: «Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится».

Понятно, как возмущен был Горький, когда он узнал, что уход Толстого буржуазная пресса использует для канонизации его. «Душа моя в тревоге яростной, — я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас».

В своем понимании личности Толстого Горький не был одинок. В. Короленко тонко заметил, что «способность заражаться народными настроениями определяла крупнейшие повороты во взглядах самого Толстого». В своей статье «Разговор с Толстым» Короленко писал о его настроениях в преддверии первой русской революции. Вспоминая о своей беседе с Толстым в 1902 году, Короленко говорит, что тогда Лев Николаевич находился как бы «на распутье»: «...Казалось, он был готов еще раз усомниться и отойти от всего, что нашел и что проповедовал: от анархизма и от непротивления».

Перемены в Толстом, его разговоры так поразили Короленко, что он (явно впадая в преувеличение) заметил: «от «непротивления» едва ли остались и следы...» Встретившись с Толстым в третий и последний раз за три месяца до его смерти, Короленко «опять слышал от него новое, неожиданное, порой загадочное...».

Совершенно не вяжутся с обликом Толстого писания о нем, напоминающие жития святых. Проповедник непротивления злу насилием, узнав об убийстве министра внутренних дел Сипягина, признался, что не может считать этот поступок нецелесообразным. Пропагандист трезвости в быту, почувствовав ханжество в деятельности «общества трезвости», отказался поддерживать его и с удивившим всех озорством заявил о подобных собраниях: «Если не пить, то незачем и собираться, а если собираться — то надо пить». Осново-

положник движения толстовцев скептически относился к попыткам своих последователей создать свою организацию и, узнав из газет о предстоящем съезде толстовцев, с иронией заметил: «Вот и отлично. Явлюсь на этот съезд и учредим что-нибудь в роде армии спасения. Форму заведем — шанки с кокардой. Меня, авось, в генералы произведут».

До глубокой старости Толстой не потерял неуядаемой свежести восприятия жизни, никогда не переставал замечать новое в привычном. На его примере вновь подтвердилась истина: красота мира стареет для того, кто стареет душой, но остается вечно юной, когда умеешь ее видеть. «Безумно приятная весна. Всякий раз не веришь себе». Несколько строк, записанных в дневнике рукой восьмидесятидвухлетнего человека, а в них вся душа художника!

В том же последнем году своей жизни он однажды с юпошеской восторженностью повел В. Ф. Булгакова смотреть, как цветет каштан.

«По дороге говорил:

— Как хорошо! Все это для меня как-то ново. Точно это видишь в первый или последний раз».

И такое же острое любопытство к людям, бесконечные споры, беседы, с чисто толстовским умением прощупывать людей, умением определять цену человека одним только взглядом живых, без старческой тусклости, глаз, взглядом, всегда прямо направленным в глаза собеседника. И такая же до последних дней способность восхищаться неожиданным, метким народным словом, в котором целая бездна смыслов и оттенков. А самое главное — возраставший интерес к тому, что происходит сегодня, что делается вокруг: «Вся сила жизни — а сила эта страшно умножилась — переносится в настоящее. Я сознаю это. Как это радостно!» (дневник, 3 сентября 1908 года).

Встречались утверждения, что причина ухода — исчерпанность сил писателя, старческое одряхление, угасание. С этим мнением, раньше особенно распространенным, приходится встречаться и сейчас. На самом же деле нет ничего более противоречащего истине. Конечно, были у Толстого приступы депрессии, физической слабости, болезни. «Сегодня слаб» — эти печальные слова человека, когда-то обладавшего бо-

гатырским здоровьем, все чаще мелькают на страницах дневников последних лет. Но даже и в такие дни образ жизни Толстого оставался неизменным до той поры, как он навсегда уехал из Ясной Поляны. Сохранялся привычный ежедневный режим работы за письменным столом, продолжался постоянный литературный труд, бесконечное чтение, переписка со всем миром, встречи с посетителями, беседы с крестьянами. По-прежнему излюбленным отдыхом Толстого оставались далекие прогулки, когда особенное удовольствие доставляют запутанные лесные тропинки, овраги и неожиданные грозы и ливни... Пусть страшная усталость, пусть изнеможение, но только бы не бездеятельное старческое существование! Вот он в ослепительно солнечный, жаркий июньский день проводит время с приехавшими к нему из Тулы 850 школьниками, устраивает с ними гимнастические игры, ходит с мальчиками купаться на реку Воронку. Вот, гуляя по Киевскому шоссе, подходит к рабочим и на пробу разбивает два камня из груды булыжников, привезенных для мощения дороги. Вот в молодом задоре, видя, как мимо него пролетели двое военных верхами, обгоняет их и круто поворачивает своего Делира наперерез. А при осмотре психиатрических больниц (июнь 1910 года) входит в палаты и беседует с самыми агрессивными больными, как это может делать лишь самый опытный, привыкший ко всему врач...

Необычайной внутренней стойкостью, жизнелюбием, смелостью поражал он всех, кто видел его в последние годы.

Вот штрихи из неопубликованного дневника домашнего врача Толстого — Д. П. Маковицкого. Здесь речь идет о последних месяцах жизни писателя.

«28 апреля. Какой энергичный! Как он заставляет себя делать, что нужно ему и в телесном и умственном отношении, и как он не любит утруждать других. Он удивительно тренировал себя. Заставляет себя гулять, умственно работать... когда устал, заставляет себя кончать работу; не щадит себя».

«24 сентября. Как ездит Л. Н. верхом! Какими кручами спускается и по каким выбирается наверх, какие проезжает опасные места, полугнилые мосты, окраины круч. Сегодня мы пробрались через густой молодой лес. Низко нависших вет-

вей он не объезжает, а только нагибается под ними. Как он ездит и вскачь и рысью ездит. Я легок, люблю ездить и много занимаюсь гимнастикой, но мне, 43-хлетнему, проделать то, что проделывает 82-хлетний Л. Н., трудно. Я не поспеваю за ним. Моя лошадь чуть-чуть что не ломает шею и себе и мне. Какой ездок должен быть Л. Н.!»

И вот о таком человеке поверхностные критики после его ухода писали, что он, покидая Ясную Поляну, «хотел смерти», «шел навстречу ей!» И это говорилось о великом жизнелюбце, самопризнание которого — «красота мира победила меня» — сохраняло свою силу до его последних дней.

Тягчайшие невзгоды личной жизни, переживания, вызванные борьбой в семье вокруг завещания и достигшие к 1910 году крайней степени остроты, — все это не могло отвлечь Толстого от размышлений на коренные жизненные темы, не уменьшало его интереса к тому, что происходило в мире, в стране. Трагические обстоятельства семейной жизни были столь подробно освещены в литературе, что у читателей могло сложиться впечатление, будто бы домашние невзгоды последних лет вытеснили в сознании Толстого то, что ранее волновало его. Но это совершенно неверно. Его продолжает по-прежнему интересовать и «проклятый» земельный вопрос в России — как добиться, чтобы земля принадлежала крестьянам, он негодует по поводу палаческой политики царизма и столыпинской реформы, радуется португальской революции, свергнувшей короля, — словом, глаза его по-прежнему широко раскрыты на мир.

В последний год жизни до крайней, совершенно уже непереносимой степени остроты дошла у Толстого боль при виде горя, нищеты, страданий крестьянства.

Даже во время своих недолгих отъездов из Ясной Поляны, предпринятых для того, чтобы отвлечься от тяжелой обстановки, создавшейся дома в связи с раздорами по поводу завещания, от натиска с одной стороны сыновей Андрея и Льва, подстрекавших и без того переставшую владеть собою мать, а с другой — В. Г. Черткова и его сторонников, отдохнуть от выпытывания, подслушивания, подглядывания (о чем мы знаем из его «тайных» дневников), — даже во время этих коротких отъездов он не был сдюжен: всюду, куда бы он ни приехал,

его мучили картины ужасающего положения крестьян.

Конечно, вдали от дома, где у него в последнее время не было ни минуты покоя, становилось легче. Однако вот записи, сделанные во время этих поездок.

19 мая 1910 года — о жизни в Кочетах: «Очень было хорошо, если бы не барство, организованное, смягчаемое справедливым и добрым отношением, а все-таки ужасный, вопиющий контраст, не переставший меня мучить».

26 августа — о поездке в деревню Треханетово: «Очень тяжела роскошь — царство господское и ужасная бедность — курных изб».

4 сентября — о поездке в Треханетово и Образцовку: «Ужасающая бедность. Насилу держусь от слез».

В этой обстановке главным, что поддерживало Толстого, был его творческий труд. Но и работать дома стало невозможно из-за сложившихся условий. Его дневник 1910 года («явный» и «тайный») до самого ухода из дому пестрит такими записями: «Ужасная ночь... Ничего не работало — кроме книжечки: «Праздность» (11 июля). «Чувствую себя свежее, но суета не дает работать» (5 августа). «Не могу работать» (16 августа). Тяжело... Кажется работать не буду. Не спокоен. Ничего не писал» (8 сентября). «Нынче живо почувствовал потребность художественной работы и вижу невозможность отдаться ей...» (2 октября). «Опять с утра разговор и сцена... День пустой, не мог работать хорошо» (12 октября). Понимая всю нелепость положения, при котором самому дорогому в его жизни — творческому труду — мешали семейные дрязги, он пишет в «Дневнике для одного себя»: «Как комично то противуположение, в котором я живу, в котором, без ложной скромности, вынашиваю и высказываю самые важные, значительные мысли, и рядом с этим: борьба и участие в женских капризах, и которым посвящаю большую часть времени» (27 сентября).

Свои замыслы Толстой не имел возможности осуществить не только из-за той изматывающей его борьбы, которая велась вокруг него в Ясной Поляне, но и из-за того, что он не мог больше писать о народе и для народа, продолжая жить в ставшей для него «духовной тюрьмой»

обстановке, не в гуще народа. «И писать гадко, оставаясь в этой жизни», — признавался он (дневник, 13 апреля). Вот почему невозможность работы стала наряду с другими одной из самых весомых причин ухода.

Причины и обстоятельства тайного ухода Толстого и сегодня волнуют нас своим драматизмом и своей неясностью. Было много попыток объяснить «загадку ухода», выдвигалось много версий, фантастических, ложных и даже намеренно клеветнических. «Доказывалось», что Толстой ушел, чтобы отречься от обличительной деятельности: «ушел от мира», чтобы вернуться к церкви; из-за семейных неурядиц, в предчув-

ствии смерти; под нажимом друзей — и тому подобное, без конца... Все, что теперь стало известно о Толстом, позволяет не только отместить ложь и легенды, но изучить историю ухода на новой основе. Уход был вызван переплетением многих причин — социальных и личных. Наряду с непосредственными новодами были причины, постоянно действовавшие и отдаленные, связанные с влиянием на мировоззрение Толстого глубоких процессов русской жизни. Чтобы разобраться в причинах ухода, нужно не только освободить облик писателя от чуждых красок, но попытаться воссоздать последние события его жизни в их истинности.

ПЕРЕД УХОДОМ

1

Каковы бы ни были философско-этические мотивы, которыми руководствовался Толстой в своей деятельности, но своим отрицанием всего существующего строя он занял определенную позицию в острой политической борьбе. Эта позиция привлекала к Толстому симпатии и любовь всей передовой России. И она же вызвала ожесточенную травлю великого писателя русским самодержавием, официальной церковью, черносотенцами, религиозными изуверами, травлю, доходившую до прямых угроз, до провокационных призывов к расправе с ним и к его убийству.

В последние десятилетия жизни Толстого ненависть к нему самодержавия все более и более возрастала.

В течение многих лет, до самой смерти, за Толстым велось непрерывное секретное наблюдение. Лишь небольшая часть поднадзорных ведомостей и агентурных донесений дошла до нашего времени, но и на основании тех материалов, которыми мы располагаем, можно заключить, что система наблюдений за писателем ничем не отличалась от шпионажа за людьми, подозревавшимися в самых «опасных» государственных преступлениях. Вокруг Толстого была создана разветвленная система шпионажа. В ней участвовали прежде всего, конечно, полицейские чины, находившиеся в Туле, а также вблизи Ясной Поляны. По воспоминаниям В. Ф. Булгакова, урядник без всякого стеснения шатался по Ясной Поляне, постоянно пытаясь разузнать у

служащих и проживавших здесь лиц, кто бывал у Толстого, какие случались «происшествия» и т. д. К агентурной деятельности были привлечены даже лица из обслуживающего персонала в доме Толстого. Об этом свидетельствует одно из дел секретного стола канцелярии тульского губернатора. Агентурные донесения 1909 года, сохранившиеся в этом деле, подтверждают, что многие из сообщаемых сведений могли быть даны только теми, кто был круглосуточно осведомлен обо всем, что происходило в доме. Таково, например, донесение о том, что «вечером 12 декабря граф Л. Н. Толстой катался верхом на лошади и, возвратившись домой, почувствовал озноб, ночью температура у него повысилась до 40 градусов». И другие донесения того же 1909 года говорят о самочувствии Толстого, регистрируя сведения о нем не только по дням, но даже и по часам. Некоторые из этих донесений в шифровках доводились до сведения министра внутренних дел.

В осведомительной деятельности принимал участие и ряд «добровольцев». К таковым относилась жившая неподалеку от Ясной Поляны, в деревне Кривоново, помещица А. Е. Звегинцева, ярая монархистка. Она была причастна к аресту в октябре 1907 года секретаря Толстого Н. Н. Гусева. Псылались в Ясную Поляну и специальные агенты под видом посетителей, «искателей истины». Так, зимой 1896 года к Толстому пришел человек, назвавший себя рабочим, но в дальнейшем признавший, что он шпион, подсланный для того, что-

бы видеть, что делается в Ясной Поляне. Наконец, безусловно с агентурными целями являлись к Толстому и некоторые из духовных лиц, например тульский тюремный священник, который однажды пришел к нему для увещания о возвращении в лоно церкви.

Перед русским самодержавием не раз вставал вопрос о «пресечении» «вредной» деятельности Толстого теми привычными способами, которыми «обезвреживались» многие выдающиеся писатели и представители передовой общественной мысли начиная с Радищева. Но правительству всякий раз приходилось отказываться от прямых мер «пресечения», так как имя Толстого было окружено ореолом преклонения и благоговения на всем земном шаре. Поэтому применялись особые, иезуитские формы травли. И среди них — «отлучение от церкви», придуманное правительством и синодом для того, чтобы восстановить против Толстого все темные силы, разжечь до предела ненависть к нему. Теперь трудно себе представить (мы можем судить об этом по документам и воспоминаниям современников), как должны были подогреть злобу к Толстому у реакционеров и религиозных фанатиков слова из «Определения» синода, где говорилось, что «известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на господа и на Христа его и на святое его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и церкви» и т. д.

Толстой в своем «Ответе на определение синода» пронзительно раскрыл цель «отлучения». Он писал об «Определении» синода: «Оно есть, наконец, подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещенных и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в публикуемых мною письмах. «Теперь ты предан анафеме и пойдешь по смерти в вечное мучение и издохнешь как собака... анафема ты, старый черт... проклят будь», пишет один. Другой делает упреки правительству за то, что я не заключен еще в монастырь,

и наполняет письмо ругательствами. Третий пишет: «Если правительство не уберет тебя,— мы сами заставим тебя замолчать»; письмо кончается проклятиями. «Чтобы уничтожить прохвоста тебя,— пишет четвертый,— у меня найдутся средства...» Следуют неприличные ругательства. Признаки такого же озлобления после постановления синода я замечаю и при встречах с некоторыми людьми. В самый же день 25 февраля, когда было опубликовано постановление, я, проходя по площади, слышал обращенные ко мне слова: «Вот дьявол в образе человека», и если бы толпа была иначе составлена, очень может быть, что меня бы избили, как избили, несколько лет тому назад, человека у Пантелеймоновской часовни».

Расчет правительства и синода на крайнее озлобление реакции и черносотенцев против Толстого оказался верным. Ведь еще до «отлучения» он получал угрожающие письма: например, ему было прислано анонимное письмо члена подпольного общества «Вторых крестоносцев» с угрозой убить его как «законположника» секты, оскорбляющей «господа нашего Иисуса Христа», и как «врага нашего царя и отечества».

Вся кампания против Толстого, вызванная «Определением» синода, сопровождалась проповедями в церквях, вроде проповеди харьковского протоиерея Буткевича, который, предавая Толстого анафеме, выражал надежду, что «благочестивейший государь» «пресечет своевременно» разрушительную деятельность писателя. Одновременно реакционная печать взывала к правительству от имени «истинно русских людей» и требовала предать Толстого суду. Эта кампания в печати, все усиливаясь, продолжалась до самой его смерти. Так, в феврале 1910 года в одной из черносотенных газет была напечатана статья, которая заканчивалась требованием: «Следовало бы правительству наконец подумать об этом, добраться до Ясной Поляны и разорить это вражье гнездо клеветов антихриста, пока сам народ русский не посягнул на это».

На отлучение от церкви и последовавшую за ним травлю Толстой отвечал так, как должен был ответить деятельный боец. Он усиливал свою обличительную деятельность, свою критику самодержавия и церкви, принимал все меры, чтобы его сочинения, обреченные в России, увидели свет и распространились.

Толстой несколько раз подчеркивал в своих дневниках, что он никогда не «раскается» и что он предупреждает против обмана, к которому могут прибегнуть власти после его смерти.

Травля, угрозы, клевета — все это порой вызывало у Толстого горькие чувства, причиняло ему боль. Однако самым тяжелым для него было преследование его единомышленников, которые печатали, распространяли или хранили запрещенные произведения писателя или следовали его призывам не подчиняться правительству. Многие из этих людей подверглись заключению в тюрьмах и крепостях, избиваниям, умирали от чахотки, семьи их были доведены до нищеты. Цель этой тактики Толстой разоблачил в одной из своих статей, когда писал, что правительство, действуя таким путем, хотело заставить его прекратить обличительную деятельность. Еще в 1896 году Толстой послал специальное письмо к министрам юстиции и внутренних дел, где требовал, чтобы все меры, принимаемые против лиц, ему сочувствующих или распространяющих его произведения, принимались против него самого. Во многих случаях Толстой обращался с ходатайствами и письмами об облегчении участи сочувствующих ему людей и к царю, и к Столыпину, и к губернаторам, и к командирам дисциплинарных батальонов. Не говоря о том, что эти обращения редко приводили к каким-либо результатам, они сами по себе не могли не казаться парадоксальными: ведь Толстой обращался к тем самым чиновникам и тем «слугам насилия», против которых было направлено его обличение!..

...Жизненные бури расшатывали здание религиозно-нравственного учения, и в нем появлялись бреши. Было время, когда Толстой, думая, что можно воздействовать словом добра на «шайку разбойников» (как он называл правительство), обращался к ней с увещаниями. Так, в 1902 году он написал письмо Николаю II. «Любезный брат», — начиналось это письмо, в котором царю предлагалось по существу произвести бескровную революцию, передать землю народу и т. д. Конечно, это наивное письмо ни к чему не привело. Толстой вскоре после того, как убедился в этом, направил весь свой темперамент обличителя на то, чтобы показать подлость, тупость, жестокость и все отвратительные качества российского самодержца. Это, конечно, никак не вязалось с

христианской моралью всепрощения. Его отзывы о царе, к которому он пытался обратиться как к «брату», становятся в статьях, письмах, беседах все более и более гневными и презрительными. Он называет Николая II «убийцей», «скрытым палачом», окружившим себя злодеями, «малоумным гусарским офицером», «пустым и ничтожным человеком».

В эти годы он заносит в записную книжку вывод для себя: «К царю отношение как к убийце. Не нужно особенной жалости».

Уроки жизни оказываются сильнее морали, по которой «радость совершенную» доставляет примиренность, а не ненависть (даже если она справедливая). В статье «Не могу молчать» (1908), давая волю своей ненависти ко всем угнетателям народа, Толстой говорит: «Я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством».

Страстная обличительная деятельность, которую Толстой многие годы самоотверженно вел в условиях ожесточенной травли, могла быть для него источником полного нравственного удовлетворения, могла внести в его душу уравновешенность, которую дает человеку сознание бесстрашно выполняемого долга. Однако разоблачение социального зла и носителей зла, признанное им же одной из главных целей своей жизни, вместе с тем обостряло его духовную драму. Оно приходило в непримиримое противоречие с его религиозным кодексом. Кроме того, оно не соответствовало положению, в котором он, вопреки своему желанию, в силу сложившихся обстоятельств, оказался, положению человека, прочно защищенного от наказания, в то время как сочувствующие ему подвергались этому наказанию даже в случаях самых незначительных. Поэтому вовсе не фразой (как об этом иногда говорили), а выстрадавшим желанием избавиться от этого положения были его знаменитые слова о «воюющей русской тюрьме», в которую он хотел быть заключенным.

Все это, вместе взятое, со своей стороны готовило Толстого к решению об уходе.

2

С необыкновенной жадностью следил всегда Толстой за настроениями народа, не упуская любой возможности общения с простыми людьми, встреч с ними всюду — в Ясной Поляне и на шоссейной дороге,

в железнодорожном вагоне и в деревенской избе. Формой общения Толстого с народом была также его обширнейшая переписка.

Как и встречи с различными людьми, письма были для Толстого важнейшим источником сведений о стране, ее положении, о происходивших в ней процессах. По этому поводу Толстой однажды сказал: «Живешь в деревне и получаешь со всех концов, как по сходящимся радиусам, сведения о самом дорогом для тебя, то есть о движении, — и положительные и отрицательные».

Толстому писали самые разные лица — от всемирно известных деятелей общественного движения, литературы, искусства, науки до рядовых людей труда. Рядом с изящными листками, украшенными вензелями, в архиве Толстого хранятся куски серой, грубой бумаги с безграмотными каракулями крестьянина.

Толстой говорил Х. Досеву: «Я иногда по конверту узнаю, которое из писем будет интересно. Если конверт написан большими красивыми буквами: «Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому», то я уже знаю, что это будет, по меньшей мере, бессодержательное письмо. Но, если на конверте написано мое имя дрожащей рукой и неправильно, вроде того, что «Льву Николаевичу Толстову», то я знаю, что это письмо будет интересно, и открываю его раньше других. И, зачастую, мои ожидания оправдываются».

До бесконечности разнообразно содержание писем. Рядом с мудреным вопросом об истолковании тех или иных мест евангелия — простые безыскусственные слова о горестной судьбе людей, запутавшихся в размышлениях о смысле жизни, заключенных в тюрьму, погибающих голодной смертью или решивших покончить самоубийством; рядом с рассуждениями о социальной несправедливости, о тирании самодержавия просьбы о материальной помощи или обращение за советом в каком-нибудь сложном личном деле. Все письма прочитывались Толстым, но, конечно, он имел возможность ответить только на часть из них. Было также немало и курьезных писем от графоманов и бездарных «кандидатов» в писатели, изобретателей вечного двигателя и других подобных авторов. Иные интересовались, разрешает ли толстовское учение убивать микробов, употреблять клей (поскольку он сделан из

костей животных), есть мед, узурпируя труд пчел, и т. п. На подобного рода письмах Толстой ставил буквы «Б. О.» — «без ответа». Встречаются и пометки: «Глупое. Б. О.».

Своей переписке Толстой уделял много времени и внимания. В его дневниках рассеяно много замечаний о письмах, задевавших серьезные вопросы. Способность Толстого всем сердцем ощущать горе и страдания других людей проявлялась и в его горячих откликах на письма, составляющих в целом своеобразную летопись жизни поколения.

Тысячи писем, приветствий, телеграмм, сохранившихся в архиве Толстого, говорят о глубочайшем уважении и любви к нему рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции. «Из душевных мастерских завода мы, люди тяжелого труда и тяжелой доли, сыновья одной с Вами несчастной родной матери, шлем Вам привет, что в лице Вашем национального гения, великого художника, славного и неутомимого искателя истины. Мы, русские рабочие, гордимся Вами, как национальным сокровищем...» — писали Толстому в связи с восьмидесятилетием со дня его рождения.

А вот приветствие крестьян:

«Великий писатель, сегодня тебе минуло 80 лет, — поздравляем тебя с долголетней жизнью, которую ты посвятил для блага народа, который не весь еще тебя понял. Но настанет время, когда каждый будет сохранять в душе сказанное тобою слово. Пусть жизнь твоя продлится на многие лета».

Большое значение имели для Толстого, для поддержки его обличительной деятельности, и письма другого характера, где содержались призывы, советы, слова ободрения. Толстому часто сообщали о различных проявлениях политики самодержавия, о фактах произвола, рассчитывая, что они послужат ему материалом для выступлений в печати. Когда же гневное слово Толстого обрушивалось на виновников страданий народа, в ответ шли горячие отклики.

Вот некоторые из писем, полученных Толстым после опубликования статьи «Не могу молчать», когда реакционеры всех мастей осыпали его руганью, угрожали мстостью.

«Да живите и бодрствуйте на благо человечества! Не проглотит и не удавит Вас ни тюрьма наша русская, ни виселица; насколько Вы велики, настолько они ничтожны».

ны для этого. Недостигаемо для них выросли Вы».

«В дни постыдного безмолвия общества, среди полного эгоизма и циничного надругательства власти над всем, что дорого и свято для человечества, наконец-то раздался голос одного человека, который громко запротестовал против совершающихся изуверств».

Все это поддерживало Толстого, радовало его. Естественно, что особенное удовлетворение доставляли ему письма тех людей, которые выражали согласие с его религиозно-нравственным учением. Таких писем было много, и они были исполнены благодарности за проповедь «всеобщей любви», «всепрощения», в которой последователи «учителя истинного христианства» видели «духовное лекарство» от всех бед.

Однако в последние годы жизни Толстого все проче стали звучать голоса народа с критикой его взглядов, голоса из той среды, которая любила и почитала великого писателя. Эта критика все росла и росла, отражая весьма знаменательные сдвиги в сознании народа. Как отметил Ленин, первая русская революция нанесла «смертельный удар... прежней рыхлости и дряблости масс». Под влиянием уроков первой революции и столыпинщины, под влиянием громадного роста пролетарского движения крестьянство освобождалось от рыхлости, мягкотелости, пассивности — этих черт патриархальной деревни.

Русский крестьянин приходил к убеждению, что путь к избавлению от страданий не в мифическом «царстве божьем внутри нас», а в необходимости решительно и полностью изменить «внешние» условия жизни. Все это объясняет, почему Толстой так тяжело переносил критику религиозно-нравственного учения, которая шла из гущи народа.

Наибольшее впечатление на Толстого производили в этом отношении его личные встречи и беседы с крестьянами. Об этом можно судить и по его личным записям, и по воспоминаниям и дневникам современников. В Ясную Поляну для беседы с Толстым приходили люди разных возрастов, национальностей, профессий, рабочие и крестьяне, единомышленники и противники его учения, консерваторы и либералы, священники и сектанты. Одни являлись для того,

чтобы учиться у Толстого, другие — чтобы поучать его. Приезжали эlegantные господа для того, чтобы после бахвалиться, что они «видели самого Толстого» и говорили с ним.

Далеко не все, кто являлся в Ясную Поляну, интересовали Толстого. Иногда он признавался, что устал от посетителей, от того, что приходится «говорить по обязанности». Особенно томился он при разговорах со светскими людьми, фальшь и лицемерие которых он хорошо понимал. Но был один род встреч, которых Толстой не только не избегал, но которых всегда искал. Это встречи с простыми людьми — крестьянами, «рабочим народом».

Однако начиная с периода первой русской революции все чаще бывало так, что эти беседы становились для Толстого источником мучительных переживаний. Все чаще встречались ему крестьяне, совершенно не воспринимающие или резко отвергающие толстовскую проповедь. В таких случаях беседы превращались порой в весьма и весьма острую полемику, из которой Толстой редко выходил победителем.

Сильное впечатление произвел на него в августе 1906 года разговор с двумя караульщиками, жившими в яснополянском саду. Маховицкий так записал рассказ Толстого об этом разговоре:

«Раньше можно было предотвратить духовным воздействием это озверение, озлобление; теперь заряд должен разрядиться, и это происходит на наших глазах... Двое караульщиков месяц жили в саду, оба в розовых рубахах, один уже в лаптях, сапоги сносились, усики, улыбка, пришли за книжками. Но что я им ни говорил, ничто их не коснулось. — остались непромокаемы. Они были последней каплей, убившей меня, что никакие репрессии не помогут; от них правительство только глубже тонет. Если бы у меня спросили совета, я бы посоветовал: сейчас создать Думу, «тайное, прямое», полную амнистию, уничтожение смертной казни, учредительное собрание. Пусть правительство не компрометирует себя и уступит власть другим». Разговор убедил Толстого в росте революционного сознания в народе, ненависти к правительству, дошедшей до высшей точки, и вместе с тем ужаснул тем, что его собеседники остались абсолютно невосприимчивыми к толстовской морали.

Не менее характерна превратившаяся в спор беседа Толстого 29 июля 1907 года с молодыми парнями из деревни Ясенки на религиозные и общественные темы, записанная Н. Н. Гусевым. Во время беседы Толстой обратился к крестьянам с вопросом:

«— Как вы думаете о теперешнем положении России, о том, что мы называем революцией? Ожидаете вы от нее успеха, улучшения положения народа и если ожидаете, то какого улучшения?»

Собеседники не сразу ответили на этот вопрос. Наконец один из них сказал:

— Наши все взоры устремлены на революцию, и мы ждем от нее успеха и улучшения. Это — единственный выход. По крайней мере, мое мнение такое.

На возражение Л. Н-ча, что «орудие революции есть насилие, точно такое же, как насилие правительства», тот же парень ответил:

— Клин клином выгонять надо».

Не следует думать, что в подобного рода беседах те крестьяне или рабочие, которых Толстой характеризовал как революционеров, придерживались верных, продуманных взглядов на методы и пути революционной борьбы. В головах таких собеседников сплошь и рядом царил путаница. Но для Толстого было важно не это, а то, что он наблюдал решительное противодействие своей теории. Тяжесть полемики для Толстого усугублялась тем, что ему не удавалось находить достаточно убедительных аргументов для защиты своей точки зрения.

Все это проясняет глубокий смысл слов записи в его дневнике 31 марта 1910 года: «Ко мне обратился из Панина крестьянин-революционер, и отец его такой же. Оба сидели, оба знают меня. Но нужен я им только в той мере, в которой они видят во мне революционное».

Такие же темы и мотивы, волновавшие и мучившие Толстого, наводившие его на многие серьезные размышления о народе, о своем учении, можно выделить и в том море писем, которые писатель получал.

Письма с наиболее резкой критикой толстовской морали относятся к началу первой русской революции. В дальнейшем такого рода письма часто носят характер уже не кратких откликов, а развернутой полемики. И все чаще записи о них в дневниках Толстого сопровождаются признанием о трагических размышлениях, на которые они на-

водят, об огорчении, которое они приносят, тяжелых чувствах, вызванных ими.

В ряде писем периода революции особенно резко осуждается проповедь непротivления и «всеобщей любви». Одним из самых ярких писем такого типа является письмо рабочего луганского завода Гартмана И. П. Борунова, написанное 18 ноября 1906 года:

«Можно ли надеяться достигнуть благих результатов, не сопротивляясь активно произволу правящих нами, да и в силах ли человеческих выдержать, не вступиться в защиту избиваемых, насилуемых близких людей... А сколько их — один бог ведает. Сколько одних мужиков, пропадающих с голоду, сколько засажено по тюрьмам и сколько безвинно страдающих, оторванных от семьи, которой они были единственной поддержкой. И семьи остались на произвол судьбы, и правители наши не только сами не идут на помощь голодающим, а не позволяют и частным лицам помогать им... Как же тут не противиться злу, ведь подумайте только, сколько веков трудящийся рабочий народ не противился произволу правителей, начальников, хозяев заводов и фабрик. И чего же он достиг этим? Только того, совсем было задавили и физически и нравственно... Теперь же за короткое время, как только рабочий люд стал приходить в сознание и противиться активно, — уже не то совсем...»

Отвечая Борунову, что его письмо «дышит злобой против людей», и призывая «жить доброю жизнью», Толстой уже не мог в то время назвать (как он это делал раньше) крестьянство примером служения подобному идеалу.

Уроки революции не прошли даром и для крестьянских масс, которые под могучим воздействием пролетарского революционного движения преодолевали черты патриархального застоя, нерешительности, отстранения от политики.

Много писем с критикой «непротivления» было написано без какой-либо претензии на философствование, с точки зрения простой житейской логики. Вот отрывок одного из них, полученного Толстым в марте 1907 года:

«Лев Николаевич! Что мне делать, если ко мне придут разбойники и будут убивать мою семью? Должен ли я в этом случае противиться злу? Что, если они захотят насиловать сестер? Должен ли я убивать их,

несмотря на то, что никакое убийство не может быть оправдано? Я был бы очень счастлив получить от вас на это ответ. Могу ли я — холостяк, отказаться от воинской повинности, зная, что вместо меня должен будет идти семьянин, оставив детей и жену?» Такие письма вызывали у Толстого явную досаду; в частности, о приведенном выше в дневнике сказано, что оно отличается «самоуверенным решением вопроса непротивления». Все меньше и меньше убеждали толстовских корреспондентов отвлеченные истины, которые он противопоставлял в своих письмах живым фактам действительности. Г. Соколов, которому Толстой отправил книгу «На каждый день», в ответном письме поблагодарил его, но отметил, что она его не удовлетворила, так как тут все старое, что уже в зубах навязло и на практике неприменимо.

Другой читатель — М. Кучеров — писал Толстому тогда же, в 1905 году, по поводу его утверждений о том, что истинная свобода — духовная и что борьба политическая ни к каким результатам не приведет:

«Земно Вам, Лев Николаевич, кланяемся, благодарим и прощаем, не ведаете бо по старости лет, что творите... Ведь Вы и не замечаете, как постепенно Вы из непротивленца злу превращаетесь в противленца добру, ибо мы твердо верим в то, что мы действуем во имя добра...»

Такие письма представляли собой непосредственную реакцию на религиозно-нравственную проповедь в обстановке бурной революционной борьбы. Но были среди «критических» писем многие, обстоятельно опровергавшие основы «толстовщины», содержавшие полемику по существу его учения. Среди них были и письма крестьян, в том числе письма, очень интересные ясностью и убедительностью аргументации. Крестьянин Никита Палагин писал Толстому в письме 11 мая 1909 года:

«...Корень зла кроется не в том, что народ иногда отвечает насилем на насилие, а в том, что насилие это применяется к народу сверху постоянно и систематически. Если бы народ не отвечал насилем на насилие, а продолжал бы из века в век нести на себе безропотно ярмо рабства, то наступил ли бы когда-нибудь конец этому рабству? Нет и нет!»

Критикуя идею самосовершенствования с точки зрения житейской, практической, Па-

лагин продолжает: «Самосовершенствоваться хорошо только сытому, тому, кого не съедают заботы о завтрашнем дне, о настоящем куске хлеба... Если у человека желудок пуст, то никакое самосовершенствование не пойдет ему на ум и не заменит собою хлеба. Прежде чем проповедывать народу самосовершенствование, нужно ранее накормить его досыта и одеть, чтобы он не зарился на чужое мозолящее ему глаза добро».

Толстой сначала не хотел было отвечать на это письмо — на конверте сохранилась его пометка «Б. О.» («без ответа»), — но все же затем написал короткий ответ, где, однако, не касался «существа поднятых Палагиным вопросов».

Одновременно Палагину были посланы книги Толстого, которые и должны были разъяснить его взгляды. Они и вызвали второе письмо Палагина (29 июля 1909 года) с подробным разбором статей «Обращение к русским людям» и «Конец века». Аргументация Палагина в ряде моментов была очень убедительна. Палагин писал:

«В письме Вашем Вы говорите, что я приписываю Вам совершенно чуждые для Вас мысли по вопросу об улучшении положения народа. Прочитав Ваши книги, я нашел, что все высказанное мною в первом письме относительно Вашего взгляда на этот вопрос дословно подтверждается в Ваших книгах. Кроме того, я наткнулся в некоторых местах на противоречия, которые положительно не мог согласовать между собою».

Так, в книге «Обращение к русским людям» (стр. 21) говорится, что «для того, чтоб улучшить свое положение и освободиться от гнета правительства, народ не должен служить в солдатах, в полиции, в стражниках, городских и десятских» и «не давать податей» (книга «Конец века», стр. 38), а также «не участвовать в делах революционеров, т. е. не составлять собраний, союзов, стачек и т. д.» («Обращение к русским людям», стр. 21).

С этим, по моему мнению, нельзя согласиться. Все это хорошо и легко сказать, но как это сделать при отрицании собраний, союзов и стачек? Чтобы сделать это, людям нужно между собою столкнуться и быть солидарными в своих действиях, иначе, если Петр не пойдет в солдаты, а Иван пойдет, то этот же Иван, будучи солдатом, придет к Петру и насильно заберет его и сделает таким же солдатом, как он сам. Если же

Петр не будет повиноваться ему и откажется от того, что будет приказывать ему Иван, то Петр может очутиться в тюрьме или же заплатить за это своєю жизнью».

Переходя к рассуждениям Толстого о том, что деспотическое правление в России держалось «насилием сильного, желающего бороться, над слабым, не желающим бороться», Палагин делает из этого неожиданный для Толстого, но совершенно верный вывод: «Значит, непротивление насилию приводит не к свободе, а к рабству... Непротивление же злу и неповиновение власти нельзя согласовать между собою. Не противиться злу можно, но не повиноваться при непротивлении нельзя. Последствия этого неповиновения ясны: тюрьмы, ссылки и т. д. С этим нельзя не считаться». В подтверждение своей мысли Палагин приводит ряд фактов современной политической борьбы и в конце делает вывод: «народ должен твердо помнить, что самый верный, лучший и надежный друг его это — он сам».

Это письмо осталось без ответа, хотя заслуживало его и обстоятельностью и серьезностью. Но, как показывает изучение переписки Толстого этих лет, именно письма, содержащие обстоятельный разбор слабых сторон его взглядов, часто оставались без ответа. Молчание в данном случае не означало равнодушия: наоборот, эта критика безусловно волновала и тревожила Толстого. 14 мая 1909 года он, говоря в дневнике о своем мрачном настроении, отметил: «Письма получил тоже тяжелые... крестьянин обличающий». Этот крестьянин — Никита Палагин.

Точно так же без ответа осталось и письмо крестьянина М. Антонова от 17 октября 1908 года, по поводу которого Толстой заметил: «Получаю письма от юношей, вдребезги разбивающие все мое мирозерцание... Как вчерашнего социалиста или озлобленного христианина-крестьянина». Но письмо Антонова (здесь именно о нем идет речь) вовсе не было «озлобленным». Автор его писал Толстому: «Я люблю вас, как человека, уважаю, как писателя, и поэтому уже считал себя обязанным быть с вами откровенным в своем письме». А откровенность эта выражалась в критике «катехизиса» Толстого, его «непрактичного отношения к условиям человеческой жизни», его непонимания, что призыв не повиноваться правительству и в то же время отказаться от борьбы означает

для рабочего голодную смерть. Суровыми, но продиктованными жестоким опытом были слова: «Как же, откуда же народ получит землю и как исполнена будет вами заповедь любви по отношению к нему?.. На эти вопросы вы не отвечаете, может быть, потому, что вам истина всепокоряющего непротизленства кажется слишком ясною и всепокоряющею. Но в сущности у вас тут все до того неясно, недоказательно, запутано... что становится обидно и досадно читать эти ваши слова. И опять тут выступает наружу ваше невнимательное или, вернее, непрактичное отношение к экономическим вопросам и внешним условиям человеческой жизни».

Хотя Толстой и не хотел в этом себе признаться, но ответа по существу на эту критику он дать не мог.

В письмах к Толстому часто указывалось, что идея непротивления злу насилием неприменима даже в повседневном быту, что она, если быть последовательным, делает человека совершенно беззащитным, не позволяя матери отстоять жизнь своего ребенка от посягательств убийцы и т. п. Толстой, как правило, посылал в ответ книги, проповедовавшие его учение, а иногда пытался опровергнуть доводы своих корреспондентов. Зачастую на самые горячие, пронизанные болью письма людей, ожидавших от великого писателя ответа на мучившие их вопросы, следовали однообразные и вялые советы — любить своих врагов, подходить ко всем явлениям жизни с позиций всепрощения.

Неизвестная девушка пишет Толстому в 1909 году: «Я совсем потеряла голову и плачу всю неделю... мою мать отвезли в больницу, а брат вот уже больше полгода сидит в тюрьме... Я очень устала, я живу девочкой в ученьи последний год. Может быть завтра пойду к брату. Вот без матери я и не знаю, как быть с его делами — он политический. А я в этом ничего не понимаю... Я вот прочла несколько ваших книг... Вы пишете: не противиться злему. А вот как быть с братом, как на них, на судей. не злиться — какого они его сделали. Он стал похож на смерть... Иногда думаю купить нашатырного на десять копеек, да и разом. не мучаясь...» На это письмо следует ответ с однотипным и на этот раз советом: «Надо быть кротким и смиренным сердцем, т. е. добрым ко всем людям, никого не осуждая и всех любя. Попробуйте так жить и вы

увидите, как сейчас же жизнь ваша станет, несмотря на всю тяжесть условий, в которых вы живете, и легка и даже радостна временами. Так будет сейчас, а чем дальше будете жить так, то жизнь ваша будет радостнее».

Корреспонденты Толстого порой довольно легко обнаруживали нежизненность проповедуемых им религиозно-нравственных идеалов, поскольку эти идеалы оказывались практически неприменимыми и оставались только абстрактными стремлениями.

Записи из дневников Толстого, как уже говорилось, свидетельствуют о том, что сам он не ощущал свое учение как монолитное, что у него порой возникали жестокие сомнения по поводу, казалось бы, решенных религиозно-нравственных проблем. В связи с этим закономерно возникает вопрос: почему же в подобных письмах к самым различным лицам Толстой последовательно проводит только идеи непротивления и всепрощения? Почему в письмах он выступает только как духовный наставник, в то время как в дневниках он виден как писатель и мыслитель во всей сложности своих противоречий?

Эта двойственность была вызвана, конечно, не тем, что Толстой был хотя бы в какой-то степени неискренен. Постоянство, с которым писатель призывал всех нравственно самосовершенствоваться, объясняется только тем, что Толстой действительно считал этот путь единственно возможным методом исправления существовавшего зла и, конечно, всячески оберегал людей, которые обращались к нему за советами, от сомнений, которые нередко мучили его самого.

Пытаясь отстаивать незыблемость своей религии, Толстой иногда впадал в такие противоречия, что, вопреки своим же убеждениям, сам того не замечая, давал повод думать, что защищает богачей! Это сказалось в переписке 1907 года с крестьянином Тульской губернии М. П. Новиковым, обнаружившим в общении с Толстым независимость взглядов на многие коренные вопросы жизни.

Двадцать девятого августа 1907 года Новиков писал о своем бедственном положении, о том, что «голодные рты детей» и вся жизнь толкают его к выводу: «одной духовной свободой» довольствоваться нельзя, как то пытались делать первые христиане, так как и против рабства физи-

ческого не руки и ноги поднимают протест, а тот же дух, насиловать который ни я и никто не в праве». Новиков очень резко отзывался о барах, проезжавших на сытых лошадях мимо голодных крестьян. И вот Толстой («так же, как и Новиков, презиравший «сытых бар») в ответ ему, следуя логике своего учения о «всеобщей любви», написал, что он «сострадает» Новикову не потому, что он бедствует, а потому, что, осуждая «бар», испытывает чувства ненависти к «людям-братьям»... К таким чудовищным ответам приводила логика «всепрощения»!

Особенное впечатление на Толстого производила критика его учения в тех случаях, когда она сплеталась с критикой его непоследовательности в личной жизни, с призывами привести ее в соответствие с собственной моралью, отречься от «графского звания», отдать свою землю крестьянам и т. д. Многие читатели произведений Толстого не знали, что он давно отказался от собственности на землю в пользу семьи, другие видели в самом характере этого юридического акта нечто противоречащее самым основам его морали. Во многих письмах сквозит желание оградить его имя от поношений реакционным лагерем.

В одном из бесчисленных обращений на эту тему, в письме И. Морозова, наивном, но трогательном, читаем:

«Отдайте, граф, нам свою землю. Мы будем сами обрабатывать ее... Будьте последовательны. Ваш пример приведет революцию в умах и переворот в земельных отношениях. А на самом же деле Вы делаете только то, что докажете свою последовательность».

Крестьянин из с. Козловки Казанской губернии И. Лазарев в письме 26 июля 1909 года звал:

«Дорогой дедушка! Доверши святое и великое дело, сбрось с себя проклятое барство и титул графа, перейди в сословие крестьянства. Сделайся действительным членом народной семьи, которую ты так любишь. Положи в основу камень великому зданию. Внуши Бог тебе святую мысль и дай разума и силы исполнить ее. Прости, если я тебя оскорбил».

Иначе звучали письма людей из среды учащихся. Письмо студентки Е. Петуховой, написанное 2 февраля 1910 года, весьма характерно для настроений студенчества,

остро переживавшего борьбу и полемику вокруг Толстого:

«Как согласовать вашу жизнь с вашим учением? Она, ваша жизнь, противоречит вашему учению, по крайней мере, поскольку она выражается в вашем отношении к собственности. Здесь гнездится ничем не оправдываемое, жестокое противоречие, здесь именно (и это — в наиболее важном пункте вашего учения) — слово расходится с делом, между тем, как вся соль человеческого существования, человеческой жизни и заключается в согласовании слова с делом.

Ведь, если я революционер, я должен сидеть в тюрьме, или повиснуть на перекладине; если я отрицаю собственность, я должен быть наг и бос, если не совсем в буквальном смысле слова, то близко приближающемся к нему, переносном смысле. Между тем: как такое практическое разрешение вопроса о собственности, как переводение ее на жену и детей, — не является ли оно компромиссом, паллиативом со всем вашим стройным учением? Как это объяснить? Как устранить этот компромисс? Как вы устраняете его?»

Здесь затрагивается именно тот вопрос, который особенно мучил Толстого и о котором он неоднократно писал в своих дневниках, а в последние годы и в статьях, вопрос о невыносимом для него положении человека, выступающего против власти, но остающегося на свободе, требующего ликвидации земельной собственности, но живущего в дворянской усадьбе. Особенно трогали Толстого не гнусные анонимные пасквилы реакционеров, злорадствовавших по этому поводу, а письма людей, любивших его, желавших ему добра.

В лавине писем, которые обрушивались на Толстого особенно в последние годы, было очень много «просительных» (как он называл обращения за материальной помощью). Толстой вынужден был разъяснять в печати невозможность для него удовлетворять просьбы о помощи, ссылался на свой отказ от права владения собственностью и т. д. Но разъяснения не помогали.

Просьбы о помощи шли и от чудаков, считавших, что «граф все может», просивших даже на покупку домов и не стеснявшихся размером сумм (например, некто В. Богомол из Томска просил в 1908 году прислать на лечение «немного, всего двенадцать тысяч», «вольный матрос семна-

дцати лет» Г. М. Руденко просил тогда же тысячу рублей «на устройство правильной жизни — жить для других» и т. д.).

Но было и много душераздирающих писем с приложением свидетельств о бедности от людей, погибавших от голода, погорельцев, крестьян, у которых пала единственная корова, больных, не имевших денег на операции и живших под страхом смерти, инвалидов — слепых, безруких, — после несчастного случая оставшихся без куска хлеба... Тяжело больной сапожник писал: «Я было решился на самоубийство, но потом у меня не достало самообладания, и я еще живу в ожидании помощи от Вас...» (Толстой тут же продиктовал ответ: «Очень от этого страдаю, что не могу исполнить, и получаю бесчисленное количество писем, и вместе с тем, буквально не могу»). Восемидесятилетняя старуха из Чигиринки, Могилевской губернии, умоляла: «Дайте хоть на хлеб к празднику». Многие не просили помощи, но просто рассказывали о своем положении, думая, что вывод напрашивается сам собой.

В растерянности перед этим океаном людского горя Толстой часто посылал в ответ на такие обращения слова утешения и книги. О том, как это воспринималось, говорит письмо С. Курдюкова, написанное 8 марта 1910 года. Приехав из деревни в Москву на заработки, он никак не мог устроиться. Доведенный до отчаяния, решил покончить с собой, но прочитал статью Толстого «О самоубийстве» и обратился к нему за советом, «как здесь поступить». Толстой немедленно откликнулся: «В ответ на ваше письмо посылаю вам книги «На каждый день», во всех 29 числах вы увидите, как я понимаю вопрос о том, что ожидает нас после смерти». На это Курдюков через несколько дней написал, что не все понял в книгах «вследствие сильной слабости, как телесной, так и умственной, от многодневного голода за неимением средств к жизни».

Все эти обращения, призывы, просьбы, как и полемические письма людей из народа, в сильнейшей степени обостряли духовную драму Толстого и явились одной из основных причин его ухода из Ясной Поляны. Иногда, в отчаянии, он признавал полную правоту своих критиков и резко себя упрекал. В. Ф. Булгаков записал в дневнике 21 февраля 1910 года его слова: «Я думаю, что всякий думает: проклятый

старикашка, говорит одно, а делает другое и живет иначе; пора тебе подохнуть, будет фарсействовать-то! И это совершенно справедливо. Я часто такие письма получаю, и это — мои друзья, кто мне так пишет. Они правы».

Конечно, истинные друзья так не писали, но и критические письма дружественно настроенных людей вели Толстого к каким-то решительным выводам. Об этом можно прочесть в его дневнике 3 июня 1908 года:

«Третьего дня получил письмо с упреками за мое богатство и лицемерие и угнетение крестьян, и к стыду моему, мне больно. Нынче целый день грустно и стыдно. Сейчас ездил верхом, и так желательно, радостно показалось уйти нищим, благодать и любя всех».

Толстой еще не мог победить свою мораль, согласно которой необходимо постоянно работать над собой, не изменяя внешних условий своей жизни. Но уже в феврале 1910 года письмо киевского студента Б. Манджоса, призывавшего Толстого отказаться от графства, раздать имущество и уйти из дому, было воспринято Толстым с особенной остротой (хотя таких же по содержанию писем и призывов он и раньше получал немало). Толстой ответил Манджосу 17 февраля:

«Ваше письмо глубоко тронуло меня. То, что вы мне советуете сделать, составляет заветную мечту мою, но до сих пор сделать этого не мог. Много для этого причин (но никак не те, чтобы я жалел себя); главная же та, что сделать это надо никак не для того, чтобы подействовать на других. Это не в нашей власти и не это должно руководить нашей деятельностью. Сделать это можно и должно только тогда, когда это будет необходимо не для предполагаемых внешних целей, а для удовлетворения внутреннего требования духа, когда оставаться в прежнем положении станет так же нравственно невозможно, как физически невозможно не кашлять, когда нет дыханья. И к такому положению я близок и с каждым днем становлюсь ближе и ближе».

Нужен был лишь последний толчок, чтобы сложный комплекс многих причин, которые привели Толстого к уходу, приобрел силу непреодолимости. Этим толчком и были события так называемой «яснополянской трагедии».

3

О «яснополянской трагедии» у нас и на Западе написано очень много и преимущественно как о внутрисемейном конфликте. Именно разлад в семье на почве прежде всего материальных интересов и «невыносимого характера» С. А. Толстой признавался обычно главной причиной ухода Толстого из Ясной Поляны. Верный угол зрения на «яснополянскую трагедию» может быть найден, если изучать ее в связи с мировоззрением Толстого и взглядами его близких, с их отношением к окружающей жизни. Такой подход поможет избежать односторонности, которая в прошлом заставляла многих выступать обвинителями или адвокатами то «партии С. А. Толстой», то «партии Черткова» и объяснять уход Толстого в одних случаях «невыносимым характером» Софьи Андреевны, в других — «кознями Черткова». Суть противоречий между Толстым и семьей заключается в том, что после «перелома» писатель резко порвал со своим классом, с нравами, взглядами, привычками среды, в которой он родился и вырос. Но при этом его собственная семья оставалась в своей основе миниатюрным сколком именно той среды, от которой он отрекся.

Трагизма этого невыносимого положения, ставшего для Толстого источником постоянных терзаний, не могло уменьшить ничто — ни периоды внешне спокойной и временами даже счастливой семейной жизни, ни любовь к жене, ни отцовские чувства к детям. Сквозь все это, вопреки морали смиренномудрия, терпения, вопреки убеждению, что любые тяготы и нравственные страдания — лишь «материал» для самосовершенствования, постоянно прорывался голос протеста: «Не могу и не хочу так жить».

«Яснополянская трагедия» представляла бы собой заурядный семейный конфликт, если бы (как это хотел доказать Чертков в своей тенденциозной книге «Уход Толстого») Софья Андреевна была попросту ничем не замечательной женщиной, которую Толстой не любил, «злым демоном», причинявшим ему мучения лишь из-за дурных свойств своей природы. На самом деле это не так.

Перед всяким непредубежденным читателем дневников и писем С. А. Толстой, воспоминаний о ней ее личность предстает как яркая, незаурядная. Широкая начитан-

ность, восприимчивость, чуткое понимание искусства резко выделяли Софью Андреевну среди женщин ее круга. В пределах своих представлений о долге женщины она исполняла все, что требовалось «для счастливой жизни» большой семьи. Мать тринадцати детей (пять из них умерли в малолетстве), она всегда была в курсе всей многообразной деятельности Льва Николаевича, усердно переписывала его произведения, вела его литературные дела, держала связь с издательствами и типографиями, постоянно хлопотала в цензуре и т. д. Как бы ни были велики ее расхождения с мужем, как ни тяжелы были для него различия во взглядах, которые затем привели к тяжелейшей обстановке в семье,— она в течение сорока восьми лет была женой и другом Льва Толстого.

О своей преданной любви к Льву Николаевичу Софья Андреевна говорит в дневниках разных лет и письмах к нему так, как об этом может говорить человек, для которого нет никого дороже на свете. Именно потому расхождения с ним во взглядах на жизнь и были для нее столь болезненными, доводили ее порой до полного отчаяния, до иступления.

Все, что нам сегодня известно о «яснополянской трагедии», не должно заставить забыть те времена в семейной жизни Толстого, когда он действительно был счастлив, счастлив именно как семьянин. Но счастье влюбленности и «семейного очага», разъединенное со счастьем иным, счастьем широкой жизненной цели, для Толстого не могло быть прочным даже на короткий срок. Поэтому уже в июне 1863 года мы находим в его дневнике такие признания: «Чего мне надо? Жить счастливо — т. е. быть любимым ею и собою, а я ненавижу себя за это время». В чем же причина этой перемены? Ответ — в этой же записи: «Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство». Здесь — зерно семейной драмы, суть которой в том, что взгляды Толстого и его жены по самым важным жизненным вопросам оказались прямо противоположными, абсолютно несовместимыми, взаимоисключающими.

После духовного переворота, когда перед Толстым раскрылась вся невыносимая несправедливость российской действительности и он не нашел отклика и сочувствия своим переживаниям в собственной семье,

надежды на взаимопонимание окончательно исчезли. Он возвращался домой, переполненный впечатлениями от жизни, которую хотел видеть во всей ее жестокой правдивости, после посещения нищенских трущоб, вонючих подвалов бедняков, ночлежных домов; после разговоров с людьми, умиравшими от голода, с жертвами полицейской расправы, с крестьянами, которые питались одним хлебом, не имея даже на соль; с погорельцами, ночевавшими в поле под ледяным дождем; с осиротевшими детьми, вынужденными заниматься проституцией... Он заносил в свою записную книжку и дневник все эти бесчисленные проявления человеческого горя, вновь и вновь спрашивая себя: «Как жить после всего увиденного?» Из его «Исповеди» мы знаем, что в это время он был близок к самоубийству; что он, ложась спать, уносил шнурок из комнаты, чтобы не повеситься, перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться легким способом избавления от мучительного вопроса: «Как мне жить?» А в это время искренне любящая жена писала о нем сестре Т. А. Кузьминской, что он «очень сложен, работает, пишет какие-то статьи, иногда прорываются у него речи против городской и вообще барской жизни. Мне это больно бывает, но я знаю, что он иначе не может».

Софья Андреевна осталась верна тем взглядам, которые были привиты ей в ее семье, где гордились старинной дворянской генеалогией и предками, приближенными к императору, осыпанными «монаршими милостями», где самодовольно рассказывали, что глава семьи — придворный врач Берс — пользовался благосклонностью самодержца. Она никогда не сочувствовала тем, кто плыл «против течения». И свои взгляды выражала достаточно откровенно.

Особенно резкий протест и даже прямую враждебность вызывало с ее стороны отношение Толстого к народу. Она всегда искренне считала, что крестьяне самим богом обречены работать на помещиков, и не могла понять, почему для Льва Николаевича они составляют лучшую часть нации, почему он восхищается нравственной чистотой и жизненной силой народа, народной мудростью, почему поиски путей освобождения народа от гнета занимают все его мысли.

В 1884 году в ответ на слова Толстого о том, что ему стала необходима «ванна

деревенской жизни», Софья Андреевна пишет:

«Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женись на мне, ты вышел. Я — городская, и как бы я ни рассуждала и ни стремилась любить деревню и народ, любить это всем своим существом не могу и не буду никогда. Я не понимаю и не пойму никогда деревенского народа».

Столкновения из-за противоположного отношения к народу стали в доме Толстых повседневностью, они происходили по любому поводу, всплывали за семейной беседой, за столом. Все это заставляло Толстого жаловаться на свое одиночество, писать о «страшном недоразумении с семьей!». «Они не видят и не знают моих страданий», «отчуждение с женою все растет. И она не видит и не хочет видеть... Дома попытки разговора — бесполезные». И наконец, в июне 1884 года: «Разрыв с женою, уже нельзя сказать, что больше, но полный». Противоположность взглядов с семейными выражается в страшных словах: «Стена между мной и ими». Это горестное признание Толстой будет повторять дальше десятки раз до конца своей жизни.

Старшая дочь Толстого, Т. Л. Сухотина, даже о времени наивысшего согласия своих родителей пишет так: «Они жили бок о бок... но чужие друг другу, полные большой и искренней взаимной любви, но все более и более сознающие, сколь многое их разделяет». Это была жизнь, полная постоянных страданий, жизнь, в которой периоды острых разногласий сменялись спокойствием и миром, обоюдным вниманием и трогательной заботой. Но это спокойствие и этот мир достигались, с одной стороны, временным подавлением непримиримых разногласий по коренным вопросам, а с другой — толстовской моралью, согласно которой нужно с любовью нести «тяжелый крест» семейной жизни.

В неопубликованной обширной автобиографии Софьи Андреевны «Моя жизнь» есть глава, которая носит название «Мученик и мученица». Эти слова довольно точно характеризуют состояние и Софьи Андреевны и Льва Николаевича.

Посмотрим, как Софья Андреевна объясняет в этой своей рукописи искания Толстого, его перелом и возникшие в семье перемены. Характеризуя 1880 год, она пи-

шет: «...Разлад с Львом Николаевичем меня огорчил ужасно и был невыносимо болезнен».

Работая усердно над своими религиозно-философскими сочинениями, Лев Николаевич и в жизни всячески старался провести свои идеи.

Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах, и точно умышленно искал везде страдания людей, насилие над ними, и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, все осуждал, за все страдал сам, и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным.

Это осуждение и отрицание распространилось и на меня, и на семью, и на всех и все, кто был богат и не несчастлив. Жаль было видеть, как Лев Николаевич вдруг стал страдать за человечество, вследствие чего был чрезвычайно мрачен. Точно он отвел глаза от всего в мире, что было радостно и счастливо, и обратил их в противоположную сторону».

Мы видим, что здесь нет и тени понимания сути духовного «перелома» Толстого. В словах «все осуждал» слышится лишь упрек и недоумение.

В автобиографии С. А. Толстой заметна ее исключительная мнительность и сквозящая на каждой странице боязнь, что потомство признает ее виновницей ставших известными еще при жизни Льва Николаевича семейных неурядиц и расхождений. Отсюда вольная или невольная тенденция во всем винить Льва Николаевича и представить себя жертвой.

«...Я тяготилась иногда моей душевной зависимостью от мужа, и мне хотелось стряхнуть это подавляющее влияние и стать духовно на свои ноги...»

Гениально талантливый, умный и более пожилой и опытный в жизни духовной — он подавлял меня морально.

И как ни велика энергия моей жизненной природы, я долго, долго не жила своей жизнью и своей волею, а жила женой Толстого, без своей инициативы, и не проявляя ни в чем почти «своей личности и воли».

Но, как свидетельствуют многочисленные факты, как подтверждают и ее собственные признания и признания Льва Николаевича, суть расхождений заключалась как раз в том, что личность Софьи Андреевны

оказалась достаточно независимой, а воля настолько сильной, что о нее разбивались многие его попытки изменить жизненный уклад. В той же автобиографии она пишет:

«Объяснение этого тяжелого состояния Льва Николаевича теперь легче найти. Его убежденная, горячая проповедь о вреде города, денег, роскоши, науки, искусства, это отрицание всего этого было так сильно, что жизнь семьи, не разделяющей этих отрицательных мыслей, была для него невыносима. Ему хотелось сломить человечество, а он не мог сломить семьи. Да если бы меня убили [убедили] тогда, чтоб я следовала идеям и учению мужа, я не сумела бы ни шагу сделать, чтоб переменить жизнь. Я не могла понять, как бы это сделала и чего от меня хочет Лев Николаевич».

Здесь достаточно энергично выражены не только невозможность для Софьи Андреевны следовать идеям Льва Николаевича, но невозможность для нее даже понять его! И дело не только в оправданном недоумении относительно того, зачем, например, гениальному писателю нужно тратить время на шитье сапог и кладку печей. Здесь правота, конечно, на ее стороне. Дело в другом — в упорном стремлении Софьи Андреевны доказать, что толстовское обличение всего существующего строя — это какая-то черта характера, ищущего во всем только плохое, а пристрастие к народу, любовь к мужикам, доходившее до боли сочувствие им — это непонятные странности.

Итак, в непримиримости взглядов корень разлада. Все остальное насаивалось на эту главную причину, усиливало ее. Даже болезнь Софьи Андреевны, ее истерия, проявлялась острее всего в связи с этим.

Но был и еще один больной вопрос яснополянской жизни.

Толстой много раз высказывал резкое недовольство системой воспитания своих детей. Барская обстановка, в которой они жили, не могла не сказываться на их взглядах и психологии, и он сам признавал, что не в силах побороть влияние на них этой обстановки. О результатах «двойного» воздействия на детей — со стороны отца и матери — он однажды сказал: «Беда, когда в семье нелады между мужем и женой. Эти нелады очень дурно отзываются на детях. Вот, например, у нас. Мать говорит, что надо хорошо учиться, ходить в церковь, посещать так называемое хорошее светское общество. Я говорю, что важно не ученье,

а честная, целомудренная и трудовая жизнь; в церковь ходить не следует; следует удалиться от так называемого хорошего общества. А дети наши делают выборку между противоположными убеждениями отца и матери с точки зрения того, что для них легко и приятно. Учиться скучно — отец прав; ходить в церковь скучно — отец прав; светское общество заманчиво — мать права; трудовая жизнь тяжела — мать права» (запись в неопубликованном дневнике зятя Толстого М. С. Сухотина 21 марта 1902 года).

Толстой не раз жалел, что наделил детей имущественными правами. «Какой большой грех я сделал, отдав детям состояние. — писал он в дневнике 10 апреля 1910 года. — Всем повредил, даже дочерям. Ясно вижу это теперь». Конечно, он думал так же, как думали крестьяне, написавшие ему в 1908 году письмо, в котором резонно утверждали: «Дети же у Вас уже все взрослые, образованные, могут работать, трудиться...»

К началу 1900 года раскол и распад семьи Толстых стал непреложным фактом. Это нельзя объяснить лишь тем, что дети, вырастая, уезжали из Ясной Поляны, обзаводились собственными семьями. Среди детей Толстого были и более и менее близкие ему, но были и совершенно чуждые и резко враждебные по взглядам. Скажем, Лев Львович не брезговал озлобленной полемикой с отцом в правой печати (особенно в «Новом времени»).

В дневнике Толстого 1907 года (2 февраля) есть запись: «Вчера было письмо от сына Льва, очень тяжелое... Удивительное и жалостливое дело — он страдает завистью ко мне, переходящей в ненависть». Эта запись не единична. Лев Львович, будучи убежден, что обладает по меньшей мере крупным талантом, считал возможным не только выступать против идей отца, но соперничать с ним в литературе! 3 декабря 1901 года О. К. Толстая писала своей сестре из Гаспры (где в это время находился тяжело больной Лев Николаевич): Лев Львович «говорил... что его слава превзойдет славу отца». Лев Львович напечатал в ответ на «Крейцерову сонату» свою «Прелюдию Шопена». Он же сочинил другой конец «Войны и мира», но, к счастью, не напечатал. Будучи сторонником милитаризма, он написал в ответ на распространившиеся нелегально «Солдатскую памятку» и «Офицерскую памятку» Л. Н. Толстого брошюры

«Назначение русского солдата» («Памятка русского солдата») и «Памятка русского офицера» с пропагандой враждебных отцу идей. В неопубликованном дневнике Льва Львовича есть записи, которые подтверждают, что единой семьи Толстых как таковой фактически в 1900 году не существовало: разность взглядов людей, хотя и находящихся в родственных отношениях, ощущалась на каждом шагу. Он пишет: «Все врозь».

Да, в самом деле в семье стали «все врозь». И сам Лев Николаевич говорил: «Жизнь пошла врозь». Но причины этой розни правильно понимал только он один. В правильности своего понимания его, как никогда ранее, убедил страшный 1910 год, когда в связи с завещанием вокруг Толстого в доме создавалась обстановка заговора и борьбы.

Говоря о событиях этого последнего года жизни Толстого, нужно сказать о роли В. Г. Черткова, которого многие писавшие о «яснополянской трагедии» считают главным ее виновником.

Чтобы верно понять роль Черткова, надо в равной степени отказаться и от идеализации его как «рыцаря без страха и упрека», неповинного в обострении «яснополянской трагедии», и от игнорирования его как друга и помощника Толстого.

Чертков, выходец из аристократической среды, представитель молодой петербургской знати, порвавший затем с этой средой и переживший переворот, во многих чертах сходный с тем, что пережил сам Толстой, был близок ему по убеждениям. Заслуживает уважения деятельность Черткова по собиранию, сохранению, изданию рукописей Толстого. Толстой ценил Черткова как человека, который посвятил себя пропаганде его идей, изданию и распространению его запрещенных цензурой произведений. «Очень драгоценный сотрудник»,— говорил Толстой в дневнике о Черткове. Чертков поддерживал обличительную деятельность Толстого против самодержавия и церкви и всемерно содействовал ей.

Но, говоря обо всем этом, нельзя преуменьшать и глубоко отрицательных сторон характера и деятельности Черткова.

П. И. Бирюков, который был близок к Толстому, пишет в дневнике о Черткове как о своем друге, которого он любил, но деспотизм которого его отталкивал: «...Особенно больно мне было видеть, как он подчинял

себе Льва Николаевича, часто заставляя его делать поступки, совершенно противные его образу жизни. Лев Николаевич нежно любил Черткова, видимо тяготился этой силой, но подчинялся ей безусловно, так как она совершалась во имя самых дорогих ему принципов».

Чертков позволял себе порой бесцеремонное, назойливое вмешательство в личную жизнь Толстого. Борьба вокруг завещания, в которой Чертков, как он считал, отстаивал интересы Толстого (мечтавшего, чтобы после смерти право на издание его сочинений принадлежало не семье, а стало собственностью общественной), была доведена до форм недопустимых.

Чертков доходил до фанатизма в стремлении во что бы то ни стало привести жизнь Толстого в полное соответствие с его учением.

Безусловно, Чертков подталкивал Толстого к составлению завещания также во имя «самых дорогих ему принципов». Однако бесспорной является его ответственность за создание вокруг завещания той обстановки конспирации, которая была необыкновенно гяжела Толстому и в целесообразности которой он серьезно сомневался.

Именно в этом смысл слов Толстого в дневнике: «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела, и противна мне». Речь здесь идет, разумеется, не о существе дела (Толстой отказался от литературной собственности не по инициативе Черткова), а об атмосфере конспирации и заговора, которая намного утяжеляла общую обстановку в Ясной Поляне.

Старший сын Толстого, Сергей Львович, утверждает: «Жизнь яснополянского дома в 1910 году, разговоры, письма, дневники того времени и, наконец, уход отца из Ясной Поляны,— все это может быть правильно понято лишь в связи с завещанием». С этим можно согласиться. После того как у С. А. Толстой и некоторых ее сыновей появилось подозрение о том, что тайно подписанное завещание существует, вокруг Толстого возникла ожесточенная борьба. С. А. Толстая всеми средствами пыталась добиться уничтожения завещания и передачи прав собственности на наследие ей и ее семье. Вместе с ней действовали в этом направлении сыновья Андрей Львович и Лев Львович. Им противостоял Чертков, имевший своих сторонников. Борьба оже-

сточалась. Она изматывала Толстого и физически и морально. В секретном «Дневнике для одного себя» он записал 24 сентября 1910 года: «Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех».

Увлечшись ажиотажем борьбы, все окружающие Толстого упустили тогда из виду, что их главнейший, священный долг — заботиться о спокойной обстановке для него, создать атмосферу теплоты, внимания, оберегать от излишних волнений. Они меньше думали о том, что каждый день, каждый час жизни величайшего гения человечества бесценен. И в этом заключается не имеющая никакого оправдания тягчайшая ошибка обеих «партий».

А в это время Толстой, испытывая ни с чем не сравнимые душевные страдания, пытался внести успокоение вокруг, воздействовать на обе стороны. Он ощущал, как никогда ранее, свое полное одиночество.

24 сентября 1910 года, получив письмо от Черткова «с упрками и обличениями» и почувствовав в этом письме «личную нотку», Толстой отмечает: «Проснулся рано, написал письмо Черткову... Да, все дело мое с богом, и надѐ быть одним у».

И все-таки ни борьба вокруг завещания, ни потеря Софьей Андреевной самообладания в этой борьбе не определяют основную причину его ухода. Лишь те, кто не имеет даже приблизительно верного представления о личности Толстого, о его идейной биографии, могут думать, что решило его уход то, что в ночь на 28 октября он увидел, как Софья Андреевна тайно читает его бумаги. Этот факт оказался лишь психологическим толчком для решения, подготовленного многими причинами, — толчком, подобным песчинке, которой иногда не хватает для того, чтобы перевесила нагруженная чаша весов.

(Окончание следует)



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Вл. Басманов. Путь к счастью.— И. Питляр. «Широе» сердце писателя.— Г. Койранская. Проблемы и образы.— Дм. Нагишкин. Глазами друга.— Е. Добин. За живой водой.— И. Крамов. По дорогам мира и войны.

ПОЛИТИКА И НАУКА

К. Львов. Великий борец за мир.— Инженер В. Левачев. Транспорт и связь в семилетке — В. Молчанов. Кандидат в президенты.— А. Иглицкий. Разведчики без масок.— А. Млыник. Птенец гнезда Петрова.

Литература и искусство

Путь к счастью

Осенью, перед отлетом на юг, волнуются и собираются в стаи птицы. Так в эту осень волновались и сходились толпами люди. Их тоже, как и птиц, звала к себе взлелеянная в мечтах земля, та, что родит вдосталь хлеба, а не та, что пускает земледельца по миру. Люди грезили, бредили и жили землей, они каждый день мерили ее и мыслью, и глазом, и босыми, потрескавшимися до самых колен ногами. Правда, мерили еще тайком, но понимали уже, что не за горами тот день, когда не землемеры с кокардами да цепями, а свои же мужики с легкими саженками пойдут делить помещицы уголья. Даже прикидывали в голове, каким праведникам выпадет такая честь»

В этом лирическом отступлении из нового романа Михаила Стельмаха «Хлеб и соль» нельзя не почувствовать знакомый почерк автора книги «Кровь людская — не водица», с его пристальным вниманием к поэтической стороне жизни и характера человека труда.

М. Стельмах задался большой целью — рассказать об исторических судь-

бах украинского народа, о том, какой сложный и трудный путь прошел он к свободе, к счастью. Но, как это нередко бывает, замысел вызревал не сразу. Быть может поэтому читатель сперва получил «Большую родню», а уже потом роман «Кровь людская — не водица», хотя по хронологии событий второй роман предшествует первому. Сейчас на книжные полки встал большой роман «Хлеб и соль». Эта книга относит читателя на полстолетие назад и показывает, как начали зреть в умах и сердцах крестьян зерна свободы, расцветшие буйным цветом в дни Октября. Перед нами зримые контуры большого эпического произведения о жизни украинского крестьянства за полстолетие, о его исторической судьбе, о жизненных путях и дорогах различных социальных групп.

В каждой своей книге М. Стельмах стремился запечатлеть картины жизни украинского крестьянства в переломные исторические моменты. В романе «Кровь людская — не водица» писатель талантливо и своеобразно показывал, как в муках, крови, в тяжелых, трагических сшибках с силами старого мира рождается новый, светлый мир, прослеживал сложные процессы, происходившие в украинском селе в первые

Михайло Стельмах. Хлеб и соль. Перевод с украинского В. Россельса. Редактор Г. Левинсон. 744 стр. «Советский писатель». М. 1960.

годы Советской власти. В «Большой родне» мы видим жизнь села в пору коллективизации и в годину военных испытаний. В новом романе «Хлеб и соль» взяты события 1905 года, запечатлено начало движения крестьянских масс по тому единственному пути, который может вывести его из тяжелой нужды и дать землю. «что родит вло-сталь хлеба», а не «пускает земледельца по миру»,— движения в русле революционной борьбы пролетариата под руководством большевистской партии.

М. Стельмах вступил в своем новом романе в трудное соревнование. Ведь о тяжелой доле крестьянина, о его стремлении жить и трудиться на своей земле, об изнуряющей силе панского гнета— обо всем этом не раз писали в своих книгах украинские классики. И, разумеется, воздействие этих книг чувствуется в романе «Хлеб и соль». Но совершенно ясно также, что М. Стельмах не идет путем литературных реминисценций, он ищет в характерах людей, темах, положениях свое, особенное, присущее его таланту, его видению мира, его мировоззрению советского художника, вооруженного новым методом познания жизни.

«Хлеб и соль»— многоплановое произведение. Здесь десятки действующих лиц, самых различных— от земельного магната пана Стадницкого и либеральствующего помещика Варавы до обездоленного батрака Марьяна Поляруша, до пролетарских революционеров. И хотя автор не так уж часто выходит за границы украинского села Медвин, где живут и трудятся его герои, он тем не менее поднимает большие пласты жизни, исследует расстановку классовых сил на Украине в ту пору.

Страстным стремлением к счастью, к светлой доле охвачены крестьяне. Но где оно, счастье, как найти его? Как вырваться из кабалы пана Стадницкого, сумевшего к своим обширным угодьям обманом прирезать в пореформенные годы и церковные земли, на которые могли претендовать крестьяне? А с каждым днем жить все тяжелее, все больше земледельцев бросает землю, политую потом дедов и прадедов, и уходит из села. И с каждым днем крепче, увереннее чувствует себя сельский богач Терентий Плачинда, забирающий в свои руки все больше и больше разоренных гнезд.

Нет, не дается эта заповедная земля в руки земледельца. Лишь в счастливых снах

своих видит он ее, распаханную для счастья людей труда. А наяву земля— в холеных руках пана, либо крепко зажата в узловатых пальцах жадного кулака.

Уже первые страницы романа, рисуящие тревожную ночь, за которую «повзрослели дети», вводят читателя в круг тех горестных мыслей, что охватывают труженика и мученика земли: куда податься, как жить дальше? В эту ночь многие крестьяне села последний раз оглядывают свои заколоченные хаты, чтобы завтра утром уйти с нехитрым своим скарбом, с ребятишками в дальние края, в Сибирь,— там, дескать, «больше земли, чем у нашего барина вместе с Колчаком, Кочубеем, Маркозовым и Рокотовым». С подлинным мастерством живописует М. Стельмах и разоренные гнезда и нелегкую судьбу переселенцев, двинувшихся в долгий и суровый путь: многие ли из них доберутся до этих нехоженых земель или найдут свой конец где-нибудь на дальних дорогах, либо, как жена Марьяна Поляруша— Фросина, в тесной теплушке вагона.

Начало романа— широкий взгляд писателя на жизнь села, на различные ее проявления. Одни из обитателей Медвина становятся переселенцами. Другие тоже бросают свой бесплодный клочок земли, занимаюся в работники на панскую «экономию», третьи с любопытством прислушиваются в корчме к сладким словам невесты откуда взявшегося заезжего вербовщика о «земном рае» где-то там, за океаном. Еще теплится в них надежда, что все уладится, может быть, все-таки нарежут крестьянам землю, а панов царь заберет к себе на службу. И вот идет в Петербург искать справедливости дед Дунай— совесть односельчан, память которого сберегла добрую сотню чудесных старинных чумацких песен.

В тяжелой жизненной борьбе ищут труженики верный путь к счастью. Они борются за хлеб и соль— этот извечный народный символ человеческого достатка и честной, справедливой жизни. Жажда большого человеческого счастья ведет их по разным дорогам и тропам. Иные из этих дорог— неверные, путаные. Кажется, вот оно, прямо в руки твои идет счастье, а оказывается, это всего лишь жалкая подачка с тучного барского стола или хитрый посул «брата по нации», готового использовать тебя, твои сильные руки в своих корыстных целях,— и если потянешься за ними, то по-

теряешь все лучшее, ценное, что связывает тебя с трудовым людом и его борьбой, с хлебом и солью счастья. Лучшие представители трудящегося крестьянства на своем опыте начинают убеждаться — и это хорошо, детально показывает автор, прослеживая горький путь своих героев, — что не помогут им ни упования на милость господню, ни надежды, что кто-то там в Петербурге вспомнит о них, ни те люди, что рядятся в одежды народных заступников, сладко говорят о традициях запорожцев, а сами думают, как бы урвать себе пожирнее кусок от государственного пирога. Нет, эти пути не принесут мужику счастья, свободы, света — такое убеждение пусть исподволь, неосознанно, но все более властно проникает в сердца труженников земли.

Изображая забастовку крестьян в помещицкой «экономии», их столкновение с царскими карателями, М. Стельмах показывает становление сознания крестьян, выходящих на единственно верный путь — путь борьбы с угнетателями. И здесь вполне закономерно возникает образ учителя Левченко — подлинного крестьянского заступника, человека, увлеченного большевистскими идеями, знающего истинные пути борьбы. Писателю удалось верно и точно показать его взаимоотношения с крестьянами, которые знают этого человека не только как учителя их детей, но и как мудрого советчика в сложных жизненных вопросах, в их борьбе за землю, за счастье. Правда, хотелось бы видеть психологически более развернутую разработку этого образа, такого важного для всей структуры романа, его генеральной идеи.

Гораздо ярче и точнее рисует автор характеры крестьян села Медвин, давая читателю почувствовать, как эти вчера еще забытые, одурманенные, запутавшиеся в тенетах религиозной морали люди превращаются в могучий резерв революционной борьбы. Не через общие фразы и отвлеченные рассуждения, а через неповторимые индивидуальные судьбы обитателей украинского села художественно раскрывается авторская мысль. Марьян Поляруш, потерявший жену, утративший свою хатенку и клочок земли, в начале книги в тоске и отчаянии говорит учителю Левченко: «Нет на всем свете никого, кто бы мог, Степан Васильевич, пособить мужику. Если даже господь бог са святого неба не хочет сжа-

литься над нами, так уж тут ни от кого спасения не жди». Но в конце романа этот тихий, мягкий, молчаливый Марьян оказывается среди борцов за землю, он теперь понимает и верит в силу товарищества. Признанным вожаком крестьян, одним из организаторов забастовки на «экономии», показан и Роман Волошин. И когда в конце романа мы узнаем, что он ушел в Керчь на завод, нам нетрудно представить его будущую судьбу — революционера, большевика. Грозовые события выпрямили дорогу и Левко Шербины — сына зажиточного крестьянина. Не «по совести» поступил он с чудесной девушкой Христиной, силой заставив ее выйти за себя замуж. Но и в нем пробуждаются новые чувства. Постепенно избавляется Левко от многих «хозяйских» предрассудков и смело встает в ряды тех, кто самочинно разделил панскую землю и вышел под пули карателей.

«Любви на свете больше, чем думают люди», — замечает как бы невзначай автор и развертывает целую серию эпизодов, рисующих светлые, поэтические стороны тяжелой жизни безземельных «крестьян, обреченных хлеба ради работать на панской «экономии». Отсюда возникают и такие светлые и чистые образы, как образ Христины, свежей, как степной колокольчик, с удивлением и радостью постигающей мир.

В этом романе, как, впрочем, и в предыдущем, много лирических отступлений. И они не доведок к содержанию. Они играют не иллюстративную роль, а органично входят в драматическую картину, помогают глубже раскрыть внутренние побуждения деятельности людей из народа.

Любовь к жизни, к человеку труда, ко всему хорошему на земле пропитывает всю ткань повествования. Отсюда и чудесные описания даров природы и тонкое изображение поэтического мышления героев — сынов и дочерей трудового народа. Но в романе зримо изображена и та сила, что противостоит народу и способна принести ему не хлеб и соль счастья, а лишь страдания и муки.

Писатель всей образной структурой этого своего романа, как, впрочем, и романа «Кровь людская — не водица», подчеркивает, что только народ является носителем истинной красоты, только человек труда понимает и ценит природу и ему доступны истинные человеческие чувства, которых нет и не может быть у разного рода за-

хребетников, угнетателей. Не случайно один из панских холоуев даже на колосающую ниву смотрел, как «на забастовщиков, и злобно хлестал ее нагайкой. Стебелек хлеба зацепился за ременную плеть, и его с корнем вырвало из земли». Люди, враждебные народу,— эта мысль проходит красной нитью через весь роман — чужды самой земле, ее чудесной красоте и неизбывной силе.

Ради своего богатства кулак Терентий Плачинда готов идти на любую подлость и жестокость. Он ловко спроваживает в тюрьму своего брата Якова, чтобы хоть на время оттянуть неизбежный раздел отцовского имущества. Он не может скрыть свою лютую жадность даже перед ненавистным ему бедняком Марьяном Полярушем. Примечателен в этом отношении один эпизод. Марьян, продавший свой дом Терентию Плачинде, перед дальней сибирской дорогой ест такой редкий в его скудной жизни кусок колбасы. «Широко живешь, Марьян: колбасой лакомишься!» — с издевкой бросает ему Плачинда, зашедший на двор бедняка, чтобы еще раз оглядеть купленное за бесценок добро. Но когда простодушный Марьян протягивает ему кусок колбасы, Терентий, оглядываясь, не смотрит ли кто, всей ладонью забивает в рот этот кусок: не пропадать же в конце концов добру.

Меткие наблюдения, колоритные детали помогают писателю показать моральное убожество, душевную опустошенность людей, обуреваемых жадной жаждой богатства и власти.

Пан Стадницкий не заигрывает с крестьянами, не ищет их дружбы — уж слишком велика пропасть, их разделяющая. Это закоренелый, наглый и жестокий реакционер. Зато другой помещик, Варава, не прочь прослыть в округе народным заступником: он даже готов угостить у себя в доме, в горнице, украшенной портретом гетмана Мазепы, крестьянина Левко Щербину и поговорить с ним о «казацких» традициях и «единых» для всех украинцев интересах. Но автор, без нажима, исподволь, подчеркивает, что это ловкая маскировка, что тот же Варава палец о палец не ударит, чтобы помочь крестьянам в главном — в их борьбе за землю. Нет, ему глубоко чужды народные интересы, но прослыть их защитником ему важно: надвигаются какие-то перемены, гремят раскаты революционного грома, надо не прозевать, вы-

плыть на поверхность. Именно из подобного сорта людей возникали «деятели» буржуазного национализма, петлюровщины. Стоит, однако, пожалеть, что эти характеры, важные для понимания процессов, происходивших в ту пору в украинском селе, разработаны с меньшей силой изобразительности.

В романе «Хлеб и соль» нет строгого сюжетного построения. Это как бы серия новелл, связанных одной большой темой, включенных в единый поток.

Писатель стремится дать разнообразные типы людей, весьма характерные для времени. Крестьянин-бедняк и сельский интеллигент, помещик старого образца, закоренелый и жестокий зубр, и либеральствующий барин, собирающий чумацкие песни, сельский священник, искренне сочувствующий крестьянам, и поп-фискал, норовящий вынюхать «крамолу» и донести начальству, жадный мироед и будущий пролетарий. В этой многочисленности и многоликости героев заключена и сила и вместе с тем известная ограниченность романа. Такое построение дает возможность показать движение масс, широко охватить события. Но в то же время это желание сказать о многом не позволило художнику в полной мере, как это он умеет, раскрыть глубину и многообразие каждого характера. И поэтому искренне жалеешь, когда иные герои, так хорошо и тонко намеченные в той или другой главе, вдруг исчезают из дальнейшего повествования.

Видимо, создавая свое многотомное повествование о судьбах украинского народа, художник настойчиво ищет своеобразную форму — и в этих поисках обретает крупные победы, но терпит порой и издержки. Поэтому, очевидно, композиционное построение двух последних романов так различно.

«Кровь людская — не водица» — книга, композиционно слаженная, связанная крепкими сюжетными узлами. Книга локализована во времени: события романа развертываются в течение нескольких дней, более того — главные сюжетные узлы завязываются в течение одной ночи. Но и на таком «узком» плацдарме писатель смог сказать очень много о времени, затронуть сложные проблемы жизни, политики, народной психологии. Смог потому, что пристально всматривался в характеры людей и через них раскрывал эпоху.

В новом романе писатель избрал иной путь — трудно даже сказать, кто главные герои романа. Здесь много героев, показанных с разной степенью проникновения в характер человека. Но, как уже говорилось выше, и здесь проявляется внимание художника к человеку, его самобытному характеру и неповторимой судьбе. Говоря о великом и вечном — о цене человеческого счастья, об ответственности человека за судьбу своего народа, — писатель в лучших своих образах раскрывает богатство души тех людей, что не стояли в стороне от борьбы за передовые идеалы человечества, показывают нравственное богатство трудящихся масс, поднимающихся к борьбе, борющихся и побеждающих.

В романе «Кровь людская — не водица» поэтическим рефреном звучат рассуждения автора о жизни и крови человеческой: «Чай, она не безродная водичка, — та бывает и на облачке, и на гравке, и в озере, и в

колодце, а кровь есть только на земле, она — жизнь отцов и детей, нежный девичий румянец и смелый блеск юношеских глаз, она — подвиг воина и нежная улыбка ребенка». Писатель и хотел сказать этим своим романом и новой книгой «Хлеб и соль» о том, какой дорогой ценой платили лучшие сыны и дочери народа за счастье грядущих поколений, за наше счастье. И не только об этом. В книгах писателя с философской глубиной и в самых разных аспектах поставлен большой вопрос о ценности человека, о его отношении к обществу. Всем образным строем своих книг М. Стельмах как бы говорит: жизнь человека драгоценна. Но чтобы человек мог называть себя человеком, он должен бороться за свое счастье, за благо народа. И писатель талантливо рисует эту трудную, суровую, благородную борьбу.

Вл. БАСКАКОВ.

★

«Широе» сердце писателя

Если бы нужно было выбрать эпиграф к творчеству украинского писателя Ивана Сенченко, я бы, наверно, остановилась на таких его словах: «Я никогда не требовал от жизни многого и, однако, никогда не жалел об этом. В самом процессе жизни, как бы она ни складывалась, я видел только хорошее. И как жадно к нему мое сердце!.. Все темное, гадкое я выдавливал из себя, из своей души. Тучи ладали на меня, я стращивал их, чтобы снова понести в жизнь свое любящее сердце».

Наверно, найдутся охотники поспорить с этим утверждением. Как же так, скажут они, ведь это типичное «прекраснодушное», умиленно-благостное отношение к жизни, принципиальное нежелание видеть ее темные стороны! Думается, что это не так.

И потому, что слова эти, взятые из рассказа «Кончался сентябрь 1941 года», не лишены столь присущего Ивану Сенченко тонкого и несколько грустноватого юмора. Они произнесены человеком, который живет еще предвоенными представлениями,

человеком, которому вскоре придется увидеть и принять в свою душу — такую нежную и любящую — столько горя и страданий...

И потому, что, читая один за другим рассказы Сенченко — и довоенные, и созданные во время войны, и послевоенные, — убеждаешься, что светлое мироощущение вообще свойственно ему, является неотъемлемой частью его человеческого облика, его писательской индивидуальности. Писатель видит в жизни прежде всего хорошее, его внимание избирательно устремлено именно к хорошим людям, к людям с высоким и чистым строем души. Плохих он не любит и... писать о них не умеет...

Неизменно доброжелательное, сочувственное и любовное внимание автора обращено к простым людям — людям труда.

Маленькие домики с палисадниками и огородами. Перед домом — цветы и обязательно верба или вишня, около которой врыт стол. За ним так хорошо посидеть вечером с соседями. В тесных казартирках скромно живут большие рабочие семьи. Много детей. Глава семьи всю жизнь проработал на одном и том же заводе — на Капеевэрзе (Киевском паровозо-вагоноремонтном заводе), например, или на железной дороге...

Иван Сенченко. Оповідання. Редактор Г. Крижанівський. 398 стр. «Радянський письменник». Київ. 1959 (Иван Сенченко. Рассказы. Редактор Г. Крижановский. 398 стр. «Советский писатель». Киев. 1959).

Это Соломянка, рабочий пригород Киева, мир, где живут герои рассказов Ивана Сенченко.

Здесь свой, с годами устоявшийся быт, свои обычаи, своя патриархальность, если хотите (не нужно бояться этого слова, когда оно говорит о передаче от поколения к поколению добрых народных традиций). Здесь все знакомы друг с другом, многое друг о друге знают. Здесь жизнь согрета теплом человеческого общежития, и, кажется, самые судьбы у людей Соломянки — общие, так много в них схожего, типичного, повторяющегося.

«Мусий Романович, — читаем мы в рассказе «О письме с точками», — был сыном слесаря, который всю жизнь работал на Капееверзе, и сам тоже был слесарем, но работал уже не на Капееверзе, а в железнодорожном депо, и тоже — всю жизнь. Работником он был хорошим и человеком тоже; на работе его уважали; уважали и соседи, хотя иногда кой с кем и приходилось поругаться, главным образом благодаря женщинам, которые ссорились меж собою все больше из-за ребят и цыплят.

Евфросинья Лукьяновна тоже была женщиной простой, хорошей соседкой и хозяйкой. Она народила Мусию Романовичу кучу детей, кормила их, выпускала в жизнь, радовалась с ними, а также плакала и грустила над ними, потому что жизнь на Мокрой улице, как и везде на белом свете, не устилает путь розами.

Так и прожили они сорок лет. И за все эти сорок лет ничего особенного не произошло в их личной жизни — такого, чтоб отличало их от других людей. Люди гибли в окопах первой империалистической войны, и Мусий Романович там погибал; люди бились за Октябрь, и Мусий Романович бился; люди терпели разруху и голод, и Мусий Романович с Евфросиньей Лукьяновной терпели; люди бросались, как на штурм, на строительство первой в мире рабоче-крестьянской державы, и Мусий Романович бросался, потому что был тогда молодым и азарту у него хватало на двоих. ...Война страшным горем упала на нашу землю. Не обошла она и Мокрой улицы. Младший сын Мусия Романовича и четыре его внука пошли на войну, и не все вернулись назад...»

Этот отрывок вообще очень характерен для Сенченко — для его спокойной, душев-

но-доверительной, лирической, чуточку как бы простоватой и наивной манеры письма, для его стремления охватывать большие отрезки времени и «пересказывать» в предельно сжатой форме чуть ли не всю жизнь того или иного своего героя. Повествование течет будто бы неторопливо и вольно, а успеваешь сказать писатель на площади маленького рассказа об очень-очень многом. Это своеобразное описательство таит в себе и известные опасности. Иногда писательский «пересказ» становится очень уж «пунктирным», информационным, лишенным живых частных. Но в лучших своих вещах — в таких рассказах рецензируемого сборника, как «Рубин на Соломянке», «На калиновом мосту», «Денис Сирко», — писатель так умело влетает в свой лирический «пересказ» событий неповторимые подробности жизни, что повествование его приобретает совершенно особую убедительность и прелесть.

Герои И. Сенченко — люди труда. Труд — неустанному, любимому, вдохновенному — посвящена вся их жизнь. Им они живы и славны. При этом писатель далеко не всегда показывает нам своих героев в труде. Наоборот, чаще они показаны дома, в семье, но сделано это как-то так, что ты все время чувствуешь, что именно труд составляет основное содержание и красоту их жизни. Озорные, горячие, веселые соломьянские мальчишки очень рано приобщаются к миру железа, рельсов, вагонов, к миру труда; и не мудрено, что из них вырастают потом такие талантливые, инициативные инженеры, такие широкие сердцем люди, как молодой Денис Сирко (рассказ «Денис Сирко»).

С большой любовью и теплом рисует Сенченко кадровых старых рабочих, старую соломьянскую гвардию. И лучший из них — старый преподаватель ремесленного училища, «отставной кузнец» Каленик Романович из рассказа «Рубин на Соломянке».

Теперь Каленик Романович уже сам не стоит у кузнечного горна. Он учит — и умело, душевно учит — кузнечному делу мальчишек-ремесленников. Но каким мастером, каким виртуозом своего дела, каким художником был этот старый человек!

Удивительно поэтично умеет И. Сенченко описывать высокую красоту труда. Труд — это праздник, творчество, высшее напряжение всех человеческих сил, прояв-

ление самого лучшего, что только есть в человеке... Очень хороша в этом отношении сцена, в которой описывается, как Каленик Романович сваривает тяжелый вагонный крюк:

«Около молота стал сам Каленик Романович. Движение руки — и молот отчаянно и весело запрыгал, взлетая вверх и спускаясь вниз. Полетели фонтаны искр. Сложенные краями два куска металла с первого удара вошли друг в друга. Последующие удары безжалостно месили их, и железо послушно связывалось, как связываются в умелых руках два куска теста.

Начался процесс сваривания. Оба крюка сваривались не поверхностно, а сердцевинной, в самой глубине железного стержня молекулы сцеплялись с молекулами. Мощники глядели широко открытыми глазами. Каждое движение мастера вызывало у них удивление, даже зависть.

Молот все бил и бил. Каленик Романович будто приклеп к нему, будто родился тут и никогда не собирался оставлять этого своего места. Он весь светился внутренним жаром, и Рубин заглядывая на него.

— Довольно! В горн!

Крюк снова положили в жар.

Крюк нагрелся. Молот снова бегал и месил раскаленное железо. Каленик Романович, сосредоточенный и быстрый, следил за ним, не спуская глаз. Между тем молот прыгал уже не так, как прежде. Тогда он месил железо азартно, безудержно, теперь в движениях его замечалась осторожность.

Веселые искорки сыпались на Каленика Романовича. Еще несколько движений, замирающих, нежных, как прикосновение лепестка, и молот остановился. Крюк начал быстро краснеть; потом металл посинел, а когда остыл, стал совсем сиреневым. Все столпились вокруг. На месте сварки не было видно никаких швов, железная масса обоих концов скипелась воедино.

Своих героев Сенченко не идеализирует, не приукрашивает. Но иногда эти скромные, по-скромному описанные люди под ласковым солнцем авторского внимания вдруг вырастают в героев, в богатырей. «Сыны Соломянки, как вы прекрасны, как отважны!» — восклицает юный Рубин, которому в этот миг померещилось, что «...тут на Соломянке видит он не жизнь обычных людей, а жизнь каких-то великанов». И увидел он тогда почему-то их всех — «освещенных солнцем, на залитых

солнцем улицах, на баррикадах, где пламенеют флаги, на поле боя со связками гранат»...

В этих словах секрет авторского отношения к своим героям — простым и обычным людям, жизнь которых полна повседневной красоты и героизма.

Как уже говорилось, плохие люди Сенченко не интересуют и писать о них он по существу не умеет. Чувствуется, что ему просто не хочется заглядывать к ним в души и пытаться понять их. Поэтому, наверное, они и получаются у него такими условными, картонными фигурками, выкрашенными в сплошной черный цвет. Таков, например, подлец, доносчик и предатель Грысь из рассказа «Денис Сирко», таков и герой рассказа «Сын Дмитрий» — мещанин, спекулянт и дезертир Дмитрий Иванович. С этим рассказом вообще получилось не совсем ладно. Задуманный с самыми лучшими целями, он вылился однако в нехитрую иллюстрацию к мысли о том, что если детей баловать, то из них — даже в хороших рабочих семьях — могут вырасти себялюбцы. Этот правильный в общем тезис доказывается в рассказе прямо-таки с математической последовательностью — как теорема. Случилось как-то, что родители в голодные годы отдали сыночку свой завтрак, а теперь вот (что, дескать, в копилку положишь, го и возьмешь) сын не хочет кормить престарелых родителей и т. п.

Нет, «не даются» писателю плохие люди. И с этим, очевидно, нужно считаться, вне зависимости от того, нравится тебе это или не нравится.

А вот рассказы Сенченко о детях (их в сборнике три — «Мои охотничьи приключения», «Марина» и «Ой у полі жито») превосходны. И это как-то очень вяжется с тем писательским обликом, который мы создали себе, читая сборник в целом, — с обликом человека «широкого», любящего сердца. Рассказы эти поэтичны, насыщены юмором.

Лирическое повествование Сенченко вообще насковзь пронизано юмором. Юмор этот очень украинский — лукавый, органичный, иногда крепкий и озорной, с перцем, чаще чуть грустноватый или, вернее, живущий рядом с грустью. Приведу для примера совсем маленький рассказ «О письме с точками». Сюжет его, как всегда у Сенченко, незамысловат: дружно прожили

супруги сорок лет, и вот случилось непоправимое: Евфросинья Лукьяновна тяжело заболела — заболела «той неизлечимой болезнью, которая такое множество людей преждевременно забирает в могилу». Положили Евфросинью Лукьяновну в больницу. Мусий Романович очень горевал, но случилось так, что познакомился он случайно с одной разбитой вдовой, которая повела на него весьма решительное наступление. И вот однажды (Евфросинья Лукьяновна еще жива была) вдова эта, Евгения Кузьминична, написала Мусию Романовичу письмо, а он, собираясь в больницу, не заметил, как положил это письмо в узелок с гостинцами. Так Евфросинья Лукьяновна про все узнала: «Переслывая себя, Евфросинья Лукьяновна взяла письмо и... стала читать его... Письмо не понравилось ей. В нем Евгения Кузьминична писала, что ей очень хотелось бы повидать Мусия Романовича снова у себя в садоводстве, и не в воскресенье, а в субботу, сразу же после работы. Они снова пойдут по грибы, а потом... После этого слова Евгения Кузьминична поставила несколько рядов точек и в конце восклицательный знак. Точки на Соломянке, как и везде на белом свете, являются фиговым листочком, который прикрывает весьма прозрачную материю. Конечно, Евфросинья Лукьяновна понимала Евгению Кузьминичну с ее кучком вдовьим счастьем, но, с другой стороны, той было и не тридцать лет. В свои годы эта женщина уже должна была б, особенно сейчас, увидеть кое-что более важное, чем те точки.

Евфросинья Лукьяновна... сказала Мусию Романовичу, положив свою высохшую руку ему на плечо:

— Пятьдесят лет ей, а, гляди, сколько точек наставила. Легка разумом. Ты не ходи больше к ней. Это не такая женщина, чтобы о других заботиться, все будет только о себе думать. А тебе нужно такую, чтоб и присмотреть за тобой могла, и посочувствовать в беде»...

Так почти во всех рассказах Сенченко: печальное и смешное идут в них рядом, как в жизни. Юмор здесь глубоко человечен, он органически слит с лирическим потоком повествования.

И еще одну роль выполняет этот юмор. Он является сильным противоядием против умиленности и слащавости, которые, быть может, восторжествовали бы в рассказах Сенченко, если бы не эта вот его постоянная чуть-чуть озорная, чуть-чуть печальная улыбка.

Русский читатель почти не знаком с Сенченко. Его на удивление мало переводят у нас. Может быть, правда, это потому, что переводить его очень трудно: певучая, плавная, простая и в то же время изящная и даже, может быть, чуточку изысканная проза Сенченко много теряет в переводе — становится грубее, топорней. Но это ведь говорит только о том, что нужно постараться как можно лучше и тоньше переводить этого своеобразного, доброго мастера, с которым обязательно должен познакомиться широкий русский читатель.

И. ПИТЛЯР.



Проблемы и образы

Несколько лет назад мордовскому писателю Ивану Антонову пришлось выслушать от критиков и читателей немало упреков в том, что в его очерках («Разлив на Алатырь-реке», «Ухабы на дорогах») при всей их актуальности, остроте и значительности слабо разработаны человеческие характеры, что в них нет достаточно четкой композиции и сюжет их разрастается не вглубь, авширь. Сейчас Иван Антонов выпустил книгу «Свежий ветер», в которую

вошли очерки «Свежий ветер», «Трудодень», «На четвертой скорости», «Жизнь подсказывает». Что же нового сказал в ней писатель?

Как и прежние его произведения, эта книга построена на достоверном жизненном материале. Коренной поворот сельского хозяйства в сторону неуклонного подъема, повышение уровня сельскохозяйственного производства, рост благосостояния тружеников села — словом, все те сложнейшие процессы, которые происходят на наших глазах в деревне за последние несколько лет, талантливо запечатлены в очерках И. Антонова.

Иван Антонов. Свежий ветер. Очерки. Перевод с мордовского. Редантор С. Сабитова. 202 стр. «Советский писатель». М. 1960.

На первый взгляд сюжет очерка «Свежий ветер», открывающего сборник, довольно обычен: в отстающую долгие годы Кураевскую МТС назначен новый директор Козлов; благодаря своему уму, инициативе, трудолюбию он за три года превратил ее в передовую. Как же это случилось? Выявление причин, тщательный, дотошный анализ того или иного явления — самое, пожалуй, увлекательное в очерках. Только ли в директоре дело? А работники станции, которые пережили нескольких директоров, разве они не причастны к успеху? И почему они, раньше плохо работавшие, вдруг стали показывать образцы труда? Дело — в доверии. «Отстающие» — это слово, как ярлык, прочно прикипело к кураевцам. («Кажется, Горький сказал, что если человеку каждый день говорить, что он свинья, то он в конце концов захрюкает», — уместно вспоминает один из героев очерка.) На них махнули рукой, никто не хотел помочь им сдвинуться с мертвой точки. Заслуга нового директора заключается в том, что он сумел увидеть корень зла, а увидев, начал с ним борьбу.

«Передовик, он на то и передовик, некоторое время и без помощи, без особого внимания проживет, ничего с ним не станет. Больше внимания отстающим...» (Насколько важна и плодотворна эта мысль показывает на примере промышленности знаменитое, так успешно оправдавшее себя и охватившее всю страну гагановское движение.)

Пословица говорит, что человек может горы свернуть. Верно, но, пожалуй, трудно ему это сделать, если не будут благоприятных условий. Такие условия создают для сельского хозяйства известные постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС, проникнутые доверием к людям, стремлением им помочь, развязать их инициативу, без которой невозможен дальнейший подъем производства.

Как плодотворно повлияли решения партии на сельское хозяйство, и стремится показать И. Антонов в очерках «Трудодень» и «На четвертой скорости». Берет он как будто частный пример, всего лишь один мордовский колхоз «Путь Ильича», и выделяет лишь одну из тех больших, сложных задач, которые стоят перед сельским хозяйством, — борьбу за повышение стоимости трудодня в колхозе. Но решает ее так, что читателю становится ясно, чем живет, чем

дышит сегодняшняя деревня. Почему вопросы, связанные с повышением стоимости трудодня, столь актуальны и важны? Да потому, отвечает автор, что борьба за полноценный трудодень — это и борьба с пережитками собственности в людях, с еще бытующим в деревне представлением, что «от колхозного не убудет», хозяйство, мол, большое, если где чего не доберем или потеряем, не столь уж важно; это и борьба за экономию, и борьба за упорядочение оплаты труда и, в конечном счете, борьба за нового человека в советской деревне — инициативного, сознательного труженика. (Автор «по дороге» захватывает и ряд других важных для сельского хозяйства вопросов. Но об этом ниже.)

Итак, в новой книге писателя проявилась одна из наиболее сильных черт его дарования — умение увидеть в многообразии действительности такие факты и обстоятельства, которые несут в себе что-то новое, может быть еще скрытое от многих, не слишком наблюдательных глаз. Правда, для писателя умение видеть и чувство нового — черта не факультативная, без нее не было бы художника. Но степень этого видения бывает разная, даже у очеркистов, которых недаром называют разведчиками нового.

По обостренности видения, которой во многом способствует и превосходное знание колхозной действительности, Иван Антонов напоминает В. Овечкина. Он нашупывает наиболее острые, наиболее существенные узлы, характерные для сегодняшнего состояния дел в сельском хозяйстве, типичные и важные для развития колхозов не только Мордовии, но и всей средней полосы России. И так как писатель стремится решить их не «в общем и целом», не поверхностно, а путем глубокого проникновения в жизненные факты, то возникает по ходу дела и ряд актуальных именно для Мордовии вопросов. Это и разговор о «конопляном трудодне», из которого становится ясно, что более высокая оплата за выращивание конопли — культуры, распространенной в Мордовии, — теперь нецелесообразна; и проблема технически грамотных кадров председателей и бригадиров колхозов, способных вести крупное хозяйство, руководить работой сложного машинно-тракторного парка. Такие кадры нужны не одной Мордовии. Но в Мордовии этот вопрос особенно злободневен. так как на

сельскохозяйственном факультете Мордовского университета первый выпуск специалистов будет только через четыре года. А до этого как? — спрашивает автор. И не просто спрашивает, а стремится найти ответ, предлагает подумать над организацией краткосрочных курсов, школ и т. д.

Автор ведет рассказ от первого лица. Он активно вмешивается в события, ищет истину, а не просто излагает ее, в поисках истины вступает в споры с героями очерков, не стесняется показать и свою некомпетентность по какому-то вопросу, не боится поделиться с читателями и своими сомнениями.

Диалог в очерках Антонова (равно как и публицистические отступления) несет большую нагрузку, и это опять-таки роднит его манеру письма с овечкинской. Через диалог писатель стремится показать характер героев, раскрывает столкновения и конфликты, ставит волнующие его проблемы.

Однако было бы неверным утверждение, что Антонов полностью нашел себя как очеркист.

Думается, несмотря на то, что в его творчестве уже отстоялись некоторые определенные черты, он все еще переживает стадию поисков, нащупывает ту форму очерка, в которой с наибольшей полнотой может выразить себя как художник. Убеждают в этом прежде всего особенности композиции его очерков.

Время действия в очерках разное: от 1953—1954 годов и почти до наших дней. Такой широкий охват событий в произведениях Антонова имеет свои достоинства и недостатки. С одной стороны, у писателя есть возможность всесторонне рассмотреть интересующие его вопросы, пользуясь сравнительным анализом, создать широкую многоохватывающую картину, но с другой стороны, это может привести к нагромождению все новых и новых фактов, к поверхностной постановке новых и новых проблем.

Правда, есть писатели, у которых такая «ветвистость» очерка составляет главную прелесть произведения и которые весьма умело каждую из возникающих тем связывают с другой, создавая сложную и цельную картину. Примером этого могут служить очерки Е. Дороша.

В произведениях И. Антонова картина получается менее цельная. Не все из поставленных им проблем автор в состоянии

решить достаточно глубоко. Отсюда возникает ч недоговоренность и терпливость письма.

История Кураевской МТС (очерк «Свежий ветер»), прослеженная на протяжении примерно четырех лет, вплоть до момента реорганизации МТС, выглядит убедительно именно потому, что писателю удалось последовательно, внимательно оглядываясь на пройденные годы, вскрыть причины того, что мешало хорошей работе станции до прихода нового директора Козлова, и показать, опять-таки раскрывая шаг за шагом процесс возрождения МТС, как люди — работники станции — постепенно обретали уверенность в своих собственных силах, завоевывали авторитет и сумели передать колхозам не запущенную и расхлябанную, а хорошую технику.

Но одновременно с доскональным анализом этой главной проблемы автор затрагивает и ряд других, так сказать побочных. Вот, например, назначили в МТС главного инженера Горяева. Он окончил кораблестроительный институт, работал на верфи, но сельскохозяйственную технику почти не знает. Сюда же приехал новый заведующий мастерской Малайкин. «Горяев и Малайкин были пытливы и энергичны, но без помощи, без подсказки многое не решались делать». Как выйдут они из создавшегося положения? Это и важно и интересно. Но автор будто забыл о той роли, которую им предстоит сыграть в МТС, и назревший вопрос — использования и «акклиматизации» молодых специалистов — повис в воздухе.

Побочными сюжетами обрастают и два других очерка — «Трудодень» и «На четвертой скорости». Они связаны между собой — те же люди, тот же колхоз «Путь Ильича». Автор решает в них основную свою задачу — показывает, как возросшая народная активность и инициатива меняют быт людей, помогают им жить, двигать вперед общее дело. Но сколько возникает «по дороге» вопросов, не решенных и даже забытых автором!

В очерке «Жизнь подсказывает» взят сравнительно небольшой отрезок времени. Внимание писателя здесь сосредоточено на явлениях, которые возникли в сельском хозяйстве в связи с реорганизацией МТС и созданием ремонтно-технических станций. Очерк, если можно так сказать, компактен: говорится здесь о многих ве-

щих, но они крепко сцеплены с основной темой. Словом, сюжет этого очерка имеет тенденцию развиваться не вширь, а вглубь, что во многом способствует его удаче.

О том, что И. Антонов продолжает еще поиски в жанре очерка, говорит и эволюция образа героя.

И в прежних его очерках и в нынешних главное для автора — дело, а образ героя занимает несколько подчиненное положение, он призван подкреплять публицистическую мысль. Но если раньше герои очерков были статичны, то в новых очерках — «Трудодень» и «На четвертой скорости», например, — писатель явно пытается освободиться от этого недостатка.

Показателен в этом смысле образ одного из главных героев этих очерков — Лаврентьева. Хотя характер его раскрывается в основном в свете проблемы, решаемой автором, он интересен нам и сам по себе, как натура живая, сложная, меняющаяся. Лаврентьев поначалу человек, в котором сильны пережитки собственничества. Вернувшись с фронта в родной колхоз и увидев трудности, неустроенность жизни односельчан, он, вместо того чтобы взяться за общее дело, махнул на все рукой и занялся приусадебным участком, а так как он был человеком трудолюбивым, то и добился здесь некоторых успехов. Лаврентьева трудно было переубедить словом, только реальная материальная заинтересованность могла повернуть его на другой путь. Веру в силу общественного хозяйства он обрел постепенно, вместе с укреплением колхоза, повышением стоимости трудодня, когда он сам почувствовал, насколько выгоднее стало работать в колхозе, чем заниматься личным хозяйством. Именно тогда в его сознании произошел сдвиг. Обстоятельства заставили Лаврентьева понять, что общественное — это тоже его, кровное, и если крепнет колхозное хозяйство, то повышаются и его личные доходы. Жизнь перевоспитала Лаврентьева, из эгоиста она превратила его в радателя колхозного добра.

Есть в очерках и другие образы, в которые автор также стремится вдохнуть жизнь, но, к сожалению, не всегда достигает успеха. Вот Карабаев — тоже фронтовик, но, в противоположность Лаврентьеву, он человек сознательный; вернувшись с фронта и

увидев, что узкое место в колхозе — животноводство, он взялся, не обращая внимания на насмешки и пересуды, пасти колхозное стадо, работал простым скотником, постепенно дошел до должности заведующего фермой и сделал ее образцовой. Но перечень достижений героя еще не создает образа. Развитие характера, своеобразие его, индивидуальная неповторимость здесь отсутствуют. Не случайно речь Карабаева в отличие от живой речи Лаврентьева — ту склая, стертая; чаще всего он вещает прописные истины: «Если по-настоящему судить, то общественное стадо далеко не каждому можно доверить»; или: «Потом учти: мы не брали во внимание народное уважение. А оно, как я думаю, тоже немалый вес имеет».

Штампованные фразы встречаются иногда и в публицистических отступлениях писателя: «Сидорин говорил об общих задачах машинно-тракторных станций, о повышении требований к ним, согласился с выступлениями товарищей. Отметив, как трудно на первых порах работать Козлову, он сказал, что районная партийная организация оказала ему немалую помощь, а в будущем должна помогать еще больше»; «Председатель коротко рассказал, какие для этого необходимо провести мероприятия, какими удобрениями и в каком количестве следует запастись, а в заключение подчеркнул, что сам он лично одобряет заметки агронома».

Сухость подобных описаний очевидна, и это тем более обидно, что язык в произведениях И. Антонова в основном хороший.

Автор, как уже говорилось, умело пользуется диалогом. Речь героев, как правило, выразительна. Там, где встречаются мордовские поговорки, выражения, притчи, они очень к месту, усиливают мысль писателя.

И. Антонов — литератор молодой, но он уже написал интересные очерки о деревне. Думается, что не все еще достаточно четко определилось в его творчестве. При всем том очерки его привлекают своим страстным, партийным отношением к жизни, они помогают нам лучше видеть черты нового в нашей сегодняшней действительности и заставляют размышлять над путями искоренения всего, что еще мешает движению вперед.

Г. КОЙРАНСКАЯ.

Глазами друга

«Здравствуй, Дания!» — книга путевых записок.

Читатель всегда с особым чувством открывает книгу, посвященную краям, ему не знакомым. Мир велик, а жизнь коротка, и нет до существу никакой возможности более или менее полно узнать этот широкий мир, простирающийся не только в протяжении, но и во времени: жизни не хватит на это, даже если «скакать галопом по Европам», как шутили в старину над торопливыми путешественниками.

Большую пищу любознательному уму могут дать «путевые записки»! Значение этого жанра трудно переоценить, ибо он позволяет читателю как бы своими глазами увидеть еще не познанное. Из хороших записок мы узнаем, как живут люди, выросшие под другим небом, что они делают, что имеют, что оставили им деды и чего добились они сами. Мы видим вещественный, материальный мир, окружающий их, составляем зрительное представление о чужой стране.

Я много знал об Англии по Ч. Диккенсу, по книгам других английских писателей. Но сколько нового и интересного узнал я об этой стране из живых, беглых, но надолго запоминающихся остроумных и точных путевых записок Карела Чапека, который в Лондоне увидел то, чего не видел и Диккенс. С не меньшим удовольствием я читал английские записки С. Образцова, который в Лондоне, в Англии сумел увидеть то, чего не могли в их время увидеть ни Диккенс, ни Чапек.

Может быть, самое прелестное в жанре путевых записок состоит именно в том, что они передают видение, присущее данному человеку, а каждый видит по-своему. Так, А. Софронов и Н. Грибачев даже о том, что они видели одновременно, пишут по-разному, каждый сообразно своему темпераменту и взгляду на вещи.

И Геннадий Фиш видит Данию по-своему.

Что мы, собственно, знаем о Дании? Мало. Дания дала миру Ханса Кристиана Андерсена, которого ребята каждой страны долго считают «своим». Дания дала Торвальдсена — скульптора мировой величины,

Мартина Андерсена-Нексе — писателя, который знаком советскому читателю не меньше писателей русских или украинских, Херлуфа Бидструпа — художника, который в недавние годы завоевал сердца советских людей своими рисунками. Мы знаем также, что Дания славится своим сельским хозяйством и его продуктами — беконом, маслом и молоком. Знаем мы также, что в годы немецкой оккупации борющаяся Дания испортила немало крови немецким гауляйтерам. Но из подобных отрывочных сведений не составляется представление о целой стране.

И вот, раскрывая книгу «Здравствуй, Дания!», мы вступаем в эту малоизвестную страну, и нашим гидом становится Геннадий Фиш. Не раз во время чтения мы искренне благодарим нашего гида — так много хочет и умеет нам показать он, сам увлеченный путешествием и стремящийся узнать и больше и лучше.

Я говорил, что путевые записки передают видение автора, и немалое значение имеет в этом жанре отношение автора к увиденному. Читая книгу «Здравствуй, Дания!», чувствуешь, что автор ее смотрел на Данию глазами искреннего друга, человека, глубоко заинтересованного, но не отказавшегося от критического подхода к тому, что его не устраивает, человека, не с одинаковыми чувствами наблюдающего и хорошее и плохое в любящейся ему стране, человека, способного правильно оценить многое из того, с чем ему впервые в жизни пришлось столкнуться. Не случайно Геннадий Фиш вспоминает тургеневского Хоря из рассказа «Хорь и Калиныч» и, присматриваясь к датской действительности, подобно этому герою, сравнивает, оценивает, делает выводы:

«Вместе с Хорем мы разглядывали огромную фотографию на первой полосе распространнейшей здесь газеты «Политикен». Снимок изображал трап океанского корабля «Стефан Баторий», на котором моряк в капитанской фуражке, улыбаясь, крепко пожимал руку мальчугану. Это капитан «Стефана Батория» — теплохода, уходившего из Копенгагена с гурьстами в плавание вокруг Европы. Подпись же гласила, что мальчик имярек сам лично заработал деньги на свое путешествие. Получив в подарок двух попугаев-неразлучек, он несколько лет подряд разводил их потомство и продавал по сход-

ной цене, пока не скопил столько крон, сколько требовалось на путевку. Если прессы влияют на умы подростков, то попуганеразлучки в Дании через несколько лет будут очень дешевы и наводнят все зоомагазины. «Нехорошо,— сказал мне Хорь,— непорядок. У нас бы это не пошло. Торгащей воспитывают...»

И наряду с этим автор — вместе с Хорем — внимательно подмечает и то, что «у нас бы пошло»: и способ, каким водят на прогулку ребятишек детского сада (способ, превращающий эту прогулку в занимательную игру, наподобие игры «в лошадики»), и отличное качество «слуховых очков» производства фирмы «Адитоне», и прекрасный датский фарфор, и многое другое...

Он видит и трогательные, и забавные, и гордые традиции народа Дании — и веру в легендарного Хольгер-Данске, который всегда готов прийти на помощь своему народу, и множественное вещественное воплощение героев сказок Андерсена, и культ великого сказочника, доведенный до смешного («любимый бутерброд Ханса Кристиана Андерсена»), и ежегодную выставку сельского хозяйства — Беллахой.

Его влечет в равной степени и в рабочие районы Копенгагена и к рабочему столу датского прогрессивного деятеля культуры, художника, писателя: и рабочий и передовой интеллигент в наши дни борются рядом за независимую политику датского государства, за мир и дружбу между народами, в противовес официальному курсу датских капиталистов, впрягших свою страну в военную колесницу НАТО. Мы встречаем на страницах книги выразительные портреты черноработного Педера Меллера, художника Херлуфа Бидструпа, писателя Ханса Шерфига и «генерала Юхансена» — рабочего Свена Вагнера, который в годы оккупации возглавил армию Сражающейся Дании.

Геннадий Фиш восстанавливает перед нами историю того, как простые люди Дании боролись за свою родину против фашистских захватчиков, и рассказывает о том, как народ Дании сегодня постепенно осознает свой национальный долг в борьбе за мир, борьбе, охватывающей все страны и все континенты.

Факты, живые впечатления, исторические экскурсы, цифры сменяют друг друга, одно органически дополняет другое; советский писатель умеет мыслить как политик, он

знает законы экономики, но и политик, и экономист, и художник, и писатель — в лице Геннадия Фиша — одновременно дружелюбно расположены к датскому народу, внимательны к историческим особенностям его жизни. исполнены уважения к его культуре и экономическим достижениям.

В книге — три части. Первую автор посвящает Копенгагену, назвав ее «В столице Дании». Сами датчане говорят: «Копенгаген — это не Дания», разумея, что Дания — это прежде всего сельскохозяйственное производство. Но Копенгаген — это сердце страны, Копенгаген — это рабочий класс Дании, и именно в Копенгагене рабочий класс ведет самую трудную борьбу с капиталистами. Вторая часть называется «Борющаяся Дания», и, я думаю, правильно сделал автор, что в этой части объединил воедино и героическое прошлое датского Сопrotивления в минувшей войне и борьбу против НАТО в эти дни. Третья часть — «По дорогам Дании» — дает нам общий очерк страны, и надо сказать, что многие описания врезаются в память. «Мы все еще севернее Хансхольма... и здесь березки искривлены ветрами, а сосны простирают свои ветки в одну только сторсну — на восток. Даже ели и те забыли, что им полагается быть стрельчатыми, и согнули свои мохнатые плечи... Так обработал их ветер с Атлантики... Трудно крестьянину из Западной и Северной Ютландии найти прямое бревно, если только оно не принесено волнами». Это надо видеть самому — этого нельзя выдумать.

Геннадий Фиш прослеживает исторические связи Дании и России начиная от времен Ярославны, пленившей Гаральда Датского, и кончая нашими днями, когда на стапелях в датских верфях строятся корабли по заказу Советского Союза. Множество интересных исторических сведений черпаешь из путевых записок Геннадия Фиша.

Эту книгу, изобилующую многими точными и талантливо наблюденными деталями датского быта и национального характера, поданными часто с веселой улыбкой, с хо-рошим юмором, отлично дополняют рисунки знаменитого художника Херлуфа Бидструпа. Надо сказать, что автор книги и ее иллюстратор очень хорошо поняли друг дру-

га и сделали все для того, чтобы читатель ощутил настоящее удовольствие при чтении.

В нашем народе бытует поговорка о соединении приятного с полезным. На мой взгляд, путевые записки и есть такое пре-

восходное соединение, а среди путевых записок, прочитанных мною в последнее время, книга Геннадия Фиша одна из самых интересных.

Дм. НАГИШКИН.

★

За живой водой

Книга Виктора Шкловского — яркое, весомое явление в нашей литературе. Писать о ней трудно. Хочется много цитировать.

Хочется много сказать. О зоркости наблюдений, об обильных находках, об открытиях. О взлете мысли и масштабности охвата. Об умении постичь явление искусства с помощью формулы-образа. О мужественных ударах по старым ошибкам. О лиризме, прорывающем строгую ткань исследования.

Лиризм книги — мужественный. Путешествие Шкловского по времени, по литературе не сентиментально. «Я хочу изменяться, потому что не устал расти», «Плыви... к будущему, которое любишь». Книга дышит пламенем молодых поисков, неостывшим пылом юноши, который обрел истину. Виктор Шкловский «пошел на вычку» к марксизму. «Наступила пора нового ученичества», — заявляет В. Шкловский. Ученичество — знак молодости.

Но ученичества в книге нет. Не юнгой, а опытным мореходцем приплыл он к новым берегам.

Неукротимый темперамент, острота взгляда, неиссякаемость неожиданных сопоставлений, открывающих предмет заново, всегда были свойственны автору книги. Нередко наблюдения, высказанные им по частному поводу, входили отточенным оружием в арсенал критического анализа. Художник «пошел вдоль темы, и ветер перестал надуть ему паруса». Или: такое-то произведение «обречено на успех». Подобные афоризмы щедро расточались В. Шкловским. Они отлучали от поверхностных и шаблонных оценок. Они учили тонкости и точности.

Мы помним Виктора Шкловского и как теоретика давнего формализма. Никто не мог отказать ему в таланте и эрудиции. Но

здание формализма было скороспело и беспочвенно.

«Искусство — как прием». «Литература факта». Острота этих броских обобщений быстро притуплялась. Формалистам казалось, что, сосредоточиваясь на предмете искусства, обводя вокруг него магический круг, охраняющий его от соприкосновения с другими сферами идеологии, с действительностью, они найдут чудодейственный ключ к познанию истинной сути искусства.

Но как раз эта попытка «изолировать искусство» от реальности и привела в тупик, свидетельствует теперь В. Шкловский. Дерево, вырванное из почвы, засыхало. У формалистов, пишет В. Шкловский, «движение искусства становилось непонятным». «Мир оказывался неподвижным, а литературные формы представлялись как бы однократно и навсегда созданными и лишь сменяющимися, как моды».

Формализм сужал анализ до скрупулезного разбора способов «кройки и шитья». Исследователь так и не добирался до результата, до образа как грандиозного обобщения реальности. Между тем в субъективном создании художника воссоздан объективный мир. Художественный образ вмещает необозримые сферы действительности. Он объясняет мир. Теперь В. Шкловский поднимает, как знамя, «образ — способ познания», и все в творческом процессе — «мастерская», «сделанность» вещи, различные «стадии» образа — увидено по-другому. Это этапы освоения жизненной реальности, фазы осмысления окружающего — сдвигов времени, столкновений людей в обществе.

Анализ стал созидательным.

В старой работе В. Шкловского «Как сделан Дон-Кихот» образ Дон-Кихота был трактован как чистая фикция, он будто бы механически сложен из материалов, почерпнутых в различных словарях и справочниках, из авторских речей, вложенных Сервантесом в уста героя, вне всякой логики его развития.

Виктор Шкловский. Художественная проза. Размышления и разборы. Редактор А. Макаров. 628 стр. «Советский писатель». М. 1959.

В новой книге в главе о Сервантесе образ Дон-Кихота уже не валяется в обломках у разрушенного пьедестала. «Благодарный безумец», в котором «безумие и мудрость чередуются», вырастает в человека, который видит «зло мира в государстве и собственности, противопоставляя им мир, который не знает слов «твое» и «мое».

Ответ на «как сделан?» привел не к снижению и раздроблению. По извилистым путям складывания образа прослежено, как он вырос. Сервантес искал человека высокого роста. Его созданием обозначен шаг в художественном развитии человечества.

Множество примеров из книги просится под перо. Ограничусь блестящими страницами, посвященными «Крыжовнику».

Сначала у Чехова появляется заголовок «Крыжовник» и сюжет. Запуганный человек много лет копил деньги на имение, наконец купил. Для исполнения мечты не хватает, кажется, только одного: «своего» крыжовника на столе.

Через три года, когда он умирает от рака желудка, ему подают крыжовник. «Крыжовник был кисел. Как глупо, сказал чиновник и умер», — читаем мы в первоначальной чеховской записи.

«Создавался рассказ как анализ житейского разочарования», — пишет В. Шкловский, — но потом переосмысливается. Ситуация рассказа остается неизменной. Но коллизия — новая. Герою подают тарелку крыжовника, в первый раз собранного с посаженных кустов. Крыжовник жесток и кисел. Но чиновник восхищается, ест с жадностью и повторяет: «Ах, как вкусно!». все уговаривая рассказчика попробовать и насладиться.

«Коллизия осуществленного рассказа состоит именно в том, что человек доволен... Имение куплено вонючее — рядом с кирпичным и костопальным заводом. Но чиновник доволен. Он изменился и перешел в стан довольных... Счастье — вот трагедия развязки». (Здесь и ниже разрядка моя. — Е. Д.)

Вместо брезгливой жалости в адрес неудавшейся мелкой мечты в рассказе появилось обвинение против общества: «счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно».

Разбор поисков, разбор изменений стал открытием вещей заново. Луч анализа осве-

тил, как необъятно выросла мысль художника по сравнению с начальным замыслом: «Горе довольным, потому что они пошлы. Они закрыли двери, закрыли глаза, стараясь забыть прошлое и будущее. Горе им: у них и детей их будет оскоми́на от кислого крыжовника». В Шкловский переводит в высокую патетику будничные аксессуары рассказа. Оскоминой от кислого винограда грозил библейский пророк властителям, богачам, мздоимцам. «Оскомина от кислого крыжовника» становится образом возмездия, приговором истории. Прекрасная образная ассоциация вырастает в социальную инвективу. В приговоре помещику Чимша-Гималайскому забрезжил отблеск грядущего очистительного переворота. Таков язык нового В. Шкловского.

Когда-то Виктор Шкловский превозносил умение «ц е н и т ь к у с о к в художественном произведении». Virtuозная характеристика «куска» отводила тогда от понимания целого. Сейчас она намечает к нему дорогу. Путь к пониманию сложной целостности художественного произведения — путеводная звезда всей книги.

Первый раздел назван: «Законы сцепления». Размышления о сцеплении, связи, соотнесенности разных элементов художественного произведения как о ключах к познанию целого — душа книги.

Разумеется, эти мысли не новы. Новой является мера углубления в законы внутренних сцеплений. Виктор Шкловский прокладывает принципиально важные пути проникновения во внутреннюю структуру и смысл художественного произведения. Теоретические положения даны в конкретном анализе конкретных вещей. Пожалуй, они недостаточно суммированы, и об этом следует пожалеть.

Попробуем проложить к ним «подъездной путь».

Мысль художника о жизненном порядке, о человеческих отношениях может быть выражена лежащим на поверхности сюжетным итогом. Судьба персонажей в этом случае расценивается как вывод, как мысль произведения: Печорину суждено одиночество. Раздавлен судьбой жалкий Акакий Акакиевич. Обречена гордая Анна Каренина. Гибнет мужественный Овод. Преуспеваает Ионыч. Трагически мечется между двумя лагерями Григорий Мелехов. Торжествует

Глеб Чумалов, вместе с коллективом рабочих пустив омертвевший завод.

Такой прямой и ближайший путь к познанию закономерностей действительности — через события и судьбы — чрезвычайно важен. Не случайно Акакий Акакиевич простуживается и заболевает не после ограбления, когда он раздетый добирается домой на морозе, а после визита к «значительному лицу». Акакий Акакиевич добрался «домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье!» Виновником гибели несчастного чиновника выставлено «значительное лицо», сама его система: «строгость, строгость и — строгость!»

Мы прекрасно знаем, что такой путь построения сюжета не единственно возможный. Большевик Синцов и рабочие-революционеры во «Врагах» Горького выслежены и арестованы. Но «эти люди победят!» — говорит автор устами Татьяны. Гибнут Чапаев, Щорс, почти весь отряд Левинсона в «Разгроме». Но художники утверждают свою мысль — о победе революции, о победе дела, за которое боролись погибшие, — раскрываясь в действии характерами, совокупностью человеческих отношений. Закономерности здесь пролегают глубже, не столь явственно видны на первый взгляд. Но для воплощения, для познания жизненных закономерностей этот сюжетный «слой» (условно выражаясь) еще более важен. В обеих сферах перед нами реально-жизненное содержание сюжета. Игнорируя это содержание, сведя здание только к опорам и скрепам «приемов», формалисты чрезвычайно обедняли и суживали познание сюжета.

Но сюжет обнимает не только то, что происходит в произведении.

Фарадей открыл закон индукции. При приближении тела, заряженного электричеством, к незаряженному в последнем появляется электрический заряд. Своеобразный закон индукции существует и в искусстве. «Сцепление» художественных элементов не простое сложение, а большей частью умножение, возведение в степень.

Такова, например, потрясающая мощь параллелизмов у Шекспира. Трагедия: Лир — старшие сестры — Корделия повторена и варьирована в линии: Глостер — Эдгар — Эдмонд. Отцы верят детям лице-

мерным и обманывающим, отрекаются от любящих. Одинакова расплата: Регана и Гонерилия выгоняют Лира, Эдмонд — Глостера. Обобщение становится колоссальным, достигая небес.

В «Войне и мире» — не явный, не подчеркнутый, а, наоборот, очень скрытый параллелизм в семейной судьбе Андрея Болконского, Пьера, Наташи. До того как завоевать любовь истинную, человеческую, каждому из них приходится пройти сквозь искушения, сквозь лживость и пустоту «любви» оветской. Так Л. Толстой посвоему казнил привилегированную верхушку, спасши из нее нескольких «праведников».

Всю книгу Виктора Шкловского пронизывает мысль о единстве и взаимодействии всех элементов сюжета. «Сюжет действует как раскаты эхо». В самом способе «выстройки» произведения, в сцеплении отдельных, иногда кажущихся мельчайшими, элементов, в их связях и сопоставлениях заключен момент художественного освоения действительности. Раскрытие этих сопоставлений и связей ведет к пониманию самого глубинного и важного в смысле произведения.

Так обнаружены силы сцепления в вещи, казалось бы, лишенной отчетливого сюжета, в чеховской «Степи».

Чехов писал Григоровичу во время работы над этой повестью: «Я изображаю равнину, лиловую даль, овчеводов, попов, ночные грозы, постоянные дворы, обозы, степных птиц и проч.». Как будто с умыслом подчеркнута разрозненность, несоединимость вещей. Но одновременно Чехов утверждает: «все главы связаны, как пять фигур в кадрили, близким родством. Я стараюсь, чтобы у них был общий запах и общий тон, что мне может удалиться тем легче, что через все главы проходит одно лицо».

Общий запах, общий тон, одно лицо. Об этом много писалось. Картина степи показана глазами Егорушки и тем объединена. Нетрудно также заметить, что несоборимое пространство степи оттеняет заброшенность Егорушки, бросая смутный, но сильно осязаемый свет на его будущее. Чехов о нем много думал, и оно представлялось ему печальным. «Мальчик кончит непременно плохим», — писал он Григоровичу.

Вместе с тем Чехова тревожила композиция первой его большой вещи. Ему казалось, что «впечатления теснятся, громоздятся...

ся, выдавливают друг друга». Он, очевидно, сомневался, дойдет ли общая мысль повести, которой он чрезвычайно дорожил.

Какова эта мысль? О чем «Степь» должна была заставить задуматься? Чехов как будто отвечает в том же письме: «быть может, она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще нетронутыми, и как еще не тесно русскому художнику». Ответ дан Чеховым — мы говорим об этих строках — явно неполный, частичный.

Посмотрим, как отвечает на этот вопрос Виктор Шкловский.

Тонко показывает критик, как создает Чехов ощущение огромности степи: пространство становится исполинским. Это достигнуто двумя противоположными способами, как если бы вы смотрели в бинокль с разных сторон, приближая и отдаляя предмет. Егорушка видит, что над осокой пролетели знакомые три бекаса. В степи «так пусто, что можно узнать птицу, если она пролетит дважды». Здесь огромность степи показана через малое. Показана она и через сказочно громадное. Степная дорога шириной в несколько десятков сажень. Но сажени гигантски удлиняются. Егорушке приходит мысль, «что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника и что еще не вымерли богатырские копыта».

Но Чехову и этого недостаточно, замечает В. Шкловский. «Бричка все же едет слишком быстро. Надо передать величину степи, еще замедлить движение». Бричка с купцом и отцом Христофором пускается догонять купца Варламова. Егорушку взрослые оставляют на возах. «Теперь степь развергывается еще медленнее». Теперь Егорушке нельзя не приглядеться к своим спутникам, к людям, встречающимся на пути.

Люди — случайные. Они проходят мимо. Но что-то важное «сцепляет» их. Не сюжетно, не взаимными отношениями, а сопоставлениями. «Брат содержателя постоялого двора Соломон сжег деньги в печке для того, чтобы доказать свое презрение к чему-то». Возчики — «разоренные новым временем, потерявшие свое прошлое люди». Графиня, разыскивающая «богача Варламова, чтобы ему еще что-то продать, неустроена».

Решающее звено анализа: сцеплены дальние пласты — гигантский простор степи и

неустроенность людей. Доказана необходимость их связи и взаимопроникновения: «Простора много... Вещь кажется на первый взгляд пейзажной, но это вещь о людях, которым как будто мешает просто; они не могут его одолеть».

Постигнута глубинная мысль произведения. Раздвиганием степного простора измерена мелкость торгашей, спутников Егорушки. «Повесть течет, предворяя будущее». Вырастает на фоне пространства, как будто снятый снизу, возчик Дымов с шальным и насмешливым взглядом. Кажется, пишет Чехов, будто он собирается поднять одной рукой что-то очень тяжелое, будто он хочет удивить весь мир. «Это человек будущего. Таких еще внимательнее увидит Горький и поймет, что они предвещают».

Философия вещи выведена на исторический простор. Дана она не как тезис, сопутствующий извине, не как публицистическая сентенция, не как «социологический эквивалент» (что, впрочем, вполне закономерно и важно), но как звучание самой вещи, как ее сущность, как форма ее целостности.

Найдена образная формула, в которой анализ, мысль, вывод — одновременно и «портрет» произведения, слепок его неповторимых особенностей.

Таких разборов много.

Важно двойное зрение. Погрузиться внутрь вещи, распознавать ее тончайшие сцепления, близкие и отдаленные соответствия. И от микрокосма, от «внутриатомных» сил находить прямой путь к макрокосму, к гигантским масштабам. В скрепах, в «механизме» находить ключ к слову и делу художника, к мысли, познающей эпоху. Потому что законы эстетических сцеплений обуславливаются основными жизненными связями.

Двойное зрение дано марксизмом.

Остается только один предмет спора: о «торможении».

Термин введен Виктором Шкловским в двадцатых годах. Понятие вполне правомерно, если рассматривать его как один из способов изложения. «Оставив героя в самый сложный или самый опасный момент его жизни, романист... тормозит разрешение острой ситуации и возбуждает нетерпение читателя», оставляя его в неведении о даль-

нейшей судьбе героя. Вопрос: «что же будет дальше?» остается висеть в воздухе.

В «Теории прозы» Шкловский установил и проанализировал другие разновидности торможения как способа изложения: перестановку глав, авторские отступления, рассуждения, отодвигание разгадки тайны к финалу и т. д.

Но в сферу «торможения» В. Шкловский включал тогда и событийное содержание повествования, рассматривая, скажем, «перипетии» как «торможение».

Термин терял свою точность.

Нетрудно объяснить, почему формалисты не усматривали разницы между способом изложения и «перипетиями», то есть реальными препятствиями на пути героя. Если искусство сводится к субъективному «приему» художника, то цепь поступков и событий и, скажем, перестановка глав представлялись явлением одного порядка. Что сюжетные перипетии воссоздают связи реальной действительности, отрицается вообще. «Законы сюжетной композиции с вероятностью (то есть жизненной вероятностью.— Е. Д.) ничего общего не имеют»,— писал когда-то Б. Томашевский.

В. Шкловский в новой своей книге решительно отверг старые формалистические постулаты. Источник теперешней неточности — в чрезмерном расширении понятия «торможение» и представления о его функциях. «Торможение» рассматривается чуть ли не как принцип искусства, как принцип создания и восприятия художественного произведения. «Цель образности, — пишет В. Шкловский, — так же как цель разного рода психологических, тавтологических параллелизмов, так же как роль сюжетных перипетий, состоит не только в изображении действия, но и в анализе и в наращивании смысла ощущений. Ощущение, тормозясь, увеличивает выразительность».

Обращаем внимание читателя прежде всего на широту установки: «ц е л ь о б р а з н о с т и». Усиление эмоционального воздействия и увеличение выразительности связываются с торможением. Все перечисленные автором художественные пути и средства: перипетии и параллелизмы, подробности и сказ, параллельное действие и анализ событий персонажами, по его мнению, тормозят действие, превращая таким образом «время действия в эстетический фактор». Даже метафора «замедляет движение».

С этим согласиться нельзя.

Беру первый пришедший в голову пример — начало «Графа Монте-Кристо». В судьбе Дантеса происходят головокружительные изменения. На протяжении шести глав юноша матрос, к которому судьба столь благосклонна, который вот-вот должен стать капитаном корабля и мужем прекрасной Мерседес, превращается в пожизненного узника страшной темницы замка Иф. Действие разворачивается прямолинейно, с необыкновенной стремительностью. Обилие острейших перипетий. Читатель, думаю, подтвердит, что понятие «торможение» здесь (как и во множестве подобных примеров) абсолютно неприменимо.

Вероятно, В. Шкловский исходил из верной и важной мысли об интенсивности, магической емкости, энергетической напряженности «поля» художественного произведения и каждого его элемента. В. Шкловский прав, отвергая представление об искусстве как о «простом, бесхитроном, зеркальном отражении». Но, сводя восприятие важнейшего свойства искусства — концентрированности, сгущенности, заострения (к сожалению, мы не располагаем точным термином, который охватил бы эти специфические стороны искусства) — к «торможению», В. Шкловский уклоняется от правильного пути и теряет точность видения.

Обратимся к тому же примеру, который фигурирует у В. Шкловского, к знаменитой лестнице из «Броненосца «Потемкин»». Эйзенштейн имел дело с реальной одесской лестницей. Но в фильме, пишет Шкловский, «это сценическая площадка, которая используется для того, чтобы, расчленяя движение, тормозить его и увеличивать эмоциональность восприятия действительности, показав длительность преступления — расстрел вооруженными людьми безоружной толпы».

Все это верно, но только наполовину.

Кадры, где движение гениально расчленено и время необычайно растянуто (солдаты, спускающиеся по лестнице и одинокая, подпрыгивающая по ступенькам детская коляска), перемежаются кадрами, где на миг, на долю мига сменяют друг друга: залитое кровью лицо учительницы в пенсне, безногий инвалид, женщина с мертвым ребенком на руках и т. д. и т. д. Разве в этих мгновенно проносящихся мимолетных кадрах не по-

казана — только иным путем — «длительность преступления»? Разве они не «увеличивают эмоциональность восприятия»? Разве не разрешается мучительное напряжение неопишимо растянутых («заторможенных») кадров с «коляской» молниеподобными кадрами со «вскакивающими львами»?

Знаменитые эйзенштейновские львы опровергают тезис В. Шкловского: метафора тормозит. Наоборот! Метафора чудодейственно сократила время, сблизив, слив, связав воедино огромный круг явлений.

«Львы», «вскакивающие» от взрыва, следуют после кадра «артиллерийский залп по штабу царских войск». В молниеносных «львах» и залпе — тема отпора злодейскому расстрелу, тема взрыва революционного возмущения. Она могла быть передана целым рядом кадров, очень напряженной «монтажной фразой» с растянутым («заторможенным») действием по подготовке этого залпа и т. п. Но Эйзенштейн пошел по пути, противоположному торможению. Гениальная метафора сразу как бы подняла зрителей на вышку истории и осветила блестящим молнией взрыв революционного возмущения ранее неподвижной массы.

Как «воспроизвести действительность» в ограниченном по размеру художественном произведении? — ставит вопрос В. Шкловский. Искусство идет здесь различными путями, которые с равной эффективностью «наращивают смысл ощущений» и «увеличивают выразительность».

О чем-то рассказано с пристальным взглядыванием в предмет, со всем богатством подробностей, с таким углублением, которое не под силу обычному восприятию. Здесь сила художественного воздействия — в «расчленении», в крупном плане, в «растягивании» явления.

А что-то воссоздано крупными, обобщающими мазками, с пропуском громадных «участков» переживаний, мыслей, событий, черт обстановки. И тут сила художественного воздействия в обратном — в магическом «облете» явлений действительности.

В четвертом акте «Трех сестер» есть крохотный диалог Маши и Чебутыкина. Шесть реплик.

«М а ш а. Сидит себе здесь, посиживает...
Ч е б у т ы к и н. А что?»

М а ш а. Ничего... (Пауза.) Вы любили мою мать?

Ч е б у т ы к и н. Очень.

М а ш а. А она вас?

Ч е б у т ы к и н (после паузы). Этого я уже не помню.

Читатель помнит, что ничто в предыдущем течении пьесы, ни единое слово не подводило, не подготавливало эту тему. Но разве не возникла в четырех строчках волнующая душевная история — очевидно, сложная, путаная и горькая.

Интенсивность воздействия сцены как раз в том, что она промелькнула. За этим угадывается и похороненность чувств и боязнь к ним вернуться.

Понятие «торможение» у В. Шкловского не по заслугам универсально и неточно. Это неверный ключ к пониманию свойств искусства.

Разговор кончаю с чувством сожаления.

Ничего не сказал о богатейшем пласте истории прозы. А ведь в книге идет речь о фольклоре, о греческом романе, об арабских сказках, о Боккаччо, о рыцарских романах, о Сервантесе, Дефо, Фильдинге, Sterne, Диккенсе, о Льве Толстом, Чехове, Шолохове и Хемингуэе и о многом другом.

О каждой из этих глав нужно было бы многое сказать. По-новому увидены художники и произведения, знакомые с детства. Остро схвачено движение вперед, изменение литературы.

Виктор Шкловский ведет читателя по необозримому царству художественной прозы, поднимаясь на горные хребты и вершины, надолго останавливаясь, чтобы рассмотреть драгоценности.

Из этого путешествия выходишь обогащенным.

Е. ДОБИН.

★

По дорогам мира и войны

В молодости Джон Рид проходит все ступени классического «американского воспитания». Окончив в Нью-Джерси частную школу для детей состоятельных семей, он поступает в прославленный Гарвардский университет. Воспитанники Гарварда готовились занять командные высоты в жизни. Это привилегированное учебное заведение, своего рода лицей, было местом, где завязывались необходимые связи, где формировался здравый взгляд на предстоящее поприще. Посадка в Европу тоже входит в курс «американского воспитания». Получив диплом, Рид отправляется в путешествие по Англии, Франции, Испании и возвращается в Нью-Йорк с твердым желанием завоевать славу и успех.

Огромный путь предстояло пройти этому юноше, сделавшему первые шаги по торной дороге американской карьеры, чтобы прийти к «Десяти дням».

Однотомник, в который включены «Восставшая Мексика», рассказы и очерки Рида, дает нам возможность проследить эволюцию человека и художника. Эта книга — свидетельство смелых поисков и упрямой борьбы с миражами и предрассудками общераспространенных идей.

«Я должен видеть», — говорил Рид. Никогда книги не могли заменить ему непосредственного общения с людьми. Читая его рассказы и очерки, мы следуем за ним по улицам больших городов, по барам для рабочего люда и знаменитым злачным заведениям, по тюрьмам, где сидят забастовщики, и поселкам, где добывают нефть, по дорогам восставшей Мексики и изрытым войной полям Франции, по захолустным балканским городкам и столицам европейских государств. Где бы ни был Рид, он дает широкую картину нравов. Но его книга не только талантливый рассказ об увиденном. Перед нами часть духовной биографии сына века. Не узнав ее во всей сложности, во всем стремительном и бурном развитии, невозможно понять, как появилась лучшая книга Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

Оглядываясь на свои первые шаги в Нью-Йорке, Рид впоследствии сознавал, как

велика была для него опасность стать великим подголоском в хоре певцов и поэтов буржуазной Америки. Сознание этой опасности приходит далеко не сразу. Первые опыты, еще ничем не отличающиеся от рутинной журналистики того времени, очень скоро открывают перед Ридом двери редакций больших и солидных журналов. Но эти успехи не мешают той скрытой пока от чужих глаз работе, которая происходит в глубине его души.

Парадная сторона жизни и ее изнанка — вот противоречие, подмеченное в ранних рассказах Рида. Фабула их обычно очень проста. В сущности, это бытовые зарисовки, построенные на прямых и резких контрастах. Мишура цивилизации, ее внешний лоск — и грубость нравов, одиночество бродяг, потерпевших жизненное крушение. Холодом и бессилием перед неотвратимой и суровой судьбой веет от набросанных Ридом картин. Рид ясно выражает свои симпатии. Они целиком на стороне «неудачников». Уже в одном этом был вызов официальной Америке, преклоняющейся перед успехом, возводящей фигуру цветущего бизнесмена на пьедестал.

В 1913 году Рид пишет рассказ «Куда влечет сердце» — историю веселой и легкомысленной девицы из ночного бара. Он далек от того, чтобы морализировать по ее поводу, и это отпугивает ханжей-редакторов. Ни один из тех уважаемых журналов, где Рид начинал печататься, не решился опубликовать рассказ. Он появился на страницах вновь организованного журнала «Мессиз» («Массы»), органа радикальной интеллигенции, пытавшегося стать выразителем «восставшего духа» в американской жизни. От имени журнала Рид пишет «Заявление»: «Мы будем без конца атаковать старые системы, отжившую мораль, старые предубеждения, весь гнет изношенной мысли, которой нас обременили предки... В любой нашей фразе — жизнь, таков наш идеал для «Мессиз»».

Программа журнала не отличалась ясностью. Под этим «Заявлением» могло бы подписаться все пестрое, ищущее общество радикалов, социалистов, анархистов, в котором вращался в ту пору Рид.

Многие из литераторов и художников Америки были затронуты в то время бурным процессом переоценки, охватывающих

не только искусство, но и всю общественную жизнь страны. В этом движении не было единой цели. Оно питалось неудовлетворением и несформулированными надеждами. Но зато в нем не было недостатка в энергии и решительности. «Если мы хотим изменить наши воззрения, почему бы нам не сделать этого», — говорил тогда Рид.

В кругу «Мессиз» Рид черпает мысли и настроения, которые нашли отражение позднее в его рассказе «Мак-Американец». Рид набрасывает портрет «обыкновенного американца». Мак порядочно поездил по свету, многое повидал, сменил десятки профессий. Жизненный опыт его укладывается в несколько крепких формул. Он искренне убежден в избранности белой расы, в том, что американская женщина — «идеал чистоты». А что касается спорта, «то нет ничего лучше охоты на негров». Свои идеи Мак берет напрокат из газет и школьных учебников. Общество, формирующее таких людей, может заблуждаться относительно подлинного значения провозглашенных им идеалов, но однажды оно должно трезвым взглядом посмотреть на себя. Социально-острый портрет «обыкновенного американца» метил далеко.

Рид еще вернется к этой теме. В годы войны он напишет рассказ «Права малых наций». Герой его, подобно Маку, свято верит в привилегии, обеспеченные золотой валютой и принадлежностью к англосаксонской расе. Благодушный и жизнерадостный молодой человек, усердный читатель либеральных передовиц, любит порассуждать о правах «малых наций». Это невинное пристрастие мирно уживается в нем с самым пошлым высокомерием и безмятежной готовностью пожить на чужой счет в маленькой балканской стране.

Сейчас мы, несомненно, почувствуем в ранних рассказах Рида прямолинейность и некоторую бедность красок. Но для того, чтобы по достоинству оценить их, надо знать, чем были они для своего времени, для молодого поколения, вместе с которым входил в жизнь и в литературу Рид. Эти рассказы уже тогда сделали имя Рида символом восстания целого поколения американской молодежи против ханжества, лицемерия и религии денег, которую исповедуют все вокруг.

В 1913 году Рид знакомится с выдающимся деятелем американского рабочего движения Биллем Хейвудом. Рассказы Хейвуда о стачечной борьбе поражают Рида. Как

обычно, он хочет увидеть вблизи то, что притягивает его внимание. Вскоре появляется знаменитый очерк Рида «Война в Патерсоне» — результат его поездки с редакционным заданием к бастующим текстильщикам в Патерсон.

Пожалуй, именно в этом очерке начинается складываться стиль будущего Рида, стиль «Десяти дней». Для того чтобы рассказать о глубоко взволновавших его событиях, Рид не прибегает к патетике. Он чуждается громких слов и многозначительных деклараций. Язык фактов говорит сам за себя.

Четыре дня в тюрьме, куда попал в Патерсоне Рид, дают ему обильный материал для размышлений. Он замечает на лицах рабочих «следы глубокого страдания и знаки страшной жестокости полиции. Но ни на одном лице не было заметно разочарования, колебания или страха». Эти добрые, жизнерадостные, стойкие люди были душой стачки. Близкое знакомство с ними дает право Риду сделать вывод: «самы массы поднялись на борьбу».

Как ни велико было влияние на Рида демократической литературы его родины, поэзии Уитмена, журналистики его друга Линкольна Стеффенса, но непосредственный толчок к новым мыслям и настроениям он получает, соприкоснувшись с жизнью и борьбой рабочих. Рид не просто сочувствует забастовщикам. Он увидел людей сильного чувства и всем сердцем потянулся к ним. Ему нравятся «их революционная мысль, их дерзания, их мечты».

Однако с подлинно массовым народным движением Рид столкнулся все же не в Патерсоне. Революционная Мексика стала решающей вехой на пути писателя.

Рид выезжает туда осенью 1913 года, тотчас после того, как стало известно о вновь вспыхнувшей на севере страны гражданской войне. Мексика сразу же завоевывает сердце Рида. «Это была земля, которую можно было любить, за которую можно было сражаться». Мексиканские прерии, белые церкви, рисующиеся на фоне коричневых холмов, медленные песни, вихревые ритмы танцев, смелость и мужество народа, красота женщин, живописные наряды мужчин — все то, что жадно вбирает в себя Рид, проезжая по дорогам страны, он с увлечением описывает в очерках, сохранивших до сих пор силу художественного воздействия, краски и запахи вдохновившей их земли.

Рид отдает дань экзотике мексиканских нравов. Ему по душе обычай этой страны. Но экзотика нигде не заслоняет от Рида подлинной жизни. Описание диковинок и чудес Мексики, пусть и не так ярко, как Рид, давали и другие корреспонденты, нахлынувшие в Мексику с началом войны. Очерки Рида тем и значительны, тем и привлекли внимание, что в них есть цельное ощущение народной жизни, повседневного быта бедных мексиканских деревень.

«Трудно себе даже представить, как близко к природе живут пеоны на этих огромных асендах. Даже их хижины построены из той же сбоженной солнцем глины, на которой они стоят, их пища — кукуруза, которую они выращивают, их питье — вода, которую зачерпывают из пересыхающей реки и тащат домой на головах усталые женщины; их одежда соткана из шерсти, сандалии вырезаны из шкуры только что зарезанного быка. Животные — самые близкие их друзья. Свет и тьма — их день и ночь».

Рид умеет немногими выразительными деталями дать фон, на котором разворачивается полная драматизма и страсти борьба. Так написана Охинага: грязные улицы, древняя церковь без окон, дома без крыш, дыры от снарядов и «дым ладана, голубыми облаками плывущий из дверей церкви, где следующие за армией женщины день и ночь молятся о победе...». Женщины отправились в поход вместе с армией и спрашивают у бога победы для нее... Из таких подробностей и складывается образ народной войны. Рид свободно переходит от батальных сцен к сценам деревенской жизни и прерывает рассказ об армии партизан, чтобы описать случайную встречу на дороге. Но все подмеченное и найденное им не случайно. Подобно мозаике, составленной из разнородных по цвету и форме элементов, эти эпизоды и встречи дают цельный образ, единое представление о событиях. Рид не пытается воссоздать картину революционной войны во всей ее полноте и исторической достоверности. Но ему удалось главное — передать дух, воодушевляющий восставших пеонов, показать своеобразие условий и методов борьбы.

Рид не смягчает подмеченных им противоречий и не награждает своих героев мнимыми добродетелями. Чувство естественной — не книжной — любви к человеку пре-

дохраняет его от умиленности. Он не закрывает глаза ни на дикость средневековых пережитков, ни на самодурство генерала Урбино или стяжательство маленького доктора, который говорит: «Наша революция... Вы должны правильно судить о ней. Это борьба бедных против богатых. Я был очень беден до революции, а теперь я очень богат».

Эти наблюдения не мешают ему увидеть жажду справедливости, подъем духа там, где буржуазные журналисты, писавшие о Мексике, видели лишь варварство и грязь. Он знает, что правда на стороне пеонов, и доносит понимание этого в простых и в то же время величественных картинах революционной Мексики.

«И вот из густого мрака вынырнули передние ряды прибывшего отряда. Солдаты эти несколько не походили на хорошо одетых, хорошо вооруженных и хорошо питавшихся солдат армии Вильи. Это были оборванные, босые, истощенные люди, закутанные в выцветшие рваные серапе, увенчанные огромными живописными сомбреро, какие носят в глухой провинции. Собранные в кольца лассо болтались у их седел... Всадники проезжали мимо с угрюмым видом, презрительно нас не замечая. Они не знали и не хотели знать ни отзыга, ни пароля...

В отряде было тысяча двести человек. Безмолвные, угрюмые, возбужденные предстоящим боем, проезжали они между двумя рядами высоко поднятых факелов. И каждого десятого я знал в лицо. То и дело полковник рявкал:

— Знаете отзыв? Загните поля шляп впереди! Отзыв знаете?

Он выкрикивал это хрипло, раздраженно. А они спокойно проезжали мимо, с невозмутимой наглостью, не обращая на него ни малейшего внимания.

— К черту твой отзыв! — вопили они насмешливо. — Зачем еще нам отзыв! Они сразу узнают, на чьей мы стороне, когда мы пойдем в бой!..

Несколько часов, казалось, проезжали они мимо нас, растворяясь в темноте; лошади их нервно поводили ушами, прислушиваясь к орудийным выстрелам вдаль, солдаты горящими глазами вглядывались во мрак, где их ожидал бой, в который они ехали со старыми винтовками спрингфилд и с самым ничтожным запасом патронов. И когда они скрылись, сражение вдаль, казалось, вспыхнуло с новой силой...».

Среди живых и запоминающихся героев Мексики, о которых рассказывает Рид, самый запоминающийся — Панчо Вилья, вождь пеонов. Вилья — центральный образ книги. Рид снова и снова возвращается к нему, чтобы полнее раскрыть характер, так много говорящий ему о Мексике и о гражданской войне.

Стихийный демократизм Вилья, его яркий, подчас грубый темперамент, его любовь к незатейливым удовольствиям, вроде боя петухов, его простодушие в вопросах «высокой» политики поражали, бросались в глаза. Этот необыкновенный человек, породивший так много толков, был несомненной находкой для любителей мексиканской экзотики. В лучшем случае его невежество любовались — с чувством несомненного превосходства.

Впервые столкнувшись с таким ярким народным характером, Рид проникается уважением к цельности, природному уму, таланту военачальника и самоотверженности, которые проявляет Вилья в борьбе.

Этот мексиканский Робин Гуд, два десятилетия скрывавшийся от полиции, никогда не ходил в школу и не имеет никакого представления о всей сложности современной цивилизации. Он готов разрешать финансовые затруднения выпуском бумажных денег, обеспеченных лишь его подписью. Но именно Вилья, каков он есть, а не умудренные наукой генералы, одерживает победы. «Он обладает необыкновенной способностью выражать чувства народных масс».

Одна из наиболее привлекательных сторон таланта Рида — умение раскрыть в единичном общем, показать личность как порождение социальной среды. Рид не делает экскурсов в историю Мексики и не дает социологического анализа событий. Он пишет только о том, что видит. Силой своих художественных прозрений он раскрывает перед нами социальный смысл войны. Вглядываясь в портрет Вилья, хорошо понимаешь, что снискало ему доверие и любовь пеонов. Этим образом Рид многое говорит о силе и слабости мексиканской революции и о надеждах, которым еще не пришло время осуществиться.

Начало империалистической войны застает Рида уже в Нью-Йорке. Вскоре он выезжает в Париж по заданию журнала «Мегрэполитен».

Еще до отъезда в Европу Рид ставит точный диагноз событиям: «Нынешний кон-

фликт — это ссора между торговыми конкурентами». «Нас не должна обмануть газетная болтовня о том, что либерализм ведет священную войну против тирании. Это не наша война».

Рид видел войну во Франции, Германии, Восточной Европе и рассказал об этом в очерках, печатавшихся в американской прессе на протяжении двух лет. Эти талантливые, темпераментно, свободно, с поразительной свежестью чувств написанные картины были бы все же не более чем наблюдениями проницательного современника, если бы не одна господствующая мысль, одна страсть, объединяющая их. Один образ рефреном проходит через все военные корреспонденции Рида. Это образ изуродованной, искромсанной войной прекрасной земли. Грязь, руины, страдание, гибель — так видит Рид войну.

«Восставшая Мексика» удивляет богатством красок и образов, щедростью художника. Но вот читаешь военные корреспонденции Рида, написанные в 1914—1917 годах, и перед тобою новый Рид. Как непохожа суховатая сдержанность и стремительность стиля этих военных очерков на неторопливую, густую прозу «Восставшей Мексики». Правда, вчитываясь в военные очерки, видишь, что в них та же зоркость глаза, то же умение выбрать из великого множества деталей именно те, которые наиболее точно «работают» на главную мысль.

В военных очерках Рида фраза проста, выверена, предельно ясна по смыслу. Рид подчеркнуто избегает всяких литературных излишеств. Чутким слухом художника он уловил новую форму, соответствующую новому содержанию. Он сам в значительной мере опровергал опыт мексиканских очерков. Но ведь сама жизнь «опровергала» опыт народной, крестьянской войны. Время диктовало стиль, и тяготение Рида к сдержанности, динамизму, простоте, насыщенность мыслью и внутренний, глубинный пафос его военных корреспонденций — дань его поискам новой выразительности, поискам, завершившимся убедительной победой в «Десяти днях».

Наблюдения над происходящим в Европе побуждают Рида более пристально всмотреться в «домашние» дела. В 1916 году, вернувшись в США, он пишет очерк «Рузвельт их продал» — гневное обличение предвыборных махинаций и политической демагогии Теодора Рузвельта и других дартиных за-

правил. С горечью наблюдает Рид наивность и политическую незрелость массы делегатов партийного съезда — фермеров, рабочих, ремесленников. Эти люди преданы. Они — разменная карта в грязной политической игре.

Чем дальше влево отходит Рид в своих убеждениях, тем острее ненависть к нему его политических противников. В статье «Легендарный Джон Рид», появившейся в годы войны, Уолтер Липпман изображает его легкомысленным ловцом сенсаций. Липпман хочет внушить: не стоит серьезно относиться к тому, что говорит Джон Рид.

Да, Риду в высшей степени свойственно было жадное любопытство к жизни. Он нетерпеливо искал в ней свидетельства происходящих перемен. Он отметал всякое доктринерство, книжность и хилый эстетизм. Его ощущение времени сродни тому, о котором писал другой замечательный писатель Эгон Эрвин Киш: «Нет на свете ничего более сенсационного, чем время, в которое мы живем!.. Нет ничего более экзотического, чем окружающий нас мир, нет ничего бо-

лее фантастического, чем реальная действительность».

Но Рид никогда не был пассивным наблюдателем этой действительности. Тот «комментарий» жизни, который Рид дает в своих книгах, и сегодня, спустя сорок лет со дня его смерти, призывает к величайшей активности.

Опыт, почерпнутый Ридом из жизни, подводил его к новым выводам, и он смело делал их. В своей автобиографии, названной им «Почти тридцать», Рид писал: «Я не могу отказаться от мысли, что из демократии родится новый мир, который будет богаче, лучше, будет красивее существующего».

С этими убеждениями — важнейшим итогом прожитого — уезжал Рид в Россию в 1917 году.

Не будь за плечами у Рида Мексики, не будь школы войны, сделавшей из него убежденного интернационалиста, он не сумел бы так глубоко проникнуть в сущность происходящего в России, так ярко в своей знаменитой книге запечатлеть десять дней, которые потрясли мир.

И. КРАМОВ.

★

Политика и наука

Великий борец за мир

Еще до победы Октябрьской социалистической революции В. И. Ленин провозгласил: «Разоружение есть идеал социализма». Тщетно пытаются враги мира подвести какую-то «теоретическую» базу под свои лживые рассуждения о том, что идея мирного сосуществования якобы не вытекает из марксистско-ленинской доктрины, что эту животворную идею Советы выдвинули только в последнее время и что Ленин будто бы не допускал возможности мира между государствами с различным социальным устройством.

Американский философ-прагматист Сидней Гук утверждает, что марксистский тезис «капитализм — это война» означает отрицание сосуществования. А практик «холодной войны», заместитель государственного секретаря США Диллон в беседе с Н. С. Хрущевым в Кэмп Дэвиде не постеснялся за-

дать циничный вопрос: «А что такое сосуществование? Я этого не понимаю». Американские империалисты многого «не понимают».

Роли Ленина как вдохновителя и организатора борьбы за мирное сосуществование посвящена книга С. Выгодского «В. И. Ленин — руководитель внешней политики Советского государства (1917—1923 гг.)».

Автор показывает, как энергично и плодотворно занимался глава Советского правительства большими и малыми вопросами внешней политики. Организация Наркоминдела и инструктаж полпредов, подготовка проектов дипломатических нот и участие в переговорах с представителями иностранных держав, разработка директив советским делегациям на международных переговорах — всем этим занимался Владимир Ильич, возглавляя борьбу за достижение, а потом и закрепление мира.

Глава книги, рассказывающая об организации дипломатической службы Советского государства, является едва ли не первой попыткой систематизировать все то, что отно-

С. Ю. Выгодский. В. И. Ленин — руководитель внешней политики Советского государства (1917—1923 гг.). Общая редакция Ю. Л. Кузнец. 252 стр. Лениздат. 1960.

сится к роли В. И. Ленина в создании Наркоминдела. Автору удалось обнаружить в архивах ранее не известные материалы о подборе Лениным дипломатических кадров, о его участии 30 июня 1918 года в очень важном совещании. Выработанные на этом совещании решения легли в основу создания Наркомата иностранных дел Советской республики, формировавшегося в чрезвычайно сложной обстановке.

Большой интерес представляют впервые публикуемые материалы об упорной борьбе Наркоминдела за сохранение дипломатических контактов с Западом в конце 1918 года. Следуя указаниям Ленина, нарком иностранных дел Г. В. Чичерин всячески подчеркивал в своих указаниях, что Советское правительство крайне заинтересовано в развитии связей с капиталистическими государствами.

Первым серьезнейшим испытанием политики мирного сосуществования, испытанием зрелости и силы молодой советской дипломатии явилась борьба нашей страны за выход из империалистической войны. По этому вопросу имеется богатая литература. И правильно поступает автор, акцентируя внимание читателя на борьбе Советского правительства за всеобщий мир. Ведь до сих пор многие буржуазные авторы (например, американец Финлеттер) твердят об «измене» большевиков «союзникам», о пренебрежении Советов к договорам. Между тем факты и документы убеждают в обратном: Ленин, Советское правительство прилагали огромные усилия для заключения именно всеобщего мира. И лишь после того, как тщетность этих усилий стала очевидной, наша страна пошла на сепаратный мир.

Для характеристики антисоветской лжи, которой пробавлялась, да и сейчас еще пробавляется, часть буржуазной прессы, характерны приведенные в книге высказывания западных газет о Брестском мире.

Примечательно, однако, что и в те годы объективные органы печати сообщали правду о нашей внешней политике. Так, газета «Дейли кроникл» писала: «Нет доказательств, которые свидетельствовали бы, что он (В. И. Ленин.— К. Л.) желает сепаратного мира... Он стремится ко всеобщему миру на принципах, достаточно неприятных для Германии: без аннексий, без контрибуций и при условии самоопределения наций».

Подписание Брестского договора, завоевание мира было крупным успехом ленин-

ской внешней политики. Еще более знаменательной победой явилось установление нормальных отношений с капиталистическими государствами.

По указанию Ленина ВСНХ разработал план развития экономических отношений с США. Этот план глава Советского правительства направил представителю США Рэймонду Робинсу. Такие же усилия были приложены для установления торговых связей с Англией, Францией и другими капиталистическими странами.

Занятый многими чрезвычайно важными делами, Ленин все же находил время, чтобы проверить, как обстоит с экспортом и импортом, как выполняются соответствующие решения Совнаркома. Владимир Ильич исходил из того, что «именно развитие торговых сношений» открывает путь к вполне дружественным отношениям.

С интересом читается раздел о ленинской политике дружбы с народами Востока. Пройдут десятилетия, века, но прогрессивное человечество не забудет, что не кто иной, как Ленин, большевики первыми возвысили голос в защиту порабоженного Востока. Личное участие В. И. Ленина в переговорах с представителями Китая, Монголии, Афганистана, руководство переговорами с Турцией и Персией облегчили решение наиболее сложных вопросов. Выдающиеся политические деятели Востока — Сунь Ят-сен, Мустафа Кемаль (Ататюрк), Сухе-Батор — чрезвычайно высоко оценили роль Ленина в судьбах угнетенных народов Азии.

Предвестником неизбежного согласия Запада на мирное сосуществование с Советами была Генуэзская конференция. Задуманная как инструмент давления на Советскую Россию, она показала, что наша страна, разгромив интервенцию четырнадцати держав, тем более не отступит перед дипломатическим нажимом. Нензмненно принципиальная и в то же время достаточно гибкая тактика советской делегации, огромное внимание, проявленное Лениным к подготовке конференции, разработке инструкций, руководство ходом самих переговоров способствовали ослаблению антисоветского фронта. После Генуи Советская республика укрепила свои политические и экономические позиции.

Уроки Генуи и провал пресловутого «ультиматума Керзона» предопределили наступление в 1924 году полосы международного дипломатического признания Советского го-

сударства. «...налицо,— указывалось в резолюции XIV съезда ВКП(б),— закрепление и расширение «передышки», превратившейся в целый период так называемого мирного сожительства СССР с капиталистическими государствами...»

Книгу С. Выгодского отличает широкая постановка вопроса, обилие материала, хорошо аргументированные выводы. Автор уделил достаточно места разоблачению мифа о конъюнктурном характере мирной политики Советского государства, показал, что руководимое Лениным Советское правительство с первых дней своей работы стремилось к укреплению мира между народами.

Следует отметить, что издательство на этот раз не «побоялось» обилия ссылок. И это хорошо — широкий круг читателей сегодня интересуется не только фактическая сторона дела, но и источниковедческая база, которая подкрепляет те или иные выводы автора.

Нужно пожалеть, что в первой главе недостаточно обстоятельно показана разра-

ботка Лениным учения о мирном сосуществовании. К. Маркс и Ф. Энгельс исходили из одновременной победы социализма в ряде великих держав, а В. И. Ленин — из существования социалистической страны в капиталистическом окружении. Это вносило принципиально новые моменты в проведение советской внешней политики.

Но этот частный недостаток, как и другие, не меняет главного. Внимание к работе С. Выгодского тем более закономерно, что это первая книга, посвященная роли В. И. Ленина в разработке и осуществлении теории мирного сосуществования.

Над веками и народами высятся фигура великого друга трудящихся, замечательного миролюбца, человека, глубоко убежденного, что люди труда сумеют выбраться из созданной капитализмом «бездны страданий, мучений, голода, одичания» и придут «к светлому будущему коммунистического общества, всеобщего благосостояния и прочного мира...»

К. ЛЬВОВ.

★

Транспорт и связь в семилетке

Наша Советская держава раскинулась на территории, превышающей двадцать два миллиона квадратных километров. От года к году растет и крепнет ее экономика. Все более высокие требования предъявляет она к работе транспорта. Ведь чем обширнее территория страны, тем большую роль играет транспорт в ее хозяйственной жизни.

Сложное, большое и интересное это дело — транспорт! По выражению К. Маркса, он является четвертой отраслью материального производства. Но, как ни странно, читатель-неспециалист лишь с трудом найдет книгу о транспорте.

Уже по одному этому вызывает интерес выпущенная Госпланиздатом книга Е. Ф. Рудого и Т. И. Лазаренко «Развитие транспорта и связи в СССР. 1959—1965». Достоинство работы не только в том, что она дает представление, как будет выглядеть многогранное транспортное хозяйство нашей Родины к концу семилетки, еще раз напоминает некоторые цифры семилетнего

плана. Авторам в значительной мере удалось раскрыть и природу этих цифр как отражение успехов коммунистического строительства в нашей стране.

Содержание книги выходит за рамки ее названия: прежде чем перейти к изложению основной темы — коренной технической реконструкции транспорта в семилетке, — авторы знакомят, и притом достаточно подробно, с развитием социалистического транспорта начиная с первых же дней Советской власти.

Авторы четко определяют взаимозависимость развития транспорта и народного хозяйства, а также показывают рациональное, возможное лишь в условиях плановой экономики взаимодействие между различными видами транспорта. Например, для того, чтобы разгрузить железнодорожный и водный транспорт, будет значительно увеличен объем междугородных автоперевозок, резко возрастет транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, сеть которых увеличится в три раза.

Чтобы представить себе поистине грандиозные задачи, стоящие перед транспортом, достаточно вспомнить, что валовая продукция промышленности увеличится за семиле-

Е. Ф. Рудой, Т. И. Лазаренко. Развитие транспорта и связи в СССР. 1959—1965. Редактор И. С. Максимов. 116 стр. Госпланиздат. М. 1960.

тие примерно на восемьдесят процентов. В результате в 1965 году грузооборот наших железных дорог будет равен грузообороту железных дорог всех стран мира, вместе взятых, включая и США.

В чем же заключается коренная техническая реконструкция нашего железнодорожного транспорта? Основным ее звеном является замена паровозов современными экономичными локомотивами — электровозами и тепловозами. Организуется производство новых типов локомотивов, которые смогут водить поезда весом более трех тысяч тонн и развивать скорость до ста десяти километров в час. Значительно повысится выпуск вагонов, возрастет их грузоподъемность.

Намного увеличится протяжение электрифицированных линий; их предусмотрено довести до сорока пяти тысяч километров. При этом наряду с электрификацией отдельных участков будут электрифицированы целые направления.

Наряду с реконструкцией существующей сети железных дорог будет построено около двенадцати тысяч километров новых линий (то есть в три раза больше, чем за 1952—1958 годы) и восемь тысяч километров вторых железнодорожных путей.

Немаловажным условием реконструкции транспорта является внедрение новой техники, которая позволит значительно повысить производительность труда. По этому важнейшему экономическому показателю наш железнодорожный транспорт выйдет на первое место в мире.

Большие перемены произойдут и на морском транспорте — транспорте самых дальних расстояний, играющем основную роль в осуществлении торговых связей между СССР и странами, расположенными на других континентах. Суда будут оборудованы более экономичными силовыми установками — дизелями и турбинами. Общий тоннаж морского транспортного флота возрастет за семилетие примерно в два раза.

Значительно улучшится работа речного транспорта, о котором создалось представление как о самом тихом. Уже построены пассажирские теплоходы на подводных крыльях, развивающие скорость до семидесяти пяти километров в час.

Реконструкция коснется, конечно, и автомобильного парка. Значительно возрастет выпуск автомашин большой грузоподъемно-

сти. Будет введено в эксплуатацию около сорока пяти тысяч километров автомобильных дорог.

Одним из главных видов пассажирского транспорта станет воздушный. За семилетие гражданский воздушный флот обогатится многочисленными скоростными самолетами с турбовинтовыми и турбореактивными двигателями.

Теперь нам придется сказать несколько слов о важнейших недочетах в общем хорошей книги Е. Рудого и Т. Лазаренко.

Удивление вызывает раздел «Дальнейшее развитие связи». Ему уделено всего лишь неполных восемь страниц, хотя, судя по названию книги, связь является одной из главных ее тем. Кроме того, слово «дальнейшее» было бы уместным, если бы авторы ранее познакомили читателей с предшествующими достижениями связи.

В книге полнее всего освещен железнодорожный транспорт. Хотя он сохраняет ведущее положение в нашей стране, следовало все же подробнее рассказать и о некоторых весьма существенных элементах реконструкции других видов транспорта.

Говоря о комплексном использовании разных средств транспорта, авторы не познакомили читателя с важной проблемой переправы железнодорожных составов через водные рубежи при помощи самоходных дизель-электрических паромов-вагонов отечественного производства. Это новшество было уже опробовано на Керченском проливе; семилетним планом предусмотрено применить его на Каспийском море (линия Баку — Красноводск). Интересен был бы рассказ и о мелкосидящих танкерах и хлопковозах, обеспечивающих доставку без перегрузки нефтепродуктов из Баку в Астрахань и хлопка из Красноводска непосредственно к месту назначения — в Кинешму на Волге. В последнем случае эти же транспортные средства будут использованы для перевозки лесных грузов в обратном направлении.

Авторы упоминают о железнодорожных подъездных путях промышленных предприятий. На них осуществляются погрузочно-разгрузочные работы, превышающие примерно в пятнадцать раз по объему эти операции на железнодорожных путях общего пользования. Однако что представляют собой пути промышленных предприятий, авторы не поясняют.

В книге лишь вскользь упомянута роль науки в реконструкции транспорта. Конечно, этот раздел заслуживал большего места, чем четыре страницы.

Хорошо, если наши издательства выпустят еще не одну книгу о транспорте — этом важнейшем нерве экономики нашей страны.

Инженер В. ЛЕВАЧЕВ.

★

Кандидат в президенты

Американская пропагандистская машина неистовствует. На «среднего американца», который теперь, накануне президентских выборов в США, стал весьма уважаемой персоной — избирателем, — обрушился целый шквал статей и фотографий. С обложек журналов, с газетных страниц, с экранов кино и телевизоров на него смотрят улыбающиеся лица двух кандидатов в президенты, представителей крупнейших — и богатейших! — политических партий. Печать и радио сообщают мельчайшие подробности не только о каждом поступке соперников, но и об их женах, детях и даже о домашних животных. Ведь как знать, веселая собака или ласковая кошка могут растрогать избирателя и завербовать его голос... Короче говоря, избиратели знают о своих кандидатах все, кроме истинных их мыслей. Дают ли правильное представление об этом посвященные героям сегодняшних выборов книги?

Раскроем одну из них: «Ричард Никсон. Политик и человек». Автор книги Э. Мазо, как представляет его читателям издательство, путешествовал с Никсоном по Африке, Европе, Южной Америке. Сам автор не утаивает, что его задача была не из легких. Ему пришлось «создать портрет одного из самых боязливых, обожаемых, недоверчивых, непонятных и властных людей во всей американской истории». К счастью, ему, по его словам, помогало «около тысячи человек». Итак, перед нами в некотором роде коллективный труд людей, хорошо знающих вице-президента. О чем же они сообщают? О многих фактах, но не обо всех. Ведь реклама — двигатель торговли...

На политической арене Никсон появился в 1946 году — он был избран в палату представителей от штата Калифорния. Через два года он был переизбран, а в 1950 году прошел в сенат. Это произошло при активном содействии со стороны влия-

тельных калифорнийских нефтепромышленников, банкиров и монополистов. Избирательная кампания стоила им полтора миллиона долларов. Кандидатуру Никсона поддержали и херстовские газеты штата.

Во время избирательной кампании 1952 года было выявлено, что в Калифорнии имеется негласный «Фонд Никсона», созданный еще в 1946 году из взносов семидесяти шести предпринимателей. Очевидно, они видят в Никсоне верного защитника своих интересов.

С самого начала своей карьеры Никсон пользовался особым благоволением печально известного сенатора Маккарти. Автор книги пишет о своем герое: «Он представляет собой удивительную комбинацию качеств, напоминающих Линкольна, Теодора Рузвельта, Гарри Трумена и Джозефа Маккарти». Каким образом уживаются вместе качества Линкольна и Маккарти, остается секретом автора. По мнению Эдлая Стивенсона, «Никсон представляет собой маккартизм в белой оболочке». Действительно, нужно отдать Никсону справедливость: действует он не так грубо и прямолинейно, как Маккарти, всегда рубливший с плеча.

Свою ненависть к коммунизму Никсон никогда не скрывал. Уже в начале своей политической деятельности он зарекомендовал себя как представитель наиболее реакционного крыла республиканской партии. Его имя связывали с разными неприглядными историями. Не случайно американский карикатурист Хэрблук в газете «Нью-Йорк геральд трибюн» и других изобразил Никсона с засученными рукавами, разгребаящим грязь в сточной канаве.

В качестве члена палаты представителей Никсон был одним из активных участников и организаторов пресловутой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Несмотря на это, автор приводит ряд высказываний Никсона, направленных на первый взгляд на защиту интересов американских рабочих. Но вот мнение о Никсоне американского профсоюзного объеди-

Earl Mazo. Richard Nixon. A political and personal portrait. New York. 1959 (Эрл Мазо. Ричард Никсон. Политик и человек. Нью-Йорк. 1959).

нения АФТ—КПП: «Никсон, с точки зрения профсоюзов, мало сделал для рабочего законодательства. В пятнадцати случаях, когда обсуждались законопроекты об отношениях между рабочими и предпринимателями, Никсон только один раз голосовал в интересах профсоюзов... Он голосовал за закон Тафта—Хартли в 1947 году. Никсон, будучи вице-президентом, своим решающим голосом помешал пересмотру и возможному отклонению прошедшей через сенат поправки к закону 1959 года об отношениях между рабочими и предпринимателями, что упорчило антирабочий характер этого закона».

В качестве члена комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Никсон преследовал прогрессивных деятелей Голливуда. Он — соавтор первоначального законопроекта о «контроле над подрывной деятельностью», который впоследствии стал известен как «закон Маккарэна».

В 1948 году Никсон принимал деятельное участие в так называемом «расследовании коммунистического шпионажа» в США и разработке «правил проверки лояльности государственных служащих». Никсон особенно неистовствовал, добиваясь обвинения высокопоставленного чиновника госдепартамента Элджера Хисса в «шпионаже». Этому делу в книге Мазо посвящена целая глава. Мы узнаем о том, что Никсон муссировал версию о подрывной деятельности в правительстве, о проникновении «коммунизма в правительство» и т. д. Даже экс-президент Трумен жаловался как-то, что Никсон называл его «предателем».

И в нынешней антисоветской кампании кандидат в президенты играет не последнюю скрипку. Выступая в январе в Чикаго, он провозгласил: «Мы должны признать, что величайшая опасность, нависшая над нами, находится скорее вне военной, чем в военной области... Это атеистический, коммунистический материализм».

Но Никсон не ограничивается областью идеологии. После неудач, постигших шпионские самолеты «У-2» и «РБ-47», он открыто высказался за продолжение военных провокаций против СССР.

Многое в книге Мазо достоверно. Но о многом автор умалчивает. Вот один пример. В 1958 году он в качестве корреспондента газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» сопровождал Никсона в его поездке по странам Латинской Америки, которая от-

нюдь не принесла лавров вице-президенту. Отчет об этом путешествии Мазо опубликовал в упомянутой газете в мае 1958 года. В книге эти строки начисто отсутствуют. Напомним о них читателям:

«Вице-президент Никсон едва избежал серьезного ранения или смерти, когда 13 мая в Каракасе демонстранты напали на его лимузин. Вице-президента забросали камнями, яйцами и заплевали. Он был засыпан стеклом, когда стекла в машине были разбиты. Толпа пыталась вытащить Никсона из машины, а когда это не удалось, перевернуть ее. Супругу Никсона также забросали осколками, камнями, пустыми консервными банками и палками, а также оплевали. Демонстранты несли лозунги «Отправляйся домой, Никсон; ты осел!», «Мы не забудем Гватемалу» и другие. Толпа несла большие плакаты с карикатурой, на которой Никсон был изображен в виде вампира, пьющего кровь Венесуэлы». После такой «триумфальной» встречи Никсон свернул свою поездку и спешно вернулся в Вашингтон.

В июле прошлого года вице-президент прибыл в Москву на открытие Американской национальной выставки. В своих многочисленных речах он пытался прославлять «прелести» капитализма, но советские люди оценили по заслугам эти разглагольствования.

В последнее время Никсон часто выступает. Если в 1950 году во время кампании за избрание его в сенат Никсон произнес за шестнадцать недель тысячу речей, то за время настоящей, по недавнему заявлению самого Никсона, «наиболее интенсивной и широкой предвыборной кампании в истории страны» их будет, вероятно, намного больше. Как видно, вождьеленное кресло в Белом доме дается не просто.

Однако количество произносимых речей обратно пропорционально их качеству. Вот один пример. Выступая 21 июня этого года в Сент-Луисе на национальном съезде молодежной торговой палаты и превознося, как обычно, капиталистический строй, Никсон настолько запутался в экономических вопросах, что известный обозреватель Уолтер Липпман вынужден был заметить: «Если судить по речи в Сент-Луисе, Никсон не понимает проблемы. Если он хочет, чтобы его обещания избирателям принимались всерьез, ему придется научиться модной салонной болтовне о росте». Действи-

тельно, можно ли принять всерьез следующие уверения Никсона: «Огромная часть нашего национального капитала состоит из домов американцев и того, что в них есть. Большинство наших насчитывающихся миллионами домов по существу представляет собой заводы в миниатюре, мощно оснащенные капитальным оборудованием, таким, как холодильники, телевизоры и легковые автомобили».

Насколько эта нарисованная Никсоном картина далека от действительности, можно судить хотя бы по выступлению его соперника на предстоящих выборах сенатора Кеннеди, заявившего: «Вице-президент США говорит о том, что американцы «живут сегодня лучше, чем когда-либо раньше». Факты, однако, таковы, что семнадцать миллионов американцев каждую ночь ложатся спать голодными, пятнадцать миллионов семейств живут в плохих домах».

Эти слова подкрепляются заявлением Консультативного совета Национального комитета демократической партии, в котором говорится: «Рост трущоб угрожает разрушить американские города. Если ликвидация имеющихся трущоб будет проходить прежними темпами, то потребуется по крайней мере сто лет, чтобы их расчистить, а между тем каждый год возникают новые трущобы».

А вот еще одно свидетельство. Член конгресса Миллер в мае минувшего года заявил: «Сейчас в Соединенных Штатах насчитывается тринадцать миллионов жилищ, непригодных для жилья. При таких темпах строительства понадобится двести—триста лет для того, чтобы уничтожить трущобы».

Вот чего стоит объективность «трюкача Дика» (так называют в США Никсона), считающего демагогию лучшим способом ведения избирательной борьбы, а теорию балансирования на грани войны «основным принципом высшего порядка». Небезынте-

ресны взгляды Никсона на другие ключевые проблемы современности:

О разоружении: «Ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты и их союзники не должны сокращать свои силы».

О советско-американских отношениях: «Свободный мир находится в таком конфликте с Россией, который, возможно, не будет решен в течение пятидесяти лет».

В конце августа Никсон опубликовал пространное заявление, озаглавленное «Значение коммунизма для американцев». Лейтмотивом этого «программного» документа является излюбленная вице-президентом концепция об «опасности миру и свободе со стороны воинственной агрессивности международного коммунизма». Обозреватель газеты «Нью-Йорк пост» Уильям Шэннон высмеял это заявление, назвав его удивительно путаным, двусмысленным и противоречивым.

Американская ультрареакционная пресса рекламирует Никсона, всячески подчеркивая его антикоммунизм, его враждебность к профсоюзам, его реакционность и воинственность. Но такая реклама далеко не всем по вкусу. Вот что писала, например, о Никсоне мексиканская газета «Диарио де Мехико»: «Никсон — это поборник несдержанности и грубости, палладин холодной войны, человек, который после Даллеса больше всех способствовал возникновению во всем мире враждебного отношения к Соединенным Штатам».

Именно таков портрет Никсона — политика и человека.

Объективность — не частый гость в книгах буржуазных журналистов. В этом лишний раз убеждаешься, читая книгу Э. Мазо. Она рекламирует одного из кандидатов в президенты США, дискредитировавшего себя в глазах честных людей всего мира еще на посту вице-президента.

В. МОЛЧАНОВ.

★

Разведчики без масок

В журнале «Тайм» был помещен снимок, несомненно заинтриговавший читателей. Судя по подписи, он изображал класс-

Владислав Минаев. Тайное становится явным. Редактор Н. А. Бубнов. 328 стр. Воениздат. М. 1960.

ные занятия в армейской лингвистической школе, расположенной в городе Монтерей (США). Но почему-то один из слушателей был одет русским крестьянином и к тому же замахивался молотком на другого — в форме американского парашютиста. Раз-

гадка этого не совсем обычного упражнения в области языкознания заключалась в том, что на занятии обрабатывалась тема «Прыжок с парашютом над неприятельской территорией».

О том, что тема не носила чисто академического характера, теперь хорошо известно всему миру. Шпионский полет Пауэрса на самолете «У-2» также закончился прыжком «над неприятельской территорией», правда, заранее не запланированным.

Неудача, постигшая Пауэрса, несколько не охладила пыл американской разведки. Вскоре была совершена вторая попытка проникнуть в пространство над Советской страной. И снова конфуз: американский военный самолет «РБ-47» разделил судьбу «У-2». Обе провокации против Советского Союза — закономерное следствие того, что впервые в истории международных отношений шпионаж — и притом в мирное время! — возведен Соединенными Штатами в ранг государственной политики.

О коварных методах, которые широко практикуют США и их союзники, об истории тайной войны против Советского Союза и всего лагеря демократии и социализма рассказывает В. Минаев в своей книге «Тайное становится явным» (к слову сказать, разведка капиталистических стран тщетно стремится явное сделать тайным).

В книге встречаются кое-какие знакомые факты, взятые из прежних работ В. Минаева, посвященных аналогичной теме. Но основное ее содержание составляют новые свидетельства преступной деятельности прислужников и охранителей капитала. Число таких фактов все растет. К чести Восниздата нужно отметить, что, хотя книга была подписана к печати в середине мая, мы уже находим в ней, например, бесславную историю разведчика Пауэрса, сбитого, как известно, советской ракетой первого мая.

В книге В. Минаева перед читателем развертывается длинный список преступлений, характеризующих настойчиво проводимую подрывную деятельность империалистических разведок начиная с самого рождения Советского государства. Никогда не прекращалась тайная война мира отживающего, дряхлеющего, исторически обреченного против молодого мира социализма, набирающего силы, уверенно идущего в светлое коммунистическое будущее. Даже в годы

войны против гитлеровской Германии, когда ряд капиталистических государств выступал в роли союзников СССР, империалисты ни на минуту не забывали «направления главного удара», которым была для них борьба не столько против фашизма, сколько против коммунизма. Мы находим в книге следующий показательный факт.

Во время гражданской войны и интервенции некий Джордж Хилл находился в Советской России и выполнял специальные задания английской разведки. Через некоторое время он выпустил книгу «Иди и шпионь! Приключения агента английской разведки I.K.8». И вот этого самого Хилла правительство Англии послало в тяжелый 1942 год в Москву в качестве главы специальной военной миссии для обеспечения военного сотрудничества обеих стран. Немало сведений о прогитлеровской деятельности английской разведки имеется в известной книге Ральфа Ингерсолла «Совершенно секретно».

После окончания второй мировой войны подрывная деятельность против СССР значительно усилилась. Очень быстро нашли общий язык разведки бывших врагов — США и Англии, с одной стороны, и ФРГ — с другой. В одной упряжке оказались Центральное разведывательное управление США (Си-Ай-Эй), английская «Интеллидженс сервис» и западногерманская «организация Гелена». Немалым подспорьем для них служит разведка НАТО, а также разведка «святого престола», которую обслуживает вся католическая церковная иерархия. Располагая огромными средствами, эти шпионские организации в широких масштабах ведут разведку не только на земле, на воде и в воздухе, но и под водой и под землей (вспомним хотя бы историю подкопа, проведенного в Западном Берлине американской разведкой к линиям связи советских войск и к линиям связи ГДР).

Нет возможности даже перечислить все те коварные приемы, к которым не гнушаются прибегать империалистические разведки. Особенно подробно автор рассказывает о заговорах против стран народной демократии.

С малоизвестными фактами знакомит глава «Тайные силы колониализма». Ареной деятельности шпионских организаций давно уже стали Ближний и Средний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка. Сейчас

под колонизаторами горит земля, но тем отчаяннее становятся их усилия. Диверсии и провокации следуют одна за другой. И если тщательно проследить, куда ведут нити шпионажа, выходящие в запутанном лабиринте колониальной политики, то мы неизменно найдем один источник — американская или английская разведка.

Меньше других удалась автору глава «Разведка в области науки и техники». Она слишком концептивна по сравнению с другими и не дает достаточно полного представления о тех больших усилиях, которые прилагают руководители американского шпионажа к столь «перспективной» области разведки.

Ведь сам автор приводит откровенное высказывание директора американского Национального научного фонда: «Мы, возможно, выиграли от научных открытий, сделанных в другом месте, больше, чем какая-нибудь другая мировая держава... Усовершенствование радара, атомной бомбы, реактивных самолетов и пенициллина осуществлялось в Соединенных Штатах на основе иностранных открытий и исследований, к которым мы имели легкий доступ». Итак, несменяемый глава всех американских секретных служб Аллен Уэлш Даллес «приложил руку» и к прогрессу науки и техники в США.

Сбор ценной научной информации идет по самым различным каналам. Одно из рекламных объявлений Миннесотского университета гласило: «В аспирантуре введен элементарный курс разведывательной работы, цель которого состоит в обеспечении квалифицированного персонала для военных и гражданских постов». Почти вся деятельность Американского института тихоокеанских отношений заключается в выполнении специальных заданий правительства США. Иельский университет организовал экспедицию в Индию и Непал для «поимки одной редкой птицы». Экспедицию возглавил бывший сотрудник Бюро стратегических услуг. Нужно полагать, что он не занимался погоней за синей птицей, а имел более реальные задания... Мы находим в книге ряд других аналогичных примеров.

Автору следовало подробно рассказать о высокой технической оснащенности американской разведки, располагающей всеми достижениями современной науки и техники — от микрофонов-малюток, монтируемых

в зажимы для галстук, до огромных радиолокационных установок.

Руководители разведки США уже не довольствуются тем, что густая сеть американского шпионажа опутала почти весь земной шар. Приведем выразительную цитату из газеты «Уолл-стрит джорнэл»: «Теперь, когда Россия доказала, что она может сбивать американские шпионские самолеты, Соединенные Штаты ускорят разработку нового метода заглядывания за железный занавес — с помощью искусственных спутников. Без шума, очень тактично — в попытке избежать нового скандала — Пентагон выясняет возможности создания искусственного спутника — разведчика «Самос». Эта миниатюрная луна будет снабжена приборами телевизионного типа для разглядывания советской территории, когда спутник будет двигаться по орбите на высоте в сотни миль. Его задача будет состоять в установлении местонахождения баз для запуска ракет, аэродромов, промышленных предприятий и всех сосредоточений коммунистического военного снаряжения».

Кроме проекта «Самос», существуют и другие проекты и приемы, преследующие те же шпионские цели. К ним относится, например, так называемая «операция прощупывания», которую проводит самолет, предназначенный для электронной разведки. Именно такое задание пытался выполнить экипаж шпионского самолета «РБ-47».

О сущности операции «Элинт» (электронная разведка) подробно рассказали бывшие сотрудники Национального агентства безопасности США Вильям Мартин и Бернон Митчелл, отказавшиеся от американского гражданства и получившие право политического убежища в СССР. Облеты американскими самолетами границ Советского Союза над его территорией, сказали они, носят регулярный характер, и количество таких полетов далеко превышает все предположения американского народа. Мартин и Митчелл подчеркнули, что собрание сведений относительно радарной обороны (такова цель электронной разведки) не имеет никакого отношения к выяснению вопроса о том, готовится ли Советский Союз к внешнеполитическому нападению. Эти сведения могут быть использованы только для определения оборонного потенциала Советского Союза.

Сообщив множество подробностей о ко-

варной деятельности НАБ, Мартин и Митчелл привели ряд бесспорных доказательств подрывной политики, проводимой США, которая целиком подчинена развязыванию войны против Советского Союза и других социалистических стран.

Последним «достижением» в области подрывного искусства является так называемая «стратегия разложения», или иначе — психологическая война. Несмотря на все попытки американской печати извратить суть этой острейшей формы тайной войны (на это, в частности, были направлены выступления в прессе США такого мастера дезинформации, как Антони Льевьери), народы социалистических стран распознали кровавную суть «стратегии разложения».

Много методов существует для борьбы со шпионажем, но главным средством, никогда не дающим осечки, является высокая бдительность советских людей, бдительность, которая всегда была и остается проявлением горячей любви к Родине, предан-

ности Коммунистической партии. В своем выступлении в мае 1960 года на Всесоюзном совещании передовиков соревнования бригад и ударников коммунистического труда Н. С. Хрущев сказал: «Сейчас важнее, чем когда-либо, повышать бдительность народов, разоблачать происки агрессивных сил, добиваться, чтобы принципы мирного сосуществования стали действительной основой в отношениях между государствами с различным социальным строем».

Книга «Тайное становится явным» вышла в свет своевременно. В ней собрано много фактов. С некоторыми из них люди старшего поколения хорошо знакомы. Молодежь, для которой эта книга будет особенно полезна, узнает о них, быть может, впервые. Но любой советский читатель, осмыслив прочитанное, несомненно сделает тот единственно правильный вывод, к которому и подводит вся книга.

А. ИГЛИЦКИЙ.

★

Птенец гнезда Петрова

Имя Андрея Константиновича Нартова давно и прочно вошло в историю русской техники. О нем вспоминает еще Ломоносов, в научных трудах оно встречается на протяжении вот уже двухсот лет. И все же только сейчас впервые получили мы подлинно научную биографию этого поистине замечательного человека.

Биографическая повесть о Нартове — плод двадцатилетних целеустремленных и упорных изысканий известного знатока истории техники академика АН УССР В. В. Данилевского. Композиционное своеобразие определило оригинальность этой книги. Сюжетом становится поиск, документы выступают как «действующие лица» — исторические свидетели обвинения или защиты. Автор ведет нас дорогой своих исследований, дорогой увлекательной и трудной, заражая пафосом научного открытия.

Давным-давно забытый поденный журнал сенаторской комиссии, приказ воинского морского флота, с пристрастием прочитанный, какие-то, казалось бы, всего лишь попутные упоминания в печати — как много

могут они сказать, заставить насторожиться, подвигнуть к новым поискам! И вот В. Данилевским найдены в архивах сотни неизвестных документов, называющие множество крупнейших изобретений А. Нартова в различных областях техники, найдена, наконец, пребывавшая двести лет в неизвестности ценнейшая рукопись А. Нартова «Театрум махинарум, то есть Ясное зрелище машин».

Документы истории свидетельствуют истину, сметают, как ветхую пыль, установившуюся веками, казалось бы апробированную временем и авторитетами версию.

Веха за вехой открывая подлинную правду о человеке, впервые, вместе с Ломоносовым, в петровские времена поднимавшем в российской Академии знамя борьбы за русскую науку, автор показывает нам, как трусливо ненавидели Андрея Нартова «ученые» типа пресловутого Шумахера, засевшие в Академии, как непримиримо боролся с ними Нартов — соратник Петра I, друг Ломоносова и Эйлера. И мы видим, как злобно мстили ему недруги — мстили и после его смерти. Из поколения в поколение бытовала пущенная ими легенда: «Царский токарь. Денщик Петра. Всего-навсего масте-

В. Данилевский. Нартов. Редактор Т. Гладков. 174 стр. «Молодая гвардия», М. 1960.

ровой. Никакого отношения к науке не имеет...» В буржуазной историографии этот взгляд укоренился настолько, что даже академик Л. Н. Майков, впервые в 1891 году опубликовавший полностью знаменитое сочинение Нартова «Достопамятные повествования и речи Петра Великого», снабдил этот замечательный труд примечаниями, которые сводили на нет всю его ценность: рассказы о Петре сподвижника Петра, записки, законченные Нартовым в 1727 году, были низведены Майковым до некоего странного плагиата.

Лишь в наше, советское время преодолена эта клеветническая и столь устоявшаяся версия. Большую исследовательскую работу провели советские историки, устанавливая истину. И все-таки немало еще загадок в судьбе Андрея Константиновича Нартова. Нужно восстановить во всех деталях доподлинную жизнь его.

Уточнять и воссоздавать пришлось все. Даже год рождения и день смерти. 1680, 1683, 1693, 1694 — все эти даты рождения встречались у разных авторов. Большая Советская Энциклопедия называет как возможный год рождения Нартова 1680 или... 1694! Дату смерти указывала надгробная надпись: на плите надгробия значилось «1756 года апреля 6 дня». Но и сама могила Нартова найдена только лишь в сентябре 1950 года. Внимание исследователя привлекли некоторые малые несоответствия при сравнении фактов. И оказалось: нельзя доверять без проверки даже такому «документу», как плита надгробия. Установлено: Нартов скончался не шестого, а шестнадцатого апреля.

Подлинность двух портретов Нартова — и ту нужно было доказывать. Мы прослеживаем в книге этот путь длительных и специфических поисков, совместных усилий ученых различных и далеких областей знаний, вплоть до судебной экспертизы. И вот наконец сомнительное превращено исследователем в достоверное. Даже «портреты А. К. Нартова, — говорится в книге, — уже сами по себе опровергают неверные представления о нем. С обоих портретов глядит на нас... человек большого ума и богатой духовной жизни, волевой, собранный, уверенный в своих силах. человек высокой культуры».

И снова документы, справки, письма, исторические упоминания, логические сопоставления... Строка за строкой все ярче воз-

никают перед нами перипетии этой далекой и замечательной жизни. Мы попадаем к старым московским токарям-умельцам, чудесным русским мастерам, среди которых вырос и у которых воспитался Нартов. Зоркий глаз Петра заметил талантливого мастера-вожара, Нартова увозят в Петербург, и Петр дает птенцу гнезда своего возможности для развития и проявления способностей. Мы следим, как Андрей Нартов обогащает мировую техническую науку все новыми и новыми открытиями.

Нартовым созданы чудо-станки автоматического действия — копируемые, уникальные, не известные ни в одной стране мира. За рубежом конструкции с суппортами, аналогичными нартовским, удалось воспроизвести лишь спустя почти семьдесят лет. Нартов проектирует и сооружает подъемные краны, строит Главный канал и доки в Кронштадте.

Выдающийся ученый, интереснейший писатель, великий инженер и изобретатель, на многие годы опередивший технические взгляды и достижения своего времени, — вот кого имела Россия в лице Нартова, вот каким встает перед нами основатель школы отечественного машиностроения, тот, кого неучи от науки злобно и упорно называли «всего-навсего мастеровой».

В своей книге «Ясное зрелище машин» Нартов пишет: «Человеческое понятие двойным образом в мысли определяется, Теорией и Практикою, или самым опытом». В. Данилевский сумел раскрыть перед читателем «теорию и практику» выдающегося русского самородка.

Достоинство самой высокой похвалы то, что наследство Нартова В. Данилевский настойчиво вводит в обиход современников, делает его активной силой нашего времени. Любопытный факт сообщает автор биографии. Летом прошлого года в руки одесского токаря-новатора попал большой специальный труд В. Данилевского «Нартов и Ясное зрелище машин». И советский рабочий, используя некоторые идеи Нартова, на их основе изобрел приспособление к обычному токарному станку, которое позволило в несколько раз повысить производительность станка при обработке первичных фасонных деталей.

Интересно написанная биография Нартова — бесспорная удача В. Данилевского. Хорошо, что издательство «Молодая гвардия» выпустило эту отличную книгу именно в се-

рии «Жизнь замечательных людей» и именно в нынешнем году, который до некоторой степени является юбилейным для серии: вышла уже трехсотая книга «ЖЗЛ». Такая обширнейшая библиотека биографий — определенное культурное достояние нашего народа.

Но, закрывая книгу о Нартове, невольно задумываешься вот о чем. Если деяния и думы Нартова через двести лет смогли натолкнуть на живое творчество нашего современника, как же нужны читателю книги о выдающихся деятелях науки и техники и изобретателях! И сколь плодотворным могло бы оказаться воздействие примера жизни и труда людей советской эпохи. Ведь еще не раскрыта в их биографиях даже такая

замечательная страница советской истории, как электрификация России. Как ждут своих авторов рассказы об инженерах, создавших советскую технику, о ком еще так свежа память, о ком здравствующие ныне их соратники могут столь много дать материалов исследователю.

С глубокой благодарностью и уважением мы прослеживаем труд ученого и писателя, который по крупницам собирает в архивах новые сведения о том или ином человеке, событии. Какое это благородное дело! И какое трудное оно спустя годы и годы.. Вот почему не выслушать, не записать воспоминания самих участников и очевидцев событий, пока это возможно, — невозместимая потеря!

А. МЛЫНЕК.



Т Р И Б У Н А Ч И Т А Т Е Л Я

О РОМАНЕ «ЛЮБОВЬ ИНЖЕНЕРА ИЗОТОВА»

До сих пор в редакцию «Нового мира» приходят письма читателей по поводу напечатанного в нашем журнале в начале этого года романа Н. Давыдовой «Любовь инженера Изотова». Таких писем набралось уже несколько десятков. обстоятельные отзывы о романе прислали: М. Алданова, аспирант Саратовского университета; Р. Брацлавская, из Киева; Г. А. Головин, геолог из Вологодской области; А. Г. Жаров, из Калининграда; В. Г. Жирухин, учитель из Рязани; Г. С. Зайцева, учительница из Уфы; Г. И. Зинченко, закройщица из Киева; А. А. Коваленко, из Ленинграда; Б. В. Козлов, из Рославля; Н. Н. Кузнецова, преподаватель из Омска; М. Кузовкина, библиотекарь из Новокуйбышевска; И. А. Куракин, из Полярного; Г. Г. Мамонтова, преподаватель из Вологды; Н. Михайлова, кассир со станции Уймень Горно-Алтайской автономной области; М. Б. Непомнящий, преподаватель Ленинградской военно-политической школы; т. Пешаков, из Горького; В. Платов, из Петрозаводска; Е. В. Сандлер, из Свердловска; М. В. Силич, из Вильнюса; Л. К. Смирнова, геолог из Ленинградской области; Д. И. Устинов, из Уссурийска; В. Фишелев, из Кубинки Московской области; Е. С. Шарнина, персональный пенсионер из Новосибирска; Л. Шевякова, библиотекарь из Джезказгана; И. И. Халчев, из поселка Дубно Тульской области. Кроме того, редакцией получено значительное количество откликов, касающихся отдельных сторон, образов, языка романа Н. Давыдовой.

Мнения авторов писем о романе «Любовь инженера Изотова» различны: одни недовольны произведением, другие хвалят его, третьи видят в нем и достоинства и недостатки. Некоторые читатели оспаривают появившиеся в печати односторонние рецензии на роман Н. Давыдовой. Редакция «Нового мира» тоже не согласна с односторонне критическим подходом к роману и не считает, что допустила ошибку, напечатав его. Но нам кажется, что писательница (письма читателей ей пересланы) должна учесть все справедливые замечания читателей. Разумеется, известная доля вины за недостатки романа падает и на редакцию «Нового мира», которая могла бы оказать писательнице большую помощь.

Редакция благодарит всех читателей, откликнувшихся на публикацию романа «Любовь инженера Изотова». Ниже печатаются некоторые из присланных откликов.

Уважаемый товарищ редактор!

Недавно в Вашем журнале я прочла роман Н. Давыдовой «Любовь инженера Изотова», и, хотя мне никогда не приходилось писать писем в журналы, я решила высказать свое мнение об этом романе.

Первая часть романа читалась с большим интересом, и казалось, что автор в образе Таси, Алексея и других героев показывает настоящих советских людей, умеющих преодолевать на своем пути все трудности. Однако по мере развития действия романа автору почему-то захотелось описать настоящих мещан, лишенных чести и принципов, вызывающих своим поведением глубокое чувство возмущения.

Книга имеет очень много общего с романом «Битва в пути». Но Тина показана

Г. Николаевой как волевой, сильный человек, который способен и любить и работать. И если ей случилось полюбить женатого человека, то у нее хватает ума ни на что не надеяться, и она не хочет, чтобы Бахирев оставил семью.

Любовь Тины помогала Бахиреву в его тяжелом труде. Образ Тины настолько обаятелен, что понимаешь, за что ее любят. А вот за что можно полюбить Тасю, совершенно непонятно. Неужели только за то, что она красива? Ведь она перед собой не видела никакой цели в жизни, не сумела понять и по-настоящему полюбить Алексея и вдруг «внезапно» влюбилась в директора завода, в настоящего ловеласа. В конце она становится не похожей на себя и думает только о том, как бы угодить Анд-

рею Николаевичу, совершенно теряя свое достоинство. В конце книги ее даже не жалеешь, а просто презираешь.

Вызывает возмущение поведение всех героев. Прочтя такую книгу, можно подумать, что в жизни не существует ни одной порядочной семьи. Все герои книги почему-то несчастливы в личной жизни. Причем причины самые различные.

Образ директора завода и как руководителя и как человека очень неприятен, и непонятно, как такой человек может руководить таким большим заводом.

К сожалению, в жизни еще встречаются пошлые, низкие люди, но они не заслуживают того, чтобы их так подробно описывали в романах. И если к тому же им не противопоставлено ничего лучшего, то получается, что таким и надо быть.

И очень обидно, когда способный автор пишет такую не нужную никому книгу.

Р. БРАЦЛАВСКАЯ.

г. Киев.

* * *

Уважаемая редакция!

Только что дочитала помещенный в вашем журнале роман Н. Давыдовой «Любовь инженера Изотова».

Искренне удивлена, как могла эта вещь, слабая в художественном отношении, не отличающаяся глубиной идейного содержания, найти себе место в одном из ведущих литературно-художественных журналов.

Я не собираюсь подробно анализировать этот роман (кстати, не правильнее ли было назвать это произведение повестью?), разбирать его композиционную структуру, сюжетные линии и пр. и пр. Я просто хочу сказать о своем первом впечатлении о книге, которая не удалась. И главная беда, по моему, в том, что в ней нет психологической глубины в раскрытии характеров. Это касается и главных героев (Тася, Терехов, Изотов) и второстепенных (Кресс, Рыжов, Калинин и другие), которые мелькают, не оставаясь в памяти читателя.

Роман назван громко: «Любовь инженера Изотова». Да правильно ли это название, соответствует ли оно содержанию? Показана ли настоящая большая любовь настоящего хорошего (по замыслу автора, а не по исполнению) человека? Скорее всего, здесь показач «роман» директора-пошляка с молодой девишкой. Только и всего. А инженер Изотов с его любовью —

на втором плане. Но даже и в «романе» Терехова с Тасей (который, кстати, занимает неоправданно много страниц) нет достаточной убедительности и оправданности. Во второй части рассказывается о вспыхнувшей внезапно любви Таси и Терехова. И любовь эта кажется настоящей не только со стороны Таси, но и Терехова. (Об этом говорят и их поездка на теплоходе, и первые встречи в Москве, и возвращение Терехова домой на самолете.) И вдруг сразу — флирт с Зоей. Чувствуется, что это нужно было писательнице для того, чтобы разоблачить Терехова в глазах Таси. А любовь Таси? Сразу же, молниеносно поняла она, какого пошляка любила, сразу же выбросила его из головы, стала думать о нем с отвращением. Полно, бываю ли такие мгновенные реакции в жизни?

И еще несколько слов о моральном облике героев. На мой взгляд, это мир каких-то пошляков: Терехов, «барин и генерал», с его интрижками, его жена, в прошлом, по словам автора, неплохой человек, но в настоящем — мешанка (или что-то вроде этого); приятели Терехова, директора, приглашающие «девочек» погулять с ними; знакомые Таси — Саша и Рита — весьма непривлекательные люди; потерявшая голову, опустившаяся Мария Ивановна со своей любовью к пьянице-квартиранту и пр. и пр.

Выделяясь из их среды, Алексей Изотов тоже в моральном отношении не безгрешен (последняя встреча с Валею. Кстати, к чему она?).

Нет, не таких героев ждут наши читатели. Хочется видеть настоящих советских людей с их высоким строем мыслей и чувств. Таких героев нет в романе Давыдовой.

Я считаю, что редакция неправа, поместив в трех номерах своего журнала это произведение.

М. АЛДАНОВА,
аспирант СГУ.

г. Саратов.

* * *

На страницах журнала «Новый мир» в этом году появился роман Н. Давыдовой «Любовь инженера Изотова». Ничего не скажешь, автор романа умеет интересно и увлекательно писать. Роман назван громким названием, а любви-то как таковой в нем и нет.

Молодой инженер Изотов встретился с аспиранткой Тасей, они полюбили друг друга. Оба умные, интересные, хорошие люди, лучшего и желать не приходится.

Когда Алексей уехал на дальнюю стройку, Тася приезжает к нему. Затем Изотов направляется в командировку, а Тася встречает директора завода Андрея Терехова. Легко, без особых волнений Тася «предала» Алексея, обманула его. Что Тасе так понравилось в Терехове — пожилом, женатом мужчине, почему она так легко «предала» Алексея, об этом в книге не пишется. Тася слепо влюбилась в Терехова, и ей ничего не хотелось, только бы он был рядом.

Терехову же нравилась Тасина молодость, красота. «И какая же она молодая», — думал он. Ему хотелось почувствовать ее рядом, обнять, целовать и ни о чем не думать. Это скорее не любовь, а увлечение, с позорными тайными связями.

А между тем у Терехова есть хорошая, умная жена, врач, которая вынесла все тягости войны. Это порядочная женщина, сам Терехов в душе знает, что он от нее никуда не уйдет. И все же влюбляется время от времени то в одну, то в другую девушку, женщину. На этот раз, как ему показалось, влюбился он безумно, как никогда до этого. «Наверное, последний раз», — думал он. Но прошло совсем немного времени, и Андрей Терехов уже охладел к Тасе. Его влечет хорошенькая Зоя.

Алексей Изотов, потеряв Тасю, встречает старую знакомую Валу, с нежным, веселым лицом. Валя ему неожиданно нравится, и... «Как это оказалось просто», — думает он.

Писателям дано великое право: воспитание молодежи. Своими произведениями они могут влиять на вкусы, привычки, мысли, чувства молодежи. Н. Давыдова, автор романа, умеет присмотреться к людям, увлекательно писать, но она не смогла создать типичный образ советского человека, который может быть не только хорошим инженером, директором, а также может глубоко любить, быть верным.

Ни Терехов, ни Изотов, ни Тася — ни один из них не может быть примером для нашей молодежи. Кому нужна такая любовь? Вель все эти герои на работе хорошие производственники, а в любви «ни то ни се». Чем объяснить, что люди, стойкие и твердые на работе, в любви нестойкие, неверные? Просто у Н. Давыдовой дурной вкус,

она не смогла показать красоту, духовное богатство современного человека и вместо того преподнесла читателям пошленький роман.

В романе «Любовь инженера Изотова» люди не могут управлять своими чувствами, отвечать за поступки, контролировать их, они становятся жертвами любви.

Ведь любовь хороша своей цельностью, глубиной, верностью. Она должна помогать человеку, одухотворять его, делать лучше. А что же получилось у Н. Давыдовой? Любовь к ее героям приходит неожиданно и уходит, «когда ей захочется».

Что нам может дать такой роман? Почему бы автору с ее умением писать интересно и увлекательно не присмотреться глубже к нашим людям, а может быть, и взглянуть вперед: создать образ человека будущего, на которого хотелось бы равняться, который бы не находился в «рабском плену» любви, а любил свободно, красиво, глубоко не много раз, а один.

Не хватило дальновидности у Н. Давыдовой. А хотелось бы прочесть интересный роман о человеке коммунистического завтра. Вокруг столько красивых, сильных, умных людей, есть богатый материал для книг, только нужно уметь его видеть.

Все люди, проходящие через роман, надеются каким-либо изъясном, показаны духовно бедноватыми. Почему же сто лет назад Н. Чернышевский смог так хорошо писать о человеке коммунистического будущего, не видя примера, а сейчас — какая у нас есть замечательная молодежь, ее нужно рисовать в романах, и именно для нее нужны хорошие произведения.

Людмила ШЕВЯКОВА,
библиотекарь.

г. Джезказган.

* * *

Уважаемые товарищи!

Прочитав опубликованный в «Новом мире» роман Натальи Давыдовой «Любовь инженера Изотова», хочется написать о нем свои впечатления.

Несколько дней стоят передо мной живые образы романа.

Говорят, что многим писателям лучше удаются отрицательные персонажи. Но Н. Давыдова замечательно нарисовала и Терехова — дельца от мизинца до последней клеточки мозга — и с еще большей си-

лой художественного слова создала положительный образ Алексея Изотова. Изотов настолько обаятелен, что даже мелкие просчеты не хочется ставить автору в вину.

Главное, что радует в романе, это большое количество положительных, надолго запоминающихся лиц.

Какая хорошая, прямо коммунистическая семья Изотовых! Полюбит читатель и Лену, и стариков, и «скандалистов» (очень типичные образы). Сколько чуткости проявляют они к Алексею, и как он сам бережет покой своих близких! Радость он несет в дом — спешит познакомить с родными Тасю. А горе прячет глубоко.

Какие замечательные люди окружают Изотова на заводе во время реконструкции! Это те, которые всем сердцем знают, для чего, во имя чего они должны подниматься все выше и выше.

Очень хорошо представляешь себе современную мешанку Валу. И «грехопадение» с ней Изотова не надуманно. Это жизненный факт, вызвавший понятное отращение к самому себе у Алексея.

Очень сложный образ Таси. В общем он удался автору. Радует, что в такой сложной ситуации писательница «не перегнула палку». Тася с самого начала такая, что веришь в ее чистоту и с самого начала разрыва с Алексеем веришь, что она скоро поймет свою ошибку, разглядит истинный характер, содержание Терехова и порвет с ним. Конечно, хочется, чтоб она снова была с Алексеем...

К просчетам, по моему мнению, следует отнести рассуждения Изотова — сможет ли он простить Тасю. Вообще, что такое простить?! Это в старой семье, когда муж был глава, он мог за что-то простить или не простить жену. В данном случае не то слово, не те понятия. Любит ли он ее после того, что случилось, и полюбит ли его по-настоящему Тася — вот что главное! Что толку, что он ее простит, а у нее будут какие-то другие чувства! А он и сам не безгрешен. Нет, не в прощении тут дело. И правильно, что автор в конце концов соединяет этих двух людей.

И второе. У Алексея мелькнула мысль: «Вот возьму и женюсь на Лидии Сергеевне». Как это возьму и женюсь? Лидия-то Сергеевна пусть безнадежно, но любит и любима другим — другом Алексея, Казаковым! Это раз. А во-вторых, эта женщина просто может и не захотеть выйти замуж

даже и за трижды замечательного человека. И Лидия Сергеевна говорит, что Алексею нужна другая, и могла бы сказать, что и ей нужен другой.

Просто такая мысль неудачно сорвалась у автора с пера, а у героя с языка. Все это мелочи, Н. Давыдова может и не согласиться со мной.

В целом роман оставляет отрадное впечатление. «Новый мир» хорошо сделал, что напечатал его. Роман поможет нашей молодежи не спешить с доверчивостью, поможет лучше разбираться в людях. Я не собираюсь подробно рецензировать это произведение. Это дело специалистов-критиков. Это письмо к автору и редакции рядового читателя.

Жаль, что не в обычае редакции давать краткие сведения о своих авторах, как это делают журнал «Иностранная литература» и некоторые другие. Если не затруднит, сообщите, пожалуйста, коротенько — кто же Наталья Давыдова? Что она еще писала?*

Евг. ШАРНИНА,
персональный пенсионер.

г. Новосибирск.

* * *

Здравствуй, дорогая Наталья Давыдова!

Сейчас захлопнула третий номер журнала «Новый мир», и очень захотелось с кем-нибудь поговорить о Вашем романе «Любовь инженера Изотова». Но в доме не с кем (мама не читала, дочери 6 лет, а с мужем я не живу тоже 6 лет).

Я подумала о тех, кто живет в Москве. Им можно было бы пойти к Вам и поговорить с Вами о том, что их переполняет. Конечно, разговор состоялся бы. Вы же осуждающе пишете о Терехове, о его важности и зазнайстве. А как хотелось бы мне узнать многое (бумага в таких случаях плохая помощница). Хотелось бы узнать, кто Вы... Наверное, инженер-химик. Да? Я спрашиваю, но это не означает, что я надеюсь на ответ. Я не докучливая. С кого Вы писали? А может быть, Вы писатель-профессионал? Тогда, как Вы писали обо всем, что касает-

* От редакции: Наталья Максимовна Давыдова родилась в 1925 г. в Ленинграде, в семье инженера. В 1947 году окончила филологический факультет Ленинградского университета, затем аспирантуру. Первая ее повесть — из жизни сельских врачей — «Будни и праздники» была опубликована в 1953 г.

ся крекинга, завода? Ездили в командировку? Изучали? Да, все это очень, очень интересно.

Мне понравился Алексей, и Лена, и вся их семья с ее укладом. И роман Ваш — это частичка жизни. Поучает он хорошо. Очень поучительна Тасина история. К сожалению, так бывает. Вы спросили бы, откуда я знаю, может быть, со мною так было? Нет. И никто мне такую историю не рассказывал. Но мне 33 года, я, кажется, немножко уже знаю жизнь. И потом, так у Вас написано, что все это кажется очень правдоподобным.

Знаете, Вы Валю хорошо написали. Такой сорт людей, видимо, распространен (а может быть, и нет, а просто Вы очень наблюдательны). У меня знакомая очень похожа на Валентину.

«Глядя на Валю, Алексей думал, что неискренние люди часто удобны в общении, с ними легко. И с Валею было легко. Она была деловая в том ужасном смысле слова, который означает, что она ничего не делала без выгоды для себя. Зато с выгодой делала очень многое. И это часто выглядело как широта и простота. Порядочных людей легко обманывать — ничего удивительного, что ее считали хорошим товарищем. А между тем она была плохим товарищем, но всегда была готова прийти на помощь, понимая, что, если сегодня поможет она, завтра помогут ей».

Это место мне очень понравилось. Понравилось, что Вы нашли такие правильные слова, понравилась Ваша наблюдательность.

Понравилась Кресс и Калинин. Опять Ваша наблюдательность. Такие тоже очень часто встречаются.

А Тасе я завидовала сначала, когда Вы свели ее с Алексеем. Завоевать любовь такого человека, как Изотов, — что может быть лучше!

Так вот, я ей сначала завидовала, а потом пришлось ей сочувствовать. Да как это ее угораздило? А между тем и эта ее оплошность очень естественна. Ведь бывает и так: знает женщина, что нельзя, что к хорошему не приведет, а удержаться не в силах...

Да, а Терехов «хорош!» Есть такие «счастливишки». И работает ведь неплохо, и работу любит, а все-таки негодяй.

А конец у Вас такой, что нужно догадываться, думать, раздумывать. Да, как тяжело этим двум, оба несчастны в личном.

Как-то у них сложится жизнь? Будут ли они вместе? Судя по характеру Алексея — вряд ли. Он ведь простить не мог. Но в то же время он любит. Наверное, он останется один со своими крекингами.

Ну, вот и поговорила я с Вами. Извините, что оторвала Вас от дела. Я в отпуске, у меня время есть.

О себе коротко: я преподаватель математики (остальное было выше).

На ответе не настаиваю, но он был бы очень желанным.

Большое спасибо за роман.

С дружеским приветом

Нина КУЗНЕЦОВА.

г. Омск.

* * *

В журнале «Новый мир» (кн. 1, 2 и 3) писательница Наталья Давыдова опубликовала роман «Любовь инженера Изотова». Я с интересом прочитала это произведение. Герои показались мне живыми, тема — серьезной и увлекательной, автор — способным правдивым человеком.

И потому я была очень удивлена, прочитав в газете «Литература и жизнь» (от 23 марта) статью Ал. Дымшица «Дурной вкус».

В этой статье критик безжалостно развенчивает Наталью Давыдову и как писателя и как человека. Один за другим сыплются унижающие, оскорбительные эпитеты. Оказывается, у Давыдовой «дурной вкус», «узкий и куцый взгляд на мир и на людей». Оказывается, писательница лишена «психологической глубины, четкости этических принципов». Далее критик вспоминает об Арцыбашеве и утверждает, что манера Давыдовой похожа «на стилистику давно забытых книг, сочинений И. Потапенко или Оливии Уэдсли!» И еще оказывается, что «портретная живопись» Н. Давыдовой «написана преимущественно с, так сказать, куаферной, косметической, портновской точек зрения». И, наконец, приводится «убийственное щедринское слово — «клубницизм». И тут же не менее убийственная ироническая щедринская цитата: «...я описываю только то, что в жизни бывает. Вижу забор — говорю: забор; вижу поясницу — говорю: поясница».

Я прочла статью Ал. Дымшица и задумалась. Три столбца статьи, и в них тридцать три удара! Не может быть, чтоб они были необоснованны. Что же это такое? Как это

я, читая роман Н. Давыдовой, проглядела все его недостатки, не почувствовала их? Я была прямо озадачена. И перечитала роман вторично.

Нет, критик Ал. Дымшиц, вы тысячу раз неправы! Ваши обвинения не имеют никаких оснований! Роман Натальи Давыдовой — вполне достойное произведение, вполне современное. Есть прекрасные страницы, есть очень верные и меткие образы. Алексей Изотов и Андрей Терехов очень хорошо вырисованы. Тема столкновения между такими людьми уже много раз появлялась в нашей литературе (Вальган—Бахирев, Дроздов—Лопаткин). И, кстати, это вовсе не говорит о подражании авторов один другому. Дроздов, Вальган, Терехов — это все живые люди нашего времени. Их трудно обойти. Талантливые администраторы, по всем внешним признакам положительные герои, они не выдерживают испытания на чистоту чувств, на справедливость, на честность, на заботу о другом.

Образ Алексея Изотова — главного героя романа — несомненно, большая удача писательницы. Это и есть настоящий образ нового человека, талантливого, благородного, немногословного, сильного духом. Он описан просто, но ярко и доходчиво, и даже сцена с Валею, которую с насмешкой приводит Дымшиц, тоже очень верна, жизненна и тоже принадлежит к удачным местам произведения. К сожалению, женские образы

не так ярко удалась Давыдовой. Но и они не плохи. Во всяком случае они далеки от «дурного вкуса» и «куцего взгляда на мир».

Ал. Дымшиц пишет «о вкусах приходится спорить, против плохих вкусов надо выступать». Но разве так выступают?

Вы, Ал. Дымшиц, написали статью, которой, по-видимому, решили писательницу «убить без ножа». Есть ли в Вашей статье разбор произведения? Есть ли какие-либо советы автору? Ничего подобного нет. Мне еще не приходилось читать такой уничтожающей статьи. И главное, что все это совершенно незаслуженно. По Вашей статье можно действительно подумать, что Давыдова выгустила какую-то порнографию. В то время как писательница на всем протяжении романа очень сдержанна, целомудренна в описании любовных сцен. Да и вообще весь роман так далек от натурализма, как далек от всего, что вы ему приписываете.

Мы столько говорим и пишем о хороших делах, о будущем нашей молодежи, о дружбе, о товарищеских чувствах. Мы пишем также о задачах критики, о помощи нашим растущим кадрам. И прямо берет страх при мысли, что в наше время может быть напечатана такая нехорошая, больно нехорошая критика.

Галина ЗИНЧЕНКО,
закройщица ф-ки «Индопошив».

г. Киев.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.
В трех томах. Том I. Госполитиздат. М. 1960. 896 стр. Цена 25 р.

Выход в свет нового издания «Дипломатического словаря», и притом значительным тиражом, лишней раз подтверждает, что дипломатия, всегда бывшая в капиталистических странах прерогативой узкого круга высокопоставленных лиц, хранящая свои тайны «за семью печатями», стала в нашей стране делом всего народа. Советские люди активно поддерживают усилия правительства СССР, неизменно направленные на сохранение мира во всем мире.

Идеями ленинской внешней политики пронизаны материалы словаря. Большое место в нем уделено новому типу международных отношений между странами социалистического лагеря, отношений, основанных на принципах пролетарского интернационализма. В ряде статей нашел отражение все ускоряющийся процесс распада колониальной системы.

Основная часть словаря посвящена международным отношениям и дипломатии нового и новейшего времени.

В новом издании «Дипломатического словаря» принял участие большой коллектив историков, дипломатов, экономистов, юристов. Главную редакцию словаря составили доктор экономических наук А. А. Громько, члены-корреспонденты АН СССР С. А. Голунский и В. М. Хвостов.

Е. РЯБЧИКОВ. Рождение темы. Госполитиздат. М. 1960. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

«Прочтя эту книгу, советский читатель, наверное, подумает: а ведь, черт возьми, замечательное это дело — советская журналистика! И, узнав историю многих интересных очерков и репортажей, он еще раз задумается о радостной эпохе великих дел и славных людей, в которую мы все имеем счастье жить». Эти слова Борис Полевой предпосылает книге Е. Рябчикова «Рождение темы».

Полна сложностей работа журналистов — этих верных помощников партии. Одна из них — умение выбрать тему для очерка. Вот один из примеров, приведенных в книге. В вагоне метро автор услышал разговор о том, что в Музей революции прибыл старый трактор из Сталинграда. Автор сразу почувствовал, что за этим фактом таится

интересная тема. В музее автор встретил сборщиков этого трактора, который оказался первенцем Сталинградского завода; их судьба и легла в основу репортажа «Встреча в музее». Случайно узанный факт под пером опытного очеркиста приобретает определенное общественное звучание.

Последние, обобщающие главы носят название «Факт и тема, тема и жанр», «Тема и сюжет».

Книга Е. Рябчикова открывает новую серию — «Библиотечка журналиста», выпускаемую Госполитиздатом.

Ф. БААДЕ. Мировое энергетическое хозяйство. Атомная энергия сейчас или в будущем? Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 248 стр. Цена 4 р. 80 к.

Одной из наиболее острых экономических проблем, стоящих перед человечеством, является энергетическая проблема. Надолго ли хватит запасов топлива нашей планеты? Ведь интенсивное развитие мирового хозяйства за последние десятилетия повлекло за собой резкое увеличение потребления энергии.

Этой проблеме посвящена книга западногерманского экономиста Ф. Бааде. Опирая обширным фактическим материалом о состоянии мировой экономики, автор приходит к выводу, что человечество вступит в XXI век с активным энергетическим балансом даже без использования атомной энергии, хотя население земного шара возрастет к двухтысячному году до пяти миллиардов человек. Выводы автора основаны на произведенной им подробной «инвентаризации» мировых энергетических ресурсов. В книге приведен ряд карт и таблиц.

Первое место среди источников энергии автор отводит гидроресурсам, второе — нефти и природному газу. Еще до сих пор остались неразведанные запасы угля.

Интересен раздел, посвященный развитию энергетики за четыре тысячи лет истории человечества — от «ступенчатого колеса» до атомной электростанции.

Ф. Бааде прочно стоит на позициях сохранения мира и предостерегает от использования атомной энергии в военных целях. Книге предпослано содержательное предисловие доктора экономических наук С. Вишнева.

М. Ф. РЕДКОЗУБОВ. Выдающийся русский огородник Ефим Андреевич Грачев (1826—1877). Лениздат. 1959. 124 стр. Цена 1 р. 65 к.

Эта небольшая брошюра, к сожалению, осталась не замеченной и не отмеченной даже в специальной печати. В ней впервые собраны и сведены воедино данные, в значительной мере обогащенные неизвестными доселе архивными материалами, о жизни, творчестве и произведениях выдающегося мастера и творца растительных форм, искусника и умельца огородника Е. А. Грачева. Крестьянин-самородок, он в середине прошлого века превратил свой огород в настоящий исследовательский центр.

Е. А. Грачев создал множество новых великолепных сортов картофеля, капусты, моркови, свеклы, редиса, брюквы, огурцов, дыни. Поразительных успехов добился он в возделывании под Ленинградом кукурузы на семена. Успехи талантливого предшественника И. В. Мичурина отмечены были избранием его в члены-корреспонденты Вольного экономического общества, которое в свое время было одним из центров прогрессивной научной мысли в России; он был избран в члены французской Академии земледелия; его сорта и способы культуры неоднократно удостоивались почетных наград и дипломов на всероссийских и зарубежных, в том числе международных, выставках. Многие выведенные им сорта под разными наименованиями возделываются поныне.

МАРШАЛ ШАХ ВАЛИ. Мои воспоминания. Издательство иностранной литературы. М., 1960. 102 стр. Цена 1 р. 70 к.

Автор — брат выдающегося афганского полководца и политического деятеля Мухаммеда Надир-хана, основателя ныне правящей в стране династии, и сам видный военачальник и дипломат — около полувека находился в самой гуще событий, когда выковался и окреп новый Афганистан.

Первая часть книги посвящена войне 1919 года против английских колонизаторов, еще в конце прошлого века поработивших афганский народ. Автор рассказывает о народной борьбе, победа в которой сделала Афганистан самостоятельным государством. Но это была, по словам Шах Вали, остановка на полпути. «В результате беспримерной кровавой борьбы, — пишет он, — захватчики были изгнаны из нашей страны, но полной независимости добиться нам не удалось». Помехой являлись происки феодально-реакционных сепаратистов, раскалывавших единство Афганистана и этим служивших интересам империалистов. Ликвидация реакционной междоусобицы 1928—1929 гг., о которой повествуется во второй части книги и которую афганские историки называют «борьбой за спасение родины», сделала афганский народ подлинно независимой нацией.

Советский Союз и Афганистан связывают узы давнишней и искренней дружбы. Первым из правительств, признавших Аф-

ганистан, — еще в мае 1919 года, — было Советское правительство, возглавляемое В. И. Лениным. «Приятно отметить, — говорил во время своего недавнего посещения Афганистана Н. С. Хрущев, — что советско-афганские отношения давно уже являются достойным примером мирного сосуществования и плодотворного сотрудничества государств с различным общественным устройством».

Д. Н. КОСТИНСКИЙ. Непал. Географиз. М. 1960. 152 стр. Цена 2 р. 35 к.

«Страна за семью замками». «Государство отшельников». «Родина богов»... Все это названия, которыми европейцы наделяли Непал.

Книга Д. Костинского повествует о жизни непальского народа, о природе и экономике этой малозвестной страны, «спрятанной в самом центре Гималаев, отгороженной от мира неприступной крепостью высочайших гор и непроходимыми джунглями, находившейся почти в полной изоляции от внешнего мира». До 1949 года, за всю историю Непала, во внутренних его районах побывало всего лишь пятьдесят европейцев. Еще совсем недавно в Непале не было ни почты, ни железных дорог, ни книгопечатания.

В 1951 году начался новый период в истории Непала. Его народ с оружием в руках сбросил иго деспотической олигархии семейства Рана. В начале прошлого года произошли выборы в первый непальский парламент, подписан закон о земельной реформе.

Правительство Непала заявило о своей поддержке «панча шила» — пяти принципов мирного сосуществования. Сейчас Непал имеет дипломатические отношения более чем с десятью странами, в том числе и с Советским Союзом.

НОВЫЕ ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ. Соцэкгиз. М. 1960. 344 стр. Цена 7 р. 10 к.

В октябре 1958 года в Риме по инициативе редакции теоретического и информационного журнала коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма» и института имени Грамши (научно-исследовательское учреждение Итальянской коммунистической партии) состоялась встреча марксистов ряда стран Европы, Америки и Азии. Участники встречи обменялись мнениями по поводу новых демагогических буржуазных теорий «классового мира», «народного капитализма», «человеческих отношений» на капиталистических предприятиях, — теорий, усиленно проповедуемых сейчас на Западе.

Книга «Новые формы эксплуатации и рабочее движение», содержащая материалы этой конференции, разоблачает ревизионистские попытки «пересмотреть» марксистско-ленинское учение, отравить живыми теориями сознание рабочих.

Показательно, что разработка и внедрение новых методов идеологической демагогии начались почти одновременно во многих

капиталистических странах. В докладах Г. Шрейнера (ФРГ), М. Спинелла (Италия), И. Ионэхара и С. Такахара (Япония), К. Телль (Швеция) и других на фактическом материале до конца развенчиваются утверждения буржуазных социологов о том, что в отношениях труда и капитала якобы произошли в последнее время «принципиальные перемены», что в наш век бурного развития техники имеет место духовное переорождение капиталистов, становящихся «равными партнерами» рабочего.

В сборник включен текст докладов Л. Румянцева — представителя КПСС — и Морриса (США), которые не получили виз на въезд в Италию.

ПАВЛО ТЫЧИНА. Сочинения в двух томах. Перевод с украинского. Гослитиздат. М. 1960. Том I. 352 стр. Цена 8 р. 60 к. Том II. 344 стр. Цена 8 р. 20 к.

В борьбе суровой жизнь моя течет,
напряжены и мысль моя и слово...—

эти строки Тычины можно поставить эпиграфом к двухтомному собранию его сочинений, вышедшему на русском языке. Художник ярко, своеобразного таланта, он всегда отличался смелостью исканий.

Павло Тычина — один из крупнейших поэтов Советской Украины, поэт мировой известности. Стихи его переведены не только на языки народов СССР, но и на многие европейские. Более сорока лет назад вышла его первая книга стихов «Солнечные кларнеты». Долгим и сложным был путь поэта до его книги «Мы совесть человечества». В свой двухтомник Тычина отобрал стихи, созданные им за полвека. В нем представлены публикующиеся впервые стихи из юношеских тетрадей, одиннадцать книг и стихи последних лет, не вошедшие пока еще ни в один сборник. К подготовке собрания сочинений Павло Тычины Гослитиздат привлек таких мастеров поэтического перевода, как С. Маршак, Н. Асеев, Н. Ушаков, В. Звягинцева, Н. Браун, М. Комиссарова, Л. Озеров и другие.

Выход в свет двухтомника П. Тычины позволит русскому читателю глубже и шире ознакомиться с творчеством этого крупного поэта Украины.

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ. Рассказы разных лет. Перевод с украинского. «Советский писатель». М. 1960. 379 стр. Цена 6 р. 20 к.

Леонид Первомайский известен русскому читателю прежде всего как поэт, но он создал и немало прозаических произведений. В книжке «Рассказы разных лет» собрана проза, написанная им в разное время. Она сгруппирована в три цикла. Первый, которым открывается книга, называется «Вместо стихов о любви». В названии раскрывается тема рассказов. О большим и сложном человеческом чувстве, о людях разных характеров и разных жизненных судеб поэтично и взволнованно повествует автор («Любисток», «Катерина

и ее новый дом», «Чужое счастье», «Материнский сладкий хлеб» и другие).

Во втором цикле собраны ранние новеллы Л. Первомайского: «Зонтик Пинхуса-Моти», «Доктор из Дарваза», «Улыбка» и другие. В них писатель с большой нежностью и мягким юмором рассказывает «невыдуманные истории» своих героев.

Третий цикл — «Верная кровь» — составляют рассказы военных лет о подвигах советских людей, верных своей Родине, своему долгу.

Любовью к человеку, умением заглянуть ему в душу, прочитать сокровенные мысли отмечены прозаические произведения Л. Первомайского.

ЮРИЙ КОБЫЛЕЦКИЙ. Иван Франко. Очерк жизни и творчества. Авторизованный перевод с украинского. «Советский писатель». М. 1960. 376 стр. Цена 8 р. 85 к.

Четыре года назад по решению Всемирного Совета Мира все прогрессивное человечество отмечало столетие со дня рождения великого сына украинского народа, писателя и мыслителя Ивана Яковлевича Франко. Более сорока лет неутомимо работал Франко в поэзии, прозе, публицистике. Он был также литературоведом, историком, переводчиком, редактором.

О героическом пути украинского революционного демократа и горячего патриота, о его жизни и творчестве рассказывает в своем обстоятельном очерке Юрий Кобылецкий. Он подробно разбирает общественно-политические и эстетические взгляды Франко. Глубоко и серьезно анализирует прозаические произведения писателя: Франко создал девять повестей и свыше ста рассказов; среди них — рассказы о крестьянской жизни, сатирические рассказы о либеральной интеллигенции, произведения о детях и для детей. Отдельную главу Кобылецкий посвящает пьесам Франко — «Украденное счастье», «Учитель», «Сон князя Святослава» и другим. В этом жанре Франко выступал как новатор украинской реалистической драмы.

Две обширные главы книги посвящены поэтическому творчеству Франко. В них автор стремится представить читателю все жанровое, тематическое и образное богатство, созданное поэтом.

Книга о творчестве И. Франко, которое стало в советские годы достоянием всех народов СССР, представляет значительный интерес.

Л. БОРОВОЙ. Путь слова. Очерки о старом и новом в языке русской советской литературы. «Советский писатель». М. 1960. 608 стр. Цена 13 р. 40 к.

В первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции многие враги нового строя утверждали, что происходит разрушение великого русского языка. Известно, что это ни в коей мере не соответствовало действительности. Еще до революции Коммунистическая партия неизменно и страстно боролась за чистоту и

правильность языка. В первые же годы революции были опубликованы важнейшие партийные документы по вопросам языка, особенно языка нашей печати. Хорошо известны многочисленные выступления В. И. Ленина по этим вопросам.

Однако небывалое выдвижение народных масс к активной политической жизни не могло не отразиться на процессах, происходящих в языке. Автор книги на обширнейшем, собранном на протяжении многих лет материале показывает, что русский язык в его историческом развитии обнаруживает и необыкновенную устойчивость и в то же время гибкость и чуткость к новым явлениям жизни. В эпоху революции этот процесс получает новые, невиданные размеры и формы. Только пристальное изучение этих изменений и превращений может открыть перед нами сущность и характер сложного процесса.

Автор показывает, какие новые словарные и смысловые ценности внесены в русский язык такими мастерами слова, как Горький, Маяковский, и многими другими выдающимися советскими писателями и поэтами. Книга дает своеобразную «биографию» многих слов и понятий, употребляемых в современном литературном языке, а также в речевом обиходе.

А. БАССЕХЕС. Художники на сцене МХАТ. Издательство Всероссийского театрального общества (ВТО). М. 1960. 140 стр. Цена 9 р. 20 к.

Краткий очерк развития театрально-декорационного искусства МХАТ охватывает шестьдесят лет жизни всемирно известного театра начиная с «Царя Федора Иоанновича» и кончая совсем недавними постановками. Автор знакомит читателей с творчеством крупных русских художников, работавших на сцене МХАТ,—Симовым, Добужинским, Бенуа, Крымовым, Головиным, Дмитриевым, Вильямсом и другими, с их вкладом в театрально-декорационное искусство.

Большой интерес представляют главы, восстанавливающие общую картину знаменитых чеховских постановок театра 1898—1904 годов и рассказывающие о творческих идеях К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в области оформления спектаклей. Книга А. Бассехеса иллюстрирована многими фотографиями, планировочными чертежами, эскизами костюмов и декораций.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В РУССКОЙ ПЕЧАТИ. Издательство Всесоюзной Книжной Палаты. М. 1960. 292 стр. Цена 9 р. 35 к.

Литературные связи нашей страны со странами Латинской Америки возникли несколько столетий назад. Однако до последнего времени было принято считать, что литература Латинской Америки очень мало известна русскому читателю; никто из библиографов не задался целью учесть все переводы латиноамериканских писателей на русский язык.

Книга, составленная Л. А. Шуром,— первая советская библиография художественной литературы Латинской Америки в русских переводах. Библиографические материалы, извлеченные из огромного количества изданий—книг, журналов, альманахов и газет почти за два столетия,—убедительно говорят о большом интересе наших переводчиков и читателей к произведениям латиноамериканских авторов.

В аннотируемом указателе отражены переводы художественных произведений, критические и историко-литературные работы о Латинской Америке начиная с 1765 по 1959 год. В книгу включены отрывки из статей о литературе латиноамериканских стран, взятые из русских журналов XIX века.

Составителем проделана большая работа: достаточно сказать, что именной указатель к сборнику содержит свыше девяти сот фамилий писателей, переводчиков и критиков.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин о закономерностях возникновения и развития социализма и коммунизма. 712 стр. Цена 10 р. 50 к.

Дружественный визит. Пребывание Н. С. Хрущева в Австрии 30 июня — 8 июля 1960 г. 212 стр. Цена 4 р. 45 к.

IX съезд Итальянской коммунистической партии. Рим, 30 января—4 февраля 1960 г. 308 стр. Цена 5 р. 70 к.

В. Душенькин. От солдата до маршала. Жизнь и боевой путь Маршала Советского Союза В. К. Блюхера. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Луковец. В народной Польше. 144 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. Мирский. Во имя жизни. (Об академике Н. Н. Бурденко). 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

Смелость, мужество, отвага. 328 стр. Цена 3 р. 90 к.

Солдат вернулся к мирному труду. 116 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Спирнин. Происхождение сознания. 472 стр. Цена 9 р. 30 к.

Судебный процесс по уголовному делу американского летчика-шпиона Френсиса Г. Пауэрса (17—19 августа 1960 года). 184 стр. Цена 2 р. 50 к.

СОЦЭКГИЗ

Я. Н. Гузеватый. Экономика современной Индонезии. 232 стр. Цена 5 р. 80 к.

Н. П. Еланский. Ярослав Гашек в революционной России (1915—1920 гг.). 216 стр. Цена 2 р. 40 к.

Дитер Зансе. Социалистические преобразования аграрных отношений в Германской Демократической Республике. 100 стр. Цена 4 р. 75 к.

А. Козлов, Г. Хромушин. Что говорят и пишут о советской семилетке ее буржуазные критики. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. П. Комиссаров, А. Н. Попов. Деньги, кредит и финансы европейских стран народной демократии. 240 стр. Цена 6 р.

А. Г. Корягин. По ленинскому пути строительства экономических основ коммунизма. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

Б. П. Плышевский. Распределение национального дохода в СССР. 248 стр. Цена 6 р. 20 к.

Энцо Рава. Северная Африка на пути к независимости. 220 стр. Цена 4 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Антокольский. О Пушкине. 136 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Бюков. Над рекой Истермой. Записки поэта. 206 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Бораненов. Под звездами кулундинскими. 184 стр. Цена 2 р. 10 к.

В. Гжицкий. Черное озеро (Кара-Кол). Роман. Перевод с украинского. 308 стр. Цена 5 р. 50 к.

В. Кирпотин. Достоевский и Белинский. 304 стр. Цена 7 р. 30 к.

Л. Копелев. Сердце всегда слева. Статьи и заметки о современной зарубежной литературе. 520 стр. Цена 11 р. 40 к.

Б. Корнилов. Стихотворения и поэмы. 289 стр. Цена 8 р. 65 к.

Г. Медынский. Честь. Повесть. 502 стр. Цена 8 р. 50 к.

А. Письменный. Две тысячи метров над уровнем моря. Повесть. 288 стр. Цена 3 р. 55 к.

Н. Тарас. Синие волны. Стихи. Перевод с белорусского. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Фиш. Встречи в Суоми. 418 стр. Цена 5 р. 20 к.

Е. Шварц. Пьесы. 688 стр. Цена 18 р. 20 к.

П. Якубович. Стихотворения. 524 стр. Цена 10 р. 5 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

М. П. Алексеев. Из истории английской литературы. Этюды, очерки, исследования. 500 стр. Цена 12 р. 85 к.

Емилиан Буков. Избранные стихи и поэмы. Перевод с молдавского. 311 стр. Цена 7 р. 80 к.

Сергей Городецкий. Стихотворения и поэмы. 420 стр. Цена 7 р. 20 к.

Михаил Дудин. Стихи. 192 стр. Цена 3 р. 50 к.

Леонид Леонов. Собрание сочинений в девяти томах. Том первый. 424 стр. Цена 10 р.

Федерико Гарсиа Лорка. Избранная лирика. Перевод с испанского. 432 стр. Цена 7 р. 35 к.

Н. Маслин. Черты новаторства советской литературы. Литературно-критические статьи. 315 стр. Цена 8 р. 30 к.

Алексей Недогонов. Стихотворения. 254 стр. Цена 4 р. 25 к.

Сурьякант Трипатхи Нирала. Алака. Избранная проза. Перевод с хинди. 280 стр. Цена 5 р. 85 к.

Шарль Нодье. Избранные произведения. Перевод с французского. 568 стр. Цена 10 р. 40 к.

Хириси Нома. Зона пустоты. Роман. Перевод с японского. 376 стр. Цена 6 р.

Илья Сельвинский. Избранные произведения в двух том-ах. Том первый. 352 стр. Цена 10 р. Том второй. 656 стр. Цена 12 р. 10 к.

А. Твардовский. За далью—даль. 124 стр. Цена 3 р. 90 к.

Тимрава. Без радости. Повести и рассказы. Перевод со словацкого. 368 стр. Цена 6 р. 60 к.

Пятрас Цвирна. Франк Крук. Роман. Перевод с литовского. 491 стр. Цена 9 р. 65 к.

Цой Со Хэ. Исповедь беглеца. Рассказы. Перевод с корейского. 176 стр. Цена 5 р.

Вадим Шефнер. Стихи. 304 стр. Цена 4 р. 85 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Евгений Горбов. Дом под тополями. Роман. 334 стр. Цена 6 р. 20 к.

Иосиф Дик. Девчонки и мальчишки. Повесть и рассказы, 223 стр. Цена 4 р. 75 к.

Борис Зубавин. Про нашего друга. Повести и рассказы. 223 стр. Цена 4 р. 75 к.

Альберт Кан. Игра со смертью. 176 стр. Цена 4 р. 10 к.

Илья Лавров. Мне кричат журавли. Рассказы. 255 стр. Цена 5 р. 20 к.

Вик. Марьяновский. Свет в вашем доме. Очерк. 159 стр. Цена 1 р. 35 к.

В. Машкин. В стране «длиннобородых». Очерки о героизме кубинского народа. 94 стр. Цена 1 р. 35 к.

В. Петлеваний. Девушка из пригорода. Повесть. Перевод с украинского. 447 стр. Цена 8 р. 20 к.

Мария Пуйманова. Новеллы. Перевод с чешского. 158 стр. Цена 2 р. 50 к.

Аркадий Славутский. Прасковья Ангелина. 238 стр. Цена 5 р. 20 к.

Ярослав Смеляков. Работа и любовь. Стихи. 271 стр. Цена 4 р. 65 к.

Владимир Солоухин. Капля росы. Очерки. 240 стр. Цена 5 р. 10 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вопросы народно-поэтического творчества. Проблемы соотношения фольклора и действительности. 172 стр. Цена 7 р. 50 к.

Т. И. Заславская. Современная экономика колхозов. 116 стр. Цена 2 р.

Ю. А. Кожевников. Михаил Садовяну. 240 стр. Цена 9 р. 50 к.

Поль Ланжевен. Избранные труды. 758 стр. Цена 25 р. 60 к.

Литературное наследство. Том 68. Чехов. 975 стр. Цена 50 р.

М. И. Михайлов. Союз коммунистов — первая международная организация пролетариата. 372 стр. Цена 14 р.

В. В. Николаев. Ленин о Советском государстве. 108 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ноябрьская революция в Германии. Сборник статей и материалов. 516 стр. Цена 21 р. 60 к.

О художественном мастерстве М. Горького. Сборник статей. 420 стр. Цена 12 р. 50 к.

Развитие производительных сил Восточной Сибири. Геологическое строение. 152 стр. Цена 9 р. 60 к.

Развитие производительных сил Восточной Сибири. Транспорт. 204 стр. Цена 12 р. 70 к.

Н. С. Юлина, Ю. П. Михаленко, В. Н. Садовский. Некоторые проблемы современной философии, 184 стр. Цена 4 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Стефан Гейм. Глазами разума. Роман. Перевод с английского. 591 стр. Цена 17 р. 65 к.

Катарин Гильберт, Гельмут Кун. История эстетики. Перевод с английского. 684 стр. Цена 27 р. 40 к.

Э. Дзелепи. Конрад Аденауэр: легенда и действительность. Перевод с французского. 184 стр. Цена 3 р. 60 к.

Гудзима Канзабуро. Современный колониализм. Перевод с японского. 179 стр. Цена 3 р. 35 к.

Миллард Лэмпелл. Герой. Роман. Перевод с английского. 300 стр. Цена 9 р. 40 к.

Лян Бинь. Три поколения. Роман. Перевод с китайского. 450 стр. Цена 13 р. 85 к.

Велько Петрович. Рассказы. Перевод с сербо-хорватского. 262 стр. Цена 6 р. 90 к.

Хуан Антонио де Сунсуэги. Вег в темноте. Роман. Перевод с испанского. 316 стр. Цена 10 р. 20 к.

Эльза Триоле. Нейлоновый век. Розы в кредит. Луна-парк. (Романы). Перевод с французского. 373 стр. Цена 10 р. 90 к.

Арнольд Цвейг. Радуга. Новеллы. Перевод с немецкого. 312 стр. Цена 9 р. 20 к.

Э. Штриттматтер. Чудодей. Роман. Перевод с немецкого. 518 стр. Цена 15 р.

СЕЛЬХОЗГИЗ

И. А. Емельянов. Повышаем культуру земледелия. 133 стр. Цена 1 р. 80 к.

С. Я. Карумидзе. Основы химической защиты растений. 268 стр. Цена 5 р. 90 к.

А. С. Колесников и другие. В помощь колхозному лесоводу. 287 стр. Цена 4 р. 10 к.

А. М. Константинова. Селекция и семеноводство многолетних трав. 386 стр. Цена 6 р. 45 к.

Ф. С. Крохалев. О системах земледелия. Исторический очерк. 430 стр. Цена 7 р. 50 к.

И. И. Курындин. Плодоводство. 228 стр. Цена 4 р. 50 к.

В. В. Стронов. Пернатые друзья лесов. 172 стр. Цена 2 р. 45 к.

В. Н. Щеголев. Сельскохозяйственная энтомология. 448 стр. Цена 9 р. 5 к.

М. М. Щелкин. Избранные сочинения, 382 стр. Цена 9 р. 10 к.



ОТ РЕДАКЦИИ

„Новый мир“ в 1961 году

Год назад, предупреждая читателей о планах журнала на 1960 год, редакция «Нового мира» предполагала представить на их суд разнообразный материал. В осуществление этого намерения в десяти книжках «Нового мира» за истекший год было напечатано:

По отделу прозы:

Повесть С. Антонова «Аленка»
Рассказ М. Ауэзова «Серый Лютый»
Повесть А. Бека «Несколько дней»
Роман Натальи Давыдовой «Любовь инженера Изотова»
Киноповесть Ефима Дороша «Четыре времени года»
Рассказы Е. Драпкиной «Золотая осень»
Повесть Н. Дубова «Жесткая проба»
Рассказы В. Каверина «Кусок стекла» и другие
Повесть В. Липатова «Глухая Мята»
Страницы воспоминаний С. Маршака «В начале жизни»
Повесть И. Меттера «Мурат»
Рассказ В. Некрасова «Вторая ночь»
Пьеса А. Парниса «Остров Афродиты»
Повесть В. Тендрякова «Тройка, семерка, туз»
Автобиографическая книга И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь»
и некоторые другие произведения.

По отделу поэзии:

Новые стихи А. Ахматовой, Петруся Бровки, К. Ваншенкина, С. Галкина, Риммы Казаковой, С. Липкина, Н. Рыленкова, Максима Рыльского, Ярослава Смелякова, Максима Танка, заключительные главы книги «За далью — даль» А. Твардовского, переводы стихов Николаса Гильена, Десанки Максимович, Витезслава Незвала, Хуана Рехано, Иржи Тауфера, Фаиз Ахмад Фаиза, Роберта Фроста, французских поэтов Луи Арагона, Абеля Жакэна и других.

По отделу литературной критики:

Статьи С. Бабенышевой, И. Виноградова, В. Лакшина, А. Македоннова, И. Рачука, Б. Рюрикова, А. Синявского, И. Соловьевой, В. Сурвилло, М. Туrowsкой; выступления о путях развития современного романа (Г. Белая, А. Берзер, М. Кузнецов, В. Назаренко, Л. Шевцова и др.) и о научно-художественной литературе (Ю. Вебер, Д. Данин, А. Ивич, А. Смирнов-Черкезов, Я. Смородинский, А. Шаров).

По другим отделам:

Литературные записки Ираклия Андроникова («Личная собственность»), В. Вересаева («Записи для себя») и воспоминания: М. Галлая, М. Инюшина, академика И. Майского, К. Свердловой-Новгородцевой, М. Фофановой и других.

Очерки на внутренние и зарубежные темы Артема Анфиногенова, Б. Бабочкина, Ивана Винниченко, А. Крона, Л. Ласкавой, Льва Любимова, Н. Мельникова, И. Радволиной, Алексея Эйснера.

Публицистические статьи О. Добролюбского, Леонида Иванова, А. Маркина, В. Монахова, Д. Рудя, академика С. Струмилина, А. Хавина и других.

К сожалению, не все из намеченных к опубликованию в журнале в 1960 году произведений были завершены их авторами и окончательно подготовлены редакцией, но мы полагаем, что, напечатав ряд других вещей, не объявленных в проспекте, «Новый мир» в известной мере удовлетворил запросы читателей. Это, конечно, не означает, что редакция довольна итогами своего журнального года.

В 1961 году редакция «Нового мира» по предварительной договоренности с авторским активом имеет в виду напечатать на страницах журнала следующие произведения, большая часть которых посвящена существенным темам и проблемам современности:

С. Антонов — рассказ «Любовь» и другие

Н. Атаров — повесть «Коротко лето в горах»

Г. Бакланов — повесть «Июль 1941 года»

А. Бек — повесть «Резерв генерала Панфилова»

Ольга Берггольц — продолжение книги «Дневные звезды»

Ю. Бондарев — роман «Тишина»

П. Вершигора — роман «Дом родной»

Тихон Журавлев — повесть «Одарка»

С. Залыгин — роман «На половине пути»

Любовь Кабо — роман «Борис Бекишев»

Э. Казакевич — роман «Новые времена»

В. Некрасов — новая повесть

В. Овечкин — новые очерки

Вера Панова — пьеса «Проводы белых ночей» и новый роман

И. Соколов-Микитов — «Автобиографические рассказы»

В. Тендряков — новая повесть

К. Федин — роман «Костер»

Владимир Фоменко — роман «Жизнь»

Новые повести и рассказы **Мухтара Ауэзова, Чингиза Айтматова, Л. Волинского, Е. Дороша, Н. Дубова, С. Жураховича, А. Злобина, В. Каверина, В. Липатова, И. Меттера, Ю. Нагибина, Л. Первомайского, М. Симашко, Г. Трөепольского.**

Новые стихи и поэмы **М. Алигер, К. Ваишенкина, Р. Гамзатова, М. Исаковского, Р. Казаковой, А. Кулешова, С. Липкина, М. Луконина, А. Прокофьева, Н. Рыленкова, М. Рыльского, Я. Смелякова, А. Твардовского, Назыма Хикмета, С. Щипачева** и других.

В журнале будут также публиковаться произведения писателей стран народной демократии и лучших писателей капиталистических стран.

Как и прежде, весьма существенную роль в журнале будет играть **критика и библиография.** Борьба за подлинную партийность и художественность советской литературы, за великое искусство коммунизма, искусство больших мыслей и чувств, высоких устремлений и мастерства — главная задача критиков и рецензентов журнала. Заботливо и внимательно поддерживая все доброе в литературе и особенно работу писателей над произведениями на современную тему, критика будет требовательной и принципиальной в борьбе с безыдейностью, серостью, эстетической невзыскательностью.

Особое и весьма важное место в «Новом мире» — журнале литературно-художественном и общественно-политическом — всегда занимали

очерки, публицистика и статьи научного характера. И в 1961 году двери журнала будут широко открыты перед общественными деятелями и учеными, литераторами и специалистами различных областей труда и знания для выступлений на политические, народнохозяйственные, научные и культурные темы. Как и в предыдущие годы, в журнале будут богато представлены такие разделы, как

**Очерки наших дней
На зарубежные темы
Дневник писателя
Публицистика
В мире науки
В мире искусства
Трибуна читателя
Дневники и воспоминания**

и другие.

Грандиозный процесс коммунистического строительства, сложнейшие вопросы развития промышленности и сельского хозяйства, науки, техники и культуры должны найти свое отражение на страницах журнала во всем своем многообразии и глубине.

Редакция надеется, что содержание журнала в 1961 году будет одобрено нашими читателями и литературной общественностью. Ждем отзывов о нашей работе, советов и деловой критики.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 23 VIII-1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 20.IX-1960 г.
А 09227 Формат бумаги 70×108^{1/2} 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 90.200.
Зак. 1593.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва, Центр, площадь Пушкина, 5

Принимается подписка на 1961 год

*на ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал*

Н О В Ы Й М И Р

Журнал «Новый мир» выходит
без переплета и в переплете

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	84 р.	42 р.	21 р.
В переплете	108 р.	54 р.	27 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учебных заведениях и учреждениях.